

HEBA



5 • 2024



НЕВА

5
2024

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир РЕЦЕПТЕР

Стихи • 3

Елена КРЮКОВА

Долина царей. *Фрески* • 7

Александр ФРОЛОВ

Опыт неумирания. *Стихи* • 109

Эвелина АЗАЕВА

Недобитки и иже с ними. *Рассказ* • 111

Рустам МАВЛИХАНОВ (БУДДА)

Стихи • 128

Иван ГОБЗЕВ

Предсказание. *Рассказ* • 131

Ольга ВИКТОРОВА

Стихи • 145

Михаил ГУНДАРИН

Mindestkontakt erforderlich. *Повесть* • 150

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Евгений ХАРИТОНОВ

Стихи • 177

Александр ЖДАНОВ

Гори, гори ясно. Подвалы пахнут войной. *Рассказы* • 181

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Аглая ЮРЬЕВА

Ботики. Одуванчик. *Рассказы* • 190

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр МЕЛИХОВ

Защитит эстетика • 208

Вера ХАРЧЕНКО

Современные угрозы и деятельность
филолога-профессионала • 212

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Вера КАЛМЫКОВА

Вор. Зверь. Художник. Читатель • 216

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. К 100-летию Ю. В. Друниной.
Альберт Измайлов. «Я родом не из детства – из вой-
ны». **Искусство чтения.** К 100-летию В. П. Аста-
фьева. Александр Балтин. Вектор Виктора Астафьева.
Заметки постороннего. К 125-летию Л. М. Лео-
нова. Александр Захаров. Leonid Maksimovich. Замет-
ки ботаника о Леониде Леонове. **Рецензии.** Влади-
мир Спектор. Переступив черту добра и зла, войны
и мира... **Книжный остров.** Публикация Е. Зиновьевой • 224

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Харбин — «русский Китеж». Часть 12 • 244

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышки-
на** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-
библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Владимир РЕЦЕПТЕР

* * *

Блокада. Смерть чада.
Несчетный урон.
Стоять до упада.
Последний патрон.

И бредя о хлебе,
делиться куском,
чтоб рвать эти цепи
бесслезным рывком.

Не помня о касках,
под свисты свинца,
свезти на салазках
труп брата, отца.

Блокада. Блок ада.
Не пробуй реветь.
Война без парада.
Голодная смерть.

Бескровные люди.
Безмерна беда.
Мы все не забудем
ее никогда.

* * *

Говорить, подчиняясь беседе,
обсуждать что угодно, шутя,
умолчав о грядущей победе,
и мечтать о ней, будто дитя.

Жив мой друг. Из последних последний.
Только брал бы всегда телефон!..
Сообщенья, признания и бредни;
откровенья без всяких препон.

Диалог, пусть без рюмок и водки.
Русской речи блаженство и жар,
с общим прошлым, без привкуса сплетки.
Провиденья заботливый дар...

Владимир Эмануилович Рецепттер — поэт, прозаик, пушкинист, народный артист России, лауреат Государственной премии России. Создатель и художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге (с 1992 года) и театра «Пушкинская школа».

* * *

Запасайся терпением, старик,
запасайся терпением.
Все, к чему ты еще не привык,
прирастает значеньем.

Скажем, женщина ищет купить
либо то, либо это.
Ты лишь сможешь ее укрепить
самым яростным veto.

Жди того ли, другого ль хоть год
напряженно и стойко.
И Господь тебя не подведет,
но снята ль неустойка?..

Время круче любой из валют,
и дороже, и выше.
Жди да радуйся: ты еще *тут*,
словно в детстве на крыше...

* * *

Ты кормишь воронье
или подплывших уток.
Они свое вранье
считают кроме шуток.

Как телеболтуны
и телезавывалы –
воюющей страны
скулящие шакалы...

Здесь Нёвка, здесь при ней
стареющие липы;
и скрепы двух скамей,
и теплоходов всхлипы.

У птиц внезапный пир,
добыча без стараний.
У нас военный мир
и жизнь из ожиданий...

* * *

Жена моя — погода:
мгновенность перемен.
Гроза — ее природа,
мне с ней — бессрочный плен.

Она — утеха, ведро,
она — туман, дожди.
Мне то легко и бодро,
то гроздьев гнева жди.

За что?.. Зачем?.. Откуда?..
Ищи, ведь ты — поэт.
Из дня иль ночи чудо?..
Нет объяснения, нет!..

Жена, попробуй, свистни,
и — вот я, тут как тут.
Она — источник жизни.
Она — крутой маршрут.

Варяжка, русь иль грека?
Вседневная краса.
Иль часть того ацтека,
каким я назвался?..

* * *

Зачем мне показали Дон-Кихота,
которого не выпало сыграть?..
К чему мне эти страсти и забота?
И где копье и латы приискать?

И почему не рядом Санчо Панса,
чтоб посадить меня в седло верхом
на Росинанта?.. Где, кому достался
мой друг-слуга с мыслителем-ослом?

Прощай, гадальго. И прости, коль можешь,
внезапную и позднюю тоску.
Великой ролью ты опять тревожишь,
не прислонив к дверному косяку...

* * *

Зимородок — рожденный зимой.
А быть может, весной или летом.
В каждом случае он — заказной,
потому что расслышан поэтом.

Здесь родство, ведь слухач — водолей,
то бишь зимний, точнее — февральский.
Жди. И тяготы преодолей,
как когда-то артист Мамонт Дальский.

Слушай песни неузнанных птиц,
напевай живородные песни.
В Божьем храме склони себя ниц
и, вставая, душою воскресни.

* * *

Голые ветви на стылом ветру
машут, зовут дорогую пору,
ждут потепленья и лета,
зелени, радости, света.

Мост через Невку на вьюжном посту,
вьюжные люди идут по мосту,
напрочь забыв о простуде.
К нам, ежедневные люди!

Каменный остров, город Петра.
Не унывать наступила пора:
если не миру и счастьем,
то Рождеству и причастью.

Елена КРЮКОВА

ДОЛИНА ЦАРЕЙ*

Фрески

Что ты наречемъ, Василие преблаженне?
Наготою тѣла послѣдовалъ еси Христу,
мудрѣйшимъ юродствомъ прехитрилъ еси діавола,
сего связая пленицами слезъ твоихъ
и богатство нося въ души некрадомо,
вся Христова учения дѣломъ исполнилъ еси.
И нынѣ на небесѣхъ ликуя,
непрестанно моли Христа Бога
спасти души наша.

*Мѣсяца Августа во 2-й день.
Служба святаго блаженнаго Василія,
Христа ради юродиваго, Московскаго чудотворца.
На стиховнѣ стихиры, гласъ осьмый, подобенъ.*

КОЛЯДКА

— Я спляшу вам мою жизнь, да она, глянь, кончается, держись, воском пламенным по свече сползает. Я сам горячий ветер, посреди разбитых створок перловиц, на сыром песке, стою, а ведь уже снег выпал, да что там, небесный потолок рухнул, и стеклянные осколки все, все наземь посыпались. Отломки. Прозрачные. Страшные. Режут ножами. Стекло, оно такое: морозом ожжет и надвое разрежет. И та половина, где твой рот и нос, будет орать, сквернословить и дышать. А нижняя, где срамное твое величие замирало, смешно и бесчестно, и подло предавало, и извергало боль и грязь, — молчать будет, вздрагивать будет, содрогаться. Ты обречен! Человека раздвигать нельзя. Вот он родился святым, а помрет разбойником? Так не бывает! А вот как бы-

Елена Николаевна Крюкова родилась в Самаре. Поэт, прозаик, культуролог. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России, Издательского совета Русской православной церкви. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010), премии журнала «Нева» (2012), Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» (2014, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023), международных литературных премий им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017), премии им. С. Т. Аксакова (2019), премии им. Ф. И. Тютчева (2020), премии журнала «Север» (2020), премии им. Н. Н. Благова (2021), премии им. С. Сергеева-Ценского (2021), премии им. Б. Корнилова (2022), премии «Есть только музыка одна» (2021, 2022) и др. Публикуется в литературных журналах России и за рубежом (Франция, Германия, Болгария, США, Канада). Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

* Журнальный вариант.

вает: рожден разбойником, а погиб святым, святее некуда. Вы думаете, я всю жизнь мечтал быть распятым? Или саблями изрубленным? Или в петле повиснувшим, ногами суча? Ха! Да и не думал я так! И теперь не думаю! Не надо мне мученичества. Но кто же знает наш завтрашний день?

Я вижу, вижу тот день, белый горноста́й, синий василек. Так ясно, чисто вижу. Я когда гляжу в прошлое, будто кто предо мною стекло грязное, закопченное мокрой тряпичей вытирает, и вижу все, что за стеклом, и вдруг р-р-раз! — и нет стекла, один воздух синий, толща времен, и дрожит, а я рыба, рыбка малая, костлявая, я в той воде свободно, вольно плыву. Зимний день! Зимка наша! В зиме, как в белом яйце — вся наша Русь. Иду по рынку! Людишки вчера торговали, сегодня торгуют, завтра будут торговать. А как бы мы жили без вечного торжища?! Что бы грызли, кусали, что бы пили жадно, поперхиваясь, плюясь, в кашле сотрясаясь?! Бочка вон перевернутая... рассол на снег вытек... на снегу и помидоры разбросаны: там, сям, — кровяно-алые, я-то давно не жрамши, вот бы на колени встать, морду во снег окунуть, к тем помидоринам протянуть — и завять, и зубами вцепиться, и глотать наслажденно, забвенно... Но нет. Дальше иду, сквозь зубы свищу. На меня народец оглядывается. Взглядом то ожжет навроде плети, то припечатает, то обласкает, а то поцелует. Глазами, да, можно и обнять, и расцеловать. На то они и глаза; еще наши праотцы молвили про глазенки так: зеркало души. Зеркало!.. Дед мой, едва помню его, ко Господу отошел, когда я еще, карась малой, на животе да на карачках по избе плавал, бормотал так, смешно языком заплетая: зерькило, зерькалишко. Потом снимет с головы тяжелый железный колпак да в него глядится; гладкое железо, ровно озеро, дремучий лик отражает. А в книгах, ветхих и блаженных, на страницах, что под пальцами осыпаются высохшим сладким, изюмным печивом, начертано: ЗЕРЦАЛО. Меняется язык; то истлевает, то на костре сгорает и паленым воняет, то рождается в муках, продирается сквозь лозунги и проклятия, пробивает штыком и копьём кровавые плакаты, летит над новым, неведомым снегом.

Вот и я так же в тот день: по рынку не шел, а летел. Лечу, сквозь зубы свищу! Баба меня из-за прилавка увидала, прозрачная пленка, осыпанная снегом, у нее с товара сползла, с рыбоньки, в рядки разложенной, речной царицы глубоководной: пред бабою той сомы лежали, уже замерзлые, сазаны золотые, осетры диковинные, остроносые, в костяных древних колючках. Издалека торговка, видать, в Москву примчалась, с Каспия, а может, с Енисея, а может, с реченьки Суры или еще с какого царского водоема. Один сазан с прилавка на хвост вскочил и в пляс пустился. И я ему на снегу вторю, подплясываю. Ноги вместе составил от холоду, вроде как раздвоенный рыбий хвост! И на хвосте, выходит, подскакиваю! А баба ручонками сытыми, красными пальцами-сосисками, закрыла лик, беззубый толстый холодец трясущийся, и вопит: уймите! Выкиньте отсюда бродягу непотребного! Что он тут творит, голый нахал! Не житье уже совсем от этих пьяниц! И то, требуют им беспрерывно подать! Сидят на снегу, ноги скрючив, брови домиком, щеки послунявят, будто плакали давеча: подай, подай, попадешь в Рай, а кто не подаст, попадет прямиком во Ад! Ступай прочь!.. — завизжала, схватила стерлядку с лотка и машет ею на меня. Вон! Вон отсюда!

Все сазаны живенько, веселясь, с лотка у бабы попрыгали и улеглись сияющим живым, рыбьим венцом вокруг моих голых ног. Я глядел на безумную рыбу, баба орала на меня, а вокруг нас уже месила дышащее, парное зимнее месиво изрядная толпа, все колготились, бушевали, качались маятниками, я, голый бешеный царь, без имени-рода-племени, возвел на людей глаза, и вдруг за ними, далеко, на расстоянии птицы, над безбрежной водой летящей, аж башка моя закружилась, то ли во времени умершем, то ли в больном и хриплом грядущем, а может, и в празднике настоящем, я увидел.

Я узрел ее.

Рыбы, мертвяками лежащие на резучем снежке, встали, как во сне, и медленно, важно, дремно стали водить вокруг меня хороводы, и морская ли, речная влажная слизь капала с алых плавников, голубых ртов, медно-радужных, размеренно, обреченно дышащих жабр на прожженный золотом, грязью, сапогами и валенками военный снег. Почему убитая жизнь оживает? Можно ли оживить убиенного? Можно ли воскресить опочившего?

Аще яра зима, но сладок Рай, болезненно труждаться, но блаженно восприятие.

Я глядел поверх голов. Там, далеко, на краю видимого и слышимого света, на краю мною не прожитого времени, стояла женщина.

Изрезать бы зрачками широкую даль! Изувечить ее, искромсать, отбросить! Ненужным мусором в белой зимней топке — сжечь! И сократить между нами расстояние. Мы все передвигаемся в пространстве. Самолет над нами летит, белая железная, утлая утка. Вот-вот рухнет. Подобьет его кто с земли, взорвет ли кто изнутри — а людям уже все равно: исследуют, обследуют, наследуют, а на самом деле не верят ни во что и не знают ничего. Так, думают, целитель Время все залечит, все крепко забинтует. И рану не узрит никто. Не подкопаешься. Марля к лучезарной крови навеки присохнет. Отдерешь лишь с диким воплем: а-а-а-а!.. пощади!..

— Пощади, — вылепил я тихо холодными губами сквозь все волосяные зверьи заросли на лице моем, — узри меня.

Ветер взвил ее далекие спутанные волосы, мотал, крутил, и я с трудом различил: они густые, когда-то, века назад, были, верно, молодыми и золотыми, а нынче все исчерна-седые. Это не метельная белизна. Серый пепел. Голова сожжена горем, лютым приговором. Я знал каким, но сам себе не говорил — сам себя от внезапных, стыдных слез на ветру — берег.

Сам себе берег... сам себе оберег...

Обернулась. Все как я хотел. Намолил.

Я закрыл себе дрожащую нить рта голой ладонью, и под огненной кожей пополз стланик бороды, вспыхивала колкая дрожь усов, и мои стриженные, видать, в иной жизни власы хлестали меня по впалым коричневым щекам: я превратился в живую кору дуба, в слои и голые зимние струи переплетенных веток, в забытый птичий крик. Вон она, птица, парит высоко над рынком, над нашей судьбою.

Женщина с голой простоволосой головой, босая, стояла на дальнем берегу застыло, глядела на меня. Я только угадывал, что — на меня глядела.

Может, она глядела на птицу в небе.

Птица вмиг обратилась в зимнюю стрекозу и резко, стремительно стала падать вниз.

Я голову задрал, не отрывал от птицы глаз. Я весь перелился в зрение. Стрекоза падала. Стальная. Сумасшедшая. Ее кто опоил? Ее-то зачем подстрелили? Подранком не оставят: широкие прозрачные крыла распахнуты на пол-Мира, и застрелить пол-Мира — да как делать нечего, если оружие у тебя имеется.

А когда железная стрекоза уже приближалась к земле, ко всем нам, неслась на нас оголтело, я с ужасом понял: и не стрекоза, и не птица, а крылатый человек, крыльев полоумный размах, он все ближе, а весь рынок пьяные песни поет, кто видит летящего, а кто не видит, падай, мол, мужик, на здоровье, все видней и ярче его лицо и руки, и на крыльях горит его лицо, и живот горит лицом, лицо его везде и всюду, все его тело, что жестоко обнажает молчаливый ветер, горит слепыми и зрячими глазами, он сам — одно чудовищное Око, он видит телом, он видит ладонями, умоляюще повернутыми к равнодушному рыночному многолюдству, он глазами кричит, он глазами взывает, взывает, молится бесчисленными глазами; он многоочит, и я впервые вижу такое

чудо, я о таком только в книгах толстенных, обтянутых телячьей, бараньей и свиной кожей, читал.

От земных на Небесная помыслив и делом совершив, красная Мира сего во уметы вменил еси, Христа ради юрод быв на земли, терпением и жестоким подвижением сын света показался еси и в Царствии Небеснем светло зриши Святую Троицу, преблаженне Василие.

А никто не увидит. А никто не заплачет!

Я плачу, я.

Стоял я и плакал.

А быть может, вот буду стоять я и плакать?

Времени не стало. Женщина, там, далеко, босая, на снегу, сделала шаг. Клянусь: она сделала шаг ко мне. И ветер утих. И сделала она шаг, и одним шагом перемахнула сугробы, церкви, визги, причитания, корзины, мешки, гробы, бомбы, пули, рыболовные сети, россыпи облепихи, копья, яды, царские палаты, больничные каморы, дикие горы и Время, что нас разделяло.

И оказались мы с нею, верьте не верьте, да мне вовсе и не нужно, чтобы вы верили, лицом к лицу. И — глаза в глаза.

Она схватила меня за руку, и я чуть не отдернул руку и чуть не завизжал от невозможной боли: будто руку сначала пучком огня, глумясь, ожгли, а потом топором отрубили. И кровища хлестала неостановимо. Я глядел, как хлещет из меня кровь: живая, моя.

А простоволосую это ничуть не волновало. Она глядела на крылатого человека в камуфляже, что резко и страшно падал вниз. Моя кровь заливала наши ноги и снег вокруг, я косноязычным шепотом пел древнюю молитву, плел языком, заплетал мысли в косицу, плыл глазами ввысь и вбок, а наш брат, человек, летел к земле, чтобы в землю воткнуться, чтобы среди людей — не выжить, а там, в земле, жить, в земле — собой — навечную дыру выжечь.

— Давай поможем... поймаем...

Я вытянул вперед целую, счастливую руку, из отрубленной несчастной кисти хлестала неостановимая жизнь.

Она тут же, на глазах, становилась смертью и заливала снега, снега, льды, льды, предательски скользкий металлический наст, ледяные ромашки, розы, пионы и колокольчики, что, дрожа и звеня на морозе, расцветали у нас под ногами, затягивали инистым узором нам щиколотки, икры и ступни.

— Не надо, — шептал нежный голос рядом со мной, вплеся перлами вьюги в мою кудлатую медвежью бороду. — Разве ты не узнал, кто это?

Крылатый не мог крыльями шевелить, они уже не махали, а только вздрагивали. Все быстрее катился живой камень с неба. Я уже хорошо мог разглядеть лицо. И когда я сполна, до мельчайшей черты, до самого малого алого плавника и медленно, тяжело воздымающихся жабр разглядел его, я вскрикнул, и огонь моего крика прожег золочеными пулями виски, лбы, черепа всех живых, что слонялись по рынку, покупали, ели, пили и пели, и все завопили вместе со мной ужасным эхом и рухнули в снег — кто на колени, кто на живот, кто навзничь, — ужас изловчился и обнял всех, сразу, разом, превратив в одну дрожь, в один стон, в один скрежет зубовный: это я сам летел с небес вниз, к земле, чтобы насмерть разбиться.

Я отразился в самом себе.

Я зеркалом своим стал.

«Ах, зеркало, зеркало проклятое», — невнятно шептал я, а может, это мое зеркало шептало мне, ставя на сердце моем клеймо неотомщенного зла.

Я сейчас разобьюсь, подумал я ненавидяще, и кого я ненавидел в тот миг, я бы не мог сказать. Неужели человек, переступая порог гибели, перестает мыслить? Чуть

чужое дыхание? Наслаждаться любовью и едой? Я был голоден, я хотел жить, а мне поднесли на зимнем блюде смерть. Настоящую. Не прошлую, не будущую. Я есмь здесь, и я сейчас, и кто мне руку отрубил, и кто в камуфляж нарядил? Где Мирь? И кто эта зимняя босоножка, зачем она? Я знал ее раньше. Я просто имя забыл.

Я подлетал к земле, голый, и я нагишом стоял на земле, задрав башку, повторяя распяленным ртом разинутый в крике рот еще там, в синеве, летящего меня.

Я хотел выкрикнуть: как твое имя, родная?! — но земля слишком быстро, хитро выгнувшись самым жестким своим, ледяным боком, коварно легла под меня, и я сначала ударился о нее, потом, дрогнув всем длинным нагим телом, вошел в нее, она раздвинулась, как бабьи белые, холодные ноги, и вместе с ней разошлись в стороны черви и личинки, кроты и ласточки, пчелы и корни, кости и хитиновые панцири, обломки мрамора и распиленные колонны, расколотые в дыму злобы иконы и навек засохшие в мисках краски, яйца динозавров, угольные пласты, скрученные в медный нервный ком струны — скрипки ли, рояля, сиротской бродячей гитары, — расселись могилы, восстали гробы, полетели, клубясь и кувыряясь, Херувимы, Серафимы и Архангелы, полетели чирки и вьюрки, воробьи и голуби, колибри и павлины, а земля подо мной разламывалась все глубже, все бесповоротней, разламывалась влажной гигантской ковригой, и внутри земли верещала погибель, стонали разрушения, металась катастрофа, и из самой глубины, из беспросветной тьмы, куда никто и никогда не заглядывал, ни Бог, ни даже диавол, поднялась последняя, самая неисходная беда, страшнейшая людская придумка: на ней люди жили, на ней ели и пили, и да, на ней пели и танцевали, друг друга целовали, — а как зовется она, я, в землю по горло, по макушку вошедший, уже хорошо знал, я вспомнил имя.

В землю я воткнулся один. Один я летел под землей. С изумлением понял: в земле тоже можно лететь, как над землей, никакой разницы. Расседалась под моим пылающим телом черная земная лава. Ширилась трещина. Я чувал, что трескаюсь сам, как переспелый плод, из меня кровью вытекает сок, жизнь, сон.

А она там! Там, на земле! На снегу!

Поверх моего конца!

Оборвался...

Что остановилось? Куда обернулось? Как застыл гудящий, скрипящий остов? Я разрезал нагими телесами землю надвое, как пирог. Я выскользнул из нее, вышел с другой стороны бытия. Две половинки горячего хлеба разорвались. Я летел среди звезд. Рядом со мной радостно летела эта, босая.

— Как твое имя?..

— Узнаешь в свой черед.

Мешковина ее нелепого, нищего платья развевалась, затмевая иглы звезд, я хотел читать звездные письмена, но не смог, передо мною все время моталось в прогалах угольной густоты ее светящееся лицо. Я опустил глаза. Кто забинтовал мою культю? Кто успел? Или это я сам успел? Куда, Господи, я успел? Напрасно я здесь? Или нет? И как зовут меня, меня? А надо ли, чтобы все на свете имело имя? Может, без имени легче, проще... светлее?

— Ты...

Она беззвучно рассмеялась и закрыла мне рот холодной, межзвездной ладонью.

— А мы живы?!

— Не спрашивай, узнаешь — душа сгорит.

— Я мыслю, значит, я не умер!

Она, летя, схватила меня за обмотанную бинтами руку.

— Да ведь и я не умерла. Хоть я с тобой вместе летела. И вместе с тобой разбилась.

- Что же? Мы ожили?
 — Да мы, Василий, и не умирали. <...>

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. МЕДВЕЖИЙ СОН

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

— Эй! Василия убили!

Он падал, ему почудилось, слишком уж долго, чужой крик вонзился не в уши — в небо, что громадными злыми крыльями распахнулось за его спиной. <...> Смерть поразила его и вышла навывлет, и он еще успел подумать — как же так, я ей не понравился, она покинула меня, вырвалась из меня, — и он падал, падал странно, летяще, раскинув руки, повторяя размах крыльев за сведенными судорогой лопатками.

Сбоку, впереди, сзади, сверху и снизу кричали. Крик разросся и превратился в шар, покатился по полю. Поле давно взрыли, вскопали разрывами, расстреляли, пригвоздили к подземной тьме. Мысль сверкнула древней молнией: вот и теперь стану землей. Землей станут все, ответил на вспышку неведомый грозный голос: извне или изнутри, он не понял. Лететь вниз можно так же медленно и бесповоротно, как и вверх. Вверх-то он летал, и летывал частенько, и совершенно не боялся беспредельного взмывания над смертным жалким Мiромъ: полет ему был сужден, он это знал с рождения. Что есть рождение? Рождество? Рождество Твое, Христе Божие... Он, летя вниз, в землю, вспомнил веселую колядку, он же сам ее и певал, бегая с ребятишками босиком по снежку, режущему ступни-пятки острыми рыбацкими ножами; мазанки белыми вареными яйцами блестели в чистой, искрящейся тьме, алмазы в сугробах было хоть собирай — девчонкам в подол, мальчонкам в ушанки, — и, несясь по колючему яростному снегу босыми ножонками, в подвернутых портках, в накинутой на домотканую рубаху шубейке, зыкая глазенками на долыса обритых пацанов и девчонок сопливых, носы кулаками утирающих, он вдруг понял: да нет, не на поле боя его убили, это он летит там, высоко, под звездами, в железном бочонке, самолетом прозываемом, и стрела Божия в бок самолета воткнулась, так втыкается на осенней охоте пуля в жирную утку, утка жить хочет, а вот ее убили, и надо понять, мальчонка ты глупый, никчемный, — всех убивают, все неуютны, все убитые становятся святыми.

Не стоять тебе на столпе! Не упираться усталыми подошвами, шершавей наждака, в ледяной красный кирпич либо в древняный сырой настил! Не столпник ты! Ты — летящий в небесах нахал, наглец, жестокий воин и полетишь теперь внутри земли! И оттуда ничей голос не донесется, и твой тоже! Забудь про голос! Он — не слышен! Сцепи зубы! Стисни губы! Пусть кровь нутром хлещет! Заливает тебе печень, кишки, селезенку, жадные до жизни потроха! Всех взорвали! И тебя тоже! Не уберегся! Не спрятался в нору! А еще хрипишь колядки! А в рот тебе вползает глина! Втыкаются белесыми щупальцами коренья! Вкатываются угли, железяки, личинки, черви! Последняя жизнь в тебя земляной кулак сует, да прямо в зубы!

И выплевывая землю в ее подставленную тебе под подбородок глубокую черную чашу, ты все равно пел, хрипел, сопел, выталкивал из себя самое первое, самое кровавое, кровавей пуповины, то, с чем ты появился на свет.

*...Коляда, коляда!
 Наступили холода!
 Святки ныне, Святки —
 Звездные колядки!*

*Мы-то звездочки с небес!
На поляну пали, в лес!
Прикатились к избе —
Песня Богу на губе!*

Паук, ткач зловредный, крестом на спине пугающий, откатись. Я не твой! Не твой!
Паук, а ты в земле ютишься, в траве ползешь или на крыше звезды ледяные наблюдаешь?!

Паук, ты хрип. Ты земной оси скрип. Нет. Отзынь. Скрючься и сгни. В пепел. Это я земная ось. Меня воткнули сухим мертвым посохом в мою землю родную, а я расцвел деревом. И шумлю на ветру! И падаю, падаю!

*...Громко, звонко мы поем,
К вам любовь-любовь зовем!
Дай колбаски, пирожка —
Жизнь мала, а не долга!*

Ты понял, насекомое, мала, а не долга. Ой нет! Ошибся я! Долга, а не мала! <...> И все не зря... Слышишь, паучина! Не зря!

*...Вы живите много лет,
Смерти не было и нет!
Не помрете никогда!
Коляда... коляда...*

...Еще никто из живых, живущих, падая в смерть, не удосужился распевать зимние колядки. Во весь голос. Во весь предсмертный хрип. Земля — самолет. Его подстрелили. Прострелили. Что делается со зрячим сердцем, коли оно узрит непоправимое? Я хочу все, все поправить! Чтобы никто и никогда не смел нас унижить, расколошматить в пух, вспороть ножом изошренной, жгучей лжи?! А еще за то, чтобы мы — не стали — железными! Чтобы мы — машинами — не стали! Чтобы не звякали наши сочленения, винты-болты, шурупы и шестеренки! Чтобы мы, раненые, шаг вперед — а за нами — полоса крови живой, струящейся! А не струя вонючего машинного масла!

...Я не масло для танка. Я не шуруп. Я человек. Я человек.

Пока еще — человек.

Пока — это значит навсегда.

У меня уже нет времени вам, люди, толпа моя возлюбленная, все объяснять. некогда молиться, и чтобы вы за мной вечные слова повторяли. Слово теперь для вас ничто. Ничто и жизнь. Да, жизнь превратилась в ничто. В пустоту.

Нутро разворочено взрывами, болью, безумием.

Валюсь в пустоту. Ноги задраны выше головы. Падаю. Падаю!

*...Не помрете никогда!..
Коляда... коляда...*

Да. Никогда. Яростно-точное слово, безумное, теплое, жарко шевелящееся за пазухой, никогда не мое, навсегда мое. Я с ним ухожу, ввинчиваюсь в землю. Под красными башнями, алыми звездами, алыми снегами, киноварными крестами. Видите?! Видите?! Храм мой красный! Храм Покрова! Отсюда, из-под земли, видать едва! Там

звонят. Надо мной?! Я не просил панихиды! Я еще поживу! Я и в земле буду жить! Я всех обману! Я убит, но я не умер! Вот что самое дивное! Для вас — загадка! Для меня — глоток смеха!

...Не помрете никогда...

Кто из вас помнит свое начало?!

А разве есть начало и конец?!

Разве все не крутится бесконечной, горячей радужкой Всевидящего Ока, то угольной, то чисто-небесной, и разве не все вы отражаетесь в Оке Зеркальном, и разве вы не видите, любимые люди, что скоро вы все помрете, да зачем тогда вот это все, все, что вы творите, все, над чем вы рыдаете, все, во что вы верите?! Око! Смотрите в него! Оно видит все! И то, чего нет и не будет никогда!

...Он родился, обычный ребенок, от обычной бабы, и никто не знал никогда его отца.

Он прекрасно помнил мать, он и отца помнил. Но никому никогда об отце не говорил.

И то правда, никогда не говори никому о тех, от кого ты на свет появился.

Его мать была сельской лекаркой, тихой знахаркой; в горах затеряны деревянные матрешки — избы родного сельца, крыши крыты соломой, у изб мохнатые башки, иной раз мимо окон протрусит волк, шерсть у него желто-серая, а крохотные зенки под скошенным лбом серо-желтые, золотые: волк поглядит — и ты нечеловеком вмиг станешь.

Зимой наметало сугробы до неба. Мать ведала много, да больше молчала. Он еще до рождения помнил ее молчаливой, собирающей целебные дикие травы в луговинах, заросших лиловым багульником, и на склонах крутояров. Тайга раскидывалась рыжей шкурой, медвежьей. Да, волки там таились, лисы шныряли, иногда мальчонка Василий, шально, один, отколовшись от матери, любопытствуя, забредая в тайгу, зрел барсука. Барсук жил в громадной норе под старухой сосной, крутосклон осыпался опасным обвалом, дерево изо всех силенок цеплялось нагими корнями за красную влажную землю. Глина, пропитанная кровью. Земля всегда исторгала из его глаз слезы, что во младенчестве, что в зрелых волчиных годах, и он шептал себе: глупо плакать над землей, ведь она обнимет тебя однажды. Брусника, капли ее кровушки среди сплетения листьев и стеблей. Темно-синяя грозная жимолость, куст клонится под ее сладкой, чугунно-грозовой, княжьей тяжестью. Облепиха, пылко, жадно обнимающая раскидистые ветки, она ловко прячется среди узкой серебристой листвы, чтобы ее не сорвали, не сожрали звери и люди. Медведь любит ягоды, он тоже человек. Мать называла медведя ласково: медведко, волка так: волченька, и все звери таежные у нее звучали колокольчиковой, гвоздичной музыкой: волченька, лисонька, барсучишко. А к тайге мать обращалась так: вставала на колени, протягивала сильные красивые руки к чащобе и говорила-пела, закрыв лунными веками очеса: лесушко бажонный, дай мне зверя поразить на пропитание родному сыночку моему! Таеженька бажонная, дай ягодки в туес, дай водицы из реченьки! Дай черемши пучок, дай медка дикого, диковинного из дупла, а вы, пчелоньки, не кусайтесь! И пчелы разлетались перед матерью веером, и зачерпывала она песочно-медный, густейший мед из дубового дупла, он небесным златом лился на землю, струился золотой тонкой нитью; и низко наклонялась она, сбирая остро-пахучую черемшу цвета болотины, и долго стояла в чаще с прижатой к плечу винтовкой образца Первой мировой войны, старательно и страдально сторожила зверя; и вот зверь выходил, показывал страшную морду свою, нельзя было глядеть в глаза зверю, его сородичем тогда бесприменно станешь, но мать глядела.

И Василий учился глядеть тоже.

Он глядел и уже рожденный, у него, живого, ведь торчали глаза подо лбом, глядел и нерожденный, и это было страшнее всего. Тела не было. Рук-ног не было. Разума под твердым костяным черепом не было, а он уже жил, глядел, любил.

Он рассматривал будущую мать сверху, слева и справа, снизу и сбоку, он видел ее сразу, всюду, и сразу наблюдал все ее времена, в коих она жила. Так он до жизни учился познавать жизнь. Он понял: жизни нельзя приказать явиться, и жизнь нельзя оборвать.

Однажды его мать нашла близ угольно-жуткой, дышащей мощью Ада барсучьей норы дощечку. С доски на мать, на тайгу глядел нежный лик. Мать запрятала доску за пазуху и медленно шла сквозь лес, сама себе казалась горящей шелковой нитью цвета слепящего жарка, тянулась бесконечно, скитально через распадки, овраги и увалы. Придя домой, мать огляделась. Как тепло, чисто в доме! Две толстенные, с коровью крепкую ногу, свечи стерегли раскрытую на любимой странице Книгу Жизни. В Книге написано все, что люди знали, и все, чего не знали, а Бог знал. Богов в тайге летало множество, а в Книге царил Бог один, да тысяча лиц сияло у Него, отовсюду Он глядел: отверни камень — Он там, погрузи сеть в ледяную реку — Он забьется в сети. На ржавой плахе подпечка стоял медный чайник, мать нашла его на речной отмели, рыбаки тут жгли костер, воду кипятили, чай хлебали и чайник позабыли. Где тех рыбаков теперь сыскать? Мать, когда в чайнике булькал и парил кипятком, молилась за рыбаков. Она молилась странными, забытыми, корявыми словами.

Праздники на селе играли замысловато, радужно. Обряжали друг друга в венцы из трав и колосьев, в поневы длиннее годового круга, обворачивали плечи волчьими жесткими, железными шкурами. Сельчане прикидывались больными, напяливали белые рубахи; белизна родильных пелен, белизна свадебной ткани, белизна смертного савана. А кто одевался Звездным Жителем, брал в руки красные цветы — маки, жарки, полевые гвоздики, — осыпал нарочно-болящего теми цветами, обливал живою водой из стеклянной четверти. Вопил оглушительно: «Вста-а-а-ань!» И якобы мертвый вставал, широко распахивал глаза, улыбался робко, обнажая зубы, а как беззубый. Вокруг на земле сидели девки и громко, взалхлеб пели: ай, жизня! ай, любовь! породися вновь да вновь! Ай, судьба! Ай, краса! Небеса, небеса!

Старики курили. Звездные Жители смеялись звонко, будто зимние алмазы размашисто рассыпали. Костры горели сильно, мощно, наваливалась медвежьей тушей ночь, забивала черной шерстью глотки, глаза, занавешивала лица. Про Бога, учившего про любовь, знали-помнили все, да старики сквозь дым, прикрывая морщинистые воспаленные веки, хрипели: помни про Великое Небо. И про Великую Землю.

Мать Василия помнила свое имя, да часто забывала. Она рано начала терять словесную память, зато память извилисто льющейся внутри, по ее потрохам, крови все разгоралась, причиняя ей боль, особенно ночами. Иногда кровь начинала в ней бормотать, пророчить. Мать Василия научилась читать письма крови без слов. Кровь подавала ей знаки. Однажды женщина раскрыла рот и назвала себя по имени, а ей почудилось, не голос, а рык зверя окликнул ее. Марина, выдавила она из натужной глотки, Марина, она пыталась вспомнить, какая же далекая, заоблачная святая, из тех, что рисовали на еловых досках и выцарапывали на бересте, это имя носила. И эхом ей повторило дальнейшее лесное рычание: Ма... ри... на... — и она закрыла уши руками и сидела так долго, не отнимая рук.

Женщина предназначена родить. Она не хотела идти в лес. Грани стакана горели, просили ягод. Жимолость, брусника! Туес валился с лавки. Корзины зазывно выставляли плетеные бока. Солнце высоко горело, оранжевым глазом сбитого масла,

в сметанно-белом небе, и тайга под лучами стелилась колючей, жесткой рыжей шкурой. Марина подхватила туес, туго подпоясалась, дунула на бесконечно горящие у толстой старой Книги витые свечи, наложила на себя крест, улыбнулась и шагнула через порог. «Не ходи, не ходи!» — кто-то тихо шептал в ней, словно бы говорящий робкий барсучонок, полосатый старомудрый бурундук. Она вошла в тайгу и шла по тропинке, ее протоптали сельчане. Ей было страшно и прекрасно. Никогда еще ей так страшно не было в тайге.

Она ступила ногою в лапотке на поляну, румяную от изобильной брусники. Сначала нагнулась и собирала нагнувшись, потом присела на корточки. Сзади послышался громкий хруст. Сломалась ветка крупная, сухая. Марина обернулась. Из-за лиственницы вышел мохнатый, черный, огромный человек. Марина два-три долгих мига спустя догадалась: медведь.

Она хотела бежать, да ноги налились железом. Приварились к теплomu, травному колену земли. Не надо! — хотела крикнуть, да ветер закрыл ей уста теплой липкой, брусничной ладонью. Значит, смерть моя явилась, молча сказала она себе, понимая, что вот они, ее последние слова на Великой Земле. Медведь вперевалку, в рост, тяжело ступая на примятую траву могучими, как гроззовые облака, задними лапами, шел к ней, неуклонно, неостановимо. Подойдя близко, он выше вздел передние лапы, и Марина увидела слишком близко от себя блестящие на солнце, длинные, как жизнь, угольно-черные когти. Сейчас лапой играючи махнет и кожу мне с башки разом сдерет, думала она, а мысли дымно рвались, слова кровили и разлетались красными брызгами, раздавленная брусника стекала по щекам, по белым плечам, они заголялись, торчали из измятой ткани, колени подкашивались, гроза надвигалась, ее уже ничто в мире не могло остановить. Она не запомнила, падала она на живот, на бок или на спину перед зверем, а он на глазах превращался в дикого человека, мохнатого, бродячего, неприкаянного, злого, нежного, убивающего, умирающего, воскресающего. Когда Марина упала, он одной лапой легко, будто она была пушинка, перевернул ее с живота на бок, с бока на спину, и вставши на все четыре лапы, наклонился над ней, уставился на нее, глядел долго маленькими, широко расставленными, красными ягодами-глазами, и когда кудлатый лик придвигался ближе, все ближе, ее закинутое лицо опахло из пасти невыносимым жаром, словно бы чрево земли разъялось, и оттуда вырвался сноп горячего, довременного воздуха, тверже охотничьей ладони, страшнее пули, впившейся в живую, взорванную болью мясную мякоть.

Время сжалось в кулак, в смешной, полный воздуха и пустоты гриб-дождевик. Время лопнуло, на его месте оказалось ничто, сладкое, как древняя синяя жимолость. Лапы черного огромного медведя укрыли ее звездной траурной парчой, струящимся крепком, таким в избах бабы при покойнике, во гробе лежащем, закрывают тусклые, с шелушащейся амальгамой, родовые зеркала.

Тайга смешала заполошным варевом день и ночь. Прямо в центре необъятной ночи Марина разлепила глаза и губы. Перед ней лежал медведь. Спина его возвышалась тяжелым угольным холмом. Лапы он сложил кольцом, сквозь них можно было пролезть и уползти в мохнатую горячую, душную нору, под его земляной, зимний живот. Лето ли, осень, зима? Все бурлило, клокотало. Времена радугой вставляли-изгибались пред румяным потным лицом Марины и падали в дышащий пьяной черемшой овраг, за ее спину. Тело ее свело длинной судорогой; она боялась превратиться в железную стрекозу со слюдяными крыльями, и взмыть в холод и звезды, и навек улететь отсюда.

Марина неслышно положила тяжелую руку на теплый бок зверя, осторожно вpleла пальцы в ночную шерсть. Медведь не охнул, не застонал, не вздрогнул. Он слишком крепко спал. Труд жизни придавил его многоочитым небесным грузом. <...>

УБИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

<...> Василий уже научился ходить. Малютка, он бегал по всей избе в короткой рубашонке, Марина криво, на руках подрубала их красной ниткой, купленной у коробейника за грош. Василий любил сидеть у ног матери, когда она ему мастерила игрушку — из сладко блестящих надкрылий толстого изумрудного жука, из чудовищной кедровой шишки, величиной с добрую тыкву. Мать катала его по сельцу в санях, сама же их сколотила из лиственничных дощечек, сама же и раскрасила соком конского щавеля, ежевики и брусники, меловой мукой, красной и голубой глиной с берегов бурливой ближней речки. Василий заходил в смехе и от смеха вываливался из радужных санок, мать подсакивала и вылавливала его из искристого жгучего сугроба, как осетра из-под льда! И он хохотал у нее на руках! А она расцеловывала его в румяные щеки, и в подбородок, и в заолодавший на морозе лоб и смеялась сама: «Ах ты, ванька-ванька мой!.. Держись крепче!.. А я тебя не покину!.. Так домчимся до Рая!.. До Рая!..»

Василий вечерами, когда мать укладывала его спать, обнимал ее ручонками за потную сильную шею и тихо спрашивал: «Мама, а что такое Рай?» Марина медленно, ласково расцепляла руки сына, нежно толкала его ладонями в грудь под холстом рубашки, он падал спиной на мягкость ночного ложа — мать сварила ему царскую постель из деревянного корыта; дно корыта завалила душистым шуршащим сеном, выстелила беличьими и заячьими шкурами, сверху укрыла домотканой рогожкой, наволочку набила нежнейшей, кружевной шерстью ягнят, и так получилась чудесная ладья для еженощного путешествия по снам и видениям. «Рай — это, сыночек, такая небесная земля». Василий вздыхал прерывисто. «А разве бывает земля на небе?» Мать улыбалась тонко, цветочно. «Бывает. Или не бывает. Раю это все равно. Если даже и не бывает, Рай все равно есть». Василий соглашался с этой ночной песней.

Он просил ее: «Расскажи про Рай. Ты бывала там?» Марина опускала голову, и подбородок ее касался яремной ямки. «Конечно. Всяк человек там бывает. Только не помнит, что он там был. А я помню. Рай красивый. Там всюду яблоки, ягоды, яхонты. Ярость зверя там превращается в тихую ласку, в умильное урчанье. Перловицы раскрываются сами, приглашая взять у них из их тайны, прямо из брюха великие жемчуга. Снег там идет теплый! Даже жаркий! Я там шла босиком по ковру, а ковер тот был сложен из живых барсов и диких котов, они разлеглись на земле, обнажили пушистые животы, и я, босая, осторожно, легко так по тем диким кошкам ступала, и они блестяли, сверкали туманными от ласки и медовыми от любви глазами, и обнажали в улыбках острые зубы, покусывали меня за лодыжки, терлись мне об икры лбами и мохнатыми щеками... Красота сама шла мне в руки! Рай, сынок, — это такое солнце с небес, бьет в грудь, в лоб, и жарко... и томно, и вольно... поднимешь глаза, а солнце-то белым гвоздем в ночное, угольное небо вбито! Испускает светлые острые, танцует и крестит тебя широкими лучами! А всюду мандарины, лимоны золотые, яблочки прячутся в темно-зеленой листве, маслено листья блестят, плоды ветки гнут... любой срывай... ведь это Рай... А навстречу мне самой из райских кушей выхожу — я сама... я... мать твою...»

Василий слушал бормотание Марины над изголовьем и тихо, незаметно засыпал. Земной сон, это было то, о чем говорить не надо было, а только ждать, звать и предчувствовать.

Во сне мальчишке являлись звери и птицы, они спускались к нему прямо из Рая на невидимых, быстро трепещущих крыльях. Однажды прилетела птица с головою юной девушки. Дева-Птица раскрыла рот и запела Василию колыбельную. Она пела лучше, чем мать, и мальчонка протянул к ней спящие руки и выдохнул: люблю тебя, родненькая, ты моя молния, еще ударь!.. еще спой!.. Дева-Птица держала в когтях

два сияющих яблока. От них исходил медвяный и мятный дух. Одно яблоко вывалилось из дрожащих когтей, укатилось под лавку. Утром Василий, проснувшись, яблоко нашел и съел. Сладкий сок тек по губам, по шее, по ключицам.

Однажды мать, гуляя с Василием по сельскому звонкому рынку, остановилась, замерла около охотника, что на вытянутых руках держал шкурки соболей, горностаев и куниц и тряс ими, зазывая, завлекая. Марина во все широкие коровьи глаза глядела на прокуренное, темно-медовое, деревянно-твердое лицо охотника, на искристые шкурки с белым и охристым исподом мездры, примечала: руки трясутся, и шкурки ходят ходуном, сейчас сорвутся, упадут в синий снег, звери оживут и бросятся врассыпную. Она зажмурилась и крикнула охотнику: «Продай! На шубу сыночку!» Торговец назвал страшную цену. Марина прижала ладонь ко рту. Отшатнулась. Оттащила Василия, лучезарно и жадно глядящего на раскосого зверолова. Придя домой, тихо и жестко сказала сыну: «Двинемся с тобой на охоту, сами, в тайгу. Санки возьмем, винтовку, нож захватим!»

И Марина вскинула винтовку на плечо, обула катанки с обшитыми кожей пятками, засунула кривой охотничий нож за голенище, Василий обмотал руку ремешком, приделанным к расписным крошечным розвальням, и они побрели по узкой тропе, проложенной редкими людьми в диком снегу, сначала к реке, потом медленно, в сугробах увязая, шли вдоль реки, потом углубились в чащобу, где кедров в синей зимней вышине целовались с кедрами, где сосны плакали на груди у красноствольных сосен.

Как, когда выскочили мохнатые коричневые комья из-за сугробного стога, из белой ямины буерака? Три медвежонка раскатились по снежной таежной скатерти. Застыла Марина, винтовку опустила. Мальчик поднял руку, заслоняясь, как от солнца, от огромности зверя: на горе, на грех из берлоги выпросталась на волюшку алмазную необъятная медведица, хранящая внутри себя, в гулкой груди, под лохмами ребер и обвислого брюха, память о родах, о том, как детки ее появлялись на колкий лютый свет. Медведица увидела женщину и мальчика. Откуда силы взяла, чтобы, шатаясь, подняться на задние лапы — и пойти, пойти, высоко подъяв передние, грудью, болотным черевом, всеми когтями, жарко разинутой бешеной пастью, всей грозой-жизнью лесной на жалких, бесстыдных людишек?

Марина поняла: надо стрелять. Выстрелила. Мимо! Пуля ушла мимо, как и вовсе не бывала. Василий не шевелился. Он обратился в пень. Важно было выждать, прикинуться лапником тяжким, веткой обледелой. Стать всею природой, зимне обнимающей его и мать. Вот зверь; и он вышел навстречу им; и сейчас он на них нападет и их пожрет. А если они — зверя — убьют?

«Не убивай, мама!» — хотел он взопить, но ужасом воли загнал, затолкал крик внутрь, в пряжу кишок. И он знал: мать сейчас зверицу убьет. У нее просто нет другого выхода.

Я впервые видел смерть так близко. Марина выстрелила еще раз, и опять мимо! Она до крови закусил губу, я видел, как кровь медленно и темно ползет у нее по ледяному подбородку. Не убежать. Слишком вязкий снег.

— Беги!

Мать крикнула громко, так громко, что я на миг оглох. Она меня спасала. Я враз стал взрослым и всевидящим. Смерть дает тебе второе зрение; она дарит тебе горькую древность земли и владение Временем. Я тогда это не до конца понял, зато сильно и страшно почувал. Но я не стал убежать. Ноги мои стали железными поленьями. Лицо стало перевернутым рыбачьим котлом. В него можно было бить молотком, как в бубен или набат. Медведица, вопя, неотвратимой тучей надвигалась на мать. Марина выхватила нож из-за голенища. Выставила его перед собою лезвием вверх.

— Надо было, дуре, к древку привязать... копыце сладить...

Дальше я не разобрал, что она бормотала.

Два, три шага, и вот медведиха рядом с матерью, и незаметный, быстрый взмах лапой, и вот уже мать кричит, обливаясь кровью: медведица распоролла ей когтями щеку, шею и плечо, легко и хищно стащив с головы шаль, разорвав овечий тулуп и ткань платья под ним. Мать моя, с голой красной, разодранной грудью, заорала медведицы страшней и сама, в крови, двинулась на нее. Зверица выкатила красные глаза и застыла. И тогда мать обеими руками вцепилась в рукоять ножа и, хакнув, резко и глубоко всадила кривое лезвие в шерсть, в плоть, в космы, под ребра, во тьму.

Во звездную тьму зверьей жизни, неведомой человеку.

Мать знала, куда целить: она попала медведице в сердце.

Нам не понять сердце человека, а зачем нам помышлять о сердце зверя? Красный, толкающий кровь комок! Он бьется и бьется! Я зрел, как зверь умирал. Медведица еще чуть постояла на залитом кровью, утоптанном ее лапами и материнскими катанками снегу, потом пошатнулась и стала, как во сне, оседать в снег, ее задние лапы подломились, она рухнула на четвереньки, упала на бок, дрыгала всеми четырьмя лапами, а я бы поклялся — ногами и руками, так жутко, предсмертно она была похожа сейчас на человека.

Я не уследил миг ее смерти.

— Счастье, что в сердце... счастье, что сразу...

Мать, заливаясь кровью, села в снег около рухнувшей черной, шерстяной горы. Гладила ее по мертвому затылку, по загривку.

— Сынок... давай мне кровушку остановим... перевяжем...

На морозе я сбросил с себя шубенку, стащил меховую душегрею, потом нательную рубаху, одною ногой наступил на полу, двумя руками вцепился в холстину и потянул на себя. Крепкий холст не поддавался, не рвался. Марина, дрожа руками и окровавленной головой, выдернула у меня из рук рубашонку и зубами и сильными пальцами порвала ее на длинные полоски. Я перевязал матери щеку и шею. Она отсиделась, отдышалась, встала, выдернула нож из тела медведицы. Я отвернулся, не смотрел, как Марина свежует зверя. Потом она полезла за пазуху и вытащила из-за пояса маленький острый топор. И не глядел я, как мать топором рубит дымящееся на морозе мясо.

А когда я насмелился и посмотрел Марине в лицо, я увидел, что оно все залито слезами.

Слезы мешались с кровью, и стекали вниз, и таяли в шерсти тулупа, и скатывались на кровавой снег. Я понял, почему мать плачет.

— Мама! Они тоже умрут?

Я показал рукой на маленьких медведей, отчаянно раскатившихся по снегу черными шарами. Марина, прикусив губу, молча помотала головой: нет, нет, нет.

— Нет! Мы возьмем их с собой! В сельцо!

— А как мы их поймаем? Убежали они!

— Далеко не уйдут! Рядом берлога!

Марина накладывала красное темное мясо на мои санки и крепко приторачивала куски к сиденью и деревянной спинке пеньковой веревкой. Потом мы ловили медвежат. Приманить их нечем было, не захватили мы в тайгу ни кусочка сотового меда из погреба, ни жимолостевой ягоды из вареньева банки, ни застывших на морозе круглыми колесами и жерновами сладких сливок. Мы гонялись за ними просто так, набрасывали на них мешок, я пронзительно кричал: мама, а вдруг они кусаются и мне руку насквозь прокусят! — а мать, слабая от потери крови, падала на снег, и ползла по снегу, пятная кровью белизну, и смеялась сквозь нищие слезы, и вопила, и моли-

лась шепотом, и крепко, любовно обхватывала руками зверька, залавливая его, к себе прижимая, целуя кровавыми губами в нос, в мохнатые уши, зарываясь соленым лицом в спутанную, унизанную сосульками волглую, пахучую шерсть.

Марина потащила домой медвежат в мешке, а меня оставила сидеть близ санок, сторожить разрубленную на много кусков медведицу. Останки зверицы валялись поодаль, в снегу. Смеркалось. Снега светились в пугающе-синих сумерках княжеским перламутром. Матери не было долго. Целую жизнь. Я прожил жизнь, пока ее не было, и заснул на морозе, и замерз, и умер, и опять родился. Когда я родился, я мать мою увидел. Она, качаясь, шла ко мне в снегу. Шла по снегу. Шла поверх снега. Я не понимал, что она мне снится. Что может понять новорожденный? Я только что видел Ад, там убивали зверя, живого, красивого, мать маленьких детей мохнатых, там лилась на снег кровь моей родимой матери, и я болел ее болью, я кричал ее криком, и это ее, ее слезы текли по моим щекам в морозных Адовых приделах. И я так помнил Рай! Мой Рай! Я же родился, чтобы идти и идти в Рай, все в Рай и в Рай! И боле никуда! Назначено мне так! А кем, и не знаю!

И я, и я Рай мой тоже выучил на память! Все там знал! Там вода играла жидким яхонтом под глинистым красным обрывом; там полосатые рыбы-вьюны, если их выдернуть из воды, могут жить в избе в глиняном горшке, и можно низко опускать лицо над горшком и годами напролет следить, как туда-сюда ходит-плавает твоя живая мечта; там молоко ли, сливки застывают золотыми и серебряными слитками, и чтобы они растаяли, надо посадить их в печь в черном, как ночь, чугуне; там две толстых, закрученных змеиной спиралью свечи горят под иконой, как два рыбацких далеких костра на полнотном берегу; там коровы поутру мощною ребрастою, рогатой рекою переходят вброд голодное Время и входят во врата разнотравных лугов, сияющих красными жарками опушек. Мой Рай был смел и робок, он гладил меня по плечу, он подсовывал мне под ноги широкие лесные лыжи, похожие на разделочные доски — одна у нас в избе хранилась для лепки пельменей, другая, чтобы мелко и весело острым тесаком резать черемшу; Рай пел мне песни на сон грядущий и поутру — то голосом матери моей, то множеством птичьих дробных голосов, они речными перлами рассыпались вдоль и поперек по восстающей каждое утро из мертвых земле, и я непременно знал: земля родная это и есть Рай, мой хвойный Рай, я вдыхал его, целовал, крепко сжимал, как маленький кедровый орешек, в потном тесном кулаке.

Я жизнь в кулаке сжимал. Она была слишком любима мною. Я не хотел с ней разлучаться ни на миг.

Так я сжимал жизнь в зимнем холодном кулачонке, и краснели на морозе маленькие пальцы, и я бредил Раем, не понять было, в нем я или вне его, вспоминаю я о нем или живу в нем, и никто меня из него никогда не изгонит. Потом я сел на снег и стал мечтать о костре. Потом стал тихо засыпать, клонить голову на морозе. И хоть я был тепло одет, снаряжен матерью для дальнего в тайгу похода, мороз пробрал меня до костей, и стал я тихо замерзать, помышляя о том, что мороз — это просто сон, это только сон, и ничего больше, и вот он, Рай, рядом. <...>

ЦАРСТВО ОГНЯ

<...> Дым вздымался, вился, и клубился, и, танцуя, поднимался вверх серебряными кувшинками, перламутром дикого табака. Площадь курила трубку войны и все никак не могла накуриться. Беспросветную чашку неба опрокинул над Красной площадью Бог, он склонял в царстве льда и бурана всеслышащее ухо к человеческим далеким крикам.

— Царь!.. Где наш Царь!.. Страданием наелись досыта!.. Где воскресение?! Житие насквозь пройдено, от века до века!.. А разве ты воскреснешь?.. То умеет только Бог!.. Никто как Бог!.. Устали мучиться!.. За муки — отомстим!.. Да покажи, кому мстить!.. Не узнаем вражину в толпе!.. Укажи на супостата, да не обмани!.. Слишком много обмана развелось!.. Обман на обмане сидит да обманом погоняет!.. Разрушим обман кровью!.. Лишь кровью ложь ко кресту пригвоздить можно!.. Кровь — наша последняя правда!.. Истина!.. А что есть истина?.. Истина — вот она, в горсти у той девчонки, вон, у того костра!.. Стоит!.. Сиротка!.. Синеглазка!.. Видишь вон ее!.. В мешке!.. В рубище!.. А может, у ней истину — купить?.. А ты подкатись да спроси!.. За спрос денег не берут!.. Эй ты, девка... да, ты, в непотребном мешке!.. Почем истину продаешь?.. А?.. Не слышу!.. Что?!. За так отдашь?!. Что ты брешешь... так не бывает... все на свете, слышишь, все-все-все чего-то да стоит!.. Ну, давай, давай твою истину... беру... авось пригодится... да коли за так отдаешь... даришь, выходит так... ну валяй, дари, не откажусь...

— А ты что стал?!. Где острая сабля твоя?!. <...> Мы — сила! Мы — слава! Мы — земля! За мир на нашей земле — убьем!.. Любого, кто сунется... кто подойдет!.. Знаем мы ваш мир, вруны! Ваш мир — обман! Лишь ваша с нами война — чистейшая правда! А наша с вами война — святая истина! Тут мы сошлись! И батюшки не надо, чтобы нас на бой благословить!

— Рублю наотмашь!.. Режу... башку напрочь отсекаю... прямо в сердце целю! Такова участь! Таков уж человек на земле — стрелок великий, пуля и знамя насквозь прошьет, и лик на хоругви, и кольчугу, связанную из рыбьей чешуи, и княжий атлас, и розовое, цветочное сиянье зари! Где наш Царь!.. Зачем вы отняли у нас нашего Царя!.. У нас же был Царь!.. Был!.. Зачем вы убили его!..

— Зачем мы... мы сами... убили... его...

— А ты что, спасения хочешь?.. Думаешь, Царь тебя спасет?.. Сам учись себя спасать!.. Ах ты лжец!.. Не работаешь, а кланчишь денег!.. Палец о палец не ударил, а жаждешь сокровищ!.. Кровь твою сокровище!.. Топор твоя святыня!.. А Царь, запомни, он всего лишь человек... Обряди себя в красный атлас, в синий небесный шелк! Откажись от серебряного, соблазнительного динария, что тянет тебе мужик-бандит в смуглых кривых, грязных пальцах! Улыбнись и прошепчи ему, и пусть летит шепот от уст твоих нежнее беличьего пуха: воздадите кесарево — кесареви, а Божие — Богови!..<...>

Бабы нещадно друг дружку мерзлыми кулаками молотили. Визги и вопли ввинчивались в седой колкий воздух. Мальчишки, сцепившись руками-ногами, катались по площади, подобно зимней колючке, сохлону перекаати-полю. Древние деды замахивались слабыми руками и бросали друг в друга камни, вывороченные из мостовой булыжники. Булыжник в башку попадал — падал старик, кровью заливаясь, и пропадало под красным флагом крови его орущее лицо. Мужики друг друга наземь валяли, скалясь, заламывали друг другу руки, топтали друг друга тяжелыми гириями-ногами. А уронив на булыжники площади, садились на корточки рядом с поверженным, хватали его бедную голову обеими руки и били, били о камень, и опять брызгала кровь, текла на голубиный снег и нефтяной лед.

Как, хотел крикнуть я, разве друг дружку возможно вам уничтожать?!. Вы же все — народа одного! Мы же все — один народ! Человек человеку — хлеб! Да, родные, теплый хлеб, только из печи! Человек человеку — цветок! Даже зимний, сугробный, гробовой, ледяной... А вы друг в друга камни бросаете! И ждете — огня! Чтобы в бешеный костер палки просмоленные окунуть! А как возожгутся, с ними по площади побежать! На небо взбежать хотите?!. Ничего у вас не выйдет! На небо убийц не берут! Только праведников! И значит, вы, грешники, друг на друга понесетесь! <...>

Мысленно я все эти словеса уже кричал людям в лица, а въявь не мог и рта разлепить. Будто мне рот зашили белыми ледяными нитками. А разрезать нить некому.

И тут сзади нас, меня и простоволосой златовласой бабы, раздался гул: огонь шел стеной, огонь имел голос, он мог выкрикивать отрывистые, жалящие осами, бормотные слова. У огня было свое Писание. И я понимал: мы все его прочитаем когда-нибудь, сие безжалостное, пламенное послание Господа Міру.

Я смог только судорожно вдохнуть морозную сизую хмарь и тихо, хрипло спросить косматую Блаженную:

— Значит ли это, Блаженная, что огонь перельется во Всемирное Огнище?

Она покосилась на меня из-под бури волос зверьим пылающим глазом.

— А ты думаешь как? Огонь, раз запаленный, не умирает. Он бежит дальше по сучьям... по веткам и полным ржавой прошлогодней травы оврагам... пока великой пищи себе не найдет — и не вспыхнет могуче, не займется во весь оком! Ты слышишь, люди как озверели! Звери, слышишь, звери жалостливее, нежнее бывают: и к врагам, и к друзьям, и к тем, кто, ворча, визжа и бляя, сбился в родную стаю!

— А ты... ты же можешь... крикни...

— А я? Что я? Кто — я! Что — я — могу?! Против оскалившего зубы Міра...

И все же она нашла в себе силы.

Вскинула руки. Я знал: она так любила стоять, как Матерь Оранта, с высоко поднятыми руками. Только сейчас я увидел: мешковина на ее груди обгорела, будто она стояла во храме и свечку близко ко груди держала и пламя свечи ей мешок опалило. А может, в нее кто злобный бросил обмотанный горячей паклей камень, зимний огненный снежок. И прямо в грудь попал, туда, где у всякого человека нательный крестик птичьей лапой прячется.

С высоко поднятыми руками, на снегу стояла она, моя женщина. Я не осознавал тогда, что она моя; зачем мне было это знать? Такое знание не прибавляет ни сил, ни счастья. Всяк человек свободен. Он — ничей. Богов. И каждый человек — народ. Блаженная сегодня и всегда была мой народ. Весь огромный народ влез в нее. Все люди, что толклись и плакали, дрались и били друг друга на площади, молились и целовались, — это была она. Единая. Неделимая.

Сквозь обгорелую рыболовную сеть холста просвечивало ее тело. Я не испытывал вожделения; оно давно покинуло меня, ушло к другим людям, занятым трудом продолжения рода.

И моя женщина, очами светясь синее Оранты, ладонями сияя сильнее Херувима, воина Небесных Сил бесплотных, вздернув над головою руки, начала усмирять ссору, на всю площадь кричать о мире.

А вокруг бесились, с ума сходили огни, люди жадно возжигали новые костры и среди костров текли, притекали к ней, все к ней, а она врыта была в камень площади живым островом, и люди входили кораблями в заводи ее стонов, в закатную слепящую воду ее вскриков:

— Родные! Братья мои! Сестры мои! Мать моя и отец мой! Да всякий здесь моя мать и мой отец! Узнаю вас и во тьме, в крошечном волглomme мраке!.. Все на свете повторяется: и любовь, и роды, и вражда, все-все! Да кто же вас под локоть толкает, кто оскаленные зубы вам ядом насыщает!.. А если на колени кинуться в сугроб перед врагом?.. И взять его руку, и губами к ней, теплой, прижаться, и покаяться, и понять: вот, под тончайшей кожей в той руке, по перевитым жилам, кровь течет, и кровь та и сердце ваше омывает, и душу исстрадавшуюся вашу! Слушай вашу кровь! Кровь — это Бог! Недаром Он завещал Его кровь из чаши пить, когда вы, безумцы, к Прича-

стию подходите... Да, бой свят, коли он идет — за святое! Бой — в небе гремит, даже если косточки воинов истлевают в земле угольной, холодной, сырой!..

Блаженная передохнула, и я неотрывно глядел на седые, золотые пряди ее косм, что крутил ополоумевший ветер, на широкий, чайкин разлет бровей, на скорбно сложенные губы, на раздутые ноздри: она, часто дыша, ими ловила площадной воздух: гарь, ветер, смрадную вонь горелой бумаги и дух раскаленного железа.

— Нет вам Божиего закона! Когда вы сами будете умирать, вы поймете, что значит другому лечь под нож, что значит чужому оголить грудь, чтобы полоснули по ней огнем! Вражда... ненависть... месть... <...> Не жгите великие костры в ночи. Не проклиняйте друг друга. В поцелуе слийтесь, свет!

Зачем она им это говорит. Они же не слышат.

Она замолчала внезапно и страшно, будто ей кто на горло петлю накинуд и быстро затянул. Дышала еще чаще, еще безудержнее. Воздух ртом втягивала, глотала. Так пьют воду. Так, возжаждав смертно, едят снег.

Безумица. Бедная.

Я стоял совсем рядом, и потому я мог рассмотреть, как на морозе по-детски заплакала она: слезы золотыми искрами катились по впалым голодным щекам, лицо чернело от копоти, от дыма, от боли, которою все болели, а она всю ту боль, я видел, безропотно, молча брала на себя, на узкие, тонкие плечи и грудь, в нежные дрожащие ладони, и тяжело ей приходилось, да не было у нее другого пути. И я видел, как глубоко, словно бы ребенок после горького долгого плача, вздохнула она, и вот она вытолкнула эти слова, огненные, радостные, смиренные, тихие, навечные, родные:

— Любите... друг друга...

Неужели не внемлют? Никто и никогда?

Она снова выпустила этих Христовых, древних птиц в Миръ, а никто не услышал ее.

<...> Гул взвихрился, поднялся бешеной спиралью вверх, к ночному небу, ввинтился в россыпи звезд. Звезды, сестры наши, летели пулями, свистели. Косые глаза женщины наблюдали конец света, царство огня. Жар усиливался. Я не мог дышать. Огонь опалял ресницы и брови. Шкура на плечах моих затлела. Босая баба сделала шаг ко мне. Быстро, крепко обняла меня. Будто прощалась со мной.

— Господь храни тебя. Ты под крылом. Бедный, милый блаженненький. Шкура-то на тебе медвежья. Сын ты медвежий, я знаю. Грамоте умеешь? Начирикай перышком гусиным, что здесь видал-слыхал. Огонь я успокою. Я слово знаю. Огонь меня любит. Он меня слышит. А ты? Ты слышишь меня?

Я задышался в ее внезапных объятиях.

— Да.

— Любимая земля. Родина. Погибнуть не должна. Не может. Запомни. Запиши. Кровью запиши, коли чернило не добудешь. Миръ не казнят на плахе. Миръ выживет. Ты его спасешь. Царь наш его спасет. Да что там Царь! Народ. Народ его спасет. Помни! Наш народ. И больше никто. Ты и есть народ. Я народ. Спаси Миръ. Ты сможешь. Ты юрод. Лишь юроды, во все времена, спасали Миръ. Нарисуй внутри себя сначала гибель Мира, а потом его спасение. Так и будет.

Я сцепил худые голые мои руки на ее спине, страшно горячее под мешковиной, что нещадно, мощно рвал северный ветер.

— А я вдруг не смогу!..

Она все крепче, бесповоротней стискивала вокруг меня руки. Прижимала меня к себе, будто я и вправду был дитенок несмышленный.

— Сможешь. Я вижу. Я все вижу.

И я все крепче, безумней сжимал ее в кольце замерзших рук моих.

— А я почему же не вижу?!

Я почувствовал ее улыбку щекой, скулой, горячей шеей.

— Ты и не должен. Ибо ты делатель. Ты просто делай, и все. Делай и молись. Юродивое дело угодно Богу.

Она разжала руки так быстро, я и не понял как, когда.

Толкнула меня в голую грудь.

Шкура разошлась на груди, обнажился крест наперсный мой.

И она тоже рванула холстину; мелькнули молнией ключицы; высверкнул на морозе ярко-синий нательный крестик, бирюзовый. Бирюза саянская, наша, таежная. Меня на морозе жаром обдало. Я понял, кого напомнила она мне, ее коровьи, широко стоящие под высоким лбом глаза цвета неба в солнечный зимний полдень.

Мою мать. Марину.

— Ты...

Она взяла в пальцы бирюзовый крестильный крест, другою рукой схватила мой, приблизилась, крестики переплела. Мохнатый веревочный гайтан и мою тяжелую медную цепь. Тесно друг к другу прижала. Сжала в кулаке. Я снова слышал ее горячее дыхание. От нее исходил запах спелых яблок и черной смородины.

— Вот. Видишь. Да. Так. Это наша клятва. Наше соединение. Крестами — целуемся!

Разорвала переплетенные кресты. Ветер ударял ее в голую грудь. Бирюза ярко светила на смуглом обветренном, розовеющем на морозе теле крупной, бешеной ночной звездой.

— Уходи!

— А ты?! Пожар идет! Сгоришь! Вместе сгорим!

Она отступила на шаг. Ее босые ноги прожгли в снегу темные зверьи следы.

— Останусь тут. Усмирю огонь. Если вдруг что, не страшись. Улечу. У меня крылья. Там, за спиной.

— Где...

— Ничего не боюсь. Смерть мою узнаю в лицо. А пока она не пришла — я бессмертна. Я бессмертна, слышишь?! Пуля — моя. Огонь — мой. Нож и петля — мои. Голод — мой. Весь на свете смертный ужас — мой. И весь праздник — мой. И ты — мой. Ты моя жизнь. Мы с тобой ночным небом повенчаны.

Босая повернулась, ветер взвил ее густые перепутанные волосы пшеничным флагом, глаза сверкнули васильками, и я увидел за ее плечами, за лопатками, два прозрачных крыла, они дрожали, тихонько шевелились, перья по ним струились, вспыхивали и гасли, светились и истончались и опять небесной волной набегали, и я закрыл себе рот ладонью, глядел на крылья, и шепот сам выходил из меня и сам уходил далеко в горящее ночное поднебесье.

— Ангелица...

Она опять улыбнулась, и теперь я видел улыбку ее.

Это была не улыбка, а солнце во славе лучей. Лицо ее воссияло, я видел такое светило однажды в моем Раю. Свет ее лица катился в небесах и по земле, и я благословлял его безмолвно и радовался, что протянула она мне улыбку свою, как хлеб голодному.

ФРЕСКА ВТОРАЯ. ЦАРСКИЙ ПИР

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ну что, Красная моя Луна. Висишь надо мной, над моею бедной головой. Патлат я и кудлат, а все туда же. Гляди, Красная Луна, как иду по московским сугробам, по мостовым и обочь широких дорог, по кочкам и буеракам, проваливаюсь в ямы. Плох тот путник, что в яму не проваливался, а все по ровному-ровнехонькому гордо шел. И Москва моя нынче не такая, так тогда была, еще вчера. Непроглядна чернота за спиной! В заспинное Времечко не всякому дано оглянуться. Взгляд там утопает, ум плавится, как железо в кузне.

Иду по Москве босиком. Кругом новье, а я все такой же. Иду босиком, и железо, мраморное подземье и оголтелые вопли молодежи ложатся мне под ноги, тычутся под руки, под грудь. Благословения просят? Многого хочешь, юрод! Не понял, как изменился Миръ! И ты его обратно не перелепишь! Не сотворишь, каким он был и каким ты его любил!

Ангелица прилетела: к беде.

Хвостатая звезда посреди неба бесится — к горюшку народному.

Да ты тут еще, Красная Луна, в синем дегте туч торчишь.

Вся облита кровью, залита кровушкой твоя сковорода. Нет ничего ужасней. Заде-ру башку да гляжу тебе в рожу. Круглый красный лик. Глаза, нос и рот. Страх глядеть. А еще страшней догадаться: тебя, тебя сей лик отражает.

Знаешь что, Луненька-Луна алая? К небу приговоренная, зарей казнямая? Я скумекал. То не ты на меня из поднебесья глядишь. То диавол на меня глядит. Жив диавол на свете, да ведь и Бог жив. Оба — живы. И оба — нами — на земле — друг с другом — сражаются.

Диавол убивает тех, кто хохочет над ним.

Я шел и шел туда, куда ходить не надо мне было, да нельзя было идти никому: в Кремль. Переступить порог власти разрешено только во сне. Да то простому смертному. А я не прост. Нет! Не прост! Я же юрод. Мне — поперед всякого человека на земле — дозволено. Ибо я, Юродивый, жил прежде всякой наималейшей жизнешки на земле; я таился в камнях, по ним потом поползут гибкие гады; плескался в соленой теплой воде, лишь завтра в ней поплывут, заискрятся амебы; глядел со дна морского, где зарываться в древний песок, засыпая, станут трилобиты. Почему юродство впереди всей жизни бежало? Только ли потому, что юрод не просто зеркало Бога, а он себя пред Богом — никчемным зеркалом разбивает?

Тайну сию никто мне не открыл. Я ее и сам знаю. Изначально. В крови моей течет-струится.

Вот подошел я, пройдя все улицы бетонные и створы железные, к земляно-красной кирпичной стене. Кремль! Он. Знал тут каждую гордую башню. Постоял немного. Подышал ветром. Надо бы войти через Боровицкие врата. Открыты! Люди могут тут гулять, меж собой о том о сем балакать. Людей наблюдает царская охрана.

Подходит ко мне страж. Погоны на плечах. Рот сжат в тонкую нить. Каменный лик; неужто воздух вдохнет и слово изронит?

— Кто ты есть, босяк?

Я вздохнул шумно. Улыбнулся во весь рот, широко.

— Василий!

— Что значит Василий? Так просто — Василий?!

— Блаженный я Христа ради!

Страж онемел. Глядел на меня, на шкуру на плечах моих темную, медвежью, с прядами липкими, засохшими, на морозе инеем осоленными, на мои босые, в цыпках, ноги. Потом голову поднял и сердито засмотрел мне в глаза.

— Почему у тебя зрачки красные? Как у зверя? А?!

Улыбка не сбегала с лица моего.

— Потому что я нынче на небосводе зрел Красную Луну.

— Ишь! Луну! Красную! А сейчас-то белый день!

Да, денек был веселенький, лучистый, сплошной снежный праздник, снежные горюшки стояли впереди и сзади, один такой городок я безжалостно, нагло перешел вброд, порушил его голыми ногами, снеговые башни коленями да локтями расшвырял, а городишко тот, видать, детки возвели, да повторение точь-в-точь подлинного Кремля, вот башня Набатная, вот Боровицкая, вот Кутафья, вот Спасская. Из снега слеплены. Я разрушил, смеясь, негодяй, а и сам по весне снежный Кремль растаял бы.

Синева лется, лбы и плечи заливает! Небо ножом Солнца вскрыли, и синяя густая кровь хлещет! Прямо на наши затылки, темечки! Глаза в синь вонзаешь — а они в ней тонут, вязнут! Вмешивает синь нас, живых, в себя!

В Богородицын плащ — да чтоб не дышали, — как младенчиков, заворачивает...

— А ты, Василий, видать, бродяга нахальный в шкуре зальделой! Куда стопы направляешь?

— К Царю!

Страж сложил губы трубочкой и изумленно присвистнул.

— Фью-у-у-у-у! Эка хватил! К Царю! А выше не метил? К Богу, к примеру?!

Я все улыбался, и щеки мои от длинной улыбки сложились на морозе напряженной, застылой гармошкой.

— Так я и так уже у Бога за пазухой! И там сижу, и на тебя нынче оттуда — гляжу!

— Экий безумец! — Я видел, мое юродство начинало стражу нравиться; он решил поразвлечься. — А ты, безумец записной, что умеешь делать? Фокусы Царю показывать будешь? Или что получше?

Я решил говорить правду.

— Я вижу будущее. Расскажу Царю нашему грядущее. Близкое и далекое.

— Пророк, что ли?!

Он удивлялся, злился, сомневался, бегал по снегу глазами, соображая.

— Ты сказал.

— Ты сказал, ты сказал!.. Разговорчики — отставить!.. Ах, черт, а где эта твоя Красная Луна?.. Небо — синь, аж глаза выжжет... а ты — Луна, Луна...

Пока он шнырял зрачками уже не по земле, а по слепящей небесной голубизне, я радостно сел в грязный снег. Скрючил ноги. Подсунул под себя ступни, чтобы собой их согреть. Предсказания посыпались из меня, будто я был снеговое облако и щедро сыпал серебряным, сонным снегом будущего. Я тянул руки к громадной, уходящей далеко и высоко в небо белой колокольне, церковные окна со скрипом и лязгом отворялись, из них вырывалось древнее красное пламя; я издали успокоительно, нежно дул на него, как на великанскую свечу, и красный огонь тут же угасал.

— А мне, мне-то, юрод, попророчествуй хоть чуток!.. Мне-то хоть какую тайнишку открой!..

Я видел, страж хочет получить от меня доказательство могущества моего.

А может, он просто — хочет — будущее — узнать?..

— Изволь! Поведаю! Великий мусульманский хан вторгнется в пределы Руси. Война разгорится, заполохает на всю стонущую Русь и на все страны ближнего Западно-

го Торга. Запорожская Сечь вся ляжет от незримой отравы, и молчать будет выжженная невидимым ядом широкая земля, плодоносить не будет, и тот, кто появится там, мимохожий или с целью вожденной туда стремящийся, потеряет здоровье, от боли задохнется, упадет на землю, ребра будут вздыматься, как у лошади, павшей в бою. А после и жизнь утратит. Восточный каган на крылатой железной птице прилетит, скалясь, вторгнется в русскую исконную святость, станет зверствовать, животы разрезать крестом, глотки рассекать, лить в рот расплавленный свинец, и люди, таково мучимые, будут даже крика боли лишены, ибо перейден будет порог боли, а распахнутся двери небытия. Нет, не Сулхан-Гирей! Не Махмет-Гирей! Не Субудай! Иное имя будет носить! А вот наш Царь как воцарился — так тут я и явился пред ним, Блаженный Василий, в поте и в мыле! Вот, видишь, крючу пальцы обмороженные, пою песни настороженные! Пусти меня! Пусти к Царю! А иначе я сам, мыслью да волей, врата отворю!

Я видел: страж не знает, что и сказать. Рука его к кобуре на боку потянулась.

Хочет покончить со мной разом. Хочет пристрелить. Чтобы не поднял я, смутьян, великую бучу в людях и Богом хранимом дворце.

Я упал на землю. На живот. Растянулся на снегу. Раскинул руки и ноги. Превратился в живую голую звезду на покрове истоптанного людьми и лошадьми, изрезанного железными повозками наста. Замер. Застыл и страж. Я услышал щелк передернутого затвора. Стал громко, горько, восклицая жалобно, плакать, стал молитвы читать, что знал и что не знал, и те, что не знал, а сразу, вновь я рождал, огнем на губах горели, — а люди, мимо идущие, медленно плывущие, задыхаясь, бегущие, заведя и слышав меня, дивясь и страшась, быстро крестились и бормотали: ох, юродивый в Кремль явился, что-то, знать, будет, беда-горе; большое горе, видать, вспляшет среди нас, и черная беда устроит Адский праздник на Москве.

И, лежа на снегу, распластанный, стреляя не хочу, я так плел языком:

— Беда, да, беда пробьет! Куранты захлебнутся!.. Огонь неистовый нахлынет с небес! И все-превсе в том пламени сгорит! Храм Воздвижения восплает первым! Китай-город языками безбрежного костра в небеса взовьется! И Кремль, Кремль ведь тоже запылает! Так пылать будет — в иных странах узрят! Дворцы великих князей обратятся в жженую пыль, в гаревой прах. Медь расплавится и рекою польется. Людям жидкое железо ноги обнимет, и, стеная, упадут люди во Ад на земле. Вопли скрестятся над головами, слившись в единый вопль. Кулаки взметнутся к небу, сжимаясь в единый кулак. Многие проклятия повиснут черным вороньем под пологом грозы, став единым проклятием! И я, я, Василий Юродивый, вам прорекую тогда: не кричите, а веруйте, маловверные! Лики закиньте к небесам! Руки обожженные воздымите! Видите там, в зените, красную стрелу?! Кровавая звезда хвостатая! Вестница боли! Летит ко Красной Луне! Прямо во всевидящий глаз ей метит! То знамение я прочитал у Бога! Вам, слабые духом, его изъяснил! Имеющий уши да слышит!

Я поднял лицо от грязных потеков талого снега. Я снег прожег телом моим и сердцем моим.

Я небо прожег хриплым криком моим.

И люди стояли вокруг меня, грудились, сбивались в кучи, как больные пчелы, кто крестился, кто смеялся, кто проклинал, кто плакал, но никто не уходил с заметенной снегом кремлевской дороги, а все больше народу подходило, и слушали меня, и переставали блажить, и затихали, и молчали, и, безмолвно плача, обращались в слух.

<...> Рядом сейчас стояли они, Царь и Юродивый. Василий видел затылок царя. Он чувствовал себя летящей фигурой на иконе, и они оба, Царь и он сам, чудились Ва-

силию тенями на иконописном клейме; клейма, на коих намалеваны события из жизни святого либо преподобного, по ободу иконы текут; передвигаются потемнелые квадраты; тихо светятся; и там, внутри, в их ночном свечении, они оба, нынешние, сиюминутные, навеки спрятаны.

— Садись. Вон диван.

Царь указал пальцем на обитый атласом цвета зари широкий диван.

Сам крупными шагами подошел и сел. Пружины зазвенели. Хлопнул ладонью по обивке рядом с собой.

— Давай! Не робей!

Василий шел к дивану, будто реку по льду переходил.

Перешел Время. Уселся рядом.

— Ну? Опять молчишь? Неразговорчивый ты.

— Ты, — Василий уперся зрачками в лоб, — тоже не особо любишь языком мотать.

Помолчали оба. Царь обернулся к раскрытой в ночь двери.

— Эгей! Нам сюда яств, да повкуснее! Рыбы красной! Осетрины копченой! Кизи-ла спелого, ананасов резаных, сыра с плесенью... вина французского! «Шабли»! Нет, лучше аргентинского! Или того, ну, мне вчера привезли... люди мои прилетели... с острова Тасмании!..

Люди, улыбающиеся во все лицо, в колпаках с бубенчиками, в розовых атласных халатах и вышитых нежным золотом тюбетейках, внесли на подносах черного серебра кисти синего, покрытого сизым налетом винограда, тонко порезанную севрюгу, осетровую икру в маленьких хрустальных вазочках, и чайные ложки с витыми позолоченными ручками торчали в ней. Винные бутылки возвышались древними башнями. Вавилон должен быть разрушен, а мы где? В Армагеддоне?

— Армагеддон, — тихо произнес Василий, — это Армагеддон.

Царь держал в руках виноградную гроздь и озорно, как пацаненок, скусывал с нее черно-синие приторные ягоды.

— Что?.. Что ты сказал?..

— Армагеддон. Град Армагеддон. Ты в нем живешь. Ты в нем правишь. И ведать не ведаешь, что завтра тебе придется с ним расстаться.

— Как это расстаться?!

Царь расхохотался, бросил виноград на поднос.

— А ты-то что не ешь ничего? Ведь наверняка оголодал! В героя играешь? Брось! Никто тут тебя не съест! Ты — мой гость! Вот и все! Все так просто!

Василий протянул руку к подносу, будто ею проткнул густые облака, взял витую ложку за ручку, как рыбу за хвост, зачерпнул икру и сунул ложку в рот. Положил ложку на серебро, она зазвенела.

— Благодарствую.

— Что так мало вкусил? Ешь в досталь!

— Не буду. Слишком красиво.

Царь тихо засмеялся. Отломил от пахлавыв липкую щепоть.

— Не привык ты к прекрасному, к сладкому. Ну да ладно. Расскажи лучше про себя. Про то, как ты дошел до жизни такой.

Царь обвел рукой воздух вокруг Василия.

— Изволь, владыка. Я обычный человек. И обычным ребенком рос. Так мне казалось. Мать моя знахарка деревенская была. Травы в Сибири собирала. На медведя мы с ней ходили. И медведицу — убили.

— Медведицу?.. Мать?.. С медвежатами?..

— Так вышло. Не суди нас. Голодали мы. Медвежат спасли. Да, знаешь, в детстве я начал предчувствовать неизбежное. Перед тем как прийти великому горю, беде все-

общей, я зрел на небесах таинственные письма. Не мог я разгадать эти символы. Не понимал, что они означают. Тогда не понимал. А подрос — и стал понимать. Кто мне это понимание дал? Бог? Или Тот, Кто стоит за Его спиной? Вечный вражина Его? Я обучился разгадывать звездные узоры, складывать кресты из лучей и ладить охотничьи стрелы из алмазной ночной суеты. Я в себе силу ощутил. Огромную, силу. Не знал, что мне делать с ней. Не мышцы силой наливались; не мозг мой лопался под выгибом черепа; эта сила гнездилась глубоко во мне, там, где я перетекал в то, что было в Мíре до меня. Каждый из нас состоит не только из собственных телес, но из плоти, крови и духа тех, кто жил на свете до тебя. Вот ты! Ты — тоже из прежних людей сложен. Не хочешь об этом думать, знаю. Я учился видеть Время. И я видел его. А Время видело меня. Мы видели друг друга. Мы друг для друга были — зеркалом.

— Зеркалом?..

Царь посмотрел в лицо Василию, как в зеркало. Искал там отражение свое.

— Время то заслоняло мне мою жизнь, то раздвигалось передо мной снеговой занавеской. Я-то знал: нет Времени. Цифирь, буквы... все стремится остановить Время, и никогда не может. Его не втиснешь во знак. Призрак оно. Улетает, чуть вздохнешь и помыслишь о нем. Оно есть, и его нет. И мы одни сидим и сами на себя в зеркало глядим. Вот война. Она гремела сто, тысячу лет назад. И сейчас. Вот человек. Дитя рождалось сто, тысячу лет назад. И теперь рождается. И впредь будет рождаться. И умирать. Любовь, ненависть, ужас, боль — все было. И все есть. И все будет. Так где же разница? Все же вечно. Выходит так, Времени нет? А что же тогда течет, и длится, и мучит, пытается нас — вместо него? Вот ты. Ты веришь, что Время есть?

— Я в Бога верую, во Христа, — тихо и сердито сказал Царь.

Виноградная кисть лежала на его ладони черным котенком.

Он смотрел на ягоду, и волнами боли покрывалось его ухоженное лицо с гладко выбритыми щеками, с золотым руном бородки, обнимающей скулы.

— Я тоже верую во Христа.

— Станный ты, непонятный юрод. Зачем ты послан мне? Не бойся меня. Я не прикажу тебя казнить. Все вокруг преступники, обманщики. Я вижу, ты чист. Вижу, хочешь мне важное сказать. Говори!

Василий исподлобья глянул на Царя.

— Хочу! И скажу. Почему опять началась война?

— Да она и не прекращалась. Она идет всегда. Всюду. Необъявленная и без видимых причин.

— Необъявленная... и без видимых... причин... Есть причины.

— Есть? Открой!

— Ты знаешь их.

— Нет!

— Ты окружен у себя в тереме народом. Тут тучи людей. Они копошатся, жужжат, бегают, ползают, валяются у тебя в ногах, корчатся под твоими плетями. Завтра они умрут. Ты ли их умертвишь, смерть ли иная за ними придет, правда одна — их не станет. А ты будешь. Тебе мнится, ты будешь всегда. И это хорошо. Человек не помышляет о смерти, когда живет, ибо не знает часа своего. Но пропадаешь ты тут, в тереме твоём, иной раз от великой тоски. И тогда ты бьешь в ладоши и вызываешь шутов. Скоморохов. Закадычных друзей. Пьешь с ними коньяк, ешь семгу и кефаль. Танцуешь, играешь на белом гладком ящике с натянутыми медными струнами. Гонишь прочь тоску. А она не уходит.

Царь скривился. Сжал ягоды в кулаке. Виноградный сок закапал на паркет.

— Все так. Правду говоришь. Но зачем мне твоя правда?

— Царь! Ты меня заловил, и ты на меня надеешься. Кто я тебе? Думаешь, я тебе вечное Царство и бессмертное счастье напророчу?

Царь отбросил раздавленную ягодную кисть.

— Да!

— Ты так нуждаешься в вечности? Тебе мало быть смертным человеком? Хочешь бессмертным стать?

— Да!

— Станешь!

— Неужели!

— Для этого нужно один лишь шаг сделать.

— Говори!

— Останови войну!

Царь резко, стрелой, поднялся с дивана. Набычась, стоял перед Василием, злее сторожевого пса.

— Безумец!

— Ты же знаешь, я безумец.

— Преступник!

— Если я закон преступил, казни меня.

— Да, грешен человек! Но если человек на благо родины его трудится и не изнемогает — велик он, а не грешен! Чист и ты, сумасшедший! Слушай, где я видел тебя? А ведь точно видел! Роба твоя мне знакома до страсти! А вот скажи мне, ты любишь Родину?!

Зачем он меня об этом спрашивает. Меня, русского человека. Плоть от плоти Родины моей.

Василий тоже встал. Глядел на Царя горько, внимательно.

— Любому моему ответу ты не поверишь.

— Я ничему и никому не верю! А тебе, юрод, поверю!

Василий опустил голову, и густые его космы упали с затылка на изморщенное лицо его, на грудь, на висящие вдоль тощего тела тяжелые руки-кочерги.

— Люблю.

— Я тоже люблю! И любовь мою на выделку ей неразрушимого щита — обращаю!

— Значит, ты хочешь смертью победить смерть.

— Да! Так!

— Так все думают. Так все верят. Задумался ли ты хоть раз один в жизни твоей, что тот, кто умер, девять дней реет над собственным телом, озирает любимое место, где жил и страдал. Сорок дней посещает родных и, стискивая незримые руки над ними, скорбящими, плачет вместе с ними. А потом исчезает душа. Куда? Задумался ли ты хоть однажды, куда она улетает?

— Нет.

Василий видел, как тому с трудом далось это «нет».

— Ты не раз хотел задуматься об этом. И в этот миг всегда велел принесть тебе на расписном подносе заморский коньяк и хрустальный бокал. Тебе наливали улады в дедов зимний хрусталь, и ты пил. Забывался. Забывал. Война казалась тебе необходимым условием жизни. Ты не мог от нее убежать, но ведь и она тебя не покидала. — Василий сцепил во смуглом костлявом кулаке прядь длинной зимней бороды. — Впервые испросил твоего повеления остановить войну. Другого раза может и не быть!

Царь повернул голову и поглядел в окно. Его профиль лег на ночное синее стекло бледной ледяной скульптурой. В палату вошел прислужник, в руках он держал поднос, на подносе стояла бутылка и две искрящихся рюмки красного хрусталя.

- Ты владеешь мысленным приказом?
- Нет. Просто время пришло.
- Какое?
- Выпить за военное счастье.

Прислужник, горбато склонившись, разлил коньяк по длинноногим рюмкам. Царь ухватил рюмку за ножку, приподнял и стукнул о другую. Тихий печальный звон разнесся по палате, умер в дальнем углу, там, откуда глядели дикие, дивные росписи: молодец в красном кафтане срывал с зеленого изумрудного дерева алое яблоко, протягивал девице, а девка заслонялась широким рукавом, рукав трепал ветер, девка хитро, тонко улыбалась из-под рукава, из-под синего небесного сарафана босую ногу зазывно выставляла.

Василий осторожно взял наполненную зельем рюмку. Он глядел на роспись.

— Что же... Давай выпьем за счастье военное, сокровенное. Вот у тебя на стене Рай наоборот: не Ева кормит яблоком Адама, а Адам Еву. Парень обхаживает девку, а не девка парня. Может, так оно и было в Раю-то? А потом парень соберет мешок, взовьется на коня и ускачет. Опять на войну. Война-то всегда! Нет от нее избавления! О каком же счастье тут речь, а? Где оно зарыто? Где покоится? Где пирует, празднует?!

— Пирует... празднует...

Царь поднял хрусталь. Древесно-коричневый коньяк плеснулся, капля пролилась, покатилась по золотной вышивке царского кафтана чистой слезой. Василий тихо поставил свою рюмку на поднос.

— Не пьешь?!

— Не гневайся. Слишком многие гневались на меня. Не уподобляйся им.

— Я — выпил!.. Мужчины воюют не только потому, что Родину защищают! А еще и потому, что им Бог велит убрать с лица земли лишних людей!

— Зачем ты врешь сам себе? Ты сам себе разум и рот обматываешь прозрачным, поддельными жемчугами униженным, кружевом лжи. Сохрани себя! Спаси себя! Ты же наместник Бога на земле! И ты же не безумец, как я! Ты — мудрец! Только безумцы призывают всеобщую гибель на головы насельников родного государства. А мудрецы то государство спасают! Руками заботливыми, громадным объятием от вьюги кровавой закрывают его! Грудью любви заслоняют его!

— Брось. Лепечешь, как дитя. Негоже мужику таким рохлей быть. Полководцы спасают государство именно тем, что полки в атаку ведут! Да, люди ложатся наземь, деревьями падают, корни в крови из земли выворачивая, в страшной схватке! Да за спиной Родина остается! Ее — спасаем! Ею — молимся! Ею — исповедуемся перед грядущим! Грядущее единое нас поймет! А не ты, полоумный, юрод!

По лицу Царя тек сердитый пот, брови сдвинулись, дергались, на скулах вздувались железные желваки. Он плеснул себе коньяк, да мимо: напиток разлился по подносу, выплеснулся на пол, запахло остро, пряно.

Василий стоял прямо, как солдат в строю.

— Смерть на войне. Не избежать ее. А не думал ты, что военная смерть стоит денег? А деньги эти отсчитывает на нее — жизнь?

— И я, между прочим, погибших в недавнем бою моих родичей — поминаю! И всех незнакомых, неизвестных воинов — поминаю! А ты плетешь языком миротворные речи! Мүро, мнишь, изо рта твоего по губам твоим польется! Сейчас! Держи карман шире! Трусов в войсках наших не держим! Взвод, рота, батальон, дивизия — все смельчаки! Все изготовлены, возвращены убивать врага! А те, кто канючит, плачется, вроде тебя, те, а ну-ка прочь пошли! Вон пошли! Вон!

Василий отступил на шаг.

— Я уйду... Я не скажу тебе больше про деньги. Не скажу про твоих мертвецов. И ты меня не прогоняй так скоро, жестоко. Кто тебе еще правду скажет?

— Не хочу ничего слышать! Замкни рот на чугунный замок! Война! Без нее — никак! Самолет мой будет завтра снаряжен. Я снова прыгну туда! В этот черный, дымный Ад! В грохот и огонь! Я должен быть там, с войсками моими!

Василий сделал шаг к Царю и тяжело положил костлявые длинные руки ему на парчовые плечи.

— Чтобы отдать новый приказ — идите в бой, сражайтесь, умирайте! Умрите все, во имя жизни! Уничтожьте вражеских солдат, во имя торжества родной армии! Так, скажи? Ведь так?

— Так!

— А иного приказа ты отдать не можешь?

— Юрод! Мерзкий! — Царь ударил Василия по рукам, и руки Блаженного опять плетью повисли. — Гаденыш! Что мелешь! Разве ты военный человек! Ты же ничего не смыслишь! Ты только смерть видишь! А не видишь, дурак, что она — жизнь рождает! И в пленках боли и страха она нянчит — великое Солнце! Война — это не юродово дело! Не суйся! Никогда ты, голопузый, голопятый нагоходец, воевать не будешь! Солдат в атаку не поведешь!

Зачем он так страшно кричит. Криком правды не добьешься. Ни от себя, ни от меня. Ни от Бога. Ни от кого на свете.

Царь бил глазами по Василию, будто камни бросал в него, Василий глядел на Царя спокойно, светло, как вышедши из храма после молитвы.

— Знаю я, чего ты хочешь, воюя.

Царь аж визгнул, шагнул к Василию, и бубенчики на носке его колдовского сафьянного сапога зазвенели.

— Да что ты ко мне пристал?! А если ты мне надоел, как горькая редька?! И я велю тебя сей же час — выгнать! Вон! С глаз долой! И забуду через миг! Все запомнят, как ты тут разглагольствовал о том, чего ведать не ведаешь!

Василий не тронулся с места. Стоял, будто нагие ноги его столбами вкопали в паркет, землей присыпали.

Он смотрел на Царя, плыл во сне-яви, качаясь, на льдине по синему холодному морю, а Царь с берега глядел на него, прищурясь, из-под руки, глаза ладонью от дикого потустороннего солнца заслоняя, и долго, долго провожал его взглядом. Всю жизнь.

— Я все ведаю. Всяк человек знает то, чего другой, даже если сильно возжелает, не узнает никогда. Я врачую не тела, а души. И ты болен. И тебя я могу вылечить. Я спас много жизней на войне, там не быв. Расстояние для меня не помеха. Я молитвой земли преодолеваю. Людей издали вижу. Лечу духом под облаками. И к раненым с небес схожу. Иные меня видят, иные не видят. Я к ним со скляночкой. Там снадобье. Я умею варить бальзам из лепестков шиповника. Мать моя была знахарка и меня травам научила.

— Шиповник... скляночка... что ты мне брешь тут!..

— Я вижу: бинт кончился у санитарок. Им лохмотья тяну — раны замотать. Вижу: йода нет. Бутылку тяжелую йода, лебединой ватой заткнутую, в обеих руках, плача, несу. Тайно подсовываю. Они обнаружат, орут от радости. Главного хирурга за заботу хвалят. А я тут же, невидим, стою. От радости плачу, как и они же. Йод в бутылке цвета вишневой настойки: коричневый, смоляной, земляной. Кровь земли. А за пазухой у меня мвро. Я мвро вытащу, пробку зубами выну, разольется дух по лазаретной палате. Солдаты глаза позакрывают от наслаждения, от изумления. Чудо! Детством

пахнет! Лесом! Сиренью! Донником медоносным! А я в муро палец окуну, к каждому неслышно подхожу и каждого помазую. Так и живу на войне.

Царь повернулся к Василию задом. Размахисто, огромными шагами, подбежал к окну. Кулаком в раму ударил. Створка вылетела, стекло, треснув, звякнуло.

— Донник, проклятие!.. Йод, заткнутый ватой!.. Кому еще байку сочини!.. Муро святое приплел... грех на башку твою зовешь!

— Правду говорю тебе. Услышь.

Василий потемнел ликом. Стоял и глядел Царю в широкую спину под блестящей кровавой парчой, расшитой золотыми папоротниками, как в зеркало; и опять там отражался.

Он отражался везде, во всех стенах палаты, на потолке, в разбитых оконных стеклах, в синей ваксе ночи, в радужном сказочном паркете, в мисках с яствами, в укатившейся в мышиный угол коньячной бутылки.

Царь обернулся. Из распахнутого окна бил ветер, как родник на горе.

— Да услышал я! Только не то, что хочешь ты!

— Дело твоё.

— Но не твоё, юрод!

— Воля твоё.

— Что ты в смиренника играешь! Ты же не смиренный, юрод! Ты — воин! Повстанец ты! — Царь сглотнул слюну, и кадык его резко дернулся. — Бунтарь!

— Как хочешь, так и именуй меня. Ты вот мыслишь: один он тут на Москве, сирота ползучая, ходит-бродит. Одишенек! Во снегу восседает! Цирк зимний народу показывает! И никто не знает, никто, что у меня на войне умерла мать. Моя мать. Марина. Ибо не вчера началась. Всегда шла. И всегда пойдёт. Не закончится. А ещё у меня занобу убили. Сначала ножами всю изрезали, потом в лоб ей выстрелили. Я мыслями это увидел. И перелетел бы туда, к ней, да воскресить из мертвых только Бог может. Никто, как Бог. Человеку это не дано. Она мне письма писала. О том, как стреляют. О том, как она хочет жить. Как молится за меня. Вот живу её молитвами. А её убили. Так жестоко, и я...

Он не мог говорить. Слезы залили ему лицо. Царь, не отрывая глаз от его темного, солнечным золотом на подземной доске прорисованного лика, сделал шаг к нему, другой, третий. Он так медленно шел к нему, что Василий подумал: пол липкий, вареньем небось залили, подошвы царских сапог к паркету приклеиваются, примерзают.

— А что же ты за ней не поехал? Что в Москве торчишь, по улицам босиком слоняешься, голубям да торговкам на рынках глаза мозолишь?!

— Я Москве нужнее. В Москве тоже битва идет. Ещё какая! Неостановимая. Только я её покамест утишаю. Утешаю. Чтоб не ревела на весь Мирь белугой. А будет и на Москве великая битва. Попомнишь меня.

— Да я...

Царь всплеснул руками совсем по-ребячьи.

— Да я вспоминать тебя отнюдь не собираюсь! Я тебя — от себя — никуда и не отпущу! Все, перестанешь бродяжить по столице! Будешь у меня по двору гулять! Мне — будущее — предсказывать! Мне — раны — лоскутьем обматывать!

Василий стоял, молчал. Потом закрыл глаза. Тихо качался перед Царем, под ветром иномирным.

— Опять в молчанку играешь. А вот ответь, что ты умеешь делать? Ну, руками, пальцами, работенку какую обычную? Какому ремеслу обучен? Лекарей у меня и других полным-полна коробочка. Иноземные! Одного звать Бенвенуто, другого Федерико. А третьего недавно с острова Британии выписал, по прозвищу мистер Фьюче. Лов-

кий, змей, оборотистый! Все в ручонках так и играет, искрится! Куда там твои склянки... там целая россыпь стеклянных, ядовитых огней... пузырьки, фляжки, мензурки... в одну наливает, из трех выливает... смешивает, дым клубится, вонь, гарь, а то аромат Райский, неописуемый... Отвечай! Не понял еще, что ли! Я тебя — на службу к себе беру! Сюда! Во дворец!

Василий стоял в ночи молча, и ночь со всех сторон обнимала его и тихо танцевала вокруг него.

— Я умею жарить и парить. Еду готовить.

Пришла пора изумленно замолчать Царю.

Молчание он нарушил громоподобным хохотом.

— Да что ты говоришь! Еду варганить! Повар ты у нас, значит! Повар! — Царь вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони, не переставая смеяться. — У-ха-ха-ха! По-о-о-о-овар! Вот это номер, чтоб ты помер! Повара мне Бог послал! Да у меня поваров на кухне знаешь сколько... — осекся. Измерил Василия взглядом вдоль-поперек. — Повар, говоришь... Быть по-твоему, бродяга. Чую, особые блюда ты будешь готовить мне. Чудодейные. Единственные. За то тебя и беру, слышал! Ты чудесник, и еду из рук мага получать — не то что из рук остолопа. Хочу и беру! И — взял уже! Эй!

Громкий хлопок в ладоши спугнул двух синиц, примостившихся на стрехе теремного окна. Раскрылись двери, ворвались слуги, бояре, спальные, оруженосцы, воеводы, те, кто ждал вечернего царского приема; влетели, втекли, расползлись по палате, спрятались под расписными лесными сводами, под пологам и занавесями, склонившись, умильно глядя Царю в лицо, ждали приказа.

Он развернулся и мощным, богатым, всевластным жестом указал на прямо и жестко, как мертвая жердь, стоящего Василия.

— Вот! Видите этого человека? Ага! Видят все! Все созерцают! Смешон, да! Наг, нищ и бос! Однако воля моя — и с нынешнего дня именно он становится главным поваром на моей кухне! Привозить ему лучшие яства! Отборные овощи! Свежевыловленную драгоценную рыбу из моих морей и рек! Закалывать откормленных свиней, молоденьких теляток! Свежевать только подстреленных на моей охоте зверей! И новоиспеченный повар будет готовить мне оленину, козлятину... медвежатину!.. Вы!.. Слышите!.. Доставлять крупнейшие, вкуснейшие садовые ягоды: сливу, вишню, смородину, а также ягоду лесную: бруснику, голубику, чернику, землянику, иргу! Яблоки румяные, румяней девичьих щек, в мешках на кухню приволакивать и в чаны ссыпать, чтобы повар те яблоки ножом резал и из них, смешавши с сахаром и медом, начинку делал для могучих, во весь стол, пирогов! Добыть и установить на кухне бутылки прозрачные, бутылки вместительные, громадные, для изготовления домашних вин, бражек, настоек и наливок! Вы слышали?! Все поняли?!

Кулак подъятый Царь, выкрикивая это все и веселясь, над головой держал.

И все, вся челядь, донельзя напуганная, глядела на тот массивный, крепко сжатый кулак, величиною с великанскую кедровую шишку. Такие на старых прибайкальских кедрах, сгибая тяжестью иглистые ветки, висят. Их только колотом сбить. Сами на-земь не упадут.

— Все... все.. Царь-государь наш... О, поняли... и все исполним, как надо... повара нового как надо обиходим... на кухню препроводим... в одеяние облачим белое, белоснежное... без единого пятнышка... без черноты, без кровушки, без жира потеков... чисто выстиранное, крахмальное... белизны родильной, крестильной, свадебной... ибо жизнь человека — что она?.. она вечная еда... без еды мы никуда... едим, едим, а потом все рассеется, как дым... а у этого, у юрода-то, глянь, какая богатущая бородища, даром что нищий... отращивал ее года...

Царь близко подошел к Василию. Положил руку на плечо. Приобнял покровительственно, невесомо, кичась им перед свитой, как охотничьей добычей.

— Ну что, дурак? Доволен ты судьбой своей? Что стоишь столбом, меня не благодаришь?

— Я не должен был приходить сюда.

Василий стоял, глядел и не видел. Он не видел ни толпы, ни Царя, ни разбитого в осколки стрельчатого окна.

Царь рассмеялся.

— А хоть бы ты и отказался! Тебя бы насильно, под белы ручки, привели! А коли б не пошел — застрелили, и дело с концом! Простой у нас приговор!

— Царь, ответь. Ты жив или ты мертв?

Толпа, наводнившая палату, замерла. Замер и Царь.

— Ты что это...

Юрод шагнул к нему и повалился на колени.

— Если ты жив — напои меня вином, накорми меня пирогом и отпусти. Не хочу я тебе изысканные яства стряпать. Я хочу...

— Жить хочешь?!

Царь заорал так, что треснуло и другое стекло.

— Отпусти.

Нагоходец стоял на коленях с закрытыми глазами. Он все и с закрытыми глазами видел.

— Сумасшедший! Милость ему предлагают! Приказ сейчас велю написать гусиным пером! И на площадях народу зачитать! О назначении нового царского повара нашим великим соизволением! Хватит тебе босиком по снегам шлепать! Не сожгут тебя на площади! Не сочтут святым! Не будут в церкви пред твоей иконой, юрод, бить поклоны! Свечи не будут возжигать! Акафисты голосить! А будешь ты у меня на кухне... между кастрюль и плошек... между тарелок, зелени резаной, лука, и черемши, и перца... между бочонками с северной сельдью и мешков с пшеницей, гречкой и ячменем... между горами ситной и ржаной муки... сновать!.. стонать!.. сидеть!.. хрипеть!.. на вкус варево из ложки пробовать!.. от усталости валиться!.. мокрый лоб и рожу красную тряпкой отирать!.. все на свете проклинать!.. а готовить мне такую еду — м-м-м... вкуснее не сыщешь в целом свете!..

Царский люд на каждое слово кивал.

Василий терпеливо ждал, пока Царь перестанет словами-семечками сыпать.

Говори, говори, да не заговаривайся. Я уже наслушался. Надо смириться. Останусь тут. Такова птица-судьба. Ангелица, ты махнула крылом. И вот я здесь. Слушаюсь тебя. Жду — тебя.

Он раскрыл глаза.

— Что на ужин сегодня вкусить изволишь, великий Царь? <...>

ЯСТВА И ЛЮБОВЬ

Блюда мясные. Блюда рыбные. Блюда крупяные. Разобраться бы. Все до чего хитроумно. А я из себя все здесь повара корчу. Ничего не напишешь, приходится исполнять царскую волю. А дожил я до таких годов, милая, родная, что я и смерть приму, и пулю приму, и пощаду приму, и пытку приму, и даже венчанье на царство приму, коли вдруг сподоблюсь; да ведь не сподоблюсь, я, юрод, житель одной звезды, они — другой; и никогда в смоляном ночном небе не пересекутся наши златые пути. Смотрины, оно, конечно, не сочетание браком, однако чудища-люди, свита-прихвостни, уже сидят за поставленными буквицей «П» столами, уже ждут, перемигиваются, вертят

в пальцах вилки-ложки, облизываются. Еда! Человечья еда! И отличаешься же ты от зверей! От той добычи, что зверь в тайге али в пустыне настигает, наваливается на нее, когтями прожигает, зубами терзает! Зверю никто не дает попить: он сам к реке бредет, сам в ледяную водицу морду окунает. А вам, люди, мы, слуги ваши, все на стол выставаем: и брусничный морс в кувшинах чешского стекла, и квас ячменный да изюмный, из погреба только, в расписной хохломской братине, и кофе африканский в дымящемся кофейнике; а уж о винах да наливках и речи не ведется, как их тут богато, на раскидистых столах. Мне кричат: почему мясо-птицу не велишь подать!.. И то правда, думаю. Сладостями сыт не будешь. Яблочки без кожи да без семечек, отваренные в сахарном сиропе, варенье из ирги вперемешку с терном, мелко нарезанная сушеная свекла, вяленый чернослив в мисочках рядом с чищеными грецкими орехами. Закрыв глаза на миг и вспомнил кедр, его дары, орешки его мелкие, молочные, меж зубов втыкай и — шелк!.. — и ядро, оно уж твое. Маслом растекается по языку. Эй, мальчишки, всунув голову в раскрытую кухни дверь, воплю, вы несите скорей дичь темно-мясную да прирученную птицу, кормленную вареным яйцом да старым огурцом! Взваром шафранным рябчика жареного полейте, окропите брызгами лимона. Вон она, фарфоровая тарелка с паштетом из гусиных потрохов, живо в залу тащите! А и самого гуся не забудьте! Ножонки на серебряном подносе вот как бесстыдно расставил! Жарили беднягу на вертеле, и жир капал с него в живой огонь, и на весь дворец умопомрачительно пахло праздником. А порося ведь тоже у нас прямо с вертела! Не гаснет огонь живой! Пища огня требует руками разожженного, дровами насыщающегося, а не того, что течет по запрятанным под землю трубам! Ах, поросенок, обложен ты стрелами лука изумрудного, усами капустки квашеной, дольками яблочек райских... да румявенький же ты какой, да жалко же тебя как, а потом не жалко, а только, люди-люди, слюнки текут! Не утрешься! Не подберешь!

Несите, други, рябчика в гречневой россыпи! Несите куру во щах густейших! Несите утку, печеной грушей до глотки набитую! А Государю-то ставьте прямехонько напротив его лика — блюда рыбные! Рыба дорога. Рыба свежа. Ох, рыба знатна, только на Руси таковская в реках да морях и ловится!

Рыбонька с Волги, только сетью вытащена, еще в телеге на морозе хвостами больно била, когда везли ее во дворец, и тряслась телега на булыжниках, на замерзлых камнях, и прекращала живая рыба биться и дрожать, застывая на лютном нашем холоде, выпучивая жемчужные, алые, небесно-синие глазищи. Рыбий глаз алмаз. Мешки денег иноземные купцы отдают, чтобы нашего, русского, каспийского осетра купить, чтобы нижегородского судака или казанского сазана на кукан вздеть да к ногам повара швырнуть!

Ах, Ксеньюшка, громаднущая та рыба была, просто невиданный, неслыханный Левиафан, когда ее пятеро сильных, мышцами мощных мужиков мне на кухню под жабры волокли! А после как ее топорами рубили те мужики, видела бы ты! И кровь из нее лилась, как из быка, разрубаемого пополам. И не было у нас таких чанов и котлов, чтобы погрузить ее туда и сварить, на радость почтенной публике; и пришлось распиливать ее на куски, и каждый тот кус ел в чан влезал, и бросал я в кипящую воду черные шарики перца, лакомства индусов, и лавровый лист из Киммерии, и серую горскую соль не щепотью — горстью, а рыба та зовется белуга, в Сибири водится подобная ей рыбица таймень в сильных, бурливо текущих реках — Енисее, Вилюе, Каа-Хеме.

Я орал на всю кухню:

— Стерлядь, приготовленная на пару! Щука, на куски разрезанная и по иудейскому обычаю мясом, маслом и резаными овощами фаршированная! Пирог с сомятиной

и луком жареным! Горбуша красная, соленая с берегов Амура, из нее же вытащена и наспех засолена икра алая, алее рубиновых сколов, все на блюде длинном тащите, не уроните, посреди стола осторожно ставьте! Леши копченые, только в корзинах из Василия на Суре привезенные, подрумяненные, цвета коры дубовой, к поглощению готовы! Семга да лосось! Где семга да лосось?! Где форель?! Мальчонки! Втихаря сожрали?!

Мальчишки смеялись, Ксеничка, да лосося резаного тащили, да балык семги на фаянсовом синем гжельском блюде из кухни выносили, по коридорам и переходам несли, в пиршественный зал, потупясь, смиренно вносили, а чудища уже ножами взмахивали, изо всех сил притворяясь людьми; да что там звери-чудища, человек и сам поест не дурак, еда — главное, что удерживает на земле даже безучастного, даже умирающего. Отчаявшийся человек объявит сам себе голодовку: умру от горя!.. — да час наступит — поест, и легче ему станет. И дальше живет.

А я, Ксения моя, все дивился на изобилие пищи, челядью дворцовой потребляемой. Ведь только отзавтракали! И вот обед, сытнее некуда; а ведь и ужин впереди, и десять смен блюд должен я подать за часы ужина. Как в их утробы все это влезает? Не было мне ответа. Я, особо стряпать не ученный, обучился за это неназываемое Время всему, что с едою связано.

Стоять некогда. Надобно лепить, резать, бросать в пузырящееся на огне масло, пробовать из ложки обжигающее варево, и снова кромсать, гладить, рассыпать, солить, поливать, брызгать, мешать, отбивать, и опять лепить, резать, кровью заливать, любить.

Так готовится в жаровне Мирь.

Так быстро, жадно поедается он челюстями, клыками, жвалами, языками, глотками.

А Дух? О Ксения, где же возлюбленный Дух?

— Курник с ревенем и яйцами! Плов самаркандский с отборной бараниной! Пирог из теста песочного, рассыпчатые, с ломтями сыра внутри! Блины тонкие, будто китайская рисовая бумага! На деревянное блюдо блины кладите! Маслом, маслом топленным не забудьте полить! А вот птички, воробушки да жавороночки. Эй, пареньки, разложите на подносе как следует, красиво, чтобы как живые! Глазки ведь у них чечевичные! Клювики из корицы! А вот, да, летит ко мне сковорода! А на ней, осторожнее, масло еще кипит-безумствует, помогите мне, гора жареных карасей из царского пруда!

— А вина каковского прикажете к трапезе подать, господин повар?

— А вина-то? Да вин у нас в подвалах — пей не хочу! Вот и выберем сейчас!

— Вы и выбирайте! Вы тут главный!

Ксения, Солнце мое ясное. Я ведь до сих пор не привык, и никогда не привыкну к тому, что я на виду. И ко мне поворачиваются лица людей, как подсолнухи к солнцу. Я не Солнце. Это ты Солнце мое. Но ты вот живешь, по дорогам в мешке своем бродишь и о том ничегошеньки не знаешь. И не надо, чтобы ты знала. Любовь есть тайна великая. Она тайна для самого любящего, не только для любимого. Обоняй на расстояньи дух молитвы моей: смиру и ладан, и воскурения жаркие, там, за поросшим снежной полынью храмовым оконцем. Кто и когда нас повенчает в церкви? Может, никто и никогда. Солнце, Солнце нас повенчает. Ты странница под Солнцем. А Солнце есть звезда. Мы оба днем скитальцы под ближней звездой, ночью — странники под несчислимыми звездами Рая.

— Романею добывайте из ящиков! Рейнское вот недавно купцы из Ганзы привезли!

— А наших, наших-то родных разве нету?..

— Как же нету, когда есть! Наливка вон малиновая! Настойка смородиновая! Красной смородины и черной! Водка хлебная! Водка яблочная! Водка сливовая, лучше водок всех!

Пусть возблагодарят Бога, что нынче не пост. И тем паче не Великий. Иначе никаких мясов-курей не волокли бы на пир!

Ксеничка, душа моя. Ты вот жизнь прожила, как и я же, по площадям шастала, по градам и весям слонялася, а не то чтобы не едала — оно понятно, — а и слыхом не слыхивала про такое ество: ни взвар сладкий с пшеном и с крупными ягодами черешен, одобренный сладким южным перцем и шафрановым яблоком, ни горошек отборный, политый маслинным маслом, ни булка витая, щедро маковым зерном посыпанная, ни патока с резанным мелко свежим имбирем тебе, родная, неприхотливая, бедная моя, неизвестны навеки остались. И застыла бы ты, верно, в изумлении перед трапезным столом, накрытым вышитой мелким жемчугом скатертью, где те яства в ряд выстроились бы: так и вижу тебя, глядишь на ту еду удивленно, брови твои золотистые вверх, на лоб птицею летят, и радуешься ты, что человек сам себе такой радости наготовил, и понимаешь лучше меня, что это не радость, а прелесть, ибо чревоугодие, милая... и мать мне так из той толстой Книги Судеб читала... есть смертный грех... а кто же знает, какой из семи смертных грехов наитягчайший... <...>

СМОТРИНЫ ЦАРСКОЙ НЕВЕСТЫ

Множество гостей собралось в царском тереме на смотрины невесты.

Сначала Царь объехал на белом коне все площади Москвы; он желал их обозреть: горят ли костры, толпятся ли люди, бьют ли друг другу морды, встают ли друг перед другом на колени, рычат ли, яко медведи, танки, на площадь из серого волглого тумана вползая. Все было, как предписано: костры горели, люди толклись мошкаркой, нещадно лупили друг друга из-за повода пустячного — кто у кого из кармана наперсток стащил, кто кому в мочку рыболовный крючок продел; на колени друг перед дружкой вставали, прощенья просили, и танки из мрака надвигались, резали воздух ножевым визгом и пещерным гулом. Царь взирал на град свой Первопрестольный и радовался тому, что и он жив, и город жив. Москва не собиралась умирать. Как обычно, город стоял над пропастью гибели и, как всегда, смеялся радостно, встречая в виду смерти новое солнце и встающий день. Это привычно было, и Царь не собирался менять традицию. Царь хорошо видел врага, даже не видя его воочию; он оценивал его силу, сравнивал его со своей, и сам себе говорил: да, сила родного его народа поборет любую силу, что накинется извне, пытаясь Царство Русское подмять и пожрать. Находились советники, нашептывали ему на ушко: Царь, да ведь никто тебя и наш народ не собирается резать-убивать! Прислушайся к послам иноземным, приглядишься, бормотали, зришь, как вежливы с тобой они, как мед неподдельный из уст их кувшинами льется?.. ну да, да, понимаем, дипломатия вранье, но нет в судьбе сплошного вранья, кое-где да истина ослепительно блеснет! Ты, Царь, их не на поле боя перехитришь — умаслишь здесь, на голубом паркете, на полнощном, с синей искрой, лабраторе дворцового бытия! Речью, речью побеждай! Кровью победить всегда успеешь! Зальешь поля широкие кровушкой солдатской — что прорастет?..

Царь морщился. Играл желваками. Улыбался тонко. Царедворцы не понимали только одного. Там, где сражение, там и победа. А победу после боя далеко видеть. Слишком яркая она. Реет в ночи знаменем. И засмотришься на него, и оно, вымоченное в крови тяжелое знамя, бархат красный, рытый, вдруг взвьется, ветер его подхватит и затреплет, сомнет гневно, а потом развернет мощно, расправит. Всяк увидит. Даже слепой.

И вот чтобы слепой то знамя увидел, и веду я, царь, войну. Уразумели, приспешники?!

Кивали. Мелко подбородками трясли. С коня снимали, чтобы сапогом за стремя не зацепился. Под локти в терем вели, и одна за другой распахивались двери в рас-

писные покои. Вот прошли спальней страха, вот миновали келью казней, вот прошли комнату Ада, все девять его кругов, прошагали коридором, где пушечные ядра и ракеты летят со стен над живыми головами, и вот раскрыта настежь последняя дверь, и нога через порог перенесена, и в резкий обильный свет надо войти, и оглядеться, и торжественно, в приветствии радушном, поднять руку, и шире, шире улыбнуться, и увидеть все лица, кривые-косые, смуглые и иссиня-бледные, изможденные и кругло-сытые, кукольно размалеванные и зеркально-бритые, головы в касках и буденовках, карнавалом завитые на горячие спицы и седые, старые, цыплячье-общипанные, жалкие; увидеть всех, кто видит его, и послать белозубую снеговую улыбку каждому, кто тут в его честь ест и пьет... А ввели ли в зал и усадили ли за стол невесту? ах нет, великий Царь, с минуты на минуту ждем!

И еще раз дрогнула закрытая дверь. Разошлись створки деревянными крыльями. Ее не ввели на пиршество под белы рученьки; она шла сама, бесконечно, беспредельно, неостановимо улыбаясь такой длинной улыбкой, что она срывалась с ее раскрашенных рябиновой краской губ и медленно, радостно уплывала в темень за окнами, в спящие грозди нависших над бокалами и салатами люстр, а сделав круг почета по искрящейся хрусталем и фарфором зале, облетев круглый, рокошущий ропотом стол, возвращалась к хозяйке и намертво приклеивалась к дрожащему, ждущему рту.

Василий, в поварском белом халате, как не царский повар, а простой московский лекарь, стоял близ дверей, борода его гуляла на свободе, а темя все равно покрывала высокая белая башня кухонного колпака. Он склонился в поклоне, когда невеста, в длинном платье ярко-синей парчи, вошла в залу. Она, не задерживая взор на слуге в белых одеждах, шествовала дальше, с пятки на носок, каблучок цок-цок, по радуге искусного паркета, по деревянной мозаике веков, и он увидел — спина красная, и кринолин сзади красный, и шлейф.

Цвет небес и молитвы, цвет Богородицы сменился огнем. Ей все понятно. Она знает тайну Двойного.

Свита еле поспевала за ней. Шаг ее был веселым и широким. Она сразу увидела Царя. Он стоял возле кресла, украшенного красными лентами и бантами: будто сотни красных птиц спорхнули с люстры и уселись на спинку и полированные подлокотники.

Стоял и будто ждал ее. Или и правда ждал?

Он привык, что все всегда его ждут.

Невеста быстро подошла к Царю, прижала руку к груди и низко поклонилась. Не земным — поясным поклоном.

— Здрав будь, великий Государь.

— Здрава и ты будь, красна девица.

Она выпрямилась. Василий видел ее профиль. Зеленый глаз горел аквамарином, ярко-рыжие волосы заплетены в косу, коса лежит на груди красной лентой: алое на синем. Красная молния в синей грозе.

— Твоими молитвами, Царь.

— Твоими молитвами, красна девица.

Как жадно она глядит на него. Обглядывает всего. С головы до ног. Глазами вонзается в глаза. Знает, как обиходить Миръ Невидимый. Не еда, не питье ей не соблазн. Она сама соблазн. От нее самой Царь с ума сойдет.

— Царь... бойся... по лезвию бритвы осторожно иди... невесомо беги... я тебя проведу...

Василий не слышал, что и зачем он бормочет бессвязно. Царь взял в обе руки руку невесты, наклонился и тихо поцеловал.

Василий видел, и все в застолье видели: девчонка ему понравилась.

Знатного рода? С улицы взята, приبلудница, лицедейка? Давно ль ее готовили Царю показать, так стряпают торт, пирог, ахая, охая, обмазывая верхний корж медом, старательно посыпая клюквой в сахаре?

Царь не стал тянуть кота за хвост. Схватил руку девицы и высоко поднял над пирующими.

— Внемлите все! Перед всеми, перед всей Москвой белокаменной и краснокирпичной, стеклянной и оловянной, перед всею родною землей, богатой и грязной, великой и нищей, ненавидимой врагами и нами до смерти любимой, объявляю: эта девица нарекается моей невестой и вскорости наречется венчанной женой моей, великой Царицей!

Все повскакали со стульев и кресел. В руках замелькали бутылки шампанского. Пробки летели в потолок. Ударялись в стекляшки итальянских люстр. Бояре подставляли бокалы. Шипучий напиток лился, струи перевивались, запах давленного винограда разлился по шумной зале. Голоса сливались, катились, и Василию казалось — гремел, падая со скалы, водопад.

Жениху и невесте поднесли полные бокалы. Царь зазвенел бокалом о бокал нареченной. Она улыбнулась. Опять длинная, тянущаяся вдаль улыбка, тоньше нити, нежнее музыки, убегала с ее лица.

— Не помнишь, как меня зовут?..

— Почему же. Помню. Здравие твое, Катерина.

— Здравие твое, Царь Иван.

Выпили.

Запрокинув головы, пили заморский смешной, пузырящийся напиток из цветных бокалов, в руке у Катерины — ядовито-зеленый, в руке Царя — огненно-красный, и, допив, невеста сказала:

— Ты будто кровь пьешь. — Вздохнула. — Божию. Причастие. Кагор.

— А ты зелено вино. И очи твои зелены. Змеиные.

Оба тихо засмеялись, ласково. Смехом ласкали друг друга.

А потом сели за стол.

— Чего желаешь, Катеринушка? Все у меня есть для улады и живота, и духа. Посуда, гляди, заморская, стекло да белая глина, а наша-то родная, древняя, сплошь ветками Эдема золотыми и клюквой камышовой разрисованная, тоже на столе! Блюда и тарелки отчего-то все любят оловянные. Я велю их расписывать по ободу позолотой. Художников много под мышкой держу. И богомазов, и посудников. Вина сегодня тоже буду пить и велю то вино наливать в серебряный кубок, фиалом его иноземцы кличут. Гляди-ка, и рог изобилия нам с тобою водрузили! Вот прямо перед нами! Золотой рог. Кисти винной ягоды из него до скатерки свисают! Мандарины катятся... орехи золотыми глазенками глядят... эй! — Хлопнул в ладоши. — Жареного павлина сюда! Моя суженая проголодалась!

Слуги, подобострастно приседая, внесли на огромном, как площадь Красная, блюде жареную птицу, румяная корочка маслено блестела, в жир гузна были воткнуты роскошные, темно-синие и слепяще-зеленые перья, на каждом пере горела, плыла, уплывала круглая, брюхатая, золотая китайская рыба.

Невеста повела глазами. Глаза тоже стремились уплыть с ее побледневшего лица.

— Да ведь это же птица Феникс, великий Государь. Она из огня возрождается. А ты ее в огне сжег. Огонь к тебе в гости, разгневанный, явится. Берегись.

Царь выслушал ее, беззвучно смеясь. Одним глотком допил шампанское.

— Не боюсь огня. Я и тебя из огня вынесу, если огонь тебя обнимет.

Из-под стола, отогнув снежный водопад камчатной кистеперой скатерти, вылезла девчонка. Тощие коски по плечам прыгают; тощие лопатки из-под холстины платяишка торчат; острые локоточки душной винный воздух бьют живыми молотками. Глазенки слишком светлые. Такие у чаек-альбиносов бывают, оттого что слишком долго, на лету, глядит птица в слепящие небеса. Девчонка, стуча по радуге паркета босыми пятками, резво подбежала к Василию. Дернула его за искаленную руку.

— Эй! Дяденька! Ты тут Царю еду варишь-паришь?

Василий наклонился к девчонке и погладил ее наждачной ладонью по гладко причесанной русой головке.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю!

— Угощайся! За стол садись! Прикажу тебе фарфор да хрусталь подать!

— Не надо, дяденька! Я сыта!

Глядела хитро, глазенками посверкивала.

— Откуда я тебя-то помню?

Он лоб потер, припомнить силась. Пир гудел, стонал, охал, бокалами-рюмками звенел и ржал лошадино.

— Ниоткуда. — Она плела языком, будто чуть подпила и забывала, и коверкала, и на ходу вспоминала слова. — Ты по войне все плачешь? Брось! Она была, есть и будет! Ее никто не убьет! Даже я!

— Ты?.. — Он рассмеялся. — Ну ты богатырша!.. Я тебе — копье подарю...

— Не надо. — Ее лисье личико опечалилось. — Оставь себе копье-то! Ты — на войну пойдешь! А я тут останусь, во дворце... и буду думать, думать, думать, думать... как ее победить... нет!.. как людей победить... ну, чтобы они совсем-совсем другими стали... и враждовать перестали... Правда... правда, для того люди должны жить не здесь... не на земле... а в другом месте...

Василий ниже, ниже наклонился к бормочущей небесную чушь девчонке.

— А где?.. Где?..

— В Раю...

Внесли два блюда икры — икры осетровой, цвета нефти, и икры красной, лососевой, с Дальнего Востока, — и в квадратном железном коробе, покрытом цветной эмалью, студень из телячьих и свиных ног. Вносили окорока, кровяные колбасы, связанные темными липкими кругами, копченую грудинку, нарезанный говяжий язык, залитый маслом, чесночным соусом и посыпанный мелко резанным репчатым луком. Вносили дыни и арбузы, среди зимы дивные; изумленно, черными овалами открывши жадные рты, глядели на бахчевые пахучие, громадные ягоды облаченные в атлас, кружево и модные смокинги важные господа.

— Ух ты!..

— Ах ты!..

— Взрезать, взрезать вон ту дыньку, золотистую!..

— Господа, повремените, похлебки несут...

Василий глядел внимательно, печально на все это великолепие. Поднял седые брови домиком. Все мысли, которыми он думал думу теперь, отражались на его лице, бежали волнами, били в лоб прибором морщин. Он глаз не сводил с невесты и жениха. Вон оно и произошло, вот и случилось. Когда свадьба?

Они сейчас шепчутся о свадьбе. Нельзя ему ее за себя брать! Нельзя!

Он слышал, о чем они говорили, и не слыша их.

— Когда назначим свадьбу?

— Да что тянуть. До конца месяца. Зачем ждать!

— Ты права. Я не люблю ждать. Хотя ведь царское ремесло таковское. Выжидать да внезапно стрелять. Чтобы все ахнули.

— Поняла. Если ты близко, покажи, что ты далеко. Если ты далеко, покажи, что ты близко.

— Что это?

— Китайская доктрина Дзэн-Шу.

— Уважаю китайцев.

— То-то на Москве любишь гулять, по Китай-городу.

— А ты меня там видала?

— Не раз. Я поблизости гуляю.

— Во храмы Божии заходишь? Службу стоишь?

— Нет. Я сама себе храм.

Она усмехнулась долго, нежно. Молчала.

Тощая девчонка с белыми косками подмигнула Василию и уползла под скатерть, из-под вьюжных камчатных кистей мелькнули ее босые пятки.

Василий не осознавал, как от двери, где он стоял навтыжку, наподобие стражника с алебардой, он медленно, как во сне, в зазеркалье, нога за ногу, приближался к царскому столу.

— А! — царь обернулся, поигрывая серебряной вилкой. — Повар мой! Искусник! Умелец! Вообрази, Катерина, — обвел весь круг стола растопыренной пятерней, — он это все сам сварганил! Ну, не без помощи поварят моих, разумеется. Но какова живопись! Какая роскошь! Размах!

Рыжекосая невеста измерила Василия зрачками: туда-сюда, вверх-вниз.

— Ты молодец. Тебя как звать?

— Василий его...

Царь не успел договорить. Василий поднял десницу. Его будто кто вел, под руки подталкивал, голос в нем пробуждал.

Ксения, спасибо, родненькая. Час пробил.

— Царь! Да, я повар твой! Но пробил мой час! Разреши покинуть кухню твою! Не в ней дело мое! А вели мне пойти на войну!

У Катерины глаза расширились, болотная зелень так и хлынула из них, затопила юрода; Царь плотнее сжал губы и зубы, молчал.

И Василий молчал. Он доподлинно знал: не надо слово ронять, ежели не просят.

— Будь по-твоему. — Царь сказал это слишком тихо, но через общий застольный шум и гам Василий все равно услышал. — Времени не теряй. Собирайся. Нет ничего тяжелее и легче Времени. И камнем давит, и крыльями дрожит. Ступай!

Через всю пиршественную залу Царь перстом указал на дверь. Невеста тронула жениха за рукав.

— Кто же у тебя на кухне поварским делом будет теперь заправлять? А?

Царь усмехнулся, молнией мелькнула полоска зубов.

— Я сам.

— Не шути! Дошутишься!

— Пугать меня?!

— Я любя!

Лунно-круглое, румяное лицо Катерины сыпало смех, зеленые стрелы из глаз, щедрую, жемчужную, потустороннюю красоту. Рыжая коса развилась, красные волны заструились по плечам, по спине. Она взяла в горсть тяжелые волосы и откинула за спину, как сноп.

Василий шел к двери.

Все, что происходило, было уже записано тяжелоозвонкими, сыроземными письменами в толстобрюхой Книге Судеб, что любила читать знахарка Марина: все вышептала лекарка перед двумя жарко горящими свечами в мятной, ладанной полутьме нищей сибирской избы.

ВАСИЛИЙ — КСЕНИИ

Солнечная моя Ксения! Ни сном ни духом не чуял, что окажусь здесь; но таково, видеть, мое предназначение — есть непреложный закон, по коему человека Бог помещает внутрь того, чего человек боле всего боится; так и я был помещен в точку наибольшего пламени. Солдатские души в Ад не идут: грешник лютый, бияся в войсках, уже заведомо прощен, если он воюет за правое дело.

Перво-наперво осмотрелся; должен был понять, почему я не солдат простой, а генерал; и в чем мое генеральство заключается, и как я должен окормлять моих воинов, чтобы они поняли, что не они тут хозяева, вовсе не они, а Тот, Кто выше их и сильнее, Кто не говорит, а только делает. И, понявши это, плачут люди горько, но тяжкого, необходимого труда не оставляют. Все для фронта, все для Победы! Это и есть геройство. Без него нельзя. Как и без трусости: и солдаты, и офицеры тоже слабодушны бывают; но не может быть трусом генерал, и не может быть трусом адмирал, и не станет дезертировать с поля боя маршал, и никогда высочайший владыка не сложит оружие перед врагом.

Ксения! Что есть враг! Аз есмь грешный Василий, и жил я на земле, и по снегу босиком шагал, навроде тебя, родная, и воду пил из лужи, аки воробей, и сухою корочкой питался, и подавали мне из жалости. И гнали меня, и пинали в бок ногою, будто пса смердящего, и помоями из окна поливали, и пальцами под ребра на морозе тыкали: ты, нагой дурак, спляши на снежку впрыскаду, спляши! Но я чувствовал себя некоронованным царем моих площадей, не венчанным на царство владыкой всея Москвы, и ходил я по Москве, любовно раскинув руки, в объятии сем вечном от счастья тая, сердцем все обнимая — и голубку малую, и башню высокую, до небес, алую, и ночь великую, звездноликую! Иные люди кланялись мне земно либо в пояс, а иные почитали меня врагом; но я-то ведь с ними не сражался. Моими врагами не были они! А я молился так: ну, ребята, коли я вам враг, так изничтожьте меня, забейте до смерти камнями, зарубите саблями на Красной площади, засекуте алебардами, исколите кинжалами, и покойно вам будет, милые! Не слышали они.

И тогда я об том молился молча. Неслышно.

А тут я генерал, и предо мною враг. А подо мной мои подначальные — железные танки и парни в них, танкисты. Когда-то войны вели всадники и лучники. Те войны и теперь идут; они просто, Ксения, переселились в кудри облаков, в широкое слезное небо, там тучи дождями плачут о них, молнии мечами сверкают и шашками, топоры ветров обрушиваются и мирь от войны отсекают. А мы здесь нашу работу ведем.

Танк встает против танка. Железную броню обтекает вихрящийся снег. Танк такой горячий, что снег тут же тает, прикасаясь к нему, превращается в воду, и слезы горячей воды стекают по железному, в окалине, корпусу, и не высунуться сейчас из люка танкисту, ибо идет бой. И бой тот, Ксения, веду — я.

Самое страшное, родная, это атака. Ты солдат, впереди твой враг, и между вами никого, кто бы вас защитил. Нету миротворцев. Есть Тот, Кто превыше всех. Никто, как Бог. Бог устрояет все. Я это понял лишь теперь. Хоть и нес я всю жизнь крест моего огня пророческого, но только здесь я понял ясность и судьбу.

Я ничего не знал про пехоту, про артиллерию, про саперов; я узнавал это ценою крови, и я путал собственную кровь с пролитой кровью воинов моих. Крови мешаются. Нет различения. Ты еси армия, и армия есть ты. Вас уже не разрубить. Твоя пехота должна дойти до линии обороны. Твоя пехота должна защитить твои танки. Смешно звучит, правда — живые люди должны защищать железные страшные громадины! Но это так и есть.

Я научился прикрывать фланги. Я научился закреплять удачу моих танков.

У продвижения танков есть маленькие победы; настанет день, когда все победы соединятся и обратятся в одну большую, и железо рассядется, и из гигантской черной, бездонной ямы вымахнет к солнцу нежный цветок. Победа не громоподобна, а нежна. Знай, Ксения, что Победа вся залита слезами. Вся мокрая, отчаянная, соленая. Живого места нет.

Движение! Танки мои движутся. Они идут только вперед. Огонь! Танки мои стреляют огнем. Первые дни, прибыв на фронт, я таращился на огонь, как на те ночные костры на площади Красной, помнишь? А надо мной втихаря хохотали солдатики: что, забоялся, генерал?! Гляди, любуйся!

Только Бог все видит и все может, Бог все знает-ведает и каждую минуту и каждую секунду прощается со всеми.

Вера моя в тебя, родная, в твое прощение. Я всю мою предыдущую жизнь воевал противу сатаны за любовь людскую, а теперь, Ксенька, видишь, — за тебя. Верь, счастливая моя, я никогда не дам тебе погибнуть. Как молитву, повторяю, под гром орудий: все будет хорошо, Ксенья, все будет хорошо, авось Бог зла не попустит.

Перепутал я давеча все времена. А ты, ты у меня одна.

Я вот теперь думаю, что ежели бы Суворов либо Кутузов были живы сейчас, они бы на меня ополчились. Приказали бы меня солеными розгами высесть. То, что я говорю солдатам, нельзя говорить; то, что я делаю, нельзя делать. Я знаю, что нельзя. Мне этого никто не говорил, а я знаю. Все мои солдаты там, внутри танков, быть может, умнее, чем я. А кто глупее всех — меня не осудит. А кто добрее всех — пусть на врага крепко обозлится. Доброму трудно злиться, тяжело. Для него обозлиться — все равно что себя самого в кровь избивать.

Кто-то может сказать, что мой защитный колпак лопнул. Не железный колпак, какой мой дед Иван, страдая, носил! Нет. Иной. Иногда чую: будто вокруг меня невидимый громадный, в мой рост колпак, прозрачный овал, и сияет-переливается речным перламутром, и золотится на туманном, сметанном солнце, а потом вдруг — щелк! — и лопается. И вытекает наружу нежная вода, как из брюха у бабы при родах, и я, утирая слезы, вдруг начинаю понимать все живое. И с ужасом спрашиваю себя: как?! Василий, как же это?! Почему же ты, столь любящий жизнь и любовь, да кромсаешь жизнь направо и налево, да убиваешь любовь, расстреливаешь ее в упор?!

Негоже мужику плакаться. Главное дело — не во мне, а в герое. Он здесь, в моем танковом войске. И я его не знаю. В атаке погиб или в тяжком бою, спасли, перевязали медсестрички, или остался в полыхающем танке. Где он? Он здесь. Он есть. Он так и остался безымянным.

Жаль мне, что ты не видишь сей момент моих танковых полков, танковых батальонов моих. Думал ли я, царский повар бессменный, палец в сладкое варево, в терпкий соус окунающий, что буду лик мой окунать в горячий ветер боя, буду выкрикивать хриплые, страшные команды, их не исполнить — себе приговор подписать! Танки наступают, танки изрыгают огонь и беспрерывно движутся. Движение танка — его удача. Счастье его. Застывший танк — мертвый танк. Мертвец, железным скелетом наружу. Вот прикрывают товарищей мощным огнем; вот на чудовищной скорости пере-

брасывают железные туши к новому укрытию. Быстрота, я им всегда ору: быстрота и натиск! Первейшие заповеди воина! Не соблазняйся на то, чтобы противника умертвить; еще успеешь поразить его. Веди огонь по цели, опасной для тебя. Ее — изничтожь. Сожги в ржавые ошметки пулеметы и минометы, зенитки и ракеты. Твой огонь — драгоценный огонь. Веди его прицельно. Я, повар, варганил на кухне пирог и сперва задумывал его, и воображал его, и мысленно смаковал его. И тыобрази поражение врага и твою победу. Большая воинская удача складывается из серебряной цепи маленьких побед на поле боя.

Не теряй из виду родную артиллерию — она твоя верная сестра, она подставляет тебе плечо. А вражескую артиллерию погуби! Уничтожишь ее — враз ослабишь противника. Ах, Ксения, видела бы ты мою пехоту! Да танки, знаешь, опасны для пехоты; ежели неумело командовать, танки могут бедняжку пехоту запросто задавить. Танки слепы. Они железны, громадны, страшны и незрячи. Они не видят ничего. А люди, людишки такие крохотные рядом с ними. Божии коровки.

Не медли, танкист! Ты не железная гора! Ты должен двигаться стремительно, умолимо! Чуть замедлишь ход — и все, ты легкая добыча! Ты, железный медведь! Я, живой медведь, вижу все насквозь и командую тобой. Что, Ксения, жесток?! Страшен, зол, отвратителен?! Однажды мне сказала старая бабка, в три шерстяных платка закутанная, нашедшая меня на Красной площади под фонарным столбом; она так сильно, мучительно вцепилась мне в плечо, синяки отпечатались на моей голодной коже: «Эй, лохмач!.. Ежели доведется тебе с кем вести битву — сразу убивай, не гляди на то, что он живой, как и ты же!.. Не жалея врага, никогда не жалея!.. Бей наотмашь!.. бей первым!..» Старуха, спросил я тогда, а что же ты, старуха, речь о таких страстях завела?.. глянь, денек-то солнечный, снег весь в золотинках, в небе легкие облачка рыбами играют, синь чудесная густым вином прямо в душу пьяную льется... а ты тут мне да про убийство! Эк тебя разобрало, старуха! А она, веришь ли, Ксения, на меня так возвела острый прищур, так зрачки свои в меня воткнула, что пот потек у меня по спине, между лопаток. Да и процедила сквозь беззубые челюсти: «Вижу тебя, косматый ты голяк, в генеральских одежонках, на поле брани, и длань свою простираешь, и куда бить, указываешь. Так-то!» Она пророчица была, та старушня, так думаю.

Быстрота! Быстрота! Пехота, помогай нам, танкистам! Вот он, бой! Я его лишь в видениях созерцал. Наяву он еще ужаснее. Пехота бросает гранаты, наостряет штыки. А танки прикрывают ее огнем. В бою важно в своих не попасть! Спросишь, как я это делаю? С высоты наблюдаю. Сражение зрю. Волосы дыбом. Я не баба, очьми плакать не могу; сердце кровью плачет. Да в бою чувства исчезают. Все: горечь, жалость, боль. Может, лишь одно остается. Страх, обращенный в полное, безоговорочное приятие смерти.

Атака — вот что главное! Атака — наша вера, наш военный Бог! Вычислить слабое место врага — это надо суметь. Я — уже умею. И наносить в то уязвимое место мощный удар — отдавать приказ научился. Я уже крещен огнем, Ксения. Я его, огонь, лишь на площадях видел: костры, костры горят, ночь собою возжигают! И я сам похож на костер, борода моя огненная, волосья на башке огненными языками в стороны торчат, изгибаются, шевелятся, вздрагивают. Ночь седым золотом целуют. И знать не знал ведь, лунная, зимняя, бедная моя, что я в самой гуще боя окажусь; и огонь буду вести из укрытий, и в чистом поле наблюдать режущие воздух полосы огня, и зреть, как огонь охватывает избы, овины, плотины, сараи и риги, бегущих людей, сухую, в инее, траву.

А иногда, знаешь, вражеские танки сидят в засаде. Вот это хуже всего. Ты не знаешь, где они. А тебе надо их обнаружить и стереть с лица земли, огненной ладонью

смахнуть. И чтобы железные гусеницы во ржавь обуглились, в пепел истлели. Нам пасовать нельзя! Враг всегда чувствует, когда у противника является слабость. И твоя задача — не дать ему твой просчет увидеть. Ты — сильнее! Даже если ты слабее! Помни: уничтожить! Другого не дано.

Жалость? Снисхождение? Сочувствие? Не должен умереть — ты. А он — пусть умрет.

Ксения, не удивляйся, не закусывай губу до крови. Здесь свои законы. Они не писаны никем. Они существовали изначально, всегда. Нигде, ни в какой древней Книге Жизни ты их не найдешь. Ты их можешь только услышать внутри себя. По складам повторить. Пусть лицо твое заливают слезами. Не отирай их. Пусть льются. Они смывают с души у тебя накипь столетий. Поле боя — Божие поле. Гибельный огонь — Божий бич, свистящий бич. Нет Господня приказа прервать бой. И никто не знает, когда он раздастся. И раздастся ли.

Может, так нам, Ксения, суждено...

Поклон тебе, радость моя, низайший, до земли. Молюсь за тебя денно и ночью. Нет у меня тут зеркала, чтобы поглядеться в него и увидеть себя: да, и впрямь генерал, и генеральская форма на тощих телах, как на высохшей доске, болтается, и орденские планки вот, и непонятно, за что мне их выдали: может, и правда я где в бою вчера отличился, да вот сегодня забыл. <...>

ТРОЕ В ВИДУ АДА

Она выросла пред ним из-под земли — из-под зыбучего, сыпучего ржавого наста, униженного жесткими перлами навек застывшей снежной крупки — из-под сплетения ивовых корней — из-под необъятных пней-выворотней, сходных с обгорелыми морскими, многоногими спрутами; выросла и задрожала, заискрилась, захохотала нежно, неслышно, закидывала голову, поводила изумрудами очей туда, сюда, словно искала и не могла его найти, ах, вот же он, я так долго приценивалась, примерялась, а вот поди ж ты, из грязи в князи, рос-рос и вырос, и к присяге подоспел, и над танками начальником встал, ишь, ногами в сапогах — в горелую землю уперся! Ну-ка, ну-ка, поглядим-ка, как ты мне — мне!.. — сопротивляться будешь: я не воин, ни шагу назад, я не начинаю жизнь с нуля, я сама — нуль, зеро, красное зерно, в пашню, размахнувшись, бросишь — морями крови хищно прорасту!

Он глядел на нее, а вот не надо было глядеть: в раскосые, широко подо лбом стоящие, пылающие закатной зеленью глаза, на бархатный пергамент намазюканной телесною краской скулы, на кровавое коралловое ожерелье, тесно обнимающее ствол шеи; он — через нее — на всю ее жизнь глядел, и он знал, что происходит, зачем ее жизнь внезапно оказалась перед ним и широким журавлиным крылом наложилась, наслонилась на его непонятную жизнь; он понял: его хотят захватить, он — вражья сила, он — земля, кою необходимо повоевать, и вот-вот это случится, не отвертеться, и только молиться и радость призывать, его чудо, его упование и спасение.

Ксения. Не покидай. Не дай меня ей. Спаси и сохрани. Ксения, ты ведь голос Господень; я слышу тебя всегда.

Чудо явилось. Тесное пространство его военной землянки раздвинулось, раскрылось прозрачным, многолепестковым веером. Расцвела землянка черной нимфеей. Рыжекосая женщина сделала шаг к нему, а он спиной, лопатками увидел, как сзади, из дышащего небытия, выступила другая женщина в ободранном старом, из-под картофеля, мешке, мешковина разлезалась под руками, под веками, и смуглое тело просвечивало сквозь ветхую рабочую сеть измызанной ткани; женщина шагнула к нему и шагнула еще, и вот она уже за его спиной, подошла вплоть, он чувствует ее горячее ды-

хание, слышит простудные хрипы в ее легких, ощущает тонкий, чуть слышный запах озерных кувшинок от ее развитых, распушенных по плечам и спине, золотых, со щедрой сединой, волос.

— Ксения!..

Рыжая тоже шагнула вперед. К нему.

И тоже слишком близко встала. Грудь к груди. Живот к животу.

Его гимнастерка едва не запылала, не вспыхнула зарей от жара Адова.

И сзади шел живой жар. То струилось солнечное тепло. Благодать. Телом, как и губами, тоже можно целовать. Бездвижным телом можно сражаться: оно замрет в великом покое, но там, за спиной, душа раскинет широкие крылья.

Две женщины стояли друг против друга, а посередине бородастый, косматый святой генерал: под перекрестным огнем Ада и Рая, под огненным дыханием благодати и проклятия.

ФРЕСКА ТРЕТЬЯ. В АДУ

ВАСИЛИЙ СПУСКАЕТСЯ В АД

Я шел, как по воде.

Я уводил людей и самого себя от беды, ибо видел: теперь люди никуда, и сам я никуда, и мои пророчества живут только благодаря беде.

Я понимал: война есть зло, но как же прожить без зла на широкой земле? Тогда мы зла от добра не отличим. А может, и отличим? Может, нас, горемычных, всю жизнь этой ложью кормили: свет — мрак, жизнь — смерть?

Я шел, и я уводил душу мою туда, где ей надлежало быть: я с этим послушанием родился, я понимал: мне надо излечивать, гладить по головам, горько улыбаться тем, кто не то что смеяться — словца произнести не может.

Я шел сквозь крики и стон, — я шел к тем, кто погиб, и вставляли предо мною ушедшие, тесней смыкался их строй, и я шел мимо них, как от века генерал идет перед солдатским строем, перед взводом и ротой, перед многоглавым батальоном, я глядел им в глаза и не мог им солгать, и я неслышным, горячим шепотом говорил им только правду. Им важно знать одну истину: завтра я умру. Нет. Сегодня. Меня не станет. Но я умру во имя Родины моей.

Я шел и глядел в лица моих солдат. Они стояли передо мной навтыжку, в шатком строю, а как будто спали; сапоги их облепила жирная грязь, родная земля, они глядели мимо меня и поверх меня, и я понимал: они знают все о смерти. А я глядел на них так, будто всем им был отец и всех их, без разбору, любил. И всем надо было отменную еду приготовить. И всех до отвала накормить. И всех приглубить, по затылкам погладить. Моя шершавая, как рашпиль, ладонь, вся в земле! <...>

Я шел вперед, и я хотел, чтобы за мной шли люди, и они снимались с мест, выходили из строя и шли за мной, и видел я зрячим затылком: они без жалости оставляют в прошлом свою надежду свою, и они идут за мной, не зная, куда я их приведу, а через миг, равный вечности, уже зная об этом.

Я шел, и я хотел оглянуться назад, на людей, идущих за мной, и сказать им: не ходите за мной! не поддавайтесь соблазну моему! туда, куда я иду, ходить нельзя, запрещено!.. — но они упрямо шли, и не мне было их остановить.

Остановиться и я не мог. Мне было страшно.

Но ты, Ксения, ты шла тут, близко, рядом со мной.

Ты не держала меня за руку, а будто держала. Так тепло, тесно, будто пальцы переплелись и слиплись, я ощущал твою руку; я задираю голову, над нами сияли полные звезды, сверкающие ягоды в черной траве, и поле становилось то молчащим в ночи полем сражения, то заснеженной равниной, без единого зверя, без затерянного человека, и воет метелица над белыми холмами, душу рыданием вынимает; то площадью широкой, и мы опять с тобою, родная, по той площади идем и глухим людям в уши — их жизнь выкрикиваем.

А они и слушать не хотят. И не слышат.

Во звездных небесах мерцали знаки. Звезды горели то светло, то темно. Складывались в слова. Я, задирая башку, их читал, ледяной ветер развеивал мои косматые волосы, и я шептал тебе беззвучно: Ксения, страшно мне, — и ты поднимала ко мне лицо твое и улыбалась мне в ответ: не бойся ничего, нам с тобой уже поздно бояться.

Ты говорила: не бойся, ступай, все вниз и вниз. Мы с тобой идем туда, где мало кто из живых побывал. Владычица Ада хотела тебя туда повести? А видишь, веду я. Я тебя защищу. А она, низведя тебя во Ад, мечтает тебя сгубить; будь тверд душой, отринь страх, ступай тяжело и прочно, плотно приминая сапогом родимую землю, вминай стопы в ее текучую, липучую, сладкую грязь. Земля — застолье. Она яство. Ее надо приготовить: в котле — врагу, а потом черпнуть воды из кровавой реки и сварить на костре ушницу.

Для всех. Для нас, для них.

Мы шли вдвоем по белым полям, будто по Белой площади. Сегодня Белая, завтра Красная.

Ты мне шептала беззвучно: нет страха, нет боли, душа твоя тверда, и только сердце плачет.

И я слышал это.

И ты шептала мне: ты увидишь мучения, ты узришь безумие, будешь созерцать не людей, а тени, только не выпускай руку мою, только не отпускай.

И так же беззвучно я отвечал тебе: да, не выпущу никогда.

По полям, в логах, перелесках, оврагах, яминах лежали люди. Мы спускались вниз, все вниз и вниз, и я слышал громкий плач и тихий всхлип, и ни одной звезды не горело над нашими головами, а было так светло от снега, будто в сердцевине Млечного Пути мы шли, медленно шагая, как в далеком детском, позабытом сне.

И, слыша чужой плач и лоя дыханием чужие горькие слезы, плакала я.

Я слышал, как рвалась чужая странная речь, как громко, неудержно вскрикивали люди, выпуская из груди последний крик, крик сожаления по утраченной Земле; люди бормотали, сетовали, проклинали, гордились, клялись, рыдали, благословляли жизнь, Победу. Люди умирали внутри веры своей и уповали, что воскреснут, Господу подобно. А кто и не верил. Отрицал. Отвергал Миръ, в коем погибал, и самое смерть. Ярость мешалась с лютой болью. Ужас — с воздыманием, в последней любовной ласке, слабых, как атласные тонкие ленты, умирающих, лебединых рук. Жальба и гнев застывали в объятии. И все округ меня и под медленно, тяжело идущими ногами моими, в тяжелых армейских сапогах, сливалось в общий страшный, без конца без краю, гул, и века бурлили в небесном котле, как мое невероятное, безумное месиво, — я, сцепив голодные зубы, медленно готовил его, и, соединившись в булькающую солдатскую кашу, в чудовищный кровавый кулеш, века прекращали быть Временем; Время умирало, исчезало, а взамен обваливалась мгла, налетал последний вихорь, и кто-то дальний кричал, я различал слова: «Не вдыхайте!.. только не вдыхайте воздух!.. закройте!.. накиньте на себя простыню!.. накиньте одеяло!..» — и вдруг все эти разрозненные крики слетались, сбивались в один страшный, мощный хор, и вопль хора

сметал с лица Белого Поля все сухие ветки и обмерзлые скелеты недавно живых существ, людей, зверей и птиц, и оставался один крик — голый, длинный, отчаянный, неутолимый крик, вынимающий нутро, заклинаящий, проклинаящий.

Я спросил тебя, Ксения: отчего так мучатся они?.. — и ты ответила бесслышно: они умерли, а небо их не принимает, и земля тоже, и они летят и кричат между небом и землей, и ждут своей участи, и не знают ее, и плачут по ней.

Я попросил тебя: дай я в лицо им загляну, неведомым мученикам!.. — но ты потянула меня за руку, говоря мне пожатем твоей руки: идем, идем, не останавливайся, остановка смерти подобна. <...>

<...> Снег бил в бубен земли вперемешку с дождем; и вот уже грязная, вонючая вода обильно полилась сверху; и дождь шел, подобно нам, быстро, тяжело, скользя по грязи, стекая по ребрам и потрохам ржавой кровью.

<...> Мы опять двинулись вперед, и перед нами замаячила разрушенная маленькая церковь, одна стена обвалилась от взрыва, три других еще держались, осыпаясь. Мы подошли ближе. Ксения задрожала.

Я с трудом распахнул обожженные двери и переступил порог. Женщины тихо вошли за мной. <...> Лики расстрелянных икон. Под разрушенным, в дырках, с торчащей сеткой арматуры, куполом пролетела птица, ударилась о стену, распластала крылья, навеки прилипла в полете к текущей вниз людскою кровью фреске, называемой: Сшествие во Ад.

КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА В ИЗБЕ

<...> Он сделал шаг и опять застыл. И опять никто не него не смотрел. Они не дели его.

Он шумно вздохнул, и тут Царь вздрогнул, обвел глазами то, что в изобилии валялось на столе — бинокли, блокноты, густо исписанные бумаги, рации, револьверы, пистолеты, очки, авторучки, измазанные чернилами гусиные перья, толстые плотничьи карандаши, — медленно повернул голову и посмотрел на него. И, первый и единственный, в его сне увидел его.

Долго ждать не стал. Выкрикнул приказ.

— Стул ему! Не найдете — табурет! Не табурет — кресло! Нет кресла — бревно генералу катите!

Вперед, из-за изразцов, выступили два денщика, подтащили к столу табурет, поставили, потряся, проверяя, не подломятся ли ножки.

Василий сел, не сводя глаз с Царя.

Царь обвел глазами генералов.

Василий последовал взглядом за царским взглядом.

Как они глядят. Они же меня зрачками протыкают. Как они меня ненавидят. За что? За то, что успехи у меня в боях? За то, что я танкистов моих вышколил, геройски с ними каждое сражение вел? Что ни разу, да, ни разу не отступали мы?

Внезапно полярный, синий холод обдал его, и все внутри него, глотка, кишки, гулко стучащее сердце, обратилось в инистый, железный лед.

Не я ли к Миру живых призывал? И не Христос ли нас всех, и врагов и друзей, к Миру призывал? А что такое Мир? Рай? А может, все-таки Ад?! Господи! Разреши мне сомнения мои!

Зубы вонзил в губу. Не отводил глаз от совета.

И весь совет, во главе с Царем, прошупывал его глазами, ощупывал ненавистью, болью, подозрением, насмешкой.

Да разве генерал может быть верующим! Умоленным! Да разве поможет Бог в дислокации, рекогносцировке, атаке, отступлении!

Он знал имена всех сидевших за столом военачальников. Вот тот, с лицом белым как мел, с залысинами, с трубкой в углу страшного кривого рта. Он проиграл сражение под Смоленском. А тот, вон сгорбился над планшетом, поднял плечи, будто на груди птенца от кошки защищал, прятал за пазухой: сначала победа за победой, разгром за разгромом, а потом колоссальный обвал, бегство, гибель войска, и с трудом удалось остановить ужас и вернуть себе хотя бы часть утраченной чести взятием важной высоты. А этот?.. слишком много кудрей, слишком много лоска: красавчик, мажор, богатенький сынок известного папаша, и что здесь делает, неизвестно. Славу зарабатывает. А может, просто все происходящее как вино: рвутся бомбы, летят огненные стрелы, красные танки обращаются в красных стальных коней и вброд переходят кровавую реку, и все это возбуждает, опьяняет. Война — это ведь еще и до глубины души изумление: всеобщая смерть изумляет; как человек мог такое оружие изобрести, чтобы им — сразу многих, скопом взять да уложить?

А вон тот, вон тот... Маленький. Хмурый. Унылый. Толстый. Как сдобный колобок с забытой кухни забытого царского повара. Сидит, сложил руки на груди перекрестно, глядит исподлобья. А вот не надо обращать вниманья на его игрушечный, смехотворный вид. Он знает, что делает. Он воюет недолго, а в ставке сидит бесконечно. Он даже не красноречив. Двух слов связать не может. Мелет языком вроде бы чушь, а внутри словесных семечек проскальзывают точнейшие наблюдения и железно-верные указы. Плюйся шкурками слов! Ты съедаешь сладкие ядра. Ты мудрец. И сидит толстяк до поры. До нового кровавого пира. Он знает: он в нем победит. Где бы он ни был. В тылу. В штабе. На передовой. Хитер бобер. Отлично строит свою запруду.

Поэтому царь без него — не может. Поэтому и он здесь, на совете.

Игра в молчанку закончилась. Царь вздохнул шумно, прерывисто, и выдохнул:

— Ну здравствуй, Василий!

Василий встал с табурета. Отдал честь.

— Вольно. Сядь.

Василий сел. Табурет качнулся под ним.

— За нами Москва! — выкрикнул Царь.

Господи. Сколько же раз Ты, Господи, с небес слышал эти слова.

Подал голос полковник, сидевший на закраине стола. Он волновался, вертел в пальцах карандаш, вертел-вертел, ломал и сломал, и отбросил обломки; потом стал листать тетрадь с записями и с рисунками расположения войск, и страницы нагло шелестели. Полковник возвел на Царя прозрачные озерные глаза, на их зелено-голубом дне ходили голубиные сизые тени, он глядел печально и всепонимающе, сжал рот под пушистыми, тщательно расчесанными усами, иконописный карминный румянец взбежал на его бледные, снежно-белые скулы.

— Вы предлагаете дать сражение под Москвой? И во имя защиты столицы погубить всю нашу армию? Всю?

Полковник выговаривал это тихо, отчетливо, медленно, будто внушал нашкодившему ребенку: так нельзя делать, нельзя. Царь залился краской. Подавил в себе гнев. Обернулся к Василию.

— Глядите, какие размышления тут обнаружуются, генерал! А что скажете вы? Биться нам до конца, смертно или позволить врагу хозяйничать на нашей священной земле?! Вы-то сами кто, генерал: миротворец или герой?! Нашей стране нужны герои! А не мямли! Да, погибают люди! Но если враг нашу землю повоюет — ни молодежи не будет, ни стариков, никого. Поэтому нам нужна одна победа! Я — так — считаю! А вы?!

Война — святое геройство. Война — Адово смертоубийство. Где правда?

— Правда в том, что я веду сражаться моих воинов. И они погибают. За Родину. За веру. И ни за что иное. Но ни я, ни ты, Царь, никто из нас не знает исход битвы. Мы знаем только ее движение. Ибо сами движемся вместе с ней. Где конец дороги?

Он воскликнул еще раз, уже громко, страшно.

— Где?!

Я как царь. Да ведь я и есть тут, теперь — царь. Я прошел кусок Ада. Я Ад вкусил, на зуб узнал. А они кто? Каждый по-своему воюет. По-своему герой. Не героев тут нет. Здесь всяк сейчас пойдет и умрет. А я? Как же я за царя умру, когда я и есть теперь — царь?

— Ишь ты, как повернул. — Царь покривил заросший усами-бородой тонкий, надменный рот. Он сейчас неуловимо стал похож на Катерину, коварную невесту его. — Но ведь у всякой страны есть голова. Столица. А во всякой столице сидит владыка. И суть важно, любит его народ или не любит. Хочет свергнуть или воспекает, превозносит. Он сидит на троне. Властвует. Иного ему не дано. Каждый исполняет на земле свое дело. Царь тоже. Разгромить столицу — посягнуть на царя. Замахнуться на царя — уничтожить святая святых. А святая святых есть у каждого народа, во всякой власти; это тайна внутри гробницы, внутри храма, дворца, подземного бункера, супружеской спальни. Святилище — это продолжение рода. Убьешь столицу — убьешь царя. Даже если царь сбежит в другую страну, под покровом ночи, охраняемый тучей стрелков, его все равно потом настигнет враг — и убьет. Тихо. Неслышно. Исподтишка. Коварно. Убьет! И все! И нет больше его! А кто есть?!

— Другой царь, — тихо вымолвил Василий.

Лохматые, страшные волосы вились у него по плечам, закрывали погоны. Борода свешивалась ниже армейского тугого ремня.

Царь всплеснул руками.

Все за столом слушали в гробовой тишине.

— Другой! Я, значит, неугоден! И значит, повод теперь сместить меня! Снести чугунным шаром, как дуру кеглю! Так просто?! Так вот что такое?! Удобный повод меня — убрать?!

Василий снова встал с табурета. И более уже не садился.

— Город все равно будет разрушен. Так написано в древних письменах. Я читал их. Мне открывали небесную Книгу. Мать читала мне из небесной Книги, она лежала у нас на столе в сибирской деревне, и я не мог ее обеими руками приподнять, как ни старался. Город — то всего лишь строения. Здания. Пусть даже священные. Кремль, соборы. Я видел картины: башни разрушены, обвиты серыми листьями неведомых растений, руины храма медленно осыпаются, шевелятся мрачными водорослями, тают в подводном убийственном дне, похожем на ночь, растворяются во Времени, будто сахар в чае. Если будут живы люди, они дома их и соборы их возродят. Руки есть, головы есть. Из камней новую жизнь сложат. А людей, людей не так-то просто зачать и родить. Что ты выбираешь, великий Царь? Спасти людей — или спасти престольный Град?

Царь кусал губы. Искал слова. Седые пряди прилипли к его потному бледному лбу.

— О каком спасении болтаешь, болтун?! Теперь — спасения нет!

— Есть, — твердо сказал Василий. — Есть! Армия жестока. Войско жестоко. Сражение беспощадно. И мы готовы умереть. Но не все. Не все! Нам нужны машины. Танки. Гаубицы. Зенитки. Самолеты. Они управляются людьми. Нам нужна наша армия. Мне! Нужна! Моя! Армия.

Гул голосов поднялся за столом. Ярче возгорелись круглые солнца, обращенные в лики святых икон. Солнца плавали, ползали под потолком, били в лица сидящих,

а сидящие кричали, пытаясь друг друга перебить, переорать, заглушить, заткнуть, никому из них это не удавалось, Царь морщился, он вынужден был слушать эту свару, люди превращались в собак и грызлись за деревенским столом, совет превращался в рынок, в оголтелое зимнее торжище, где каждый выхвалялся своим и торговал свое; и тут Василий поднял руку, и все враз поглядели на эту худую сильную руку, взметнувшуюся над лохматой медвежьей головой, сверкающую, среди икон-солнц, еще одним круглым маленьким солнцем, слепящим, мучительно горящим.

— Народы бьются и грызутся всегда. Мы защищаем себя, а иной народ заслоняет себя. И между ними Белое Поле, и там они колошматят друг дружку. Кто первый начал? Всегда большой вопрос. Если покопаться в событиях, пойдем: они все цепляются друг за друга. У каждого следствия есть причина. И вдруг причина обращается в новое следствие. И мы роём дальше, глубже, раньше: а что там раньше? Может, там-то и есть самая главная причина распри?! И — не докопаться. Никогда! Они себя не бомбили, они бомбили нас! Ага, вот она, причина! Мы озлились. Отомстить! И начали мстить. Враг на нас не собирался нападать!

— Как же, не собирался?! Что вы мелете, генерал! Вы дурак! — разъяренно крикнул малорослый толстяк, расцепив на груди пухлые руки; сверкнуло обручальное кольцо.

— Не собирался, — тихо и печально выдохнул усатый полковник, повторяя слова генерала, мял в пальцах карандашные обломки, горько улыбался, и глаза его тихо светились синей, серо-зеленой, осенней озерной глубиной, и нежные улыбающиеся губы взрослого, закаленного в боях мужчины внезапно напомнили детский плачущий рот, или для ночной молитвы сложенный, или для прощального поцелуя.

Полковник медленно, тихо перекрестился.

Царь глядел на него с ненавистью.

Перевел глаза на Василия.

— Ты пойдешь под трибунал!

— Изволь. Воля твоя. Всегда и всюду. Война сама захотела начаться. Внутри людского моря есть течения теплые и холодные, когда они наталкиваются друг на друга, Землю захлестывает военная жажда.

— О чем ты, юрод?!

— О том, что люди склонны обманывать друг друга. Есть первотолчок. Я не говорю, что нет врага. Он есть! Был, есть и будет. Человек человеку пока что не хлеб, а волк. Дикий медведь! И на дыбы встает! Два медведя, друг против друга! Шерсть против шерсти, пасть против пасти! И у врага, в недрах его судьбы, есть начало. Каково оно? Вдумайся. Надо не чувствовать, а думать. Сначала злоба. Потом, против злобы, обида. Потом, от обиды, боль. Потом боль обращается в ненависть. Потом ненависть не пережить; ее надо залечить, забинтовать; чем? А вот она, месть. Отомстить! А что такое месть? Это — война. Так все просто!

— Просто?!

Царь завопил так, что сотрясся потолок, зазвенели в рамах стекла, а откуда-то из-за сине-белых, ярких изразцов печи вывалился засохший хвостатый сверчок и черным бархатным лоскутом брякнулся прямо под ноги полковнику с озерными глазами.

Терпеть. Главное — держаться и терпеть. Претерпеть. Простоять и проговорить эту речь. Все сказать. Пока снится мне этот сон. Другого времени и другого сна уже не будет.

— Война сначала была перестрелкой. В нас стреляли. На границе. Но и мы стреляли. Нас убивали. На границе! Но и мы убивали. И никто ничего не объявлял. Ни ты, ни нам — чужой, иноземный владыка. Стреляли мы друг в друга, и все! А когда и гранаты бросали. А когда из огнемёта друг друга поливали. Сидят солдаты у костра,

едят ушицу из котелка, а тут из-за кустов — лавина огня, и все — в головни, в пепел. И не надо печи изразцовой. — Он оглянулся, мазнул взглядом по старой изукрашенной печке. — Дрова, человек есть дрова. И для того, чтобы согреться зимой, он сам себя, да и брата своего, в печи времен сжигает!

Все за круглым столом молчали. Толстяк заплетал кисти скатерки в белую косицу.

— Пуляли-пуляли этак мы друг в друга, и что? У кого-то должно было лопнуть терпение. Да только не у тебя оно, государь, лопнуло! А у генералов твоих! Да, никто не объявлял войну! А все уже привыкли! Да все, весь народ, поверил тому, что глашатаи на площадях кричали! А кричали они вот что, разворачивая крупно исписанные, чтобы легче читать было на морозе, свитки: НА НАС ВЧЕРА ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ ВОЗЖЕЛАЛИ НАПАСТЬ НАШИ СОСЕДИ! ОНИ ТОЛЬКО ПРИКИДЫВАЛИСЬ НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ! НА ДЕЛЕ ОНИ ВООРУЖИЛИСЬ ДО ЗУБОВ И ПРИГОТОВИЛИСЬ УДАРИТЬ! ДА МЫ ИХ ОПЕРЕДИЛИ! СЛАВА НАМ! МЫ СРАЖАЕМСЯ ЗА ПРАВДУ! И БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ! НАС НЕ ОСТАНОВИШЬ! ПРАВДА ПОБЕДИТ! ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ! МЫ ПРОЛЬЕМ КРОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ! МЫ ПОБЕДИМ! Ты помнишь, помнишь, как холопы твои это на площадях кричали?!

— Заткнись, юрод!

Выстоять. Держаться. Не падать. Не умолкать.

Не просыпаться.

— Кто кого обманул?! Тебя — обманули. А ты сам об том не догадываешься?! Нет, о нет! Иначе бы не затевал ты тут, в избе, совет, не расспрашивал соратников о верных шагах, о неверных! Кто и за что собирался нам отомстить?! Согласен, повод для ненависти, мести всегда найдется. Да, безумцы они! Мы говорим на разных языках?! Да! Но мы понимаем друг друга! У нас одни прародители, Адам и Ева, ветхие люди! Люди Рая! Сладкого, золотого, птичьего, мандаринного Рая! Рай, там человек живет без смерти! Бессмертие! Вот клятва. Вот надежда. Мы забыли про бессмертие. Звери и птицы шарахаются от нас, убегают и улетают, мы сеем смерть, живое это чувствует. А люди? Разве люди не чувствуют, когда соседняя армия к границе подтаскивает танковые колонны, стягивает пехоту? Забивает аэродромы железными летающими бочонками?!

Говорить. Говорить не умолкая. Высказать все. Успеть.

Он будет орать, перебивать, он может вскочить и зажать мне рот ладонью. Но я должен сделать так, чтобы все люди за круглым столом это — услышали.

У меня просто нет другого выхода.

— У нынешней беды другие причины! И я не верю, что вот сейчас, теперь, ты их не знаешь. Где же твои хваленые дипломаты? Разве ты и я, мы оба, не знаем, что главное — речь? Еще никто не запрещал речь. Никто еще язык в тюрьму не сажал.

— Сажали! — выкрикнул Царь, вращая выпученными глазами.

По его вискам тек мелкий пот.

— Ну да, да... Язык — народ, и я сие помню! Однако чужедальний владыка, разве он был в начале готов к обоюдному вашему разговору? Почему ты с ним не сел за стол? Такой же вот, широкий, круглый?

— Он все равно бы не сел! Не захотел! Бестолковое дело!

— Не бестолковое! Не напрасное! Кровь, она так рядом. Если хоть раз она пролилась — беды не миновать. Человек, зачуяв кровь, превращается в волка. Бежит по следу. По следам убитого. И на запах тех, кто еще не убит, но кого можно убить. А люди — дураки! Вот я юрод, да, но мало ли ты видал безумцев, что сами шли на заклятие, желали быть убитыми?! Каждый хочет жить! Да умереть как герой, для многих это как знамя подъять над собой, в небеса!

— Замолчи! Эти люди, которых убивал жестокий владыка там, в другой стране, они все наша родня! Они — у нас — помощи — просили! Ты-то разве не знаешь об этом?!

— Знаю! Еще как знаю! Просили! Кричали!.. А я скажу! И вы все — слушайте! Это сон, и вы все во сне моем, но ведь и я вам снюсь, а проснетесь — быстро, плача, губы кусая, меня и мой крик вспомните! Все до словечка припомните!

— Связать его!..

Царь захрипел и выбросил обе дрожащие руки перед собой.

— Не выполнит тут никто твой приказ! Видишь, все сидят как вкопанные на стульях, табуретах, в креслах своих и во все уши слушают меня! Себя надобно протянуть страдальцу, как хлеб! А не изувечить! Не распять! Ненависть рождает ненависть. Язык языку брат, но на ином языке, который мы до словца понимаем, нам бросают в лицо: стиньте, каты, мучители, пропадите! Катитесь обратно в свой Ад! Вы пришли, чтобы тут у нас Ад устроить, да мы вас — вашим же Адом — и проклянем! Разве так ты хотел, Царь?! Разве то задумал ты сотворить?!

Полковник с туманными озерными глазами медленно поднялся за столом. Он молчал, не говорил ничего, зато лицо его, вздрагивая, волнами боли ходя, говорило. Бездонные скорбные глаза — говорили. Он прикрыл глаза тяжелыми иконописными веками. Улыбнулся нежно, слабо, чуть заметно.

Василий глядел в его ледяное, лесное, озерное лицо.

Он мысленно говорит мне: так, все так. Он — поддерживает меня. Он разделяет мою правду. Мою? А разве правд много? Разве правд — тысячи, миллионы? Я сумасшедший, да, но я верю, ибо истинно: правда всегда одна. И она — у Бога. Божия она.

— Колонны, колонны железных повозок! Угрюмые танки, непобедимые машины! Пушки наставлены... Самолеты гудят, жужжат... в железных животах у них — чужая смерть... А может статься, и твоя. И твоя! И солдаты, солдаты. Плохо вооруженные! Голые-босые! — На миг, в страшном его сне, метнулась перед лицом его босая Ксения во мрачной мешковине. Исчезла, как молния в тучах. — А им приказали: шагом марш! И пошли они! Пошли, ибо — приказ! Присягу давали! За неповиновение — трибунал! И палили они, и палили в них! Умалишенные перестрелки. Тяжелейшие бои. Где мы и побеждали. И радовались. Где валили нас. А что удивляться. Войну нельзя творить наспех. О молниеносной может сладко мечтать только полоумный!

У Царя мелко тряслась борода. Глаза его выкатились из орбит и застыли, белые, белее льда.

— Ты...

Не сдаваться. Стоять. Стоять насмерть.

Сейчас моя битва — моя речь.

И больше ничего нет у меня в целом свете.

— Властитель должен мужество иметь. Мужество, начав, до конца смертоносное дело довести. Это — работа. Как любая другая. Я, пророчествуя на площадях, внутри лютой буранной зимы, тоже ведь ходил и работал! Я — работал — собой! Я душу мою ломал на куски и людям раздавал! Это было мое деяние; и оно было столь же опасное; я каждый день пребывал на передовой, меня мог кто хочешь убить, на меня нападали из-за угла, подстерегали меня в переулках, в подворотнях, тащили за волосы метельною ночью к Лобному месту и визжали: да мы тебя!.. да мы сейчас!.. именно тут тебя и обезглавим!.. ножом тебе юродскую башкуотрежем!.. намозолил ты нам тут всем глаза, на Москве!.. а сам небось мечтаешь, чтобы с тебя после смертушки образ святой намалевали да в соборе на стену повесили!.. Не дожدهшься!.. Орали: кончай его, братцы!.. И молился я, и тут случалось чудо — слетала с небес громадная птица, крыла шире Белого Поля зимнего, перья метелями кружатся, а лицо человеческое,

обличьем прекрасна, и ко мне летела Ангелица, и садилась близ меня, полоненного злыми разбойниками, в сугроб, и вопрошала голосом человеческим: жив ли ты, батюшка Василий, желаешь ли ты снова пойти вперед по колкому снежку? И радостно смеялся я, и кивал: желаю, желаю! И злыдни, связавшие меня, рассыпались вокруг меня ледяным горохом, и пенковая веревка валилась с запястий моих, и распрямлял я спину, и ступал вдаль по снегу опять свободно и счастливо. А Ангелица летела надо мной. Правда, однажды, чтобы высвободить плоть мою из оков, я себе руку прогрыз. Как медведь! Но что мои страсти рядом со страстями народа моего нынче!

Толстый недорослый генерал хотел молвить слово, подался вперед да так и застыл с открытым ртом, будто на ходу, в недоконченном жесте заморозил его кто.

— А мои страсти... — выхрипнул Царь.

— А твои страсти — это твоя победа! Все на жертвенник победы ты кладешь! Для тебя важно сегодня. И забываешь ты, что есть завтра! Ты не взял чужую столицу — ты упустил не только время. Ты упустил короткую, похожую на удар под дых битву. Ты стал растягивать ее, как гармошку. Как баянные меха! Да, трудно музыку победы играть. И теперь уже ты поумнел. Ты стал догадываться о многом. Разгадал тайны, их ловко прятали от тебя. Бранился распоследними, чугунными словами, когда понимал, что от тебя скрывают. Победа, и ты это знаешь лучше меня, может быть добычей. Может быть преступлением. Может быть обреченностью. Может быть последней надеждой. Может она стать и единственным выходом! Когда ее воистину нельзя избежать! А ты сейчас, да, вот сейчас задай себе вопрос: а можно было всего этого избежать?! Можно?! Или нет?!

Царь голову закидывал, хрипел, косил конским кровавым глазом.

Пусть слушает. Больше никто ему такого не скажет. Небось не умрет.

И я не умру. Я сильный. Выстою.

— Если есть самый нищий, бедняцкий, наималейший миг, и ты выдыхаешь сам себе: да!.. можно было предотвратить!.. — останови этот миг. Увидь его! Услышь! Пойми! Выпусти в свет Птицу-Ангелицу! Солдаты же не знают, за что погибают! А разве это гоже? Разве так заповедано Господом?! В Ветхом Завете, да, начертано: око за око, кровь за кровь, смерть за смерть! Наматывается на веретено нить бесконечной мести. Убьют наших воинов — мы жаждем отомстить врагу и убить во множество раз больше его верных людей. Так умножается скорбь. Так растут горы покойников! Солдат твой должен знать все про смерть свою! Тогда он жизнь за тебя и Родину с радостью отдаст! А что он знал про тайну твою, когда на смерть пошел?! Она так тайной для него и осталась!

Мальчик, первый проводник Василия по Аду, сел на пол, не сводя с генерала глаз. Он глядел на Василия из-под ладони, как на солнце. За окном, затянутым порослью морозных ромашек и ледяных васильков, во весь голос, как весной, пели птицы.

— Гибель ждала незнающих! Они не защищали! Они просто грудью на вражьи штывки бежали! Они воздымали вверх хоругвь, и ветер трепал и мотал лик Спаса Нерукотворного, а клича, что ведет к победе: за Родину! за Царя! — они не выталкивали из глоток своих! Что же они кричали, когда бежали в?! Что?!

Птицы распевали громче, чем дышали люди за столом.

Птичий щебет перекрывал дыхания людей.

— Солдат — то такой человек, особый, он или знает, как вести бой, обучен бою и к бою приспособлен всем нутром и телом, или не знает и перед врагом становится тряпкой, выеденным яйцом. В армии всегда есть солдатское ядро, самое крепкое, самое сильное. И среди моих танкистов такие есть! Я их люблю, ценю. Я их в мясорубку — не пускаю! Искусство генерала еще и в том, чтобы сберечь своих солдат. Не бросать их

на бессмысленную смерть! А для армии самое ужасное — воинский позор. Не смыть его ничем, кроме как смертью! И на страшную смерть идет солдат. Почему страшную? А потому, что позор смоешь только страшной смертью! Не только в атаке, но под пыткой! Не только во взрыве, но и при сожжении заживо, когда враги вокруг тебя стоят, на огонь твой глядят, глумятся! И умирая, ты, солдат, должен в сей миг понимать: так расплачиваешься ты за позор военачальников твоих!

Еще немного. Пока он не кликнул денщиков.

Мальчик, странник по Аду, сидел на полу, будто у рыбацкого костра, будто хлебал стерляжью уху расписной деревянной ложкой, лицо его просветлело, он закрыл глаза и прошептал:

— Генерал Василий, я вижу тебя и с закрытыми глазами.

— Генералы! Вы же воины. Вы не боитесь смерти! Вы привыкли к ней! Ответьте сами себе: нужны вам за подвиги ваши новые ордена и медали на грудь вашу, на кители ваши и мундиры? Нужны звезды Героя?! Чего вы ждете? Чести и славы, вашей, личной, неотъемлемой от вашей единственной жизни, — или спасения и вечной славы родного народа, что там, за вашими спинами?! Народ есть ваши крылья. А вы птицы, и вы летите. Впереди крови, впереди смеха и слез. Вас выбрали из народа, назначили народом воюющим командовать. Кто из вас справляется с этим, кто не справляется. Теперь уже поздно жаловаться и рыдать. Над судьбой не плачут. Судьбу видят. Любят. И принимают. Приняли вы всей душой, всей жизнью вашей эту битву?! Или вы на ней трудитесь из-под палки? Чтобы — денег из царской казны заработать? Чтобы — еще один рубиновый, огненный орден на мундир нацепить?!

— Нет! — задыхаясь крикнул печальный генерал с озерными глазами. — Не надо мне никакого ордена! И медалей не надо! И славы! И стояния на Красной площади на виду у всей рокошущей толпы! Я — за Родину — жизнь мою отдам! Чтобы жила она, любимая, процветала! Чтобы меня... меня!.. забыли... а она — была! Всегда! Ее — помнили! Ее — моя родня населяла! Потомки мои!

Царь повернулся грудью, животом к Василию. Выставил палец пистолетом.

— Хочешь сказать, я отправляю моих солдат на убой?! Я кладу их на плаху?! И под огнем врага умирают они. Так мой ответ тебе: в бою без смерти — нельзя! И ты погибнешь, как герой! Как герой, слышишь!

Передохнул.

Я знаю, что он сейчас скажет. Прикажет!

Я к этому готов.

— Епифан! Денщик! Сюда!

Голос его грохотал канонадой.

— Взять его! Под трибунал поздно! Эти все сидят, молчат как в рот воды набрали! — Он обвел бешеным взором людей за столом. — Я тут — его трибунал! Я сам! И это я, я приговариваю его — к расстрелу! Епифан! Выведи его во двор! Расстреляй! Как угодно! В лоб, в затылок! В грудь! Как ты пожелаешь! Нет, как он пожелает! Не хотел в бою умирать — умрет под расстрельной пулей! Не потерплю рядом с собой того, кто пытается стать сильнее меня!

Денщик шагнул к Василию. Выдернул из кобуры пистолет.

— Ступай! Шагом... арш!

Да. Я знал. Все так, как и должно быть в страшном сне.

Василий повернулся лицом к распахнутой двери. Мальчик, сидящий на полу, встал, и подбежал, и встал у притоки, и прижался к ней спиной. Вроде бы преграждал путь юроду; пытался остановить неизбежное.

Василий медленно подошел к двери. Погладил по русой, шелковой головенке отрока, ладонь ощутила тепло ребячьего тела, тепло души.

— До встречи, сынок. Не плачь. Не хватайся за меня. Мы увидимся. Мы же сейчас в Раю. А надо опять спуститься в Ад. Не бойся. Я теперь знаю путь. Ты мне показал.

Переступил порог. За его спиной загомонили люди. Поднялся шум, крики, посыпались шелухой ругательства, таяли снегом, корчились сожженной бумагой, вспыхивали горящими головнями. Василий и царский денщик Епифан вышли во двор, на снег. Синий снег искрился золотом, дышал рубиновыми звездами, плыл донным тайным перламутром. Красота жизни перед смертью потрясала, била навывлет. Денщик крикнул:

— Здесь встань!

Василий замер. Здесь? Где — здесь? Для него весь зимний Мирь был — здесь.

И везде.

— У сарая?

— Да здесь застынь! Спиной повернись!

Василий улыбался.

— Я хочу тебе в глаза глядеть, когда ты будешь стрелять.

Денщик бледнел, а скулы Василия яблочно розовели на закатном солнце.

Инеем были щедро, празднично опушены длинные, плакучие ветки берез, свисающие до самых сугробов; синие, голубые густые брови, усы и бороды инея испускали слепящие искры, Василий жмурился, больно было смотреть.

— А это правда, генерал, что ты в избе болтал о том, что Царя нашего — обманули?! Неужто?! Я-то считал, все сверяется-проверяется тысячу раз! Что комар носу не подточит... Что все — правда! Святая правда! А по-твоему, правды нет? Где же она, родимая, таится... где?

— Делай свое дело.

Епифан передернул затвор.

Василий внимательно, подробно рассмотрел смерть свою: залысины денщика, мелкие хлебные крошки веснушек у него на тонком, чуть курносом носу, круглые, слишком светлые, рядом, как у дальнометчика, близко к переносице воткнутые в череп глазенки, маленькие, свинячьи, стреляющие во все стороны, хитроумные; расстегнутый ворот гимнастерки, давно не стиранной, медные ее пуговицы; намазанные ваксой сапоги, и даже пахучую ваксу раздутыми ноздрями поймал — дух терпкий, дегтярный, жирный. Кобура, откуда Епифан вытянул оружие, гляделась потрепанной, вытертой на кожаных сгибах. Хорошая, да, простая и веселая была эта его смерть. Стояла перед ним, затвор уже щелкнул, вот, еще немного, сейчас.

Скажет ли слово?

— А ты, генерал... правда секрет какой знаешь? Ну, про войну?

Василий молчал.

— Ежели знаешь, ты мне, это самое, скажи!

Василий молчал.

Борода его вилась по ветру.

— Я, слышь, никому не передам!

Синий снег вспыхивал, взыгрывал тысячьо ошалелых цветных искр, переливался толпою упавших с неба ночью дальних светил, становился оранжевым, медным, медовым. Закат. Солнце заходило. Райский день на исходе. Все так, как должно быть. Рай закрывает глаза. Смыкает ресницы инея. Он стоит под заиндевелой березой. Она горит огнями. Солнце становится красным, вишневым. Это небесная наливка. Выпей граненый стакан — и опьяней. Навек.

Стреляй!

Денщик поднял пистолет. Прицелился.

Василий видел: его рука дрожит.

Трудно человеку на земле убить человека. Это только кажется, что просто.

Он еще успел услышать выстрел.

...И проснулся. <...>

ФРЕСКА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЕКАРЬ ТЬМЫ КРОМЕШНОЙ

РУИНЫ И ЛЮДИ

<...> Никого не было на Красной прекрасной площади, прежде многолюдной, густо кипящей разномастным, развеселым народом. Раньше кто тут смеялся, кто ревел белугой, кто сизым голубем взмывал под небеса, кто громогласно торговал, выкликая, зазывая, выхваляясь товаром, кто вышептывал за столбами враньевые гадания, кто выкрадывал из карманов у зевак кисеты с табаком, монетами, орехами и семенами, взамен, в насмешку кладя в опустелый карман сироту-пуговицу, вонючий рыбий скелет или голубиное перо. Кто на балалайке трень-брень! Кто на гусельках! Иерей молитву на всю площадь читал, нищенка с вором сладко целовались в тени колокольни, и у нищенки той животень торчал тугим круглым куполом: ребяенок там новый рос-подрастал для страданий подлунного Мира. И вдруг как заблажат, зальются все-ленской музыкой над Красной площадью великие колокола! Как разольются винным, хрустальным, синим и красным, малиновым звоном куранты! То ли крестины отмечают, то ли помины, а то ли свадьбу: все одно, чью, царскую-боярскую или горькую-на-задворках; звонит жадное, все волчьи сожрет, время по ушедшим, по грядущим, по тебе, грешному и настоящему, лишь по себе самому оно никогда не может звонить: его удел бессмертие, лишь соль веков застынет на губах.

Иду. Никого. Ни души.

Лишь пепел, пепел.

Нет! И тут, среди земного Ада, люди живы!

Ко мне подбежала тощенькая уродливая девчушка; две светлые русые коски, неряшливо заплетенные, прыгали по ее дощечкам-плечам; она лопотала на чужом языке, я ничего не понимал, но кивал и улыбался, будто понимал все. Ее спина и грудь, крестнакрест перевязанные военными ремнями, напоминали лодку-плоскодонку. Она делала отчаянные и смешные жесты тонкими, как зимние ветки, руками, и я следил за танцем ее рук, отвечая на него восхищенным сердцем. Я видел: она меня узнала.

А я, я-то все никак не узнавал ее.

— Откуда ты знаешь меня?.. Ты знаешь, кто я такой?..

Я видел: она поняла мой простой вопрос.

И вдруг заговорила на ломаном, корявом языке, странной, остро-перечной смеси родного и чужедальнего, и тут я стал ее понимать, и жаль мне ее стало, а потом и себя грешного, словно слушал я на дорогой могиле погребальную песню.

— Знаю! Еще как знаю! Ты важный дяденька! Ты генерал. Ты воинством танков руководишь! Они такие страшные! И ты страшный, да прекрасный. Твои танки сильнее всех. Их тоже все боятся. Там, где идет твоя армия, образуется воронка из танков, и она, железная, всасывает людей. Ты завоевал уже много вражеских городов! А ты знаешь, все эти города когда-то были нам родными! Что с нами со всеми случилось? Почему мы перестали узнавать друг друга в лицо? Города ведут хоровод, они заслоня-

ют друг друга, когда по ним стреляют. Ты умеешь выстроить танки в шеренгу! И они могут быть хитрыми, ловкими, быстрыми, как змеи или ящерицы! А такие тяжелые! А сколько еще городов тебе надо захватить, чтобы Царь на весь Мирь крикнул: все, наша победа, окончена война!..

Улыбка сама не могла сойти с моего лица, и я стер ее ладонью.

— Я привык воевать до победы.

— А что такое победа? Она настоящая или сон?

— Настоящая.

— А вот скажи, я настоящая? Или я тебе снюсь?.. Мне один дядька сказал: ты девочка-сон, я дуну на тебя — ты улетишь пухом, а я проснусь.

— Ты?.. — Я склонил голову к плечу, по-птичьи, разглядывая девчонку. — Ты, спору нет, настоящая. Вот гляди. Беру твою руку, сжимаю в кулаке. Больно?

— Ой!

— Больно. Успокойся, сейчас боль пройдет. Но болит только настоящее. Настоящая плоть, настоящая душа.

— А где душа?.. Где она болит?.. Покажи!..

Я зашарил по себе ладонью, будто искал в кармане кителя курево. Не нашел. Рассмехался беззвучно.

— Она везде, дитя. Везде. В каждом волоске. В каждой складке и каждом сгибе. Колени гнутся и бегут, глотка кричит, лоб перекашивается морщинами. Тело есть душа, только не все это понимают.

— Я понимаю!

— Верю. Давно разбомбили город?

— Давно! В самом начале войны!

— Бедная моя Москва...

— Это уж не Москва! Ее сейчас иначе называют взрослые солдаты. Армагеддон — вот как! А я все равно называю наш город Москва! Я по-другому не могу!

— Армагеддон... А вражеские самолеты часто налетают? И убивают?

— Нет, дяденька, сейчас не сильно убивают, нет, ну так, иногда, сейчас они только кружатся над Москвой, а потом гул пропадает, наверное, они садятся на границе на запасные аэродромы, а может, в наши самолеты перекрашиваются и нами прикидываются.

— Прикинуться можно чем хочешь, была бы охота! Человек — зверюшка странная! И смешная! Он с удовольствием повторяет судьбу глупца, погибшего напрасно, и забывает житие пророка, а ведь пророческий дух... он рядом с Господом летает. Вот ты хоть одного живого пророка видела?

— Нет. Да! Тут бой гремел. Стреляли так густо, что неба и стен домов не видеть было из-за огня! Огонь ливнем лупил! И вдруг наперерез огню человек выбегает. Откуда ни возмись! Ну, вроде тебя... похож... борода по ветру вьется, волосы длинные, на концах кудрявые, все растрепанные. Ветер прямо бесится! А бородач идет себе, идет. Босиком! И подходит к месту, где пули ложатся гуще всего! И поднимает руки, ладонями вперед. И так стоит! И кричит! Много всяких слов кричал! Я не все разбирала. Но кое-что запомнила! Он кричал, что... по причине... беззакония в людях оскудела любовь! И что пули никогда не поразят истинно верующего! И что небо... небо... как это он кричал... погоди... небо — если человек его сильно разгневает — возьмет да упадет на человека! На всех людей! Ну как гнилая крыша! И всех придавит! Задавит!

— Задавит...

— А я спряталась! И еще со мной другие спрятались!

— Спрятались...

— А что ты все время дразнишь меня?

Я твое эхо, дитя. Я это ты. Ты еще об этом не знаешь.

Когда увидимся с тобой? Кто ты? Может, в тебя жизнь Красной площади перелилась, и вырастешь ты, и ею — снова — станешь, живой и громокипящей?

— Я не дразню. Я просто за тобой повторяю. Чтобы навеки запомнить. Тот, кто любит, за любимым повторяет всегда. Так человек запоминает другого человека. И так он может передать огонь его слов по наследству. По цепочке. Перед другими — возжечь.

Она не поняла, я видел; но на всякий случай согласно наклонила голову.

На русой ее головушке толстым слоем лежал пепел.

Господи Сил, она же и есть пепел. Я ее вижу, но ее нет.

Углы ее губ приподнялись в нежной, тающей усмешке.

— А я все занимаюсь ерундой. Скучно мне, я осталась одна. И я все думаю, думаю, думаю, думаю.

— О чем?

— Как войну убить.

— Вот так мысли у тебя!

— Да надоело, когда убивают. Хотя я и привыкла.

Она есть само терпение и смирение. Господи, дай же и мне смиряться и терпеть.

— Дяденька генерал, а ты Царя видал?

— Видал.

— А ты с ним хоть разок говорил?

— Говорил.

Я улыбнулся.

— И что Царь тебе сказал? Нет! Что ты сказал Царю?

Я вздохнул прерывисто, как после плача.

— Я поднес ему на блюде вкусные яства, мною самим приготовленные, а он спросил меня, как я их сварил и зажарил, и я все ему подробно рассказал. И ел он и похваливал. А я стоял рядом и глядел, как он ест.

Русая девчонка засмеялась тихонько и тронула рукой растрепанную коску. Ветер дунул, и пепел вокруг головы и лица ее поднялся слабым сумрачным, млечным свечением.

— А почему ты Царю еду сготовил? Ты у него поваром служил?

— Да. Поваром служил. На кухне.

— Да! Вспомнила я! Точно!

— Память — это радость. Не всегда. Горем она тоже глядит. Из зеркала.

— А потом вдруг стал генералом?

— Да. А потом стал генералом.

— Эх ты! И как тебе так удалось! Ты что, очень умный, что ли?..

— Нет. Я юродивый.

— А кто такой юродивый?

— Юродивые мы все. Каждый. Отроду. Юродивый — это значит особенный. Все люди особенные. У всех свои беды и свои победы. Все рождены неповторимыми. Но только немногие юродивые осмеливаются вести жизнь, для коей они рождены.

— Ух... Вот здорово... А ты для коей рожден?

— Нагим по Красной площади ходить. И пророчить.

— А почему ж ты тогда генерал, а? Да в военном наряде? — Она уцепилась за китель. — И в орденах?

— Генерал, малышечка, тоже юродивый. Только мало кто об этом догадывается. Генерал-юродивый видит не только сегодня и вчера, но весь ход военных действий.

Он знает, что будет завтра. И не все в командовании это знание юрода переносят. Такое знание ненавидят. Бичуют. Многим завидно, если ты видишь будущее.

— А вот мне не завидно?

— Ты безгрешная.

— А ты — безгрешный?

— Нет. Грешен я. Как все люди. Юрод, быть может, грешней других.

— Почему это?

— Он вземляет грехи Мира.

— Ох, какие мудреные слова! Не понимаю...

— И не надо. Потом поймешь.

— А у тебя военная кофта нафталином пахнет!

— Китель в старых сундуках лежал. Нафталином одежду посыпали, чтобы моль не побила.

— А человека моль может побить?

— Еще как может.

— И вынут человечка из сундука всего в дырках!.. Ха, ха, смешно!.. и отряхнут!..

— И Время — может.

— Время?..

— Время, съеденное молью, никто не вспомнит никогда.

— Ты и об этом Царю рассказывал?.. Ну, когда поваром служил?..

— И об этом тоже. А еще я за него молился. А еще изъяснял ему мою жизнь. И — его жизнь.

Девчонка шмыгнула носом и утерла нос и рот грязной тонкой рукой. Одна ее коса совсем развилась, прядями играл ветер.

В руинах колокольни Ивана Великого обвалился камень. Беззвучно упал среди обломков. У всего вокруг не было звука, не было запаха. Лишь ветер, легкий ветер и пепел, ветер и сумрак беззвездных небес.

Безлюдная площадь молчала. Молчал и я. А потом сказал ей:

— Хорошо. Я тебе расскажу. Тебе одной. <...>

ПОХОД НА МОСКВУ

Родная моя, Ксения моя. Где я? Где ты? Я опять на войне. И она мне не снится. Все по-настоящему. Блаженная моя, во мне поднялась могучая волна гнева и боли, я не знаю, как с ней совладать. И поэтому я делаю то, что делаю. Ты когда узнаешь о деяниях моих, прости меня.

Прости меня за все. Я причинял людям, быть может, больше горя, чем добра. Счастье неуловимо. Я никогда не знал, как его подарить человеку. «Юрод, юрод!.. — кричали мне на площади, на рынке, на берегу ледоходной реки. — Открой рот, пусть птица чайка туда залетит!..» Зачем я поднялся, взбунтовался и пошел на моего царя? Я же его жалел. Я понимал: Родина не может без него. Всегда стояла Русь, и всегда был на ней царь. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Я кликнул клич моим танкистам и верной, храброй пехоте моей: вставайте, заливайте в машины горячее, выступаем на Москву! А мы сейчас, светлая моя, в неведомом тебе красивом граде; сюда долетают снаряды и мины, разрушаются башни и колокольни, но стоит город, и живы его люди, и плачут они в подвалах, обнимаясь и прижимаясь друг к другу, а крыши срывает бешеный ураган, бросает со звоном и скрежетом листья жести о выжженную землю. Засуха, боль, колючки терновника, пересохшие реки. Впору вскрыть солдатским ножом жилы и, утоляя жажду, пить собственную кровь.

Мы, армия, вошли в город беспрепятственно. Жители выходили на улицы и бросали под гусеницы танков вербные ветки, желтые мимозы, голубиные перья, венки из роз и гвоздик, еловые лапы. Мои солдаты смеялись и скрипели зубами: елки, как на похоронах! Я скомандовал: ни слова, ни упрека, ель — святое дерево предков, а засуха завтра обратится в новую зиму, и посыплет снег, белый, острый, ранящий щеки и шею небесный песок, и снова нарядим громадную черную сироту-ель на главной площади города, сотворив печальные самодельные игрушки из бумаги, атласных лент, крашенных серебрянкой орехов, сосновых шишек, пятилучевых древних красных звезд, склеенных из лампадных стекляшек безжалостно разбитых калейдоскопов.

И все случилось, как я и предсказал: Великая Сушь обратилась в Великий Мороз, из ближнего леса на площадь привезли в кузове военного грузовика старую матерую ель, вытащили, долго устанавливали в богатырскую крестовину, и я понял, я увидел: это была не ель, страшно-громадная, а моя мать Марина, обращенная в черную, ночную мать-Медведицу с колючей, дыбом, шерстью. Я сам подходил и ее украшал. Красной краски у меня не было, выкрасить игрушку-помидор или бумажный грибомухомор; я выстреливающим ножом вскрывал себе ладонь, охал и морщился, и вымазывал широко, богато льющейся кровью картон и холст, стекло и гипс.

Елку возвели, как Крест Господень, она уперлась верхушкой в погоню рвущихся, сходящих с ума ненастных туч. Из-за бега туч выныривала луна, косо взглядывала на нас, шарахающихся по усыпанной перлами зимы площади, на наших железных жуков, стрекоз и гусениц, на бешено-яркие флаги, мы втыкали их над подъездами домов, водружали на высокие столбы, ввинчивали в сочленения танков. Зачем людям флаги? Цветные тряпицы? Чтобы издалека чужаки могли увидеть: наши идут, родные! Или: враг наступает! Стяг — он и детское твоё одеяло, и бабья свадебная фата, и пеленка младенца, и саван покойника. Потому он и свят. И светел.

Я понимал: мы ввязались во страшное дело. Дела, родная, делятся на безумные и мудрые, на страшные и благословенные. Мне то, что затеял я сам, я и боле никто, кажется и верным и жутким. Я не мог не погрузиться в этот бедный, яростный, густой, не проглянешь сквозь, военный снег.

Что я предчувствовал? На что был готов? На все. Знай, я и сейчас на все готов. Ты научила меня смелости. Ходить где хочешь, глаголать что хочешь, плакать на виду, смеяться на миру. Я собрал мои танковые войска, прошелся меж рядами, мои бойцы глядели на меня преданно, чисто, влюбленно. Милая, для них я не площадной юрод, не повар царский, господарский, а их командир наиглавнейший! И слушают меня. И глядят на меня. И что я им скажу? Вот здесь, теперь?

Говорю: идемте все на север, на Москву! Ад расступится пред нами. Танков гусеницы проутюжат дороги, наполнят гулом и бычьим мыком зимний ветер, разрежут долгим ходом белый морозный пирог. А Москва — не пирог. Не кус земного пирога! Нет! Москва наша — это сердце наше. А сердце Москвы, посреди нее бьется — площадь Красная. Сердце ведь красное, кровью все облитое. Вот и она тоже. Что мы скажем царю? Я сам скажу. Я все ваши страдания — ему в лицо — выскажу! <...>

Он не знает, где мы. А мы уже идем. Да ему быстроногие гонцы уж донесли. Ждет. Сокрушается. Или злится? Против нас — охрану свою снарядит? Или переговорщиков вперед вышлет?

Осознаю ли я, сумасшедший, юрод первостатейный, так пылко, страстно мою Родину любящий и Рай ее забытый лелеющий, на кого руку железную поднимаю? Ад перед моими танками расступается. Дороги проседают и гнутся, хрустят их ребра и позвонки, и ломается сизый слоистый лед на озерах и прудах, и текут, указуя танкам невестин зимний путь, долгие, как жизнь, реки, и по их допотопному ходу идем мы,

движемся, грохочем, не заглушить. Если танки идут напролом, по дорогам и бездорожья, их не остановить, родная! Я помню, когда я впервые услышал грохот и безумный гул танков. В Москве это было. Я спал и от грохота проснулся: думал, земля очумела, взбесилась, и вот подземный огонь взламывает земную кору, и вот она трещит по швам, выпуская наружу стальной гуд, сдавленный крик и хрип. Ночевал я на старом, порванном матрасе в заброшенном доме на слом. Анфилады пустых, давно брошенных жителями комнат завалены битым стеклом, из разломанных шкафов по ночам выходят хохочущие скелеты, а иногда сама собой зажигается люстра под треснувшим надвое, покрытым пыльной виноградной лепниной потолком. Гул услышавши, я с ложа моего вскочил. К окну подбежал. Вижу: от Красной площади по широкой улице, Тверской именуется, идут неведомые мне железные огромные коробки на колесах-гусеницах. Идут и рычат, воют, страшней голодных волков. Рык приближается! Стекла в окнах трясутся, звенят! И вот стекло трескается надвое, разламывается и выпадает, ударяется об пол и разбивается на тысячу осколков. Наступаю на осколки босыми ногами. Прислоняю лицо к стеклу, нос о стекло расплющиваю. Адские машины идут! Идут! Ближе! Ближе подплывают! Камни дрожат! Гудение улицы заливает, рушит в человеке надежду на защиту и покой! Нет покоя!

Впервые я видел танки. Машины войны. Я, юрод подзаборный, и думать не думал, что в жизни их увижу: в моей ли, в чужой, непрожитой. А вот сподобился. Следил, как катились они, грозные, воюющие и визжащие, наглухо задраенные заклепками и болтами, мимо окон пустого мертвого дома. Да, вот она, смерть. Глядя на танки, я понял все о смерти. И там, внутри железного мощного короба, сидит человек; и он, живой, машиной той руководит; и слушается она мановения его руки, дрожи его ноги, поволоки и вспышки его хитроумного глаза. Сам человек для себя такую придумал! Нет, не для себя самолично: для врага!

Ксения... Ксения... Я никогда не думал, что я заварю такую кашу. Но у котла стою на Адовой кухне, и поварешка в руках моих, и хочу я сам себя хорошенько понять: почему я веду войска? Москва рядом! Идем без остановки. Танки грохочут. Воины обуреваемы голодом и жаждой. Я сам в танке моем сижу. Грохотом задавлен. Душно мне. Жарко мне. Я как в печи. В голове у меня голоса слышны. Слышу, как мне говорят, докладывают усердно: генерал, рядом уже Москва! Уже укрепления миновали! И закрываю глаза. И грохот в ушах. Век бы его не слышал. А вот привелось.

Ксения, отвечаю голосам: вперед, вперед! Не останавливаться! Пройдем маршем! Лепятся к восхолмиям домики и домищи, катятся наперерез нам железные повозки, бесполезно сигналят, берут в кольцо, мы его танками прорываем, идем, торжествуем, давим все живое и неживое на нашем пути. Открываю люк. Стою. Гляжу. Боже, Ксения, родная, что же я делаю! Я звучу танками моими в общем адском хоре! Зачем! Я не хотел!

Оборачиваюсь, за мной — железная страшная колонна, она рушится, наплывает, рвет зимний воздух, и мороз становится огнем, и я тихо, отчетливо говорю всем танкам и всем солдатам, кто за мной на Москву надвигается неумолимо: люди! Люди! Мы не просто бунтуем! Мы идем на Москву, чтобы дать понять: у Ада есть край! У Ада есть конец! Надо оборвать адскую нить! Прекратить наматывать ее на кровавый клубок! Пусть хоть тысяча диаволов на землю явится, и хоть тысячу плах и виселиц прикажут на всех площадях всех городов возвести! Не четвертуешь! Не перевешаешь! Жив народ. Вы же, солдаты мои, живы! И я жив с вами. И — вами!

Вот скажите, родные мои, соколики, бойцы мои, вы — любите — Родину?!

И будто бы слова мои чудом услышали все. Все! Все! В каждом танке. В каждой хищной бронированной машине. На меня покатился устрашающий вал голосов, за-

бился у меня в ушах, под черепом, метель взвила мою бороду и отнесла ее вдаль, в ночную стужу, лохмы вздувались, опадали и били меня по щекам, погоны на плечах горели, прожигая кожу и кости, и я слышал, слышал этот хоровой великий ответ, не различал слова, ну и наплевать, а музыка ужаса и верности шла и шла, накатывала, растворялась в неистовом лязге и гуле, и уже краем сознания ловил я снеговые вспышки и звездные взрывы, а голоса, наваливаясь, погребали меня под собой, и становился я одним из них, и так же звучал, и так же, шелковым флагом, бился на ветру:

— Любим!.. Любим мы Родину!.. Превыше Родины нет ничего в Мíре!.. За Родину жизнь отдаем!.. И не пожалею впредь!.. Родиной клянемся... Родину, умирая, обнимаем... мыслью и сердцем... перед Родиной — на колени встаем!.. и стопы ее натруженные целуем... Смеются пусть те, кто любви к Родине не знает!.. Царь ныне один!.. завтра иной!.. а Родина, Родина бессмертна!.. Врага будем ногами попирать, кто на Родину огонь обрушит и оружие поднимет!.. Тот, кто нам смерти желает, здесь, на Родине нашей, смерть найдет!.. За тобой идем, генерал наш!.. На Москву!.. На Москву!.. Красная стена!.. тюльпаны-зубцы!.. Чесночные зубочки... кирпичи крошатся в пыль... жизни наши крошатся в пыль... танки гудят... а мы все идем! Даже и мертвые — идем! Мы — герои... Мы в Аду жили! А теперь отдохнем! Москва для нас лучшие яства на столы вымечет!.. Да не за ради угощения мы воюем, жизни наши молодые отдаем! А ради Родины нашей, красавицы нашей... матери родимой нашей!.. Вперед!.. Вперед!.. Генерал, веди нас!.. Тебе служим, не тужим, да только давай, генерал, спросим нашего Царя: доколе?! Доколе будет грохотать война?! Есть ли ей предел?! И если есть... если и вправду есть... то... скажи!.. ответь... где он!.. Когда мы к сей пропасти, к обрыву подойдем... и в бездну Мíра заглянем... и — обнимемся у Мíра на обрыве... когда!..

И я, так шептал я им, Ксения, в ответ, и я, и я Родину превыше жизни люблю, — и слышали они меня.

Бунт из меня вылетел наружу не потому, родная, что я пред царем не склоняюсь, как весь народ. Да и в народе есть те, кто пред царем головы не клонит! Я — клоню. Я — присягу давал. Но я ведь и свободен. Так же, как и ты свободна. Мы оба по площадям бродим. Оба мы ветру родня! На ветру стоим, в волосьях наших он гудит и гуляет! И начальником над военными людьми став, я свободы не потерял. И вот это горько. И это больно. Не справился я со свободой моей на высокой службе; не совладал. Кто мне в помощь? Один только Бог.

Да ты... ты...

Веду войско на столицу! Веду, путь указую. И так они мне верят, солдаты мои, что идут за мной, не прекословя, не восставая, не сомневаясь во мне ни капли. Раз я приказал — значит, они делают! И весь сказ! И растерян же я таким поворотом судьбы, родная! Ведь раньше приказывали — мне! Выталкивали взащей — меня! Изгоняли — меня! Наказывали — меня! Направляли — меня! И шел я! И покорялся я! Ибо знал я, юрод: тот, кто прикажет тебе, сильнее тебя вовне, а ты, ты сильнее его внутри; так благо тебе, а не ему; изнутри Божия сила сочится, а не извне; ты себя сохраняешь, а он, указчик твой, на торжество власти его соблазняется. Покорствуя, я избегал соблазна! Ведь и змий в Раю соблазнил праматерь нашу Еву плодом со древа познания. А познать ведь можно, родная, не только счастье и Солнце. Узнать в лицо можно и дьявола. И укусит он руку твою, заразив тебя тьмой; и яд в крови твоей потечет.

Так гудят танки, слух грохотом залепают. Вот Москва. Я вижу ее стены. Сейчас моя железная колонна войдет в Первопрестольный Красный град. Град великий! Град обреченный! Град, к славе и небесам вознесенный! Вот я рядом. Вот мы, грохоча, в пределы столицы входим, и люди, люди по обеим сторонам дороги стоят, молчат, не понимают ничего, кто мы, зачем мы здесь. Танки грохочут. Гусеницы ползут. Мы

въезжаем в Москву, и знаю, нам, всему войску, надо пройти город насквозь, грохотом старые стены сокрушая, и выкатиться прямехонько на Красную площадь. Я же Медвежий Сын!..

Грохот танков. Оглядываюсь кругом. Высунулся из люка, из жаркой преисподней танка. А преисподняя-то снаружи. В Москве, родная, Ад и до нее досягнул. Как я люблю родные стены! Они в руинах. Как я пьяно, влюбленно бродил по всем тайным, от холода дрожащим переулкам! Они лежат в пыли, снегу, в осколках стекол, каменных обломках. А храмы? Храмы мои?! Господи! Не дай им погибнуть!

...Выезжаем на площадь Красную. Грохот. Вой. Знамена рвет ветер. Танки мои идут. Красная зубчатая стена восстает из белого моря снегов. Пушки упираются в незабываемый вековой кирпич. Все. Стоп. Пришли. Остановка. Погибель. Слава! Бессмертие!

...Не надобно мне, Ксения, никакого бессмертия. Не верю я в него. Спросишь: а в вечную власть — верю? И ничего не отвечу я на это тебе. Ибо не знаю ответа. Вместо слов взорванной стеной храма валится великое молчание. И стою я на площади Красной, высунувшись из танка, снеговая гибельная пыль летит мне на плечи, в лицо, и я молюсь, а не проклиная. Проклинают пускай другие. Мне же за Ад родимый осталось только молиться.

И за тебя. За тебя.

ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАМЯ

Возгорался всюду Огонь московский, последний.

Василий не хотел верить, что последний; он, как мог, всем надорванным сердцем силился, отодвигал от себя эту тяжело-чугунную мысль.

В каких Четых-Минейх означен последний срок родной земли, срок вселенского пламени? Вопят люди, перебегая наискосок площадь. Бегут, задыхаются, плачут, глаголют, да поздно!

Здесь, внизу, неистово грохочут танки, а вверху, в широких, залатанных рваньем облаков небесах, трубно гудят самолеты. Чьи они? Наши? Вражьи? Никто не знает. Исчез перед ними всеобщий страх. Иные люди называют те самолеты зверями летающими; а иные — письменами загадочными; и пытаются те письма читать; и гадают, куда самолет серебряной рыбой поплывет — в Берлин и в Дамаск, в Тель-Авив и в Пекин, в Багдад и в Калькутту, а может, в дальний, во льдах застылый, под сиянием полярным спящий Анкоридж.

Ночь озарена круглыми гигантскими паникадилами. Возносят свечи к поминальному небу золотое пламя, и оно предательски, страшно дрожит. Каждый язык огня — сердце. Сжалось до размеров золотого жука. Желтого липкого детского леденца в теплой ладошке, в крепко стиснутом кулаке. Тук, тук. Пламя сердцем стучит. Пытается до Бога достучаться. Последние дни. Не может быть! Не верю!

Три великанских паникадила пылают в ночном небе над Москвой. Голодные люди в тоске выходят из домов и тихо, нога за ногу, спотыкаясь, бредут по улицам, залитым грохотом танков и воплями взрывов. Люди ослепли от мощного небесного света, от гула железных кораблей. Головы задирали. Пытались знаки небесные разглядеть, вытирали мокрые соленые лица ладонями, шарфами, варежками, грязными рукавами. Я знаю, что в небе горит! Это остров Огня, и там мы все скоро, люди, будем жить!

А разве мы будем жить?!

Глядите! Глядите! Кто в небе-то летит! Явился нам! Быстро все на колени!

Люди валились на колени и уставляли усталые от огней глаза в смоляные прогалы небес. Там, сквозь кудри пожарного дыма, они различали человека; хитон его

синий сиял, красный плащ на широких плечах переливался забытой зарею; звездами струились его власы, звездами вспыхивали усы и борода, он пытался улыбнуться, да у него не получалось, и лицо дрожало, звуча колыбельной музыкой. Люди кричали: мы знаем его!.. знаем!.. то батюшка наш!.. то брат мой, сын мой!.. да нет, врите вы все, то Царь наш, и он уж на небо вознесся, почтим его широким, на весь Миръ, песнопением!..

Пели люди. Осеняли себя крестом. А человек печально глядел на людей внизу, раскидывал руки в небесном парении, летел и за всех страдал, и вот наконец удалось ему улыбнуться, и все снега, все сугробы Ада засияли, вспыхнули тысячью снеговых алмазов от его бедной, нищей улыбки.

А Москва неожиданно обратилась в Божий светильник, и возожглись в нем семь ширококрылых огней, в Новодевичьем монастыре и на Маросейке, на Страстном бульваре и на Поварской, на Тишинском рынке и на Сущевском Валу, и на площади Красной, прекрасной, огонь запылал — и Василий, высунувшись из танка, наблюдал это красное пламя, что тебе красное знамя, знамя то захлестывало, накрывало огромную каменную сковороду, стремительно возжигались, будто сами собой, громадные костры на мерзлой скользкой брусчатке, и люди, люди падали близ костров и растягивались на покрытых наледью камнях, устали люди жить и ждать смерти, люди подносили друг другу кто пирожок, кто початую водки бутылку, глотали, рты утирали, скрючивались, на земле лежа, напрасно пытались согреться; грели ладони дыханьем, натягивали на голые затылки траченные бабкиной молью воротники ископаемых шуб — все бесполезно: дрожь била их, колотила, значит, не мертвецы они были, а еще живые, и могучие пламена горели по Москве, и издалека, из любого укрытия, их было видеть.

Семь громадных огней, а сколько малых, жалких, и не счастье! Везде, всюду, бесчисленно. Россыпи, искры, головни. Тлеют, опять вспыхивают безудержно. Василий, не шурясь, глядел на красный огонь: здесь он, на площади его родимой, самый бесконечный.

Все костры на Красной площади слились в один, и он взмыл до небес, а где же, искал юрод глазами, где же возлюбленный его храм? В его честь возведенный... его именем, как младенец, нареченный...

Василий... Преблаженный... вот же ты, брат мой... вот...

Нет. То не ты, брат. То громаднейшая свеча вместо тебя.

Куда ты утек? Убежал? Открой...

Наибольшая свеча. Витая. Многокупольная. Горит так, как сто костров не могут во снежной пустыне гореть. Горит, оплывает в угольно-непроглядной хранине небесной сферы, на каменном, железном блюде невольницы земли. Искры золотыми зернами неистово сыплются. Слепляют. Летят во лбы, во рты, в глаза, в сердца. Жизнь на глазах истлевает. Да и не жаль ее. А жаль единственно огня. Огонь, он плачет, как человек. Рыдает, угасая, уходя. Рыдают сполохи. Лижут угольную соль ночи красные собачьи языки. У незримых Ангелов в руках алые щетки, и кропила обмакивают Ангелы не в святую воду — в нашу кровь, и брызгают живым в лица, крестя огнем, и мажут, замазывают боль и ужас, звезды и камни, бытие и гибель, беспредельную метель и малюсенькие черные фигурки людей, оловянных солдатиков, разбросанных по площади, горящих мгновенным куревом в жадном вьюжном рту.

— Эй!.. Ты, да, ты!.. Из танка высунулся!.. Вот ты, солдат, скажи мне... что тут, на Москве, происходит?! Конец это всему аль еще не конец?.. Не верю, что конец... Я-то тут пришлый, прилетел вчерась из далекой земли... с Сахалина-острова... отсюда, ха, не видно!.. А тут такое... Все, кранты людишкам, так понимаю!.. Да и мне, видать, тут коньки отбросить... Да давай же, рот разлепляй, ты ж солдат в этом войске, говори

мне быстро, чего ждать от того побоища!.. И гори оно все синим пламенем, где тут можно в кабаке попойнствовать всласть?!

Василий медленно повернулся к мужику, что кричал ему ненужные слова. На синюю цигейку его военной ушанки слетала мелкая мошкара снега.

— Ишь, сладкоежка. Хмеля захотел напоследок! Опьяняйся смертью: близка она!

Мужик, в распахнутом осеннем пальто, ежился на ветру. Рот его зло перекосялся.

— Плохой ты солдат, слышь!.. Разве солдат мыслит о смерти!.. Он мыслит — о победе!.. Давайте-ка, соколы, побеждайте!..

— Победим... не сомневайся... а ты, ты... в Москве-реке давай рыбку себе вылови... на обед... на ущицу... у проруби посиди...

— Смеешься, солдат!.. Какая рыбка!.. Задрогну, и не откачают... никакой спиртягой не разотрут... А я, знаешь, солдат, всю жизнь прожил как святой!.. Женке всю дорогу был верен!.. А тут, думаю, все поголовно помирают, всех забудут, ветер косточки развеет, так, может, гульнуть на прощанье?.. напропалую... на все бумажки в карманах... за всю рабочую тоску... за весь обман и горюшко... за всю гречку и манку, что, шмыгая простудным носом, на кухне варила жена, надоеда... Разгуляться! Раззудись, плечо, размахнись, рука!.. стишок такой в школе учили... вот и размахнусь... правильно говорю, солдат, а?..

Он кричал, как пьяный.

Василий, стоя в танке над площадью и людьми, видел: идут люди, медленно, спокойно, будто и не происходит ничего; глядят прозрачными, светлыми глазами на бушующее пламя. И то один, то другой волокли на Красную площадь все забытое, разбитое, несчастное. Кто нес пустую бутылку. Кто волок березовое бревно, и ободранная береста, испачканная мимо летящей кровью, вилась кудрями, моталась во вьюге. У кого в руках блестела вишневым лаком старая скрипка: то ли где украл, то ли свою принес, детскую, наследную, а музыке так и не научился, зря родители скрипку покупали. Кто ташил проржавленную кочергу, давно ею в печи не шерудили, стучал ржавым железом по ледяной брусчатке. Кто с трудом, кряхтя, тянул разломанный обеденный стол, и ножки-бутыли смешно торчали вверх, как у зарезанной курицы, и скрежетала по мостовой столешница, и камни и лед царапали ее, и тот, кто сей стол ташил, говорил, плача, на него указывая: вот, я за ним с детства ел, обедал и ужинал, и отец и мать мои за ним ели, на него пищу ставили в мисках и кастрюлях, а теперь пусть он сгорит во пламени, ибо есть мне уже не придется нигде и никогда, ни за столом, ни на снегу.

И слышал Василий, в распахнутом танковом люке стоя, как вслух, громко или тихо, вспоминают люди о прежней жизни, о том, как они жили в Москве до пришествия Ада; и все, что люди говорили, выкликали, выплакивали, он запоминал, звуки начинали течь у него в крови, — крики, голоса, молитвы.

И бросали люди принесенное на площадь барахло, свою прежнюю любимую жизнь, в огромный костер, чтобы сгорело их время, чтобы не вспомнить его; если бы можно было, они бы свою память в огонь бросили, да не достать было память из дрожащей котенком на холоду, сиротской души; там она жила, там и будет жить до огня последнего, его же никто из живущих не запомнит.

— Солнышки мои... родненькие... ближе, ближе, дайте вас крепче обниму... Видите, как наши книжки горят?.. А вот так и надо, чтобы они — в огне — сгорели... Все равно их никто не читает, так пусть хоть огонь почитает... А помните, милые, помните ведь, наверное, был тут у нас, на площади Красной, такой сумасшедшенький, ну, не в себе мужичонка, такой кудлатый-бородатый... голяком все бродил?.. у Спасской башни, под курантами, все восседал, сгорбившись, а то на снег ляжет и скрючится чер-

вячком, так, значит, спит... Помните?... И я вот тоже помню... А он ведь истину баял: мертвецы восстанут из гробов, а ныне живущие во гробá все лягут... Вот и думаю: выходит, мы все сравнивались судьбами?... И нет различия?... И смерти, так выходит, нет никакой?... Ровня мы все, ровня... вот где счастье-то зарыто... А мы-то за счастье на грешной земле все воевали, воевали... Лупили друг дружку то камнями, то топорами, то пулями, то минами... А оказалось так все просто... Мертвые — мы... И живые — тоже мы... И враги — мы... И родня — мы... Все есть мы!.. Ну не диво ли это!..

— Да, диво дивное! Да только поздно, видать, осознали мы это...

— А тебе, тебе страшно умирать?..

— Мне-то?... А кто ж его знает... Бог всем положил умереть! Да ведь не знаем мы часа, никто!

И слышал Василий по Москве дивный звон: все церкви как с ума сошли, все церкви юродивыми стали, звон из себя наружу, как медных сияющих птиц, выпускали, как пули не смертельные, а живоносные, и звонили, звонили напропалую церкви, соборы и храмины малые, видом детские, по всей столице, звонили во Всех Святых на Кулишках и у Пимена, в Раменском и в Замоскворечье, на Никитском бульваре и на бульваре Славянском, в Сокольниках и в Алтуфьеве, и особенно ярко, мощно источала звон церковь Елоховская, раскрыты были настежь двери ее, и на всю округу, где носились запахи гари и смерти, медом и мвром пахло из распахнутых дверей ее; чудесный звон кругами расходился по Москве, сливался с гулом огня, сам становился огнем, и весь храм, качаясь от непрерывного звона в метельном мареве, становился огромным каменным костром, и достигал тот звенящий огонь храма Василия Блаженного на площади Красной, и сливались огни, обнимались, и шептал Василий, обращаясь к далекой возлюбленной:

— Ксения, Ксения, это ты мне звонишь, это я тебя пламенем обнимаю. <...>

БОЛЬШОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРЯ НА ПИРЕ

<...> Откинулась тяжелая парчовая, золотая занавесь. Вышел навстречу челяди, пирующим генералам и гостям Царь. Я глядел на него и не узнавал его. Где тот грозный владыка, что видом его, сведенными на лбу бровями, желваками, железно играющими на скулах, кулаками чугунными, крепко сжатыми, устрасал любого, кто предстал перед взором его?

Видишь, родная, кто перед нами...

...Бледен. Жалок. Смирен. Глаза свет природный утеряли; тускло глядят, безжизненно. Исхудал. Отощал беспредельно. При такой-то жратве — еле ноги таскает. Колени едва гнутся. Подошвы сапог шаркают по радужному драгоценному паркету. К нам идет. К нам! Да боюсь, не дойдет. Остановился. Глазами в воздухе плавает, ищет, за что бы надежное слепнувшим зраком уцепиться. Жизнь! Как же ты коротка! И нельзя клясться тобой: ты непрочна, тонка, и истончаешься все сильнее, и вот уже не жизнь ты, а паутина тоньше волоса, тоньше слезы дождя.

Я гляжу на него. Он глядит на меня.

Еле слышно звучит его голос. Он это мне, мне говорит.

Руку ко мне худую тянет.

— Царедворцы мои... изловить тебя повелели. Затянуть во дворец... пожелали... Возненавидели они тебя... пуще дьявола самого. Зубами... скрежетали... я сам слышал... Стой!.. слушай... не говори ничего... скажу, а то договорить не смогу. Заманили они тебя сюда... затеяли пир. Пир — видишь?... так то в честь тебя... и свиты твоей. Ах, хороша эта свита твоя. Одна баба... другая поодаль... Бабы... опять бабы... куда ж мы, мужики,

без баб... Война — и та баба... ничего не попишешь, с армиями мужиков за бабу надо сражаться... Чья война — того и победа... А меня, а меня... а меня...

Тут зашевелились жрущие. Из кресел медленно, угрожающе поднялись люди в военных мундирах. Генералы господарские. Лица злобой перекошены. На меня глядят. На Катерину не глядят. На тебя, смиренная Ксения, не глядят. Я — добыча. Я — дичь.

— Василий!.. Они предали меня!.. Они...

Обводит тощей, высохшей рукой сытых, довольных. Вздрагивают генералы. Ненависть ярче, мрачнее вспыхивает на их лицах, заливая скулы и лбы гневным огнем.

— Они все предатели!.. Думают, они пир затеяли... а это я... я пир затеял... им в пик, в противовес... чтобы они, тут, на пире, отравой обожрались... и все, все, как псы... передохли... под лавкой... под печкой... под забором...

Генералы повскакали со стульев, выпрыгнули из бархатных кресел. Потрясенными взглядами обводили царя, меня, Дяволицу, люстру, что неистовым хрустальным маятником на метельном сквозняке качалась над нами, скособоченные парсуны на стенах, рвущиеся пламена свечей в чугунных шандалах. Заорали! Руками в воздухе заполоскали, как безумные еноты над корытом! Пытались криками рот Царю заткнуть! Не тут-то было. Возвысил он голос. Последние силенки в кулак собрал. Я видел, он не перестанет говорить.

Он должен был сейчас все сказать. До дна. До капли крови.

До последней правды.

— Да! Василий! Они все предали меня. Измена!.. А ты, ты вот здесь, предо мной... ты... ты... меня... не предашь?!

И мне надо было сказать правду.

Шагнул я шаг, пот тек по лицу моему, кулаки сжимались в судороге, ты все видела, и упала расстегнутая, пропахшая порохом шинель с моих плеч.

— Если твоя истина ответит душе народа моего, я приму ее с радостью, и во спасение народа моего и тебя жизнь отдам. А если ты велишь мне не народ мой спасать, а единственно шкуру твою, то прости, не обессудь, не буду я исполнять приказы твои! Не подчинюсь тебе! И такова правда моя, такова истина моя! На том стою! Я сын народа моего! Права Ксения Блаженная, дочь народа моего: время зализывает раны и заметает снегами царские могилы, а народ вечен, и его надобно воспевать, спасать, кормить и любить! Народ — вот мой царь! А ты ведь не народом избран, ты есть наследная власть! Да, власть свята! Да, корона на тебе, и мантия на тебе, и скипетр в деснице твоей, и держава в шуйце твоей! Да ты, Царь, не Бог, ты всего лишь человек, как и я же, и наша дружба обернется единоборством, и готов я хоть сейчас выйти на бой с тобой, ты-то меня однажды уже к смерти приговаривал, да запретил ее Господь; Господь и теперь нашу битву запретит, ибо неравна она, разве могу я тебя ударить, когда болен ты? Разве могу я тебя одною рукой к ногам моим положить, когда слаб и немощен ты?!

Молчание наполнило зал и стояло в зале, и пьяная черная вода молчанья плескалась у звездной люстры, под лепным потолком.

Тихий хохот раздался. Хохотала рыжая Катерина.

— Ха, ха, ха!.. ох... Пожалел!.. Смиловился!.. Дурак!.. Да ты убей его!.. Убей!.. Пока он немощен!.. Пока он слаб и слеп!.. Пока никто из этих жиряг, дельцов, обманщиков, хватов, слышишь, никто не воспротивится тебе... если ты, ты поборешь его... и займешь его место... Его! Место! Его! Трон! Ха, ха... ха...

Одиноко, мрачно звучал в тишине ее вкрадчивый, отвратный хохот.

Царь сделал ко мне шаг, другой. Так, шаг за шагом, медленно, как во сне, подбред ко мне.

Я глядел ему в глаза. Он глядел мне в глаза.

Наши глаза звонко, железно ударились друг о друга.

Мы схватились глазами. Мы взглядами сражались.

И это было страшнее всего.

— Противостоишь мне, — прохрипел он, — все равно противостоишь... а я думал, будешь помощник мне... будешь правая рука моя и левая пятка моя... а ты...

Глаз не опускал.

И я глаз не отводил.

И страшно мне было, и ни в каком танковом, диком бою, когда все вокруг горит-пылает, мне не было так страшно.

Ксения моя, а ты стояла там, далеко, у двери в зал, обводила взором пирующих, скользила небесными твоими очами по лицам сытым, наглым, по двойным и тройным подбородкам, по обнаженным шеям в жемчугах, по елочным игрушкам медалей и геройских звезд, что звенели на болотных мундирах, снежных кителях, лацканах пиджаков и отворотах смокингов, ты зрела, как люди толкают в зубы кур и щук, как вливают в глотки херес и мадеру, коньяк и чачу, ты жалела их, ты сожалела, что они такие, ты безумным сердцем разделяла с ними их страдания и их наслаждения, что никогда в жизни не были твоей болью и твоими радостями, но ты искала к ним пути, вдыхала, вливала в них чувство твое, кое им не надобно было, они обсосали бы его, как телячью косточку, отбросили бы вон от себя, швырнули под стол, под бархатную белую скатерть, собакам! Ты поодаль стояла, Ксения, молча, и ты ждала, ты за них молилась, а превыше всего молилась ты за меня, чтобы я жив остался! Чтобы не был казнен прежде сужденной мне смерти!

— А ты... тоже... предал... меня...

И не нашелся я тут, не знал, что ему ответить.

Он сказал мне свою правду.

Я — в сердце — хранил мою.

И знал я непреложно: правда всегда одна.

— Приговор ли то твой мне, царь?

Вопрос мой прозвучал под сводами нарядной палаты ударом палачьего топора о древняный кровавый спил. Вокруг стола стояли, кулаками потрясали, пьяно качались генералы, мажордомы, купцы, промышленники, путейцы, иереи, фрейлины, казначеи, густая нелепая толпа роскошно одетой знати. Их речи на миг вспыхнули и тут же угасли. И в тишине, где страх обнимался с ненавистью, раздался слабый голос Царя, и схватился он слабою рукою за спинку ближнего кресла, обитого кровавым бархатом:

— Ты танки в Москву привел... армию твою, войско твое... Зачем? Не взять ли власть мою вознамерился?... Отвечай открыто... не таись... я ложь за версту чую...

Что мне было делать, Ксения? Что было делать всем нам?

Царская власть свята. Да правда святее.

— Да. Хотел тебя с трона скинуть. Власть твою забрать. Себе. И самому — народу служить.

Лицо его, бледное, иззелена-светлое, светящееся страхом близкой и неотвратимой смерти, плыло предо мной белой узкой лодкой, и глядел я на его подбородок, нынче без бороды, гладко выбритый, глядел на глаза без надежды, на веки без ресниц, на щель шевелящегося с натугой рта, что ронял не слова — горькие ветки полыни; и понимал я, что не должен быть говорить того, что сказал, но не зря же я проделал бесконечный, длиною в жизнь, путь по Аду, недаром же я здесь, среди Ада, среди военной Москвы, стоял и на него открыто, не таясь, глядел.

И был он нынче священник мой, и был я нынче исповедник его.

Так Господь положил нам.

— Но ведь это бунт, генерал!

— Бунт, мой государь.

— Бунт наказуем! Я велю казнить тебя!

— Изволь. Однажды ты уже велел казнить меня. А я вот он я, пред тобой.

— Ты... ты!.. — Он захрипел. Дернул к себе кресло. Оно всеми четырьмя изогнутыми еловыми ножками со скрежетом и стоном поползло по навощенному паркету. — Бунтары!.. Ты не только предал меня... ты... меня... мятежом твоим... убил... растоптал!..

И вдруг, Ксенья, не знаю, что со мною в сей момент сделалось, но я ощутил его, старого, седого, немощного, со слабой, жалкой улыбкой, и зубы во рту есть, а улыбенется, вроде бы их и нет, так улыбка пуста и горька, — моим ребенком, дитенком, коего у меня никогда не было, не породил я дитя на свет Божий, только чужих, незнанных детей хоронил, а тут вдруг старый мой ребенок стоит, чуть не падает, чуть не плачет, и это я, так получается, его глазами избил, его честностью моей поборол, его... самим собою, героем, изничтожил! Так где же тогда моя надмирная юродская слава! Значит, я стал по людским законам играть в людскую игру! Прельстила меня честь, прельстили победы на поле брани! Обольстил хитон спасителя народа, мысль соблазнила: а может, спасу мой народ, а может, война-то не последняя! И забыл я Божию жалость, забыл себя голого, сидящего во площадном сугробе! И как медвежья шкура шевелится на моих плечах нагих! И как ясный взор в толпу вонзает, и на солнце могу и умею без боли глядеть!

Погляди на Царя твоего без боли. Без стыда. Сам себя устыдись. Перед царем — покаяйся.

Я встал перед ним на колени.

Сколько раз я так, смиряясь душой, на колени вставал пред любым человеком, распоследним самым, пред разбойником, нищим, торговцем обманным, бабенкой-гадалкой картежной, мальчонкой с куканом свежеизловленной в проруби рыбы, ясноглазым иереем, крестьянкой в лапоточках, вот так, так, не в пиршественном роскошном зале, а в снегу, в площадной метели, под тусклыми, мигающими в ночи масляными фонарями?..

Царь мертвой хваткой вцепился в кресло.

Казацкая шапка золотого бархата свалилась с его головы и грянулась убитым зайцем о скользкий паркет.

— Я люблю тебя. Прости меня, Царь!

Я увидел: глаза его блеснули слезой. Я увидел это, Ксенья! <...>

ЗЛАТОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ САМОЛЕТА, ЛЕТЯЩЕГО НАД АДОМ

Кто, как, когда отыскал ему летательный аппарат, с крыльями, разбросанными шире Большой Медведицы, с ослепительно блестевшим фюзеляжем, с верткими шасси, что, как нелепые цыплячьи ножонки, таинственно и смешно высывались из разверстого серебряного брюха? С кем он говорил, придя на заштатный, странный аэродром в сиротских, пустынных полях близ горячей бесчисленными кострами Москвы? Он не запомнил людей в лицо. Запомнил лишь промасленные робы. Хриплые, кричащие голоса, ненужные клятвы, отдавание чести, навывтяжку стоят, выпячивают грудь, выгибают позвоночник, уважение надо ярко выказать, а генерал, он что, он разве приставит тебя за это к награде, да он хоть и шишка на ровном месте, а такой же человек, как ты. Военной молью побитый!

Кто, зачем изгибал пред ним спину, пытался услужить ему, приятное сделать, на подносе — цыпленка табака поднести? В полете, любезный генерал, вам опять жареную курятину подадут. Такие наши правила небесные. Да ведь беда; куры все перевелись; петухов всех сожрали; гусям всем, вот жалость, шеи свернули. Да в костер, в костер! В котел, и баста!

Разрывы гремели. Битва шла и шла и кончаться не собиралась. Идя по Москве, созерцая ужас живой и мертвый, он думал: ну, все, устанут люди от смерти; ан нет, не уставали, только, творя ее, распалялись от вида ее все сильнее и злее. Он сквозь зубы бросал тем, в камуфляже, на аэродроме: неважно, добровольцы вы или воюете по контракту, вас начальство все равно построит в армейские ряды, вы станете армией, а меня уж с вами не будет, и не спрашивайте, кто станет вами командовать! Не знаю я. Я могу придумать, враньем вас утешить. Да лучше и страшнее правды ничего нет на Божием свете. Крепитесь! Вам еще воевать. Не любопытствуйте, куда лечу! Вам сей полет не по плечу.

Он шел, переваливаясь в сапогах с налипшими комьями грязи, по летному полю, шурился на самолеты и вертолеты, что то садились, то взлетали опасно и судорожно, дрожа лопастями, суетясь жужжащими оборотами железных винтов.

Я неудобен. Я негоден. Я сам-то себе негоден. Сам себя иной раз готов растерзать; покаяться в том, чего никогда не бывало. Человек человеку враг. Человек, глядя на человека, хочет, чтобы тот, другой, стал как он, и разъяряется, когда видит, что нет, не станет другой, как он, и тогда хочет другого убить. Вот вам и причина войны. Вот диавольский путь. Злоба. Зависть. Ненависть. Месть. Война. А что после?

— Генерал! Куда вы! Вот ваш самолет!

Он остановился. Серебряную машину обтекал чистый холодный ветер. Рядом с небесной птицей он, в грязных сапогах, в шинели, заляпанной воском, глиной и кровью, в продырявленной пулями генеральской ушанке, сам себе казался метлой, коей дворники Москву метут; лопатой, коей они, ночные работники, снег скребут.

— Ясно!

— Трап спустили! Поднимайтесь! Там вас наши люди ждут!

Наши. Что такое наши? Сегодня наши, завтра чужие. Предатели. Сегодня преданные донельзя, а завтра тебя предадут. Предать — что это значит? Кому отдать? Передать? Богу? Преисподней?

Предайте меня огню. Я давеча ему, как Богу, молился.

Поднимаясь по трапу в самолет, он видел слепые иллюминаторы, стекла отсвечивали кровью неба и снежными бинтами, обматывающими летное поле.

Я улетаю. Все внутри меня гудит. Я сам есмь самолет. Раскину руки, и поминай как звали. Я прыгал однажды с колокольни Ивана Великого; привязал к рукам самодельные крылья и прыгнул. Эх, красота! Крылья сам сварганил: из бумагеи, льняного полотна, рыбьего клея, гнутых деревяшек, отрубленных куриных лап, рыбацкой сети. Долго делал. Все смеялись надо мной, пальцами по лбу стучали: безумец! дурачок! юрод! полоумный! Куда рыпаешься! Пошто с жиру бесишься! С колокольни он, видишь ли, прыгнет; жить надоело?

И прыгнул... и летел... и внизу стоял мелкий, дрожащий народец, черные букашки-людишки, мои родные, безмерно любимые люди, и орали они наперебой, и пальцами в меня, летящего, тыкали, и бабы визжали, и ребятня смеялась заливисто, громко... Юрод!.. Юрод!.. Глядите-ка, Васька-то из сельца у гольца — вниз сиганул!.. Сейчас, глядь, разобьется!..

Я не разбился.

А может, разбился. Я не помню.

— Проходите, товарищ генерал!.. Самолет пустой... выбирайте кресло, какое хотите... Василий наклонился, чтобы войти в овальный, в виде яйца, дверной проем.
Чернота. Какая тьма. Вступаю во тьму. Ныряю во тьму. А что за ней?

Девушка в пилотке улыбалась навстречу ему, словно век его не видала, и вот встретились наконец-то. Девушка скуластая, румянец во всю щеку, на плакате старинном нарисованная, слишком смешливая, улыбка сверкающая, а кудерьки на висках седые.

— Не пустой. Мы ведь с тобой тут, милая, полетим. А еще летчики. Первый пилот, второй пилот. Все как надо.

— Так точно!

— А если самолет наш вдруг падать будет — ты посадить его сумеешь? Обучена?

Девушка покраснела ягодой малины.

— Так точно, товарищ генерал!

Василий засмеялся — так хорошо, готовно и светло она выпаливала это армейское «так точно».

— Тогда я спокоен!

Счастливица. Она не знает ничего о болезни Царя. О торжестве Дяволицы. Ей кажется, все скоро закончится: завтра, послезавтра, через месяц, через год. Она не понимает: есть вечность. И с ней шутки плохи.

Он плотней уселся в кресло и откинулся на мягкую спинку, и внезапно она стала твердой, железной — самолет сдвинулся с места и почти мгновенно набрал скорость отрыва, Василий не заметил, когда он отделился от земли и стал упорно, неумоимо набирать высоту. Юрод глядел вниз. Все вниз и вниз. Чернозем. Белые полосы грязного снега. Больничная марля небесных бинтов вдоль и поперек по израненной земле. Стонет земля, да всем на ее стоны плевать. Реки мерзнут, дрожат. Кричат столбы, визжат туго натянутые, смертельно обвисшие под ветром провода. Руины, руины повсюду; руины застилают черноту, заслоняют деревья и косогоры. Бывшие храмы. Бывшие риги. Бывшие овины. Бывшие подворья. Бывшие бараки. Бывшие колодцы, водопроводы, водонапорные башни. Жизнь бывшая, она так быстро и незаметно перестала быть секундной. Зачем человеку прошлое? Чтобы он на него любовался?

Пусть меня Царь обвиняет в чем угодно. Ему я неподсуден. Только Богу. Никакая земная власть теперь не вольна надо мной. Куда я лечу? Сам себе я запрещаю об этом говорить. Пусть даже для меня самого это останется тайной. Виню ли я себя в том, что воевал в Аду? Что вел вас, бедные бойцы мои, через Ад? Простите мне. Я всего лишь юрод. И сейчас полечу туда, где никто из вас еще не бывал и о том не слышал.

Самолет неуклонно поднимался, все вверх и вверх.

Он летел над Адом.

* * *

Ад самодержавный. Ад в мантии снежной. Горностаи тайги. Ожерелья дорог.

Ад, а где же Бог? А Бог в другую сторону летит. На другом самолете.

Земля расстилалась под ним, самолет набирал высоту неуклонно, могуче. Василий не хотел смотреть на Ад, но смотрел, смотрел в иллюминатор. Тучи плыли мрачные, цвета нефти. Летательная машина пронзила слои туч и вырвалась на свет, к солнцу. Ад просвечивал внизу живо, горячо льющейся кровью. Где кровь, где земля? Они крепко обнимались. И чем выше поднимался самолет с генералом внутри, тем яснее виделась ему отсюда, с неимоверного верха, дорога вниз, все вниз и вниз, кругами, черной спиралью: в глубокую воронку уходила дорога, а земля разевалась медвежь-

ей пастью, драконьим черно-красным зевом, яминой без дна — могилой, где захоронено будет время, когда и ему выйдет срок.

Василий видел отсюда, сверху, своих бойцов. Танки шли, и шли, и шли, танкам не видно было конца — новеньким и обгорелым в битвах, зачехленным и железно-голым, покрытым иероглифами дерзких надписей и полудетских рисунков и напроочь покрашенных нефтяной, земляной краской. Железо и земля. Так заповедано.

Господи, ответь, Твой ли крест война? Может, она не наказание человеку, а награда Твоя? Чтобы не умирали мы, хрипя бессильно, в сиротьей постели, на буранных площадях близ дико орущей зазывные частушки рыжей торговли, а погибали с честью, со славой, в неравном бою, обливаясь кровью и Тебе молясь, — героями?

Танковые клинья шли, и шли, и шли, забивались глубоко во вражий тыл. Генерал не знал, не понимал, наступление проводить он сам приказал или танки, суровые танки все сами решили. За него. Без него. Все знают: он улетел. Им Господь сообщил. Или Дьяволица. Теперь уже все равно.

Куда я лечу? Свою ли медвежью шкуру спасаю?

Или мне дано Ад сверху увидеть напоследок, прежде чем я в него, на самое его дно, молча спущусь?

Переплетение тел. Круговращение тел. Тела небесным колесом крутятся вокруг черного бездонного зрака, Всевидящего Ока. Ксения говорила ему про сей Небесный Глаз. Он не верил. Вот — увидел. В черном космосе есть множество неизреченных тайн; и вот Всезрячее Око, оно тебя пронзает, оно втягивает тебя в себя, не отвертись, и самолет твой летит именно туда, в эту круглую черную пропасть.

Яма под летящим самолетом разверзалась все шире и глубже. По земному кругу, над ямой, трепыхался на ветру голый тощий березовый лесок. Ветер гнул и ломал жалкие тонкие стволы. Березы валились наземь, как от взрывной волны.

Первый круг. Там слепые бессильно орут. Насильники там грудь себе царапают, и ногти их отросли подобно зверьим когтям, и с губ их капает красная слюна: повывили им зубы, исхлестали по щекам, а кто, и имен не запомнили. Второй круг. Лети, машина! Куда бы ты ни полетел, ловкий гладкий самолет, а все равно все, уходящие вглубь страдания, круги видно! Сладострастники хохочут, а пламя лижет им ступни, а топор воздымается, и палач отрубает запястья: не погладишь теперь ласковыми пальцами ни щеку, ни уста. Третий круг, третий! Мы не преступники! Мы просто люди, люди! Василий глядел вниз, и видел, как люди плачут кровью, и по его впалым, заросшим густой бородою щекам тоже стекали красные крупные капли. Не плачьте! Мне так же больно, как вам! Так же томно! Дико! Дурно! Отчаянно! Страшно!

Самолет летел вперед стремительно, и все никак не мог миновать яму, уходящую к центру Земли, узкую воронку предвечной могилы, словно бы ползла яма за самолетом по земле, так и подсовывалась ему под брюхо, и не мог юрод оторвать взора от воронки, круглой, так похожей на небесное Око Всевидящее: так земля черным зеркалом небо отражала, так земля изнутри на него, на полет его глядела, так, черный круглый рот раскрыв, безголосо, страшно ему пела, последний псалом, последний кондак, так черною сетью рыболовецкой снизу вверх взмывала, на него надвигалась, и то правда, поймать, поймать Аду насовсем надо свободную серебряную железную рыбу, с этим дерзким, вольным безумцем внутри! Раз и навсегда поймать! Еще немного... еще изловчиться... еще...

Четвертый круг, пятый... шестой... кто там мучится... кто вопит и стонет? Он глядел, да уже не видел. Радужки заволакивало пеленой слез. Вот бы из парчи слез пошить мафорий. Облачение иерея не из муара, не из атласа, не из кокетливой тафты и густо надушенного гипюра — из слез полночных, из вздохов нежных и тяжких, из бормо-

тания просящего, потаенного: Господи, оставь мне жизни любимых моих... Господи, не покинь!..

Круг седьмой. Будь со мной. Ангел вострубил. Кровь разбросала великие шупальца-реки, речушки, речонки вширь по угольной, высеребренной жестким льдом, смиренной земле. Земля свыклась с Адом. Земля его родная, глядишь, и мыслит вся, всеми слоями своими: я и есть Ад, что людям его в подземье искать; он везде, на поверхности он, на дне реки он, под камнем он, дома от взрыва падают, распадаются на куски, разламываются черствым хлебом, бетонным ситным, деревянным ржаным, — не уйду, шепчет земля, от Ада, он мой владыка, склонюсь к ногам его и испрошу прощения у него, за все, что я, земля, и люди мои содеяли, чая достигнуть Рая, за долгие века.

Выше забирал самолет! Круг восьмой разверзлся. Там воры и убийцы обнимались с праведниками и святыми. Все по заповеди Господней там случалось: прощали святые грешникам грехи, и плакали бедные, исстрадавшиеся грешники у них на груди. А кто раньше не раскаялся, не сумел, не хотел, — сейчас, выстывая ужас, скрипя зубами, вопя от боли, на коленях полз к тем, кто от судьбы не отказался. И от Бога не отвернулся. И в язык родной смачно не плюнул. И, когда предлагали веру сменить, крепко на земле стоял, говоря так: никогда! Бог мой — со мной, в радости, и в горе, и в смерти самой! И убивал враг верного вере своей. А теперь грешник тот, убийца, что глотку верующему во Христа перерезал, на животе, на локтях, землю пятернею цепляя, полз к праведнику тому: прости!

Ползла яма, выбрасывая вперед и назад кровавые шупальца, в тени самолета, стремившего бег в небе. Василий вцепился в подлокотники кресла. Что там, в глубокой, густой, непроглядной тьме круга девятого и последнего? Что — на Адовом дне? И есть ли оно, Ада дно? Может, еще ниже и глубже уходит ямина, и тонут там все мысли, чувства человека и зверя, гаснет в последней тьме все, что мы лелеем и любим, проваливается и летит в бездонье не только тело, кувыркаясь в разъятом пространстве, но и душа, душа?

Душа...

Василий судорожно, больно цапнул себя рукой за грудь. Где она, душа? Где гнездится птица? Тут? Вот тут?.. Под ребром... почуять нутром...

Он шупал себя, распахнув китель, за грудь под гимнастеркой, рвал гимнастерки ворот, царапал погоны, хватал себя за шею, за кадык, утопали его худые пальцы в мохнатой медвежьей бороде, он пытался нащупать вместилище души, последнее ее прибежище, где же, где, гимнастерка горела под ладонью, пуговицы разлетались, катились по полу самолета, а ведь пол сей запросто, через миг, станет потолком, все же перевернется, и пикнуть не успеешь, и это ты, да, ты упадешь, свалишься в девятый круг, в последний круг, он разомкнулся под тобой, он ждет тебя, и ты не отвертись, тебе суждено, ну разве можно побороть судьбу, все же письмена на роду написано, ты же помнишь, медвежий ребенок, толстую, в телячьей коже, великую Книгу Песен под образами в избе, около нее все так же горят толстые, с конскую ногу, медовые витые свечи, да, две таежных свечи, величиною с добрую лапу медвежьей, твоя мать, Марина, сама из пчелиного воска их намени слепила, сама фители из конского волоса в их сердцевины воткнула, сама громадной спичкой по синей коробке долго чиркала, чтобы возжечь. А ты стоял и смотрел, малец. Рот разинут. Глаза светятся аквамаринами. В таежной речонке сии самоцветы мать нашла. Лесушко бажонный, спасибо тебе, нас, грешных, возрадовал, меня и сыночка моего, медвежонка возлюбленного, уж распотешил! Век не забудем! Век помнить будем!

Он уперся взглядом в черную дыру, что расширялась на дне воронки, под девятым, самым слезным, обреченным кругом, и сердце его замолкло, потом дрогнуло,

потом дико, быстро застучало. Сотни, тысячи молоточков выбивали под ребрами дробь. Его бойцы работали оловянными солдатами, пребывали забытыми, без роду-племени, полковыми музыкантами. Не останавливайся, шепнул он самолету, только лети, не бросайте штурвал, что бы ни случилось, шептал он летчикам, да никто его не слышал, самолет летел все так же уверенно, гудение царило в заоблачном холоде, предвещая битву, а потом невероятное замирение, в подлинный, навечный мир уже никто не верил, может быть, лишь далекий царь краем сознания, краем неизжитой любви еще верил в него.

Я помню каждый солдатский крик. Каждый предсмертный хрип. Каждого убитого. А они, они помнят меня на небесах. Я знаю. Враг думает, самолет летит бомбить его города, а это просто со мной внутри летит железный крылатый бочонок, и я даже не спросил первого пилота куда. Что надобно мне? Выждать в тылу? Накопить силенок? Занять оборонные рубежи? Накричать на виноватых подчиненных? А если не виноваты они? Мои танкисты! Я люблю вас! Я никому не дам вас в обиду. И даже себе не дам.

Черная яма поднялась ужасом над землей. Надвигалась. Летела по ледяному ветру угольным диском. Падают, бьются друг с другом люди. А земля-то одна. А жизнь одна. И Ад один. Да ведь и Рай один.

А где, где тот Рай? Сколь веков прожил я, медвежий Блаженный, на землице, а вот до Рая не дошел. Так и не увидал Рай. Да так и не увижу. А жаль. Красивый он, должно быть, Рай. Яблоки там... мандарины... смоквы сладкие... виноград висит тяжелыми гроздьями, разноцветный... медовый, золотой, рубиновый, синий... и звери, да, там гуляют звери, на воле, без оград и злобы, без кнутов и решеток... праздничные, ласковые... волки тебе башками о колени трутся... лисы хвостами ласкают... А там кто, гляди-ка, Медведица-мать!.. и вокруг нее медвежатки клубками по снежку катаются... и стоит рядом с ней моя мать, знахарка Марина, и руку зверице на загривок бесстрашно положила... и шерсть ее черную, густую, как зимние иглы еловые, все гладит, гладит, гладит...

А я, я — все лечу и лечу...

Красная Луна вставала в небесах напротив Солнца. Солнце светило бешено, разъяренно. Красная Луна катилась с небес на землю, она понимала: еще немного, и упадет. Василий глядел на Красную Луну; он вспомнил Красную площадь, и пьяного Бармузодчего, коему он будущее предсказал, а хмельной Барма ничуть тому не поверил. Верь не верь, а время судьбы придет! Тебя не спросит.

Пыль хрустит под ногою Ангела. Овеает крыло самолета. Рыжекося тайга под крылом.

Меня никто не подаст на пиршественный нарядный стол на фарфоровом блюде. Никто не набьет мое брюхо, как румяной утке, резаными яблоками. Никто, слышите, никто не нафарширует меня, как щуку, моими же потрохами.

Где он летел? Он не понимал. На обратной стороне Мира? На теневой, неведомой лунной стороне? Небесная медаль на геройской груди то сверкала, то мерцала могильной чернотой. Есть ли сознание там, в запределье?

Вот когда умрешь, тогда и узнаешь.

Он закрыл глаза, но зрачки его огнем горели и веки насквозь прожигали, и он видел и с закрытыми глазами. Он видел душой. Самолет летел. Но вроде как и не летел. Застыл. И все внутри него застыло. Омертвело. Он не двигался. Пристегнуться ремнями безопасности забыл. А если самолет будет падать? Ну будет и будет, так записано в растрепанной, весом в пуд соли, материной Книге Судеб, в ее последнем псалме. Он будет падать и упадет в иное царство. И никто из живущих до него не достигнет. Славная ли это судьба?

Я не хочу умирать! Не хочу умирать!

Кто его слышал? А вот услышали же. Милая, с мордочкой хорошенькой таежной лиски, небесная девушка подошла к нему, услужливо склонилась, а он с улыбкой глядел, как ее хорошенькая, кокетливая коротенькая юбочка ползет вверх, все вверх и вверх по бедру, становясь все смешней и короче.

— Вам что, генерал?.. Может, что-то подать?.. У нас есть коньяк... курочка к нему... ой нет, лучше всего, конечно, шоколадка...

— Еще лучше лимон. Тонкий ломтик лимона.

Стюардесса засмущалась. Как хорошо, красиво она умела краснеть! Во всю щеку взбегал темный румянец, будто бы она только вбежала в самолет с жестокого железного мороза, в мехах и козьей шали, или пред зеркалом ломтиком свежей свеклы скулы себе щедро намазала.

— Лимона... нет!.. Жаль, но вот нет... не захватили...

— Это ерунда. Неси коньяк и шоколадку.

Небесная девушка упорхнула и быстро прилетела снова, изогнув тонкую спину, поставила на откидной столик перед Василием маленький поднос; на нем стоял большой, круглый, как мяч, бокал коньяка и лежала крошечная, воробышку клюннуть, шоколадка.

Василий задумчиво развернул фантик, захрустел фольгой и вытащил шоколадку. Положил на ладонь. Поднес на ладони стюардессе.

— Вот. Угощайся. Жаль, что у тебя крыльев нет.

Девушка взяла шоколад из руки генерала. Растерянно глядела. Шоколадка таяла в ее руке, пачкая пальцы, пахла сладко.

— Каких... крыльев?..

Василий тихо рассмеялся.

— Обыкновенных. Таких, знаешь, больших, широких. Ангельских. А впрочем, кто тебя знает. Может, и есть. Только ты их скрываешь. Таишься. У хороших людей они есть. Они без них не могут жить. На земле крылья никому не нужны. Но, когда мы улетаем, они могут очень даже понадобиться.

Она разжала ладонь. Шоколадка вся растаяла. Василий взял ее руку в свою, поднес вымазанную шоколадом ладонь ко рту и вылизал всю ее ладошку языком, как пес.

Она вырвала руку и зарделась еще пуще. Прижала ладони к щекам.

— Ой, ну какой вы...

— Выпьем! — Василий взял с подноса бокал. Грел его в ладони. — За победу!

— Ой, да, за победу...

— За любовь!

— Да... согласна...

— За тебя!

— Ой, ну что вы...

Он глотнул коньяка и протянул бокал стюардессе.

— На! Держи! Пей!

— Да я... да нет, лучше...

— Это приказ!

Он подмигнул ей и накрутил прядь волос из длинной, безумной бороды себе на палец.

Глядел, как девушка пила коньяк. Глотала, боясь его, генерала, послушаться.

— Ах...

Махала ладошкой вокруг рта: горечь, огонь по-детски утишала.

Василий вынул у нее из руки бокал и допил остатки. Самолет гудел, летел.

Спокойно все было вокруг.

И в небе, и на забинтованной лазаретным снегом земле.

Горели земные огни. Горели огни небесные.

Летели в самолете девушка и генерал.

Выпили на счастье в Аду коньяка.

Может, она там, в иных веках, станет моей Ангелицей. Дева-Птица, я не забуду тебя. Ни теперь, ни тогда не забуду.

...И они не поняли, как, зачем и когда раздался удар; мигнула молния, отнимая зрение; и разнесся дикий треск, вынимая из черепа слух; и осталось еще время для того, чтобы крикнуть совсем немного, очень мало слов друг другу, не летчикам. Далеко они, ужасались содеянному там, в пилотской кабине. Быстро надо было кричать, напоследок, и не кричать, а хрипеть, а может, визжать, нет, конечно, шептать, и шепот другой услышит, а может, тебя обнимет, прижмет к себе, утешая, спасая, хоть и нельзя никого никому спасти.

Поднос с пустым бокалом и конфетной фольгой падал на пол. Мирь кренился в иллюминаторах. Василий крепко, сильно, горячо обхватил длинными, костлявыми, сумасшедшими руками площадную побирушку. Они стояли на осколках стеклянного снега. На рынке все — торговцы, зеваки, ямщики, мимоходы, мальчонки-воришки — вопили в голос.

— Падаем!.. Падаем!..

— Господи, да спаси-сохрани-помоги, святыи Боже, святыи крепкий... святыи бессмертный... помилуй нас!..

— Держися, народ!.. Ведь завтра в поход!..

— Кренимся, валимся, людие... друг за дружку хватайся!.. так спасемся!.. выдюжим так...

Он крепче вжимал в себя худенькое, жалко-нежное, рыбье-скелетное, дрожащее зимней веткой на ветру девичье тело, тело смертное, мимолетное, незнакомое, и завтра забудет, а ведь даже сегодня уже не будет, так что ж о завтрашнем дне речь бестолковую вести. Самолет валился и разваливался на куски, выдувало из него все живое и мертвое, они оба теряли сознание, но все еще не потеряли, не выпускали из рук и из губ. Их сердца толкались друг в друга, выбивая друг друга из грудной клетки, чтобы взамен страха туда, под ребра, последнюю любовь и заботу впустить, и елозили руки их по спинам друг друга, ее — по болотному кителю генеральскому, его — по форменному, суконному синему пиджачишке стюардессы, ангельской официантки. Да это ж лучшее, вкуснейшее застолье, милая, какое я, царский повар, только видал и вкушал в жизни моей, ни за что и никогда, и в смерти самой, этот терпкий коньяк между небом и землей не забуду. И сорвал резкий ветер железный потолок у них над головой, и разорвал надвое, натрое, на множество кусков железную ткань, что защищала их в полете от верной смерти среди звезд, и разломился хлеб жизни, а они так и не успели отщипнуть от него по кусочку — белого хлеба, белого снега, белорыбицы, белого, пьяного вина из белого, зимнего винограда, вина последней клятвы. И летная девчонка, дрожа, обхватила генерала плотнее некуда, как жена мужа внутри свадебного камчатного, шелкового света, и заорала недуром:

— Падаем! Генерал! Падаем!

И крикнул он ей в ответ, понимая, что не это бы надо ей выкричать, а нечто иное, но глотка крикнула сама, вылетело слово, излетел дух:

— Не падаем! Нет! Улетаем!

И лицо его возлюбленной Ксении, с закрытыми глазами, с улыбкою самозабвенной, глянуло на него вместо испуганного личика незнакомой девушки, и имени он ее не знал, и не узнает никогда, а они уже летят в небесах, вольно и страшно, и ветер

вырывает девчоночку у него из рук и несет рядом, несет поодаль, уносит, крутя в воздухе, и она кричит, а он не слышит крика, только видит разинутый в вопле рот, и улетает она, тает, исчезает.

А он один летит. Летит.

КТО ОДОЛЕЕТ

Диаволица все рассчитала точно. Она хорошо видела цель. Надо было взорвать снаряд в небе впереди летящего самолета. Прицельное устройство все верно ей показало. Она улыбнулась. Изогнулись торжествующе красные, маслено-блесткие губы. Она поднесла руку к спусковому крючку. Зенитная пушка замерла. Ждала. Отсвечивала облупившейся болотной, военной краской. Огонь!

Не успела поджечь древний порох.

Юродка выросла из-под земли, из крови и снегов, и схватила ее за руку.

— Что ты тут делаешь, дрянь!

Диаволица плюнула Ксении в лицо.

Ксения продолжала крепко держать, отводя в сторону от пушки, ее руку.

Катерина руку зверино вырывала. Обжигала Ксению злыми глазами.

— Сгинь-пропади!

Блаженная не исчезала. Не пропадала.

— Умри!

Она не умирала.

Две женщины боролись. Странная то была борьба. Стояла Блаженная, крепко за запястье Диаволицу схватив. Так вцепилась ей в руку, что пальцы в кожу, в плоть вдавлились глубоко, как в спелое яблоко; и вот-вот закапает сок, испятнает снег под ногами. Катерина стояла, широко ноги раздвинув, как мужик, изо всех сил уперев их в мерзлую, комковатую, застывшую черную кашу вспаханной недавним боем земли. Ветер страшно, зло развевал волосы обеих. Рвал рыжие, нагло-алые косы Диаволицы. Безумно, весело мешал их, спутывал с несущимися вдаль злато-седыми космами Юродивой. Слившись, летел по ветру длинный космос кос обеих. А ведь одна баба сейчас умрет, а может, и другая, да наплевали они на смерть, одной важен меткий выстрел в небеса и гибель самолета, другой — победа над злом, его царством и яминой, Адом его.

Каждому да воздастся по делам его? По сердцу широкому его!

Ксения потянула Диаволицу на себя. Будто желала обнять. Поцеловать. Быстро поняла рыжекосая замысел Блаженной. Сейчас подтащит к себе, обеими руками обхватит, на снег повалит. Разгадали мы тебя, Божия тварь!

Крутанулась Катерина вокруг себя, упустила Ксенья ее хищное, увертливое запястье. Упала на юродку грудью. Упала Блаженная на притоптанный снег. Лежала, раскинув распятые руки. Наступила Диаволица ногой на грудь Ксении, обнятую мешковиной, придавила ее башмаком к земле жесточе, теснее. Стон вырвался птицей из Ксеньиной груди, вспорхнул из-под ребер.

— Жалкая! — крикнула Катерина.

Стоя ногою на груди поверженной Ксении, опять протянула руку рыжекосая к болотному пусковому механизму. Нажала на спуск до отказа. Порох внутри железа возжегся. Снаряд вылетел из пушечного жерла; машина рассчитала все точно, обладая железным ледяным разумом, направила ракету прямо по курсу самолета — туда, вперед, где железный крест слой воздуха еще не пролетел. Снаряд взорвался там, далеко, полетели осколки, вонзились в бока самолета. Поохотилась Диаволица удачно, свершила месть, и обе женщины глядели в небо и видели: разломилась серебряная пти-

ца надвое, натрое, начетверицу, падал носом вниз фюзеляж, отрывались в полете обломки и неслись быстрее вихря к земле. И, лежа распластанной на адском снегу, видела Ксения, как летят в небесах люди, нет, Ангелы, нет, птицы, конечно, лишь людские у них руки и ноги. Вот синий цыпленочек, отроковица, пальцы ветер хватают: ветер, спаси!.. Вот летчики, расстегнуты кители, перекошены вольным паденьем упрямые лица. И увидела она его, единственного, юрода своего, сына медвежьего, сумасшедшего: раскинув руки, он летел, вверх ногами, вниз головой, в сером, набухшем снегом небе, колесом кувыряясь, летел вниз, все вниз и вниз, а Ксения глядела вверх, все вверх и вверх, шепча: Господи, помоги!.. Господи, не покинь!.. И услышала она торжествующий, безумный хохот рыжекосой, и придала ей силы волна любви, снегом поднявшаяся из врат души, и извернулась юродка, и схватила в обе руки голую белую щиколотку злодейки, и дернула на себя, и на нее, на распятую на снегу Ксению, Дяволицца всей тяжестью упала.

Лежала на ней. Изругалась площадно. Ксения рванулась, выпросталась из-под Дяволицына тела, ухватила обе ее руки с крашеными длинными ногтями и заломила ей за спину. Рыжекосая билась в злых судорогах. Ксения возила ее лицом по снегу, по грязи.

— Ешь землю! Ешь снег! Ешь! Вот тебе свадебка твоя! Свадебный твой пир!

Катерина, валяясь на земле, тяжело обернула к Блаженной грязное, грозное, расцарапанное, темное от прихлынувшей крови, гнева и ужаса и во злобе красивое лицо.

— Да я за вашего царя нарочно замуж иду! Чтобы, как час придет, во время брачной ночи... его...

Ей не суждено было договорить. Блаженная, крепко держа ее за руки, закинула голову к небу.

И видела она, как птицей летящий человек упал на родимую землю.

И приблизила Ксения захлававшие губы ко грязной щеке адской невесты поверженной, и внятно, раздельно, чеканя кровавые слоги, как Часослов читала, медленно ей сказала:

— Никого не убьешь. Ни Царя. Ни слугу его верного, Василия-юрода. Нет им смерти. Рай их ждет. Поджидает. И меня не убьешь. Как ни старайся. Твое место на земле занимаю? Ступай в твой Ад проклятый. А я на земле. Она — мой Рай. Я в Раю навсегда, и нет мне пути в твой Ад, назад. И век буду я, Дева-Птица, сидеть в райском саду на ветке яблони с золотыми яблоками, и петь песню. Богу. Зверям. Птицам. Рыбам. Людям. И даже тебе, Дяволицца! Песню прощения — тебе! Я-то тебя, презренная тварь, давно простила. Вставай! Ступай! Ненавистью себя украшай! Клевещи! Глумись! А я тебя простила. Нападай! Убивай! А я тебя простила. Хоть весь Ад на меня обрушь! А я тебя простила.

Разжала Ксения руки. Попятилась. Отступила. Руки разбросила, пальцы растопырила. Глядела, как медленно поднимается с земли изгвазданная в ледяной грязи Дяволицца, как зеленой, змеиной ненавистью подземно горят ее радужки.

Стояла перед Ксенией Катерина.

Стояла Ксения пред Катериной.

— Я тебя... все равно найду!..

Ксения молчала.

Хрипы из груди Катерины выталкивались сами, как слезы, комки грязи, трупы подстреленных в голод птиц, льдины, по осеннему течению реки плывущие в ледостав.

— Тебе... от меня... не уйти!..

Ксения молчала.

Теперь Катерина пятилась от нее. Шаг, еще шаг, еще шаг.

Ноги идут. Ноги идут. Вспять. Противусолонь. А глаза не уходят. Глаза сверлят, пробивают, простреливают, пригвождают. Глаза-пули. Глаза-гвозди. Глаза-проклятия.

— Убью тебя!.. И не приду воткнуть крик мой... во гроб твой... Так и истлеешь в лесу... в полях... и коршуны тело твое... расклюют... Убью!..

Ксения молчала.

ФРЕСКА ПЯТАЯ. РАЙ НА ЗЕМЛЕ

ПОЛЕТ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ

Он падал, а этого никто не видел.

Хлебопашец надавливал всем телом на плуг. Вчера здесь шел бой, и вспаханное поле утоптали солдатские сапоги, выутюжили грандиозные танки, ревущие чудища; разрытую землю усыпали отстрелянные гильзы, осколки снарядной амуниции, брошенные где попало ружья, копыя, алебарды, пистолеты и пулеметы. Хлебопашцу важно было привести поле в порядок. Холодная весна, что и говорить. Надо растащить трупы, швырнуть их в кусты, в канавы при дороге; собрать смертоносное, никому уже не нужное железо и тоже свалить его в кучу; а потом, потом запрячь в плуг тощего конягу, и так идти, идти вдоль по земле, и взрывать острым ржавым, гигантским клыком плуга черную мягкую, холодную, пахучую плоть. Черное, вечное тесто. А кто там летит в вышине — да это все равно; может, картонную куклу кто из кабины вертолета сбросил, а может, большая птица летит, журавль, цапля, дрофа: подранок, подбили.

Старуха на крыльце взорванной избы сидела, мотала клубок. Прищурясь, поглядела в небо. Ах, вот оно и зимнее солнышко! Тепло прибывает, и завтра будет еще теплее. Погреются старые косточки. Зачем вы, злые люди, убили мою избу? Ну да Бог с вами. Война ведь идет. Не убережешься. Ах ты Господи, да кто ж это там стремглав по небу-то несется? Не рассмотреть мне без очков! А очки-то разбил кот, вот škода! Лапой с комода стряхнул, играл так, значит. Стекло вдребезги. И вот шурюсь, шурюсь теперь, да все никак не дошурюсь. Нету у зрчка силенок. Мышей не ловит. Ах, котьяра, придурок! Не дам ему нынче рыбы. Господи, да ведь это ж вроде как человек летит! Солдат небес. Помстилось мне все. Не выпалась я. Где тут выпишья: взорвана крыша, и ветер тепло уносит. Жрет ветер тепло мое, как кот рыбешку.

На берегу реки сидели два огольца, рыбалили. Удочки воткнули в холодный песок. Поплавки не дрожали. Один покуривал чинарик. Другой почесывал себе локти сквозь залатанную рубашку. Где тулупчик мой? А холоднонько! Вон твой тулупчик, я в него зимнее яблоко завернул! Рыба-то где, дружище? А рыба вся ушла в глубину! Бойтсья! Эй, глянь, там кто-то летит! Где? А в небе! Да ну тебя! Розыгрыш! Брось ты шутить! Я не шучу. Только вот куда делсья? А солнце-то ослепительное какое! Ну уж меня ты не заставишь на солнце глядеть. Уж лучше на поплавок! Давай, ну, дурак, тяни! Тяни же! Подсекай!

На краю поля поднялся на колени раненый солдат. По лицу полосы крови. Полосы слез. Стоит на коленях, колени в чернозем вдавливаются. В землю уходит. В земле тонет. Плачет. С губ слизывает слезы. Себя ощупывает: жив, да, жив, чудо какое. И буду жить! А может, не буду. Больно на ноги встать. Вот только так и могу стоять, на коленях. Да на землю глядеть. А лучше в небо. Ух ты! В небе-то кто-то летит! Это у меня от ран, от боли в глазах мельтешит. Брежу я. Сейчас землей умоюсь. Ишь ты, летит, видишь, какая бредятина. Не верь сам себе, ты, слышишь. Нету там никого. Птица это летит и крылья раскинула.

На крыльце взорванной избы девочка стояла. Тошая, личико в рыжих веснушках, платьишко порвано, землей испачкано. Она от обстрела хоронилась в саду. Голые яблони дрожали всеми ветвями. Девочка сощурилась и закинула к солнцу нежное лицо. Летит! Срежь облаков! В лучах! Ей показалось. Да, конечно, ей показалось. Она сложила ладонь трубочкой, чтобы лучше рассмотреть, вела рукой-трубой-подзорной по небесам, по земле, по комьям чернозема, по излучине реки. Голые яблони, сироты, стояли за ней, сторожили ее. Из земли торчал железный хвост снаряда; носом аспид в землю вошел, да не взорвался.

Всяк на земле делал свое дело. Старик волок санки, на санках лежал маленький детский гробик. Молодуха набирала из колодца воды погнутым снарядом, жестяным ведром. Бежали домой огольцы, один торжествующе поднимал выше головы кукан с насаженной на него жалкой плотвицей. Вязала старуха овечий носок. Стучали голые ветки яблонь друг об дружку. Звонил еще живой колокол на далекой мертвой церкви. Пели горячие зимние птицы-синицы, ждали праздничных птиц весенних.

И никто не видел, как падал с неба на землю юрод, не спасли его самодельные крылья, Время, смеясь, его не спасло, не спасла его дальняя, непрерывная молитва Блаженной Ксении, задирали он, падая, ноги выше головы, раскидывал руки, весь Божий Мирь напоследок пытаюсь обнять, и Ад и Рай. И вырывалась сама из его груди, прежде чем он разобьется о землю и превратится в кровавое тесто, детская колядка, так колядовали они с матерью его, Мариной, Царя-Медведя смышленной женой, в сибирских горах, у гордых гольцов, гранитными вершинами звездное полночное небо целующих. Да, так ходили и пели ночью, во Христово Рождество, и так ласково было на душе, так ясно, чисто, морозно, звездно, улыбочиво, празднично так, слезно так, и текли по лицу хорошие слезы, мать шептала: то Божии слезы, слезы радости, поплачь, сынок. И утирала сии слезки ему холодной покрасневшей голой рукой, сдернув теплую голицу, а голица падала и терялась в снегу, и он, малек, ее искал во сугробе, и находил, и протягивал матери, а Марина тоже плакала радостно, носом шмыгала, щеки соленые голицей отирала, и, взявшись за руки, шли они к ближней чернобревенной, мощной избе, и рты их во пение широко разевались, и цветные ленты на корзинках по ветру разевались, и громко пели-голосили они любимую колядку, без страха, без оглядки. Он помнил слова, их петь так чисто, так сладко... не торопись, не спеши, ведь все по порядку...

*<...> Славься, Господи Христос!
На дворе трещит мороз!
Красны щеки, красен нос...
Снег не вижу я от слез...
Люди, люди, путь далек!
Наколядую пирог...
Ты на всех пирог ломи...
Ешь ты, Боже, меж людьми...
А потом с людьми пой...
Наколядуем с Тобой...
Прочь ты, горе!.. прочь, беда...
Коляда... коляда...*

Он пел колядку до тех пор, пока земля не расступилась и не обняла его.

Боль была такой сильной, что он не почувствовал боли.

...И никто, никто на всей земле не видел, как он упал. <...>

ПЕСНЯ У КОСТРА

Она вернулась на войну как в дом родной.

Все ей было тут привычно. Все знакомо. Все, вплоть до смертного страха, до руины, до завывания ветра в холодных, бездымных трубах, торчащих над разрушенными крышами протянутыми к небу кривыми жестяными руками.

Ее бойцы узнавали тоже. Кричали ей: Ксения!.. погоды!.. подойди сюда, к нам!.. бинт у тебя есть в сумке, а вата?.. у нас тут солдата крепко ранило, распахало спину аж до кости!.. помоги, пособи!.. обработай рану спиртом, перевяжи... да нам дай, дай спиртику-то глотнуть... святое дело... Она подходила, мешок развевался у нее за спиной. Босые ноги прожигали в снегу торопливые узкие следы. Никто не видал ее крыльев. Крылья тайной оставались для зрячих людей; их видели те, кто ослеп. От взрыва слепли люди, от тяжелой контузии, а иногда танкист горел внутри танка, и перевязывала Блаженная ему обожженные руки, ноги и цыплячью юную шею. А слепые вдруг поближе придвигались к ней и шептали восторженно и еле слышно: видим, видим, голубушка, видим Божии крылышки твои. Береги ты себя!.. ведь ты, матушка, не баба, а Птица... Ангелица...

Она часто пела бойцам у костра. Бои редко велись ночью. Ночью наступал странный, кратковременный, а казалось, вечный передых. Солдаты разжигали костер, и Ксения садилась у огня. Происходящее здесь, у костра, казалась и ей, и всем бойцам чем-то таким нужным, важным, неотъемлемым от всей прошлой и будущей жизни; ночью, у костра, они понимали: человек с человеком воюет всегда, и главное — победить зло, и самое трудное — определить, где оно у врага, то зло, таится. Ведь мы, думала Ксения, для врага — тоже враги! И они, наши враги, сражаются с нами не просто так, натиск наш отражая, а ведь за что-то, для них святое! У нас — святое, и у них — святое. У нас — священная ненависть к врагу, и у них — священная к нам ненависть. В этом и есть великая тайна. Узнаешь эту тайну — все на свете битвы сразу остановишь. Ксения вздыхала: вот бы узнать! Да никто в целом свете не мог бы сказать ей, на кончике какой иглы, в каком яйце, в какой утке, а утка в сундуке, а сундук на сосне, а сосна на одинокой скале, а скала в море-окияне, сокрыта сия тайна. Ни Господь. Ни царь. Ни герой.

А ты, ты, Василий-юрод?.. ты-то можешь?.. ты-то — знаешь...

Откуда-то бойцы добывали старую, разбитую-раздолбанную испанскую гитару-шестиструнку. Ксения, как могла, настраивала ее, подтягивала непрочные колки, склоняла ухо, проверяя чистоту тона, все ей не нравилось, струны издавали нестройные, мрачные звуки, да делать было нечего, бойцам хотелось песен и гитарного рокота во время краткой передышки. Вечный бой! Покой лишь снится. Вот пусть сегодня, сейчас приснится. Ксения тревожно перебирала струны, будто боясь музыкой опоздать куда-то, на важную встречу, на единственное свиданье, и струны отвечали невнятным ропотом, подземным гулом. И выпускала Ксения голос на свободу — чистый, ясный, просторный голос, и холодная зимняя ночь тот голос в объятия принимала, и всеми звездами мелко, быстро целовала, и глядели ночные заледенелые березы, как гуляют Ксеньины руки по живым медным жилам, по кровеносным сосудам бедной музыки, и голос катился красным ярким колесом по заснеженному окому, по всей изрытой, израненной ойкумене, по замершим лицам бойцов, озаряемым взлизями огромного костра, а в костре сгорали старые доски, ветхие бумаги, среди них и рукописные, да никто никогда больше не прочтет нищих писем, торопливых записок, что люди иных времен друг другу наспех строчили — на прощание, перед смертью, перед празд-

ником иконы Страшного суда. Голос Блаженной проникал внутрь усталой души, утешал в рыдании, гладил по седому виску, благословлял на завтрашний тяжелый бой, и он уже не казался последним, еще оставалась надежда, еще плыл вдаль голос в широкой песне, не просто говоря о любви: он, голос, и был сама любовь.

А ночь шла и проходила, и у кого-то на донышке фляги находился глоток спирта, или глоток довоенного коньяка, или глоток вишневой домашней настойки, или перцовки глоток, а может, горилки с малюсеньким стручком красного жгучего перца, на дне притихшим. А дно ночного солдатского пьянства оказывалось так близко, до жалости, до горести рядом, и вот уже нет ничего, чем душеньку взвеселить, и снова кричали ей: Ксения!.. спой!.. распоследнюю!.. нашу любимую...

А какая же была у родных солдат самая любимая, медсестричка Ксения и не знала; опять надо было догадываться; и догадывалась она, что да, вот эта, старая, военная, еще с той войны, о которой не все знали, но все ее кровью помнили, а если память у крови есть, то, значит, и голос есть, и кричали, шептали, хрипели ей солдаты: Ксения!.. пой!.. звучи!..

И звучала она.

Мой костер догорает в ночи... завтра грянет отчаянный бой...

И глядели солдаты в огонь и закрывали глаза, и каждый видел пред собою любимую свою.

И шептала Ксения в перерыве между куплетами, когда на фальшивой, разбитой напроць, дребезжащей гитаре, с ранами-трещинами в живой теплой деке, звучал простенький слезный проигрыш: милый, родной, любимый мой Василий, я так скучаю по тебе, но это не может быть, чтобы я не увидела тебя, я обязательно увижу тебя, так суждено, ты жив, возлюбленный мой, ты жив и здоров, тебя не убили, ты дышишь, молишься и глядишь вперед.

И пока она это шептала, она верила в это, а когда надо было снова петь, опять не верила.

Ты шепчи о любви мне, шепчи... хоть во сне я побуду с тобой...

Это ты, ты мне поешь, родимый, шептала Ксения, перебирая струны, и краем глаза видела она, как плачет молоденький боец рядом с ней, засовывая руки в огонь — так замерзли они. <...>

СМЕРТЬ БЛАЖЕННОЙ НА ВОЙНЕ

Бой гремел. Пушки палили беспрерывно. Снаряды и мины летели. Приземлялись, разрывались, разносили в клочья здания, избы, руины, поднимали ввысь, в сумрак небес, необъятные веера мерзлой земли. И нет конца.

Бой гремел, и в том бою убили Блаженную. Ее убили просто и незаметно. Буднично. Как в любом бою: бой — это работа. Тяжкая, грязная, кровавая. Не всех, кто погиб в бою, упомянешь. Многие без вести пропадают. Так и отправляют родне конверт: без вести боец пропал, не взыщите. Ксения все знала про себя. Она себя не берегла: а зачем, коли судьба известна?

Она хоронилась вместе с другими бойцами в окопе. Враг наступал. Она сорвала с головы и бросила на землю пилотку. Ее густые, сизо-седые косы рассыпались по плечам и спине. Солдат протянул ей каску: надень!.. — она улыбнулась и рукой махнула. Сунула руку за пазуху, вытащила из-под гимнастерки странный бирюзовый крестик и пылко, крепко его поцеловала. И так еще немного посидела на земле, в окопной грязи, прижавшись к нателенному старинному кресту губами. И не успел никто ничего по-

нять, как быстро, ловко, в солдатских болотных портках, в сапогах, обляпанных сырою землей, она вылезла из окопа и выпрямилась в полный рост.

В рост! Да! Только так! Не гнуться! Не сгибаться! Не кланяться врагу! Не бояться! Смело! Ну! Вперед!

— В атаку! За мной!

Ее чистый, звонкий голос взвился в мрачное, в рванье бегущих туч, вечеряющее небо.

Она закинула лицо и еще успела подумать: снеговые тучи, еще немного, и снег пойдет, густо повалит, это зимняя гроза надвигается, — как полетел град пуль, да, началась железная гроза, стальной снег падал и все заметал, и тело Ксении, поднявшей бойцов в атаку, изрешетило пулями все, напрочь. А за ней уже страшной орущей волной бежали бойцы, катили диким валом, хлестал людской прибой, гремели выстрелы, и надвигались крики, все кричали хором не пойми что, взбадривали себя хриплыми воплями, высвобождали ярость, вместе с криком излетал из груди последний страх, они все тоже уже ничего не боялись, и они бежали, дико вопя, по грязи, по камням, по дикому полю, по снегам, по насту, по Ксении, что животом вниз валялась, расстрелянная сотней пуль, на поле боя, и уже ничего не видала, не слыхала, и лишь земля одна, к ней она мертвым лицом прижалась, видела ее живую улыбку, недвижимую, навеки застывшую, нежную, радостную. Да, полная чистой радости, лежала она, убитая, на широком поле, и люди бежали в атаку мимо нее и по ней, бежали над ней, по воздуху над ее затылком, седыми волосами и ногами в тяжелых сапогах, велики ей были те сапоги, и в носки она напихала ваты из санитарной сумки, и под пятки подложила вату, — бежали вдаль, по небесам, по грядущему, странному, непонятному Миру бежали. Бежать было надо всегда, не останавливаться, бежать и сражаться, бежать и побеждать. И там, во мрачных вечерних небесах, на миг разошлись под порывом ветра тучи, и не видели стреляющие друг во друга люди, как ярко, слепяще вспыхнула над ними, над политым кровью и усеянным костями полем боя крупная, как райский плод, радужная звезда.

Она испускала самоцветное сияние, дрожала на морозе и была в воюющих людей острыми, отчаянными лучами.

И оттуда, с небес, она увидела лежащую на земле ничком бедную мертвую Ксению и заплакала над ней.

РАЙ ГОСПОДЕНЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

И настал великий день.

Василию-нагоходцу, сыну Медведя-царя, зимнему юроду, голому бродяге, был подарок Господень: видение Рая на Красной, посреди Москвы, площади.

Кончилась ли война? Никто не знал.

Как воскрес Василий? Никто не знал.

Да и знать не хотел. А он тем паче.

Он видел Рай в лицо. Невероятен был шумящий, шелестящий среди зимы глянцевыми гладкими листьями Рай; светящиеся розовыми и смуглыми телами, странные нагие женщины появлялись из пустоты, из сна — нет, не на площади, на ее утопанном снегу, а летели в небесах, грациозно, как елочные игрушки, переворачиваясь и тихо, жемчужно смеясь. Василий думал, у них крылья вспыхивают за плечами, а это были всего лишь госпитальные простынки, и валились с их нежных тонких рук во снег обручальные колечки и тут же прорастали в сугробах тонкими, нежными ростками: то ли водоросли, то ли травы, то ли кусты будущие, то ли камыши на берегу снежного озера. Дыни по снегу сами катились, ногами никто не толкал, померанцы красно-ве-

селе, сливы лазуритовые, их навезли на площадной рынок купцы из Астрахани ханской, из Самарканда колдовского, сгрузили с расшив купецких, да сами они по снежку и попрыгали: лови!.. вон какие крупные, крупнее кролика, крупнее глухаря подстреленного!.. А вот и глухари: охотники их за лапы связанные торговать несли, мертвеньких, а тут, в Раю, они немедля оживали да сами, хвосты роскошные распуская, и взвивались в небеса сапфировые, так зенитом слепящие, глаз от сияния полднего слезится, жмурится!

Рай... до чего сладкий... до чего медовый, сиропный, маковый, печеною сдобной завитушкой закрученный да из печи Боговой — для человека!.. — вынутый... Для чего ты, Рай, все века люди думали-гадали. А вот ты для чего! Для нас, человеков, Богом и рожден! Чтобы мы наконец в тебя, Рай, отерев от грязи ножонки перед дверью в твою немислимую, необъятную, чистейшую избу, вошли!

И здесь — в Раю — навек — остались...

Тигры! Львы! Это раньше, раньше хищники людей терзали, на куски рвали! А теперь ребяенок, шубейка расстегнута, жарко в Раю, хоть и снег больно блестит, обнимает волка и целует в холку! Ах, волк! Не вонзай зубищи твои в дитя! А благослови его лесным рыком твоим, положи ему на плечо тяжелую лапу твою! И ребяенок ее возьмет во две ручонки да поцелует. Таковы райские законы! Господи, Господи... и вон она, вон любовь... в тени стены Кремлевской... прямо под красными морковными башнями... под алыми звездами, кровь в них струится, стекает по крепко, ладно уложенным кирпичам на мохнатый синий снег... под чесночинками каменными, зубцами смеющимися... Господи, да как же это пережить, ведь глядим мы на любовь в Раю и не узнаем ее в лицо, ох, нет, вот теперь — узнаем... мы ее в детстве — вот такую — во снах наших горячечных видали...

Глядел нагой Василий, во шкуру медвежью завернувшись, как в сугробе, под Кремлевской стеной, лежат и обнимаются муж и жена. Целуют друг друга, милуют. Гладят по лицу, по плечам, по груди; исцеловывают родную плоть так, как в церкви молящийся благоговейно целует святую икону. На запястьях жены браслеты горят восходящей во снежных полях зимней радугой. Муж главу на грудь жены радостно положил да так и застыл, счастливый; и она положила ладонь ему на затылок и замерла, улыбаясь; и так застыли оба. Переливались во снегу их нагие, чистые как речной жемчуг тела. Две жемчужины! Два сокровища! Застыли в любви, и любовь явилась оборотным ликом смерти, словно бы на незримую сторону Луны Василий тайно поглядел — и подглядел там Божию тайну: ту, что зреть смертному нельзя, а только Богу, — и вот Бог показал ему жемчуг любви, с голой груди струящийся, в ладонь скользящий, наземь, на снег валяющийся, —двигающийся, ласкающий, дышащий, неизвестно кем на нитку жизни нанизанный.

Кто нас всех на нить страдания нанизал?! Вот же она, предвечная радость! Рай!

Тут муж жену целовал сотни лет напролет. Тут счастливые дети водили по всей площади хороводы; вбок повел Василий плачущими от великой радости глазами, и увидел — рядом с собою, напротив родимой Спасской башни — мохнатую зверицу, Рождественскую елку! Рождество Твое, Христе Божие! Неужто вернулось?! А вот ты где, Рождество наше возлюбленное, в Раю! А и где же тебе-то и быть! Дети шли оголтелым, пляшущим хороводом вокруг густо, щедро, по-царски наряженной елки. Да и была ель — площадная царица. Ко свадьбе ее нарядили! Ко свадьбе Господней! Не счастье игрушек, забавок! Вот стремительная меч-рыба плывет, колючие волчьи ветви острой молнией разрезая. Вот боярышня в кике деревянная, нарисованные глазки косят лукаво, старик-крестьянин ее ножом из полена вытачивал, старуха, женка его морщинистая, красавице платья шила из лоскутков атласных, бусами рябиновыми, ожерельями

из вишневых косточек шею древняную украшала! Вот снежинка, осыпанная алмазными блестками, глядит озорно, светится улыбкой, губки суриком намазюканные, щеки румянами натертые, — не снежинка, а настоящий Серафим, а крылья-то где? А крылья вот! Птицы, птицы; множество их, клеили их и нитками суровыми сшивали, а они взяли да превратились в настоящих: перья топорщатся, клювы наострены, хвосты по ветру распущены — летят! Взмывают с изумрудных, мрачных ветвей вечной ели прямо туда, в мощную безбрежную синь! Что синее, волшебней неба? Только ель, колючая, зверья, хвойный малахит, ангельская ель Рождества!

А и что же там, сзади, за елью... за еловой тенью... за краснокирпичною, острозубой стеной... не разглядеть... ох, Господи, нет... нет...

Огонь! Пожар!

А люди, люди-то почему с площади не уходят!

Почему они продолжают тут танцевать, ноги до небес вздергивая, почему по снегу шары каспийских арбузов, самарских помидоров и кавказских гранатов катают... почему зажигают пучки свечей темного воску, белого парафина и высоко воздымают, хохоча от радости? Что они там свечами освещают, ведь так много здесь Солнца, в Раю, здесь любую еловую иголку, любую малюсенькую сливу, из торбы на снег упавшую, можно рассмотреть!.. Все пляшут со свечами в руках, все взалхлеб поют великие Райские песни! Господи, да что ж это такое! За их спинами пожар, огонь идет стеной, а они, они-то, сумасшедшие, все пляшут и пляшут!

Василий хотел крикнуть им: бегите!.. бегите с площади, ведь на вас прямоком идет огонь!.. — и не мог: рот его как воском залепило. Он изумленно оглядывал пляшущую толпу, Кремль, стену, обнявшихся в снегу пылких возлюбленных, летящих девушек и юношей, на глазах становящихся Ангелами, кубово-синее небо без дна, а Спасская башня превращалась в бочонок с медом и катилась ему под ноги, и проливался из дырки в бочонке на снег желтый мед и густел на морозе, и вставали на колени дети и собаки и в снегу льющийся ручьем мед лизали, на пальцы наматывали, снежком заедали, сладко утирались! Праздник! Рай пресветлый! Медовый Рай! Медовый псалом пой!

А огонь вставал за спинами пляшущих все выше и выше, столбами поднимался, в зенит уходя, выл, гудел, надвигался, но странный был тот огонь, он не жег, а ласкал, не уничтожал, а — жизнью дышал!

И Василия прошибла и чуть не повергла наземь, во снег, догадка: райский огонь!

Великий райский пожар Москвы! Подожгли Москву последние святые!

Где, где они, чуть не кричал он, метался по снежной площади, пылающей веселым перламутром выюги, да где же они?!.. — кричал он елке, закинув лик к ее достославной верхушке, а там, на еловой верхотуре, торчала еще так недавно могучая золотая, ярче солнца, еловая шишка, величиною с дыню, а теперь, людие, глядите-ка, — звезда горит! Красная! Пятилучевая! То ли пять лучей, а то ли все сто двадцать пять! Никому не счесть никогда! Из сердца звезды выходят лучи; эй, звезда, ты ж всезнайка, скажи мне, скажи, матушка небесная, сестра Богородицына, где те святые?.. Идут ли, поют ли, а может, где прячутся-хоронятся от сглаза, может, нищими неприметными, попрошайками в отрепьях у Спасских, у Боровицких ворот стоят?! Руку тянут?.. Дай, подай...

Василий метнулся в разверстые, дышащие пустой чернотой, обитые медью мощные двери собора Покрова Богородицы. Вбежал — и обомлел! Павлины слепили сапфиром и златыми глазами в узорчье хвостов, слетали со стен. Фрески пылали радостью. А иконостас — горел! Да, горел он синим, красным, желтым, алмазным огнем, огонь бежал по плитам собора, выбегал на вольную волю широкой площади, столбами восставал над головами людей! И не обжигало пламя! Василий благословил дрожащею рукой горящий иконостас. Еле различал лики святых. А они — шагали — вперед!

Шагали — с иконостаса — вниз! К людям!

Ибо сами люди, люди были они.

Из глубины пророческого чина, чина праотцев, восставала мощнейшим, упоительным солнечным столбом — и слетала к людям, паря над нимбами святых, немислимой величины Птица: громадная Птица, размером с Луну, а быть может, с Землю, а верней, с целое, рождающее свет солнце; всмотрелся Василий в косящий радостный глаз ее, в раскрытый в заливистом пенье золоченый клюв, в размах небесных крыльев, верх ясно-алый, испод мрачно-синий, а шея, шея вся — лазурь чистейшая, цвет небосвода, цвет юной любви, цвет весенней реки в пору разлива! А лапы-когти растопыренные серебрянкой сияют; и летит она прямо на Василия, на единственного, в толпе молящихся в тулупах и зипунах, голого старика, со шкурой медвежачьей на мосластых плечах, и возговорит человеческим голосом та Птица: ах, Василий-царь, Василий-юрод, Василий-нагоходец Московский, Василий-пророк, вот притекли к тебе все русския души живыя, и я прилетела, роскошная Птица, рыдальная Голубица, рожальная Синица, а попросту я знаешь кто?.. как звать меня?.. догадайся!.. сам ты ждал меня весь Ад!.. по Аду страдальному шел ко мне!.. Весь насквозь ради меня прошел!.. и ты не узнаешь меня!.. да ты меня — всему народу предсказал!.. и что, Василий!.. давай, поименуй священным именем меня!.. назови!.. всем назови!.. пред всеми имя мое — выкрикни!.. и запомнят люди!.. на веки вечные запомнят!..

И задрал главу лохматую, длинновласую Василий выше, еще выше, в зенит купола уж глядел, зверьи сощураясь, в тот синий воздух, где под куполом парил наиглавнейший святой, наисвятейший Царь Небес и планеты грозной, слезной, Христос Пантократор. А богомаза того, что лик могучего Спаса на выгибе купола малевал, на висельце вздернули: никогда боле такого не намалюешь!.. А зодчему тому, Барме-великому-пьянице, что храм возведет — мешок с монетами заполучит да по кабакам со товарищи шататься по всей Москве красной да белокаменной будет, — очи кинжалом выкололи: а не построишь боле, слепец, такого-то славного собора! Лишь один он, собор Покрова Богородицы, у Бога на вьюжной ладони!

И разинул Василий-нагоходец рот шире варежки, и набрал в грудь синего пьяного, свечным нагаром пахнущего воздуха, и вытянул руки вперед, как слепой, и стал зреть все, все, и даже то, чего смертному зреть нельзя, а лишь бессмертному разрешено, и завопил, будто на помощь звал, радостно, могуче, криком времена пронзая, и гулко отдался крик его в апсидах и нишах собора, в подкупольной выси, дрожащей и звездной:

— Феникс-Рай имя тебе! А иначе Жар-Птица!

Расхохоталась птица Феникс, еще шире раскинула крылья, алые сверху, синие снизу, торжественно надула зоб, раздула небесные перья, и развернулся пред Василием и пред всем народом, кто лбы себе крестил, кто на коленях стоял и благодарно плакал, — всемирный, всеводный, всеземельный птицы Феникса хвост, гуще всех сапфировых павлиньих хвостов, искристей многозвездного неба. И глядели на людей из развернутого на пол-Мира хвоста золотые и густо-синие глаза, и дрожали зеленые перья лесов и садов, а может, изумрудные иглы площадной ели; птица Феникс обращалась в бессмертную ель, сплошь, от маковки до золотых кавалерийских шпор на когтистых лапах, украшали ее старинные игрушки: сами их люди делали, сами ночами мастерили влюбленные в елку народы, сами, своими руками клеили и скрепляли, красили и вышивали. А на голове у птицы Феникса сама собою выросла из взлохмаченных перьев, явилась корона, маленькая, веселая, сверкающая, а может, то была не царская корона, а крохотная живая птичка колибри, ведь она век живет в Раю, не грех и во снежной Москве пожить, почирикать в метели, поплясать крестами-лапками на резучем снегу!

А святые сходили с иконостаса. Спускались. Приближались. Господи, какие же они были родные! Всех узнавал потрясенный Василий. И спасителей его и матери Марины — парня-цыгана, в красной рубашончке, с золотой серьгой в ухе, и священника в черной старой застиранной рясе, что вырвали мальчонку и бабу из смерти когтищ. И белобородого старца повара, что на кухне царской его вкусоности стряпать учил. И мальчишку того, что в избе, где шел военный совет, безотрывно, будто молился, глядел на него. И танкистов его верных, а вот рядышком шли они, огнекрылые его солдаты, ступали тяжело по отвоеванной земле в чугунных грязных сапогах, а глаза горели у них ясные, смелые, чистые, лучами горние сферы пронзая. И ту старуху, что сматывала шерсть в клубок на пороге разрушенного дома, пока он падал из подбитого зениткой самолета.

Всех видел. Всех любил. Всех неслышным шепотом называл поименно.

Ну и что, имен не знал! Разве в именах дело! Все были Жар-Птицы, ибо возродились из пепла. Все были — Рай, ибо Рай и состоит из таких вот святых, кто не именуется святым. Тише воды, ниже травы, ярче огня. Святых вас нет никого для меня!

Святые шли, шли и шли. Надвигались.

И впереди шла мать Марина, мать его, святая.

И держала она за руку прекрасного охотника: борода густая; власы по плечам текут; сапоги до колен болотные; ягдташ на длинном, исцарапанном ремне висит через плечо; ворот холщовой рубахи расстегнут на морозе, от тела пышет древний подземный жар. Жар берлоги. Жар вареной медовухи. Объятий с бабой полнощный жар. Звездный жар — на морозе, в синем мраке, под выстрелами, в разорванном ветром сугробном одеяле.

А на плечи охотника накинута шкура мрачная, ночи темнее, шкура мохнатая, шкура — лес-тайга, и шумит на ветру; шкура медвежья. И чем ближе охотник тот подходит, тем явственней на лбу его различает Василий царский обруч с золотыми зубцами; и тем плотнее шкура ему ко плечам, к спине прилипает, и вот уж она в кожу охотника, в рубаху его вращается, и всего его, с ног до головы, облипает, обнимает, и вот он уже в шкуре той — не человек, а Медведь!

— Медведюшка!.. отченька...

Повалился Василий на колени. Глядел на Медведя. Медведь лапой бережно сильную руку Марины на весу держал. Вел, будто в танце; будто к венцу.

А дверь, дверь в собор настезь открыта: ветер, заходи не хочу, гуляй тут, бешенствуй, цари напропалую! Надвигались на Василия святые, и все были святые в Раю, и все были цари — и люди, и звери, и птицы, и жуки, и пауки, и рыбы, и змеи, и кони, и коровы! Да, цари были все, и где сейчас пребывал родной Василию и всему народу русскому нынешний царь, не ведал он; каждый в Раю был царем, и каждому дана была великая, радостная вселенская власть!

И понял тут Василий: война каждого, каждого сделала царем.

Царем своей жизни. Царем своей судьбы. Царем неистового времени своего, оно же не проклято тобою, а милостиво принято душой, прижато к телу твоему, к сердцу, жадно бьющемуся. Царем родных и близких твоих, без тебя они пропадут, тобой они спасутся, и, сознавая это, ты еще сильнее, еще мощнее царствуешь, заботясь о них, лелея их и пестуя их.

Царем войска твоего верного, армии твоей, подначальных твоих бесстрашных, ибо бесстрашие слуг царя — залог смелости царя; храбрость подчиненных царя — героизм и победа земли, коей правит он. Армия есть царь, и царь есть армия. Неразрывны они. Не расплести. Не разрубить.

Святые, сиречь цари, шли на Василия войском солнечным, золотым, надвигались, обнимали его, окружали, входили, вбегали в собор люди с площади, запрудили входы и выходы, наводнили гулкую расписную пустоту собора, его ниши и притворы, толкались у амвона, тянули к святым, сходящим с иконостаса, руки и губы — обнять! целовать!.. А Василий шел навстречу им, и вот он вошел в их цветную, многолюдную, колышущуюся руками, ликами и одеждами, живую глубину, и глубина та вобрала, всосала его, нимбы над затылками плыли, как золотые лодки, золотые листья небесных кувшинок, он расставил руки, раскинул, обнять идущих хотел, вон того, нет, вот эту, да всех хочу сгрести в один живой ком, прижаться, родной жар ощутить. И вдруг будто кто подхватил его под ноги, под колени, стал возносить, все выше и выше, он ногами перебирал, ему казалось, он шел, по воздуху ступал, да, он шел воистину, поднимался по воздушным ступеням, он — восходил!

Он восходил на фреску в соборе Покрова Богородицы, что на Красной площади, взлетал, вклеивался в гушину и золотые искры цветущего, бьющегося на зимнем ветру самоцветного Рая.

Оглянулся. Глазам не верил.

— Ксения!..

Его Блаженная, улыбаясь во весь рот, шла рядом с ним.

Живая. Вот все тот же мешок на плечах, с дырой для башки и двумя дырами для рук. Все те же ножонки голые-босые, руки в цыпках от мороза. Космы все те же. Прежде златые, нынче черно-серебряные пряди густо, скорбно перевиты ветром, ночные, сновиденные.

Он протянул к ней руку.

И в этот же миг она, смеясь белозубо, тоже руку протянула ему. <...>

И обнял Василий Ксению за плечи, и так шли они, крепко обнявшись, как муж и жена, и это им пели-верещали счастливые певчие на травном, цветочном клиросе: Исайя, ликуй!.. — и шепотом спрашивал Василий у возлюбленной Блаженной:

— Куда мы идем, Блаженная моя?.. В огонь ли?.. На небеса ли?..

— На небеса!.. А на небесах Благодатное пламя еще сильнее горит!..

Невесомо ступали они по огню, скользили над пламенем, и тут Василий спросил Ксению:

— Ксения моя, а где наша Дяволица?.. Не помешает ли нам она подняться в небесные чертоги Рая?..

— Погляди, — сказала Ксения и указала рукой вниз, — вон она!

Василий глянул вниз и увидал.

Они с Ксенией шли по огню, попирая Дяволицу ногами.

А рыжекосая лежала, объятая огнем, и беззвучно кричала. Серьги ее расплавились в огне и стекли по щекам свинцовыми ручьями.

Там, под ногами у них, лежали черными бревнами в костре и горели, горели и сгорали руины Ада и развалины войны. И знали юрод и Блаженная: Ад и война сгорали навек. Рай не станет их воскрешать. А у них самих уже нет сил в себя вдыхать новые силы вершить неистовое зло. Зло, и у тебя есть край! Дойдем до обрыва. Заглянем в пропасть.

А пропасти, верю, нет. Пропать волна райского моря захлестнула! Райский остров из воды поднялся! И скалы усыпали цветы, и на голых камнях расцвел райский сад. Ешь апельсин! Срывай лимон с ветки, вдыхай его, золотой! Сквозь метель! Сквозь близкую смерть! Мы идем в Рай, и огонь выстилает нам дорогу радости нашей.

— Мы с тобой, Василий, земля.

- Да, Ксенья, мы земля. Обниму тебя крепче. Держись. Мы земля, и небо наше.
- Мы воздымаемся из Ада в Рай. Ты так мечтал?
- Я всю жизнь молился об этом.
- А где же наш Царь? Неужели он не придет приветствовать нас, счастливых?
- Он не увидит нас. Он слеп.
- Что кричит там, внизу, в огне, Дяволица у нас под ногами?
- Слушай... не слышу я...

Они притихли, шли, обнявшись, молча по огненным струям и тут услышали сдавленные, дальние крики Катерины:

- Свадьба!.. Свадьба!.. Царя мне!.. Жениха моего мне!.. Немедля!.. Сейчас!..

Ксения обернула лик к Василию. Благодать текла муром и златом из глаз ее.

— Царя кличет. Умереть, видать, с ним рядом хочет. Хотела быть владычицей, царицей. А умирает как простая крестьянка, казнямая на костре за старую веру.

Василий повел глазами вбок. Наткнулись его глаза на Царя. Он стоял совсем близко. Руку протяни — и коснись.

Он стоял слепой. Жалкий. Не зрел уже ничего. Поводил в воздухе руками. Искал друга, поддержку, жалость чужую, живое чужое тепло. Не было никого рядом. Огонь полыхал под ногами. Дяволица корчилась там, внизу, в безумии пламени. Василий шагнул к Царю и встал перед ним на колени. На коленях стоять! Человек способен на такое чудо. Стать на колени — сказать о любви. Стать на колени — превратиться в молитву.

— Это я... слышишь... самое лучшее блюдо мое я тебе, Царь, сейчас приготовлю... самое вкусное... самое счастливое... Ешь да похваливай... Хочешь есть, хочешь пачкайся... Это ты приказал Катерине... выстрелить в мой самолет?..

Царь медленно поднял слабые, дрожащие, незрячие руки и положил их на плечи коленопреклоненного Василия. Веки прикрыл. Под веками глаза его косили, искали сущий Мирь, что видеть не могли. Плыли из полузакрытых очей мелкие золотые слезы, блесны времени. Плыл алый плащ, истрепанный пурпур, на сутулые, дрожащие плечи, на горбатую спину. Бледнел и гас бледный лик. Седые, тонкие, жалкие волосы липли к щекам. Морщины шептали туманными, иноземными письменами о самом близком и родном.

— Да. Я.

— Зачем ты захотел убить меня?

— Затем... что лучше слуги не было у меня никогда... и ты, ты был верен мне, как никто... и ты был лучше, чище, выше меня... и я возжелал, чтобы больше не было такого, как ты, никогда и нигде... ни у меня, ни у другого... Чтобы ты был — единственный... Единственным и остался... Чтобы больше никто, никто в целом свете... не мог сотворить такой чудесный собор любви, борьбы... преданности... чести... гордости...

— Я понял. Так же, как Барме ты приказал глаза выколоть подо лбом!.. чтобы больше никто... никогда...

— Да! — Царь, положив руки на плечи Василию, дрожал и плакал, качаясь травой на небесном ветру. — Чтобы никто! Никогда! Чтобы только я... тобой владел... и чтобы ты и в смерти... мне принадлежал... А ты... ты меня предал... ты... ты — не умер!..

— Да. Не могу я погибнуть по чужому велению. И даже по сатанинскому. Только по Божиему!

Царь прислушался. Задрожал в близком плаче подбородок его.

Глубоко он морозный, огненный воздух вдохнул.

— А это кто, кто рядом с тобой?.. я чую... я слышу...

— Она.

— Ксения?..

— Да!

— А на Красной моей площади, Василий, что ныне?..

— А на Красной площади твоей Рай!

— А выведи меня на площадь мою Красную! И, хоть не вижу ее въявь, услышу ее, вдохну ее, возьму в ладонь снег ее... и так погляжу на нее!..

— Изволь, государь!

Подошла Ксения и под локоток его подхватила. Подхватил Василий под другой локоток. И так, по красной дороге огня, вышли они из-под купола мощной синей и золотой Вселенной на Красную площадь, в самую сердцевину богатого, знатного, счастьем упоенного, самозабвенного Рая!

А там плясали все, все, кто мог плясать.

Плясала бешено и задорно мать Василия, лекарка Марина, держа за мохнатую лапу Медведя; выбрасывала ноги туда и сюда, вопила на радостях, платок ее в снег с плеч свалился, а тот любовно облапил ее, гнул, тянул, потом лапами на снег уронил, катал и валял! И подбежала веселая Ксенья, защелкала пальцами, забила по снегу голыми пятками! Взяла Медведя за золотое кольцо в носу. Он встал на все четыре лапы, ревел истошно. Ксения стала выплясывать, приглашая гортанными криками сплясать с ней. Медведь встал на задние могучие лапы, переваливался с боку на бок, взреывал, а музыка звучала, и пела Ксения припевки зимние, колядки Рождества, а Медведюшка прыгать уже стал бешено да высоко, башкою мохнатой до неба хотел достать, внизу, под сугробами, мужики пешнями разбивали лед на Москве-реке, а на площади девка красная, да уж седая вся, плясала с Медведем, и кувыркался зверь черным мохматым колесом, а Ксении баба из толпы бросила, хохоча, рубль-империал, а она на зуб деньгу попробовала — да Медведю под танцующие толстые лапы как швырнет!

Медведь тот солнечный, слепящий империал лапой по снегу катал. А Ксения смеялась-смеялась!

И все смеялись вокруг нее! На морозе! Белозубо! Солнцами лиц друг дружку ослепляя!

Да, слепли, слепли все от счастья великого — быть, жить в Раю!

Наконец-то! Свершилось!

— А как то случилось-то, люди?!.

— Да вот сам в толк не возьму!

— Детки, за руки возьмитесь!.. Вон она, елочка-то, кличет-зовет!..

— К ней, к ней!.. Хороводом — вокруг!..

— Елка-то, о Господи, высоченная, в небо дыра, што тебе Спасская башня...

И тут откуда ни возьмись выкатились под ноги Ксении, пляшущей с Медведем на снегу, медвежатки!

Три медвежонка, ах, колобки чернявые, клубки живые, шерстка ночная, головушка шальная, пяточка смешная, вертятся-крутятся, вверх тормашками встают, на задних лапах прыгают, на передних ходят, задними в воздухе помахиывают! Три медвежонка, три таежных ребенка! А какой из них ты, Василий?! А тебя Маринка-корзинка у груди поберегла, кусок лучший давала у стола! Песни колыбельные тебе ночью пела, пророчьи сны на веретено куделью вертела! Медведики росли, с ними и ты на краю земли! И вот вырос ты, Василий, и погиб, и воскрес! И шумит про то далекий твой, мощный твой медвежий лес!

Блаженная наклонялась, трепала медвежаток за круглые бархатные уши. Медведики царапали-лапали ее колени под мешком, силились вскарабкаться по ее ногам,

за мешковину цепляясь коготками, к ее груди. Одного она, хохоча, подхватила, обняла, к груди прижала, в макушку поцеловала. В Раю так и надо! Жизнь в Раю такова! Живое — обласкай! К живому — снизойди! Живое — согрей на груди!

Пляска могучая на площади Красной продолжалась, и Кремль разгорался, пылал красным огнем на алмазном снегу, и елка сама, увешанная с колючей маковки до пяток-корневищ созвездьями игрушек, пританцовывала, желая сорваться с места, вот уже танцевала, изукрашенными лапами махала, звенела гирляндами, мигала свечками восковыми, плакала пахучей, хмельною смолой! И вот уже с места снялась, выдернула деревянную ногу из крестовины и пошла, пошла плясать напропалую, по всей площади кругами ходить, сполохом сияния полярного вспыхивать, слепя влюбленные, счастливые, бессчетные людские зрачки! Ослепнуть от счастья — каково это?! А вот же, вот, сам испытай! Стать от счастья слепым — значит видеть все! До конца! До дна! До снежинки малой на рукаве! До капли пота на предсмертной губе! До золотого волоска на лбу младенца рожденного!

Звери и люди плясали, обнявшись. Птицы с чистого синего неба слетали к людям, садились им на плечи, укутанные в дохи и дубленки, на затылки в лисьих шапках и льняных шалях, расшитых розанами и маками, на запястья, на руки в варежках и негнущихся голицах, и пели, пели оглушительно, чирикали, хрустальной водою журчали, трелями разливались, звенели и цвенькали, рассыпались хрустально! Птичий хор — до небес поднимался! Небеса наводнял!

— Рай, Рай...

— Экая в Раю-то радость!

— Неизбывная... радуйся, пока Рай...

— Да ведь он, Рай-то, дурачок, теперь навсегда...

— Все!.. Аду конец! А кто Ад насквозь пробежал — молодец!..

Хоры птиц. Рев зверей! И венки, венки цветов живых посреди зимы! Венки девчонки надевают на башки, в снег ушанки да вязаные шаленки швыряя! Елка-мать, громадная, смоляная, лапы топыря, танцует упоенно, круги по площади очерчивает, звездой алой на верхушке людям кивает: я, мол, с вами, плясуны мои, с вами навеки! А вокруг Ели-матери то ли с неба соскочили, то ли из-под стен Кремля попрыгали маленькие елочки: тьма тем елочек, и живые, и припрыгивают на корнях, одноногие, смешные, колючки ежисто выставив, и не тронь их, а все обкручены-обверчены уж — и кто украсить колючих ребятишек успел?! — серпантинном спиральным, дождем серебряным, текучим, блестящим, пушистыми хлопьями снега, россыпями слепящего мелкого льда! Лыдины раскололись, в осколки елки нарядили! А вон голубь на ветках сидит, живой! Жизнью таежную плясунью украшает! А вон синички-сестрички рассыпались по хвое; желтогрудые сердолики, синекрылые лазуриты! А вон лисенок в ствол еловый всеми коготками вцепился, всеми четырьмя лапчонками ель обхватил: с ней вместе танцует! А ну-ка, лис да в Раю! <...>

Медведь катился по снегу колесом, Ксения приплясывала, и так двигались вперед.

И вот он, сугроб. И вот Он, Человек.

...И вот Он, Бог.

Зверь и Блаженная остановились. Ксения держала Медведя за лапу, тяжело дыша, глядела на Господа.

Не тратила она много слов.

— Обнимитесь!

Сошел Господь с ледяного сугроба, раскинул руки и Медведя крепко обнял.

И облапил Медведь Господа. И так стояли, в объятии замерев.

Ксения глядела на объятие Бога и зверя.

А поодаль возникла из снежного тумана Дяволица. Переступала босиком по снегу.

Ксения увидела ее первой, среди всей слепой от счастья толпы. Невозможен был приход чертовки, на их глазах в лютом пламени до пепла сгоревшей, но вот же, шла она среди рождественской всеприродной пляски, шла, ни на кого, ни на что не глядя, глядя тусклыми рясными очами внутрь себя. Вскинула она глаза, возгорелись они болотным призрачным огнем. Она тоже увидела Ксению. А ноги ее, босые ныне, без красных щегольских сапожек драгоценных, сами шли. Сами ее несли туда, куда ходить ей было от века заказано.

Господь глядел вдаль радостно, поверх пляски Всемирной, поверх башен кремлевских, а вот царь Медведь оглянулся вослед за Ксенией и тоже рыжекосую узрел.

Ближе. Все ближе. Вот совсем близко, на расстояние протянутой руки, подошла она.

Атласные, бархатные тряпки не мотались на ней. Ксения всмотрелась, поняла с ужасом: на Дяволице, живой вешалке, висело ее, Ксеньино, вечное скитальное платье. Ее родной холщовый мешок из-под картошки, из-под мерзлой переспелой репы!

— Боже!.. за что...

Поглядела исподлбья Дяволица на Ксению. Развела руками: мол, как тебе она я? Ты это? Или я? А может, теперь мы вместе? Мы — одно?

— Ксенья... мы... сестры...

Ксения ясно, ярко глядела ей в глаза.

— Да ведь, может, и сестры. Я-то тебя простила. Давно простила. А вот ты? Зачем оборотилась мною? Машкерад на праздник зимний? Нет тебе во веки веков победы, так ты меня, одну меня желаешь в прах повергнуть?..

— Сестра!.. Сестра!..

По лицу Ксении ручьями текли горячие слезы, щеки прожигали.

— Отвечу тебе: сестра, а ты меня обнимешь, да сзади, под ребра мне, нож военный всадишь...

— Сестра!.. Верь мне!..

Махнула Ксения рукой весело. Медведь заревел.

Господь улыбнулся светло.

— Верю. Обнимаю! Убивай!

Дяволица обхватила Ксению обеими руками. Мешок притиснулся к мешку. Зеркало вошло амальгамой в зеркало. Солнце в небе горело ярко, безумно, вокруг желтого светила плясали еще два, красное и лазурное, Луна пылала выюжно, призрачно, синева густела, звезды сыпались отчаянным просом, и не удержалась от последнего коварства рыжекосая, выхватила из холщового тайного карманишка солдатский нож и, даже не размахиваясь, хакнув коротко, всю злобу, накопленную за долгие века, выдохнув, всадила лезвие под беззащитное Ксеньино ребро.

Кровь не успела политься. Господь вышел из объятий Медведя. Длань подъял. Затынулась рана мгновенно. Выпал на снег нож из руки Катерины. Зашаталась рыжекосая. Воздух праздника крючьями-пальцами хватала. Не удержалась на ногах. Повалилась на колени. На коленях к Медведю поползла. Господь рядом стоял, да рыжекосая ползла — к зверю.

Доползла. Лоб во снег уткнула. Красные косы ее плечи ей, спину плащом укрыли.

— Зверик мой!.. Как часто я в лесах, во тайгах, во степях всем, всем земным зверям помогала!.. Выжить!.. Пастись!.. Загрызть!.. На телах поверженных, после битвы кровавой, пировать!.. Это все я, я!.. Зверь мой лесной, божество гор и лесов и ледяных рек, прости меня!.. Я у тебя прошу прощенья, чтобы не умереть!.. Я никогда так близко к Богу не стояла. Я — от Бога — шарахалась!.. Не нужен Он мне был!.. Я и без Него с Миром, с человечешкой жалким, бесчестным справлялась!.. И все победы мне были

по плечу!.. А тут... Тут я сплеховала. Всеми вашими силами вы, звери-птицы-люди, призвали сюда Рай!.. И я насмелилась. Я себе изменила! Я, владычица Ада, в Рай ваш явилась! Да вот беда, жить хочу! Жить! Зверь, помни заслуги мои пред тобой! Молю, оставь мне жизнь! За меня Господа о милости попроси!

Лисята, волчата, медвежата, котята, собачата, утята, цыплята плясали вокруг них. От них в танцующую толпу доносился терпкий запах еловой хвои. Господь молчал. Медведь сел у Его ног. Все стояли босые на колком снегу: Господь, Ксения, Дьяволица, Медведь, а поодаль — молчаливый, ждущий Василий-нагоходец.

— Звери!.. Люди!.. Неужто не узнали меня!.. Не признали средь ночи и среди дня!.. Ведь это я, я, там, в небесах!.. всю жизнь — над вами всеми!.. На ночных часах!.. Красная я, страшная Луна!.. Хожу-брожу в ночи одна!.. Тыщу раз глядели на меня!.. Проклинали лик мой красного огня!.. А я все румянилась!.. А я все вас убивала!.. И все мне было крови мало, мало!.. А вы-то и не знали: в вашей смертушке — ваше красное начало...

Дьяволица, на коленях стоя, закинула к небу пылающее вечным румянцем лицо.

— Ксенья!.. Пред тобой — на коленях!.. Не убить мне тебя! Прости! Прости за все! Да пусть я лучше престану быть Дьяволицей! Пусть спадет с меня моя Адская кожа! Пусть сгорит нутро мое краснотунное в солнечном пламени, в зимней печи Рая!

Господь улыбался. Медведь прижался холкой к Его ногам под синим, красным атласным, перламутром льющимся хитомом.

— Да будет так!

И лишь они вчетвером, Господь, царь-Медведь, Ксения и Василий, они одни на всей многолюдной, вихрящейся в бурнопламенной пляске площади, видели, как стала с рыжекосой Катерины кожа лоскутьями, слоями сползать, как мотались на вьюжном ветру кровавые ошметки кожи, полосы, будто кто незримый свежевала ее, так охотник свежует тушу убитого зверя в тайге, сваливалась на притоптанный всеобщей пляской снег шкура Ада, и выпрастывалось наружу из отжившей, окровавленной кожи новое существо, да кто же это там такой, ой, такая, да это же тощая девчонка, да это же... Господи, прости!.. узнал Василий, узнал и задрожал... та косноязычная, иноземная девчонка в веснушках, в рубище, с тонкими смешными косками, что говорила с ним, все про Ад на Москве разъясняя, на разрушенной площади Красной, прекрасной, среди развалин и руин...

— Дитя мое!..

Крик Василия с другого берега площадного моря достиг ушей Господа, Медведя, Ксении и худенькой девчонки. Веснушки льяными семенами разбрелись по ее остренькому лисьему личику. Василий пробирался сквозь танцующую толпу, закидывал бородатый, мохнатый лик к небу, и борода его становилась крылом, на нем же он перелетал горе-беду и последнюю еловую радость.

Отроковица оглянулась. На снегу кроваво, страшно валялась отжившая Дьяволица шкура.

— Ой!..

Девчонка зажмурилась, уткнулась в колени Господа. Утирала красною полкой его красного-синего шелка дрожащее мокрое лицо.

— Не смотри туда, — прошептал Господь.

Ксения заливалась слезами, да слез не отирала. <...>

Гремела музыка, а где музыканты на площади сидели, не видно было. Только слышны пронзительные медные трубы, вопли скрипок, густые признанья в любви ласковых виолончелей. А еще били медные тарелки. Бом-м-м-м! Звон-н-н-н-н!

— Хоронят, что ли, кого?..

Блаженная обернулась. Искала похороны глазами.

Веснушчатая белокошая девчонка показала пальцем вдаль.

— Да! Похороны это! А вы-то, глупые, разве не знаете ничего? — Она с трудом, как и раньше, говорила по-русски. — Хоронят нашего Царя! Царь-то у нас — другой будет!

Все ближе подползал бедный, нищий, с разбитым грязным кузовом, военный грузовик. За грузовиком шествовал погребальный оркестр, музыканты грустно головы опускали, как зимние цветы с переломленными стеблями; время от времени подносили ко ртам железные трубы и камышовые дудки свои, дули в них старательно и строго, выдували последнюю жизни надежду. Головами мотали, как быки, ведомые на заклание; жаркие потертые ушанки, казацьи папахи и старомодные меховые пирожки с затылков в грязь летели. Медь трубная пронзала и возжигала лиловый мороз. В кузове стоял изукрашенный кружевами, шелками и цветами гроб. Во гробе лежал Царь. Слепые его глаза были широко открыты. Слепыми глазами он пристально, внимательно глядел в небо. Он, мертвый, хотел проглядеть насквозь его беспредельность. И то правда, где жизни предел? А любви? А ненависти? Нет им границы. А если им границы нет, то и смерти предела нет. Она у всех. Она для всех. Не открестись.

Ксения взяла отроковицу за перепачканную Катериной кровью руку.

— Как тебе новая твоя жизнь, милая?..

Низко наклонилась к голой головушке, вдохнула хлебный запах русских волосенок, ветер взвил девчонкины тощие коски и одною, с красной ленточкой, вплетенной во вьюжные, улетающие с плеч волосишки, хлестнул Ксению по щеке.

— Хорошая новая жизнь, — со вздохом, с трудом ответила девчонка и улыбнуться попыталась. Ветер стер улыбку, она улетела с лица воробьем. — Да только погляди-ка ты, что сейчас-то будет!

Девочка вырвала руку из руки Ксении и вихрем полетела к грузовику.

Как она запрыгнула в кузов, никто и не понял. Быстро. Как обезьянка, прирученная, сахарком к ласке людской прирученная, влезла! Все люди на площади, снизу, могли видеть, как неведомая тощая, с белыми метельными косками, девчонка наклонилась над телом Царя, ручонками вмиг раскидала погребальные венки, выкинула на снег могильные бумажные цветы и бутоны живые, просунула руки под мышки мертвому, и подняла его в гробу, и затрясла так, что голова его закачалась, как у фарфорового китайского бонзы, подбородок о грудную кость звенел-стучал.

Да не видали то люди. Танцевали!

— Проснись... Не время нынче умирать!

Ксения, расширив небесные глаза, глядела, как вскинул Царь мертвую голову, как мертвый слепой, ледяной взгляд его становился живым, зрячим, отчаянным, как слезы из воскресших глаз прозрачными письменами, сверху вниз, текли по пергаментному лику.

— Царь! — вопила девчонка во весь тощий, пронзительный голосок. — Оживай! Ведь у тебя нынче свадьба!

Он повел слабою головой вбок. Улыбнуться пытался.

Шофер замерзлою рукой открыл кабину, скособочился, извернулся, увидел ожившего Царя и грянулся в обморок, мешком повалился из кабины на снег.

— Свадьба?.. — Он прислушивался к пеплом по ветру летящему своему голосу, как к чужому. — С кем?..

— Со мной!

Ксения все слышала. Закусила губу.

Она меня перехитрила?.. Или она навсегда, навеки превратилась в чистую душу? Где правда? Где ложь? А может, правда и ложь и вправду сестры? Чему верить? Кому? Ад!

Рай! А может, братья и они! А мы всю-то жизнь лишь и делаем, что во имя Рая с Адом воюем! А может, Ад-то нам всем надо полюбить!.. Полюбить!.. И простить!.. Простить...

Господь стоял спокойно, недвижно. Медведь открыл пасть, вывалил малиновый яркий язык. Навстречу ему черными ватрушками катились его родные медвежатки, а за ними вышагивала по алмазному снежку Медведица, на ходу неуклюже, нежно-заботливо облизывала катящиеся к отцу-Медведю черные шары. Василий положил руку Блаженной на плечо. Бороду его взвил ветер и обмотал ею, как черной петлей, Ксенину шею и грудь.

— Не бойся. Только жди. Время приучило тебя ждать. Поверь. Отпусти зверя на волю. Отпусти на волю ненависть, Ад. Только гляди. Запоминай. Память у тебя никто не отберет. Даже если ты сейчас, скоро умрешь и боле не воскреснешь никогда, родится другая Ксения, через века. И вспомнит она все, что было с тобою. А девчонку благослови. Мысленно. А хочешь, и перекрести.

Юродка руку подняла и веснушчатую девчонку широко перекрестила.

И просияла девчонка. Не скорчилась; не скужилась; не обуглилась, не иссохла. А будто из нее лучи зачали в широкий зимний Миръ выходить. Маленькими подвижными ручонками отстегнула она железную защелку откидного борта, вытащила Царя из гроба, подтащила к дощатому краю, сама на землю прыгнула первой, а Царя смешно сволокла за ноги, как куклу, и мотались у него кукольно руки, и стонал он, крик-тел, пытаюсь еще неслухным телом помочь той, что его воскресила. И вот на снежочке, морковно-хрустом, оба. И вот девчонка кладет руку его себе на плечо, подлезает ему под мышку, идет-бредет, на себе государя, малявка, тащит!

— Господь мой! Ты глядишь на сию картину. Неужто Ты сам, Ты один сему помог?

Улыбка Ксении солнечную выюгу озаряла.

— Я сам. Я помог сему. Воскресил же я Лазаря. Дочь Иаира воскресил. И Царя всея Руси воскресил. Для радости воскресил. Для силы. Для — счастья!

— Счастья...

Блаженная превратилась в Господне эхо.

Относил ветер далеко от стоящих Васильеву бороду, как черный флаг посреди белого алмазного дворца, и вокруг них плясали люди, шли хороводом, день за днем, год за годом, свершали годовой круг и круг вековой, и пекли пирог, и подносили им кусок, и брал пирог с ладони жертвенной Господь и вкушал, улыбаясь, и ела Ксения, смеясь, и подбредала к ним живая елка и обнимала их, босых на снегу, колючими вечными ветвями.

А дети, вокруг них ошалело танцуя, пронзительно, разрывая уши и душу, кричали:

— Свадьба!.. Свадьба!..

И верно, немыслимая, на весь Миръ, свадьба начиналась. Солнце брызгало обжигающим золотым маслом, рядом с небосвода падала тьма, обнимая площадь Красную, прекрасную, и вот предвечный мрак там и сям возгорался: из тумана рыбками-уклейками плыли на людей пляшущие вспышки, серебряные, медные, кроваво-турмалиновые, призрачно-перламутровые, и вот наливались огни живой кровью, являлись в них яркость, ярость и страх, укрупнялись они, росли и вырастали, и вот уже площадные снега заливало слепяще-оранжевой, похоронно-багровой, крестильно-алой небесного света рекой! Красные огни! А среди них — синие блики! Полощитесь, по нежно-снежной площади, красные флаги! Рытый бархат, в нищенских конурах наспех кривою иглой прошитый святой атлас! Сумасшествует красный цвет. Ярится красный свет. Танцует красный снег! Пляшут красные снежинки в красном вихре! Воскресший из мертвых и веснушчатая тощая отроковица стояли среди площади, обнявшись.

И покатались на серебряную сковороду площади толстые круглые медвежата, а глядь, это уже скоморохи! Облепили скоморохи цветными жужжащими пчелами жениха и невесту. Звенели на синих, алых колпаках безумные бубенцы! Мелькали живые колеса, валялись скоморохи в снегу и снова вскакивали, ноги-руки крутились, спины-груды вращались, треухи-колпаки-капюшоны втаптывались в сугробы, а один скоморох на площадь выкатился в колесе — да в том, в коем на Лобном месте колесуют: а вот уперся внутри страшного колеса руками-ногами — и катился, катился по снегу, как бельчонок в дитящем забавном колесе! Туз бубновый на тулупе нарисован! Туз треф — на потном лбу! Намотали на палки липовое лыко, размахивали ими, мочало поджигали, скалясь, перебрасывались горящими факелами! Народ, народ! Веселящийся, пьяно-румяный! Щеки-яблоки, рты-ягоды! Тетки свеклой скулы, подмигивая, натирают. Девицы, в зеркалишки глядячись, — соком морковным. Вон боярыня павой плывет по снегам, а на кике у ней павлинье перо зеленое торчит, синий веер, золотое пронзительное око! А вон боярышня юная на свадьбу спешит, да как бы чего тут важного не пропустить, ножонками перебирает, мечтает вина за счастье испить, а на плече у нее петух сидит, в развышитое сукно кафтанчика когтями вцепился; крылья святы, лапы золотые!

Народ мой, народ! Эх, веселиться ты умеешь! Не отнимет никто веселия твоего у тебя! Сквозь весь Ад кромешный взвеселимся, людие! Долго же мы ждали, когда родимся вновь!

Дудки-жалейки, свирели заозерные, сопелки святочные, скрипочки сельские, самодельные, рога охотничьи, горны военные — все гудело, свистело, брямкало, свиристело, рассыпалось хрустальным звоном, недуром орало, медно и дико, зверем чашобным, вепрем болотным! А потом разливалось переборами арф — да, с арфами шествовали на свадьбу детки, подобные Ангелам, да в заштатных одежонках, да в штопаных-перештопаных нищенских лохмотьях. А музыка, музыка-то смело, счастливо рвалась из-под тонюсеньких пальчиков их ребячьих, разливалась по Красной площади соком, вином, сиропом, брагой, медом забродившим, пьяным!

А пяточки босые сверкали, поцелованные солнцем! А сафьянные сапоги мяли, принимали снег, и снег стонал и плакал под пятой, и снег визжал хрюшкой, поросенком резаным, и снег отсвечивал, всласть утопанный, гладко, зеркально, и изнутри того снежного, лдяного зеркала глядело лицо Блаженной Ксении, развеселое, смеющееся, очами обнимающее весь родной Миръ, всю родимую площадь. Торжествуй, жизнь да любовь!

Мечись, полоумная пляска людская! Только так мы празднуем миръ и победу. И ликует, веселится весь народ! Скоморохи нанизывали на себя метель, как на веретено. Прыгали в безумии смеха, и башки их, в бархат островерхих шапок да в солдатские пилотки облаченные, в прыжке касались сияющих, быстро летящих в выси облаков.

Медвежата кувыркались, и скоморохи кувыркались! На руках плясали. Ногами в воздухе болтали. Не только темечком созвездий достигнуть, а и пяточками раскаленными нашими! Снежочком пятки клеймены! На пытке — в угли всунути! Да кончилось пытальное времячко! Настало великое, скоморошье!

По небу босыми стопами пробежим. А небо-то — головни звезд горят, обожжемся! А мы-то сами не промах: сами возьмем да как звезды, возгоримся! Каждый ведь из нас, людей родных, звезда! Сам себе звезда да и Миру звезда. Летим, летим! Есть-пить хотим! А колядки-то, где колядки?! А зачни голосить, колядуй без оглядки!

Блаженная взяла Василия за руку. Рука об руку стояли они. Ель рядом с ними. Господь рядом. В кузов погребального грузовика запрыгнул скоморох, за ним оркестрант

из шествия кладбищенской меди; хватали еловые венки, бросали в толпу. Скоморох тряс головой, колокольцы на шапке бренчали залиvisto, он вопил разудало:

— Свадьба! Свадьба! Счастье в рожу узнать бы! Над Красной площадью зимняя заря! Танцы! Танцы! Красные протуберанцы! Кто зимою на свадьбе не пляшет — тот, берегись, носом снег алмазный вспашет! А кто на свадьбе до одышки танцует — тот рядом с Исаюшкой-пророком в небесах ликует!

Царь и отроковица стояли среди народа и тоже за руки, как юрод за юродкой, крепко взялись. Замерли. Улыбки слепо, солнечно бродили по их лицам, переливались, исчезали, вспыхивали опять. Улыбки они друг другу передавали, факелами друг другу бросали. Ксения улыбалась. Улыбкой той говорила: я рада, рада, вот и родилась настоящая жизнь твоя, вот и перешли мы Ад вброд, аки посуху. Царь улыбался Василию. Вот ты, мой повар любимый, генерал мой геройский, вот и ты ведь жив; нет нам с тобою Времени, что ли? Василий улыбался тощей девчонке, приبلудной отроковице, нареченной невесте. Ты, девонька милая, забудь, кем ты до твоего рождения была! Ныне великое Рождество твое. Шкура Ада с тебя свалилась, тонкая кожа Рая румяной любовью укрыла. За царя крепче держись! Богу жарче молись! Да, родная, вот такая пошла наша жись!

Ад-то твой несусветный в Рай земной обратился!

Веснушчатая, тощая, суше воблы астраханской, девчонка улыбалась Господу во весь рот. Ах, Господь, вот и я Твой ломоть! Вот и я у Тебя в руках — ешь меня, не объемлет страх! Я хлеб Твой нынче и Твое вино; Причастие Твое — люди Твои, так Тебе суждено! Ты нам Себя подарил, а народ Твой собою лик Твой озарил! И глядишь Ты на нас народа лицом, пред началом нашим и пред нашим концом! Да только пока Ты с нами, наш Свет, нет конца-краю нам, нет и нет!

А Господь, босой на снегу, улыбался всем им, румяным, счастливым, босым.

Девчонка думала-молчала, улыбалась, а скоморох, высоко подпрыгнув, застыл: услышал ее мысли, как музыку. Завопил:

— Дзынь, дзынь, горяшко, а ну отзынь!.. Свадебка велика, не отвори лика! Свадьбища велика, на полноги, на полкулака! Свадьбушка-лебедица, в военном сне приснится!.. Свадьба в полземли — Тьма кромешна, отвали! А приди к нам Тьма живая, тебя обцелую-обласкаю! Звездами посыпь на нас, юродов, венчай на царство средь родимого народа! Ах, народ родимый, да ты ведь непобедимый!.. Поборол ты лихо, да пировать не научен тихо! Ну, давай, голубями налетай, крохи все расклой, криком важным кричи и на дно, и в угольной ночи: ты давай, взойди, наша заря!

Из-за угла краснойгранитного, изукрашенного золочеными буквицами дома, схожего с суровым ящиком почтовым для перевозки особо важных грузов, выбрел на ликующую площадь человек. Человек, да не человек. Чучело, да не оно. Рыцарь в латах? Ряженный? Колядовать собрался?.. аль метелицы испугался...

— Люди, люди!.. Кто это!

— Что на башке-то у бедняги!.. рассмотри...

— Котел рыбацкий...

— Железный колпак!

Шел, шел по площади, по зеркалу льда, по тропинкам, да прямо по сугробам, во снегу увязая, длинный, худой, кожа да кости, мослы кедровыми шишками из плеч, из локтей торчат, странный старик: на голове шапка железная, на щиколотках кандалы, тело тощее обкручено веригами, на груди огромный, как плот, медный крест позеленелый.

На пальцах длинных, ветвях древесных из плоти и крови, тяжеленные кольца железные. Да в лоб морщинистый все глубже, больней край шапки железной врезается.

Ах, детки Рождества, пляшите на свадьбе сильнее, кричите громче! Василий Нагой услышит!

— Иван Железный Колпак!.. Иван Железный Колпак!..

Василий глазами вошел в глаза старика.

Метель, белая борода! Не вернешься никогда. Детство мое, медведи мои! Дед мой, храм ты мой древний на Крови...

И старик узнал его.

Они оба узнали друг друга.

— Дед!..

— Внучек мой...

Вышагивая ногами-костылями широко и шатко, сияя хрустально и мутно слепнувшими, в морозных бельмах, очами, Иоанн Железный Колпак приблизился к Василию Нагому, да так и врос в замеченную белизною землю, пристыл к вечному льду, к вечной родной мерзлоте.

— Дедушка...

— Вот оно как довелось, внуче, на свадьбе свидеться... Аду смерть! Вплыл миръ желанный в горячие реки рук! И я во твои рученьки, внуче, вплыву... наяву... Василько... скучал по тебе сильно... и на сем свете, и на том... тебя издаля осеняя крестом...

Обнялись. Таково крепко, аж дух занялся!

А скоморохи плясали, безумьем прославляя мудрость, босыми пятками восславляя небо, косыми глазенками зырякая туда-сюда, вниз, вбок, вверх: глазами безмолвно накладывали крест на деда и внука, нагоходцев великих, на оголенное алое тело башни Спасской, дышащей лаской, на зеркало площади, царевнино, потайное, на стога, копны и зароды красных флагов! Красные флаги, то был красный ветер, красный воздух, алый Дух Святой! Красная брусника, алая малина, рыжая морошка катились, раскатывались по снегу. Озорная невеста, тоненькая веселая отроковица, собирала на снегу ягоды, смеялась, в горсти подносила жениху! И Царь окунал лик свой в россыпь ягод, брал их губами у девчонки с руки, будто хлеб с ладони осторожно ухватывал седой конь, и жевал, и жмурился сладко, и ягодная кровь с усов, с бороды его снежной капала-лилась, а вокруг!.. — скоморохи катались-валялись по серебру снега, оглушительно звенели бубенцы на их синих, травных, закатных колпаках, ударяли они друг друга смешливыми, железными кулаками, шли пляска на пляску, стенка на стенку! Сражались! Да понарошку, играя. В войнушку-лягушку молодцам что ж со своими, с родными, не поиграть, не позабавиться! Выскочил из толпы скоморохов один скоморошек очумелый; мордой был ну чисто мышкующий лис, на такого уж не молись! Остромордо, хитренько к Василию повернулся. Забормотал торопливо, зачастил скороговоркой, словеса шелухой рассыпал по нату:

— Мы скоморохи-язычники, из Сибири докатились, ко Москвишечке красной прибились, к морозцу привычненьки!.. Мы скоморошенки, да святые, не бесовские, притекли наводнить приделы московские!.. Видишь, видишь, Васенька, старика того исхудалого, захудалого?! Звездой в ночи торчит — над дорогами-путями, вокзалами, причалами! Старик тот — дорога твоя, Василий-юрод, по ней бежит весь народ, а ты слушай, дед, ровно кот, ворчит: иди, внук, по звездám, иди в ночи... Да ночь со днем смешались! Обхватились да расцеловались! Свадьба... сретение внука и деда... А коли мать узреть захочешь — беги, беги, беги по медвежьему следу!..

Покатился скоморох колесом вокруг Василия и Иоанна-старика, да вмиг медведюшкой оборотился. Черные лапы, мохнатая грива. Прыгал, скакал, на деда и внука взирал. Медведица с медвежатками подкатилась. Играла с ними. Они взрывали снег

носами, на задних лапах тяжело, смешно, ухочечешься, плясали. Бабы в расшитых розами, гвоздиками и геранью поневах, в платках с метельными длинными кистями, несли в руках замерзлых сурских стерлядей, в длинных плетеных лодках корзин — орубленных на куски великанских каспийских осетров. На площади разводили костры. Огонь выметывался в небо красною, золотою икрой. Пламя вскоре обняло всю площадь, заползло под Кремлевскую стену, красными жгучими флагами оцепило собор Покрова.

Василий нежно глядел на Ксению.

— Родная!.. А свадьба-то — скажи, у кого?..

— У царя, родной!

— Ух ты!.. А я думал — у нас.

— Да ведь и у нас тоже, родненький!

— А может, и не только у нас?..

— Да у всех.

Медведи прыгали и кувыркались, скоморохи трясли башками, издавая колокольцами соловьиные звоны. Выводили на снег за рога коров и быков смелые отроки-пастухи, и играл в метели пастуший рожок, за собой звал, обещал райские мандарины и златые горы, сладкое, как дикий мед, вино ковшами — да вон там, из утлого бочонка, что на дремучих салазках стоит, да до грядущего не достоин, все вино выпьем, утремся да еще запросим!.. И раскатывались по площади красные мандарины, и летели в сугробы алые апельсины, и вставали вместо серебряных сугробов многоценные, золотые, так полнилась чистым золотом отошала казна, — и вздрагивал всем голым, под рваной больничной военной простышкой, телом Иоанн Железный Колпак, Василия дед, и направлялся к жениху порфиородному да к найденной в сору нищей невесте, и вынимал кулаки из-за спины, а в кулаках — ну, так уж тому и быть, назначено все в небесах давно!.. — два венца златых; и зашел Иван Железный Колпак за спины брачующихся, и поднял венцы над головами жениха и отроковицы; и так медленно, чинно-важно пошли они по слепящему, ножами режущему и зрак, и стопы снегу; шли медленно, под музыку сходящей с ума площади, под гундосое пение юрода Ивана, деда Васильева:

— Венчается раб Божий Иоанн рабе Божией Катерине!.. Венчается раба Божия Катерина рабу Божию Иоанну!.. Святiei мученицы, иже добре страдавшие и венчаешеся, молитесь ко Господу спастися душам нашим!.. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало и мучеников веселие, иже проповедь Троица Единосущная...

Сибирь праздником моталась на ветру, тряпичей, из яркой поярковой шерстишки связанной! Москва обнимала ее, вкусно, жарко в губы лобзала и во щеки брусничные, жимолостевые! Изумруд первостатейный, мощь самоцветная с ног сшибает, лучи в нем скрещаются и ввысь ударяют, тебя насквозь пронзая, как селедку радужную, разрезая, — врут, что из египетских копей, а на деле из Саян мгlistых, из-под камней-скал тайги пречистой!

— Мать!.. Мать!.. Где моя Марина-мать!..

Оборачивался на Ксению — и ребенком глядел, жалобно, широкими глазами.

— Тихо... тихо... подожди... жди... все тут будут, в Раю...

Мощь! Мощь! Сила! Против силы — только Адова коса людей косила. Да и та с нашей силой не совладала. На дудках народец гудел, в свистульки расписные свиристел! А все в честь чего?! А в честь нашей победы! Шли мы, шли по зверя следу — и до его логова, помоляся, дошли! А вылез он на свет Божий — сам стал пощады просить, жалостливо выть. Оборвалась воя страшного нить! Оборотился волк Иоанном нагим! Обернулась Медведица Мариной-матерью! Ужаса, боли разошелся дым. Растеклась

кровушка по пировальной скатерти. А все закричали: вино! А все запросили: и нам налей, налей!.. А в крови вымочили мешковину-рядно... и красным знаменем над толпой воздели — пурпуром Спасителя...

А вон, гляди, Мокошь, Зимцерла и Сварог в хороводе идут, наши псалмы поют! А вон, зри, Дажьбог снял сапоги, пляшет босиком! Рай, ты вечен!.. ах, Боженька, сколько ж осталось минут... сколько мгновений в той вечности... никто ведь из живущих с ней не знаком...

Среди танцующих медведей появилась Медведица-красавица, страстная плясавица. Хлопнула лапой о лапу. Шкура сползла на снег. Шла к Василию-нагоходцу нагая красивая баба. Очи раскосы. Лоб широк. Улыбка широка. Земля вся бежит одною тропой кожаной охотничьей тесьмы — у нее от виска до седого виска.

— Мама...

— Сынок... снишься?..

Руки тянет. Василий хочет их схватить, да тяжелы его руки вмиг стали, налились железом, рудой, силой камня, силой металла, силой до времени и до пространства.

— Нет, мать. Не снюсь. В Раю никто никому не снится. В Раю все встречаются. Это великое Сретение. Все — со всеми. Гляди, мама!.. Твой Рай. Ты об нем мне сказки говорила, когда я усыпал в самодельной колыбельке моей, в корыте, на матрасе, душистым сеном набитом.

— Обними меня, сын!

— Не могу. Тяжестью я налился. Будто печь я доменная, мать, и во мне, во потрохах моих, льется огнем расплавленный дикий металл.

Мать Марина наклонилась. На снегу лежала громадная толстая книжища. Книга Жизни детства Васильева таежного, незабвенного. Близ Книги горели две огромные витые свечи. Одна воску темного, ночного, другая воску яркого, золотого. Марина откинула телячий переплет. Раскрыла на первой, главной странице. Сидел на странице той царь в короне, с лентием, косо через грудь бегущим, в сапогах сафьянных, с загнутыми носами, в усах и бороде мохнатой, пальцы перстнями драгоценными унизаны, в пальцах десницы стило вдохновенное сжимает. А пред ним свиток развернутый, пергамен тончайший, и вот сей миг царь напечатлеет на пергамене том единственные в Мíре слова.

— *Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седилищи губителей не седе; но в законе Господни воля его, и в законе его поучится день и ноць. И будет яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет; и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако; но яко прах, егоже возмечает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.*

Голос Марины, охотницы и лекарки, забытой матери юрода, пронизал пространство и забился крупной рыбой в сети времени. Иоанн Железный Колпак стоял, сжимая в обеих руках золотые венцы, и плакал: не мог глядеть на свою забытую дочь. Забыли и вот вспомнили! Утерjali и вот обрели! Нет конца кругу времен. На площади времени пляшем мы, людие. Рай наступил. Не видно конца могучей пляске.

И ель разнаряженная, щедро изукрашенная, в бусах рубиновых, цатах сапфировых и панагиях пресветлых, сверкающих, плясала с людьми! И медведи танцевали с людьми! И Царь Давыд, со страницы Книги Жизни, пожелтелой, ломкой, нежной, наискось воском заляпанной, пел с людьми! И весь крещеный, а даже и весь дикий, чашобный, некрещеный Мíръ плясал и шел многоглавым змеем-хороводом с людьми, звучал многострунной арфой, пел многогласым хором! Хор людской пел о мýке,

чтобы не забывали страдания люди, и тут же пел о радости, чтобы возрадоваться горячей, чтобы восхититься светлее, пьянее! Восторг! Люди за время Ада забыли это чувство. В Раю вернулось оно к ним.

— Я, Василий, слушай... я зверица, я Медведица... гляжу на звезды, они втекают мне в зрачки, и я вою от счастья... Я всегда была одна, Василий, но здесь, в Раю, я чувю себя не одиноко бредущей, но за собою ведущей! Да, я, я веду людей за собою! К радости веду. Вот же она, радость наша!

— Ты радость моя.

— Гляди, зарево над Кремлем! Кремль горит. Да то, мы знаем, Благодатное пламя; таково оно в Раю. Теперь огонь нас никогда не сожжет! Не погубит!

— Не мечтай. Не восклицай зря. И сожжет. И погубит. Просто это наступит тогда, когда мы покинем наш Рай.

— А мы разве покинем?!

— Нас могут изгнать из Рая. Не правда ли, Господи? Не истина ли, Царю Давыде?..

Молчал Господь. Улыбался. Молчал Царь Давыд, псалмопевец, на снег вышел из толстой размахренной, тяжелой, тяжелой чугуна, Книги Судеб. Молчал Иван Железный Колпак, звеня веригами, бряцая кандалами, он был занят делом серьезным: он нес над Царем и отроковицей золотые венцы. Молчала мать Марина, по-медвежьи, подобрав под себя ноги, села в одной знахарской рубахе на снег. Дрожала. Хлад переходил в жар. Жар обращался в перловичный перламутр. Река из слез людских обратилась в реку смеха людского. Радость была цветными фонтанами из всех щелей и на морозе сразу застывала ледяными радугами. Радость! Радуга! Рай! Солнечны имена. Прожигают жизнь до дна. А что на дне? А рюмку опрокинь, узнаешь. И то правда, свадьба, свадебка! Пейте за здоровье молодых, люди! Поднимай, народ, бокалы и кубки, потиры и братины, стопки и штофы, граненые стаканы! Лей, лей, не жалей! А налей чего хочешь, всемогущий Господь! Сотвори новое чудо! Налей настоялки крыжовенной! Наливки малиновой! Полугара пшеничного! Чачи виноградной! Вина яблочного! Браги белопенной! Медовухи терпкой! Водки хлебной! Всего налей, что под руку подвернется! Разливай!

— За здоровье Царя и Царицы, вновь на Москве обретенных!

— За укрепление царства нашего государства, оно же Рай пресветлый!

— За то, чтобы Ад сей боле никогда, никогда... эх...

— А таперича Москва наша никакой боле не Армагеддон лукавый!.. Вернулась ее слава!.. Она нашенская Москвишечка-Москва, в любви-вере век жива, красная, звезд превыше, глава, в алмазном инее дерева!.. Красотуля!.. не возьмут ту красу ни копыя, ни пули!..

— Господь помоги, аминь!..

— За благополучное зачатие молодой женки Царя нашего! За разрешение ее от бременя, на радость нам!

— За счастье молодых... Горько! Горько!

Вся Красная площадь заорала: горько!.. горько!.. — и поднял ввысь Иван Железный Колпак, смеясь беззубо, торжествуя, золотые святые венцы, и наклонился Царь смущенно к радостно улыбающейся отроковице, и подставила она губы для поцелуя свадебного, и увидел он слепыми глазами — а он теперь все ими видел!.. — все до веснушечки, до зернышка, что солнце посеяло на обветренной коже юного лица; и прежде губ, едва касаясь щек юной девы губами, он исцеловал ее рыжие, солнечные, смешные, просяные веснушки.

— Весна моя...

— Государь мой!

Она не видела его седин. Для нее он был муж, он один.

И смеялись от радости Василий и Ксения, держа в руках толстого стекла граненые стаканы, в таких бойкие кричалки-торговки на рынке продавали облепиху и смородину; поднимали стаканы, из таковских деды в войну, между боями, в землянках драгоценный спирт глотали, за здоровье четы, крепко стучая стаканом о стакан и с наслаждением выпивая темную, кровавую наливку, что великим прошлым плескалась в них, и кричал народ, на морозе горькое ли, сладкое зелье за родных в глотку вливая:

— Царствовать вам да сто лет!..

И тут Катерина, разрисована картина, девчонка смешная, упрямая, с косками вьюжными по угластым плечам, крепко мужа венчанного, за голую, без голицы, горячую руку держа, закинула лицо румяное к Василию да Ксении и молвила так:

— Наклонитесь ниже! Не хочу, чтобы народ слышал!.. Что скажу!.. тайну открою...

Наклонился Василий, будто матрешку со снежка, ребятенком потерянную, заботливо хотел подобрать, а Ксения встала во снег на колени.

— Что?.. слово изрони важное... ждем...

Присела девчонка на корточки. Глядела прямо в лица вечным возлюбленным.

— Ад не кончится никогда. Никогда.

Залился лик Блаженной бледностью смертной. Взбежала краска гнева и боли на скулы Василия.

— Никогда?..

Выдох из огненной груди Ксении полнился невылитыми слезами.

— Никогда.

Василий протянул руки пред собою и сжал в бессильные кулаки.

— Никогда?!

— Никогда.

— А как же Рай?..

— И Рай не кончится никогда.

Ксения стояла на коленях в снегу и плакала.

— И в этом есть вся твоя тайна?.. на время или навсегда?..

Разжал Василий кулаки и медленно, будто умирая, положил тяжелые, железные руки на тощие, утлые плечики площадной девчонки и наблюдал птичьи веснушки, россыпью хлебных крошек, семян, снежинок, крыльев воробьиных летящие по ее зимнему, задрогшему лицу, и борода юрода бешено вилась по райскому ветру, и тоже плакал он, плакал, как и любимая его плакала, горько-полынно, на коленях на Лобном месте снежном, в мешковинном рубище, великая вечная Блаженная.

И подняла девчонка к Василию-нагоходцу лик чистый и детский и выдохнула в него всем зимним ветром, льдистым, пылающим, безумным:

— Навсегда.

Поплыл над Красной площадью колокольный густой, медовый звон.

— Василий... что это...

Ксения вытянула руку. Глядела вверх. Все вверх и вверх. С небес, из легких вьюжных туч, вынырнул фюзеляж маленького юркого самолета. Он несся к пляшущему народу серебряной стремительной птицей. Люди закричали, протягивая к стальной птице руки:

— Самолет!.. Самолет!..

— Подхвати меня в полет!..

Дети подпрыгивали, пытались руками до самолета достать. Медвежата, лисята, волчата, барсучата кувыркались, валяли друг дружку в снегу неловкими, ленивыми лапами. Ксения задрожала.

— Рай... я не хочу отсюда вон!..

— Нас никто не изгонит отсюда, родная. Мы навек Рая жители.

— Не верю! Боюсь! Самолета того...

Она крепко, дрожа, прижалась к нему. Нагоходец обнял ее, притиснул к висящей у него на голых плечах обмерзлой медвежьей шкуре; шерсть торчала обжигающе-ледяными черными сосульками.

— Не бойся. Ты же сама говорила, что ты...

— Да! Я Дева-Птица! Ангелица, и крылья мои широки! Летаю высоко, далеко, вам никому не поймать! Не изгнать меня! Не... подстрелить... Куда ты?!

Василий уже шел, твердо по снегу, насту и льду ступая, туда, откуда возврата, Ксения знала это, в Рай не было уже никогда.

Русоволосый мальчик, стриженный под горшок, выступил вперед из площадной пурги, подошел к молодым, поклонился земно да и взял бесстрашно юную Царицу за руку, а другою рукой Царя за руку схватил. Так стояли: отрок, отроковица и старый счастливый Царь.

Мальчик обернул веселое лицо к девочке-Царице.

— Я генерала Василия за руку по Аду вел.

Царица-юница вздохнула и улыбнулась мальчишке в ответ.

— А мужа моего поведешь по Раю!

Серебряный крест самолета плашмя падал, снижался, вот уже летел низко, можно было рассмотреть его хвост и закрылки, и красные звезды на раскинутых крыльях его, дети вопили восторженно, самолет слетел еще ниже, выпустил шасси, пролетел над Замоскворецким мостом и приземлился на его сгибе, где мост втекал в веселую, яркую зимнюю землю Москвы. Подпрыгивал на кочках. Процарапывал колесами шасси снег. Касался концом крыла сугробов. Остановился. Замер.

Ждал.

— Куда ты!..

Ему не надо было ей отвечать.

Она и так слышала мысли его, как слышат далекую музыку.

Чтобы нас не изгнали из Рая вдвоем, лучше пусть изгонят меня. Меня одного. Полечу я один. Эта серебряная птица за мной. Рай не вечен. Счастье не вечно. Всему свое время. Не плачь. Живи. Любуйся на новое царство. На новые, неведомые времена. А я иду. Мне так Царь приказал. Помню его наказ. Самолет, мол, серебряный прилетит, в него без промедления садись. Унесет тебя, генерал, не в земные, в иные небеса. Ты видишь, самолет — это крест! Серебряный Крест! Жаль, не твой родненький, не крестик бирюзовый. Меня на нем распнут. Всех когда-нибудь распинают, моя Ксения. Не горюй! Разве можно горевать в Раю! Рай для всех. Рай неизбежен. Рай обнимай, целуй. А я улечу. Так надо. Таков приказ. Судьбы, жизни самой. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!

Она подняла руку. Полезла за пазуху. Вынула бирюзовый крестильный крестик. Прижала к губам. Следила, как поднимается Василий по трапу в черную дыру отверстой двери. Как исчезает во тьме, и наползает на тьму серебро, задраивая люк. Самолет завел двигатели, закрутились со зверьим ревом железные винты. Разбежался. Въехал на мост. И с моста, мгновенно набрав скорость, взмыл в синь и ветер почти вертикально, ширококрылым крестом.

Да, распятие, Василий мой. Распятие! Не ждала! Здесь, в Раю! Во время свадьбы! Ликованья всенародного! Счастья Вселенского! Неисповедимы пути Господни. Лети. Тебе — разбиться. Но храни тебя Господь. Тебе умереть, и быть может, не воскреснуть. Все равно храни Господь. Тебе помнить меня до последнего вдоха! Спаси и сохрани, Господи, любимого моего.

Самолет летел над крышами Москвы, набирая скорость и высоту. Ксения глядела на полет железной птицы. Глядела на Солнце. На звезды. На Красную Луну. Медведики прикатились к ней и крепко прижались к ее красным на морозе голым ногам. Мешок ее рвал ветер. Люди и звери плясали. Птицы пели. Светлый Рай продолжался.

А тот, один, кого изгнали из Рая, глядел на него сверху, из-под облаков, и за то, чтобы Рай на земле пребыл вечно, молился.

БОЛЬШОЕ ЗЛАТОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЕТАЮЩЕГО В НЕБЕСАХ ВАСИЛИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ КОЛЯДКА

— Эй! Василия убили!

Долго или коротко падал он с неба на землю? И что есть небо, а что есть земля? Они могут поменяться местами. Боль кромсала потроха. Выдергивала из-под ребер сердце. Кровавые жилы сплетались в клубок, вились в косицу. Перекрестья мышц застывали железом. Смерть сперва расплавила его плоть, а потом заморозила его дух. Он не успел оглянуться, как уже падал, и ни в какой Книге никаких Жизней не было начертано про эту его, последнюю судьбу.

Все повторяется, подумал он, все повторяется в подлунном Мире, и даже крики людские: крики ужаса, крики помощи. Серебряная птица принесла его снова в море огней и взрывов. Земля, раненная снарядом, разворачивалась черным веером. Он давно читал самому себе молитву, сам же и сочинил: настанет день, и я стану землей, и за это благодарю Тебя, Господи. А какой сегодня век, год, день и час? Разве это важно тому, кто вот-вот умрет?

А может, мне сейчас суждено родиться?

Рождество. Рождество Твое, Христе Божие.

Умереть в бою. Умереть в детстве, в лютый январский мороз, колядуя по нищим и богатым дворам. Умереть в бессильной старости, в своей постели, и нету сил поднести пальцы ко лбу, чтобы наложить крестное знамение напоследок. Вот ты сейчас умрешь, Василий-нагоходец, и запросто станешь святым. Юроды, они и при жизни святые; что уж говорить о смерти!

...Господи, ну какой же он святой, так, свечка нагарная, мороз упрямо прожигает, в руках трясется, восковыми, медовыми слезами льется, огню не нужно утешение, а нужно зверю и человеку, нет, не святой, и никогда им не станет, бессильно дрожащий, вчера намоленный, а нынче настоящий, ты все небо можешь собою насквозь пронизать, а потом в землю врезаться да ее тоже проколоть самим собою, ты еси копьё, летящее копьё Господа твоего. И это сам Господь приказал тебе из Рая уйти, Он лучше знает, какова судьба тебя ждет!

Рождество, Господи! Твое! Нынче! Сегодня! Зима! Жмет мороз! Сверкают синим инеем крупные и мелкие звезды! Ягоды небесные, алмазные! А ты! Ты летишь! Ты герой. Ты солдат. Ты за Родину жизнь отдаешь.

*...Коляда, коляда!
Колесом катят года!
Святки ныне, Святки —
Колядуй без оглядки!
Ты колядуй в небесах!
Медведица на часах!
Ты небесная звезда —
Коляда... коляда...*

Самолет раскололся надвое. Как яйцо. Он всегда так раскалывался. В него всегда стреляли. И он вместе с самолетом всегда падал. И всегда разбивался. И всегда воскресал. Кто затянул времени петлю? Назови имя, Боже! Не хочешь. Тайна! Пусть будет тайна. Судьба — это тайна всегда. Коляда... коляда...

*...Ты пляши, медведь, пляши!
Дудки-скрипки хороши!
Ты пляши, пляши, народ,
Пропляши еще вперед!
Ты пляши, святой, пляши!
Ни сердечка... ни души...
Ты пляши, Господь мой Бог,
Мой младенец, одинок...*

Рюмку бы сейчас махнуть, подумал он, стремительно падая. Экий ведь он несвятой. Кто записал его во святые? Юрод — он и есть юрод. Гонит его с площадей народ. Вот лишь одна такая безумка Ксенья нашлась, идет за ним и в боль, и в грязь. Одна в целом свете! Как дитя. Люди, будьте как дети. Юродству, люди, предела нет. Оно солнечный свет. Оно звездный свет. Оно соленая кровь Рождества. Дышит... младенец... сопит едва...

*...Погибаю я за вас.
Выполняю я приказ.
Я солдат, не генерал.
Я за счастье воевал.
Песню пел одну — про жизнь.
Так шептал себе: держись!
Не умру я никогда...
Коляда... коляда...*

...Он падал и пел. Падал и пел. Вот юродство так юродство. Нарочно не придумать. Вот — геройство! Прочь думы-похвалы. Гордыню — прочь. Земля все ближе. И мы — живые. Мы никогда не будем ничьей едой. Ничьей послушной железкой. Ничьими слугами, гнушимися в три погибели. Мы и умирая останемся самими собой.

Я не танк. Не броневик. Не телега. Не плуг. Не соха. Не грабли. Не лодка. Не зенитка. Не гаубица. Не пистолет. Не самолет.

Все это, да, есть человек, ведь человек все это изобрел и смастерил; но выше и сильнее слабый человек безумной машины его, и вперед он идет ногами живыми, и любит он сердцем живым, и плачет слезами живыми.

И если жив человек на земле, то жив и Бог. Все так просто.

*Не умру я никогда...
Коляда... коляда...*

Никогда... Всегда... Разве есть между ними разница? В газетах напишут: генерал со славой погиб. Какая честь мне! И орден посмертно дадут. И героем назовут. Услышу ли я сие после смерти? С небес? Из земли? И после меня красные башни веселого Кремля все так же будут стоять. И все так же в ночи, над кирпичной великой Кремлевской стеной, над островерхими башнями, над рубиновыми, кровавыми звездами будут роскошные, безумные, беспредельные, парчовые, перламутровые салюты греметь. И кресты собора Покрова Богородицы будут махать душе моей, высоко во звезд-

ном небе летящей, медными, золочеными растопыренными ладонями. Колокол! По ком звонит колокол? Молчите! Ничего не говорите! Кого хоронят?! Меня — хоронят?! Да никогда!..

Всегда...

Но, люди, любимые, я же воскресну...

И я! И Ксенья моя! И пойдем по площади Красной, прекрасной, обнявшись крепко, крепче приваренного металла, завернувшись во единую медвежью шкуру! И я твой, Василий ветхий, босой! И тепло нам! И светло нам! И салют грохочет! И каждый, в Аду ли, в Раю ли... жить хочет...

...*Не умру я никогда...*

...Я все начну сначала.

Смерть, сие есть мое великое начало.

В толстобрюхой, в переплете телячьем, собаками и кошками обцарапанном, в заляпанной темным сладким воском Книге с вырванными, исписанными древним чернилом ломкими страницами, все написано про наш последний срок. Все громко ли, тихо спето. И я всю мою жизнь только и делал, что пел. По площадям ходил и пел! Сражался и пел! У плиты стоял в чадной, жаркой кухне и пел, пел, пел!

И Ксенью мою на Красной площади в вихреные снега обнимая, я на ухо ей песню любовную, голубиную пел.

А может, та мамкина Книга Жизни, с двумя витыми свечами по бокам, у почернелого киота, была вовсе не Псалтырь, а Книга Голубиная, и вспархивали с ее страниц белые, коричневые, розовые, сизо-синие, цвета ненастного неба, голуби, и кружились вокруг меня, и улетали прочь, в распахнутое окно, в открытые двери, в широкую и далекую жизнь, без возврата. А зачем возвращаться, жизнь — то ведь путь без возврата, жизнь, то дорога любви, ребята, жизнь, обнимайте ее, облапьте, играя, на сверкучем снегу, лисята, волчата, медвежата, собачата... и так, в жизнь играя, с жизнью играя, ей, жизни, на нежной дудке, на арфе играя, колесом докатитесь до Рая...

Видит все Всевидящее Око. Зрит любое движение наше. Любую силу и любую слабину. Радужка то беспроглядно темна, то свадебно-небесна. Око — зеркало. Отражает нас всех. Без приукрашивания. Без изъяна. Без лжи. Одну нашу правду отразит — и сунет отражение нам в лицо.

Оно отразит и нашу жизнь, до косточки, до крохи. И нашу смерть. И наше воскресение.

И наше, наше Рождество. И Святки. И лучезарные, в сугробах под созвездьями, колядки.

Око Господне! Людие, глядите в него!

Оно видит все.

И даже то, чего нет и не будет никогда.

Александр ФРОЛОВ

ОПЫТ НЕУМИРАНИЯ

КОМА

Какие сны в том смертном сне приснятся...
Уильям Шекспир

Когда бы хоть крупицу понимания,
что твою жизнь удержит на весу...
Ни мужества, ни воли, ни сознания —
ты только тело с трубками в носу,
живущее пока еще по прихоти
невесть кого... А что там впереди?..
На входе — тьма кромешная. На выходе —
такие сны, Господь не приведи,
что можно просто помереть от ужаса...
Но снова в сон бессрочный погружен,
и снова ни сознания, ни мужества...
Ну спи опять в беспамятстве своем.

ЗАКРУ-ГЛЯЙСЬ!

Сказала: закру-гляйсь!	Ты не достиг еще
Ну я и закругылся:	последнего предела —
безмолвным коlobком	я только лишь тебя
под горку покатылся.	предупредить хотела,
Летел, лишь свист в ушах,	что времени в обрзе
куда глаза глядели...	тебе уже осталось...
И замер на лугу	Давай ползи наверх,
цветущих асфodelий.	преодолев усталость,
И тот же голос мне:	и до конца пройди
эй, погоди мгновенье,	свои пути-дороги...
там — впереди — река	И я побрел наверх,
бескрайнего забвенья.	калека хромоногий.

Александр Вадимович Фролов — поэт, прозаик, драматург. Родился в 1952 году в Ленинграде. По образованию инженер-гидротехник. Впервые стихи опубликовал в журнале «Нева» в 1983 году. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

ЛАРИСЕ

Об опыте неумиранья
ну как поделиться с тобой:
одиннадцать дней без сознания —
падение в провал временной.
Мой ангел как будто бы тумблер
вдруг выключил, жизнь обрубив...
А я и не понял, что умер.
А после не понял, что жив,
когда он веревкой суровой
края моей прорвы связал,
и время включилось по новой,
как будто и не умирал.

* * *

Сгорая от тоски
глухой, нечеловечьей,
до гробовой доски
мне слушать эти речи?
Пророков больше, чем
внимающих пророкам.
Сойдешь с ума совсем,
подслушав ненароком
дотошный пересказ
вчерашних озарений...

Так было и не раз
в десятках поколений,
отправленных на смерть.
А мне в нее не надо —
я не хочу стареть
под грохот канонады.
Мне нечего сказать
ни греку, ни еврею...
Осталось сострадать,
всего лишь. Как умею.

* * *

Как мы будем жить,
если выживем?
Где мы будем жить,
если выживем?
Кого мы будем ненавидеть,
если выживем?
Кого — любить,
если выживем?
А мы выживем?

Неважно, как мы будем жить,
если выживем.
Неважно, где мы будем жить,
если выживем.
Неважно, кого мы будем ненавидеть,
если выживем.
Важно только,
что я буду любить тебя,
если выживу.

А я выживу?..

НЕДОБИТКИ И ИЖЕ С НИМИ

Рассказ

Канадская полиция, как обычно, вынырнула ниоткуда. Ощущение, что она с неба падает. Ну вот нет никого на дороге, ни с одной стороны, и вдруг видишь что сзади сигналят, мигалочка работает.

Вика остановилась, прижалась к обочине, забыв, как в Канаде принято себя вести в таком случае, взяла из бардачка права и страховку, вышла из машины и направилась к автомобилю полиции. Резкий жест стража порядка, сидящего за рулем, остановил. Он выставил руку ладонью вперед, что означало: не приближайтесь. Молодая женщина остановилась как вкопанная, даже покачнулась на высоких каблуках.

Она замерла и не видела, как изящно выглядит со стороны. Стройная, в черной водолазке и черной же юбке-карандаш, обтягивающей похожую на скрипку фигуру. Светлые волосы, заколотые наверх и спускающиеся вьющимися прядями по обеим сторонам лица, делали ее похожей на княжну девятнадцатого века. Так в Канаде не одеваются. А она одевается, хоть и живет здесь уже давненько. И от акцента не избавляется — а зачем скрывать, что ты русская?

Она стояла, прижав к груди руки с правами и страховкой, беззащитная, с вытаращенными глазами, — удивилась, что полиция опасается ее приближения. Вот ее боязнь полиции имеет вескую причину. Пьяна. Была бы трезва, не вышла бы из машины, ибо знает, что нельзя, надо ждать, пока полицейский сам подойдет, и руки держать на руле, чтобы он видел, что в них нет оружия.

К ней приблизился рыжебородый полисмен. Ирландская кровь, наверное. В Канаде самые большие этнические группы — ирландцы и шотландцы. Полисмен был конопатым и сероглазым. Похож на принца Гарри.

Принц попросил документы. Она показала. Он стоял и слишком долго в них смотрел. Вика поняла, что понравилась ему и он думает, что делать, как подкатить. Но ей было не до того. Боялась, что он унюхает запах водки.

— Вы едете по дороге с односторонним движением не в ту сторону, — сказал он.

Женщина ужаснулась. Она живет в русском районе, далеко отсюда, там все дороги с двусторонним. В кои-то веки приехала в центр Торонто и совсем забыла, что здесь куча улочек с односторонним. Так вот почему из встречной машины ей прокричали: «Идиотка!» — и мужик, выгуливающий собаку, показал средний палец... А она еще удивилась, что вежливые канадцы так себя ведут.

Эвелина Азаева родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак КазГУ. С 1991 года жила в Новосибирске. Работала собкором «Комсомольской правды» в Сибири. Автор двух сборников рассказов, вышедших в Канаде («А хочешь в Канаду?» и «Полное накрытие»). Печаталась в журналах «Нева», «Дружба народов», «Наш современник» и др.

— Я больше не буду, отпустите пожалуйста, — залепетала, — я живу в Северном Йорке, никогда сюда не езжу, заблудилась, пожалуйста, не давайте мне штраф.

А сама думала: «Только бы не почуял водку... тогда труба... русская, пьяная... права отберут и в газетах напишут».

Он стоял, смотрел на нее, говорящую с акцентом, который ему казался сексуальным, и думал, что никак к ней не пристать: он при исполнении. С сожалением отдал права и посоветовал вести себя на дороге аккуратно. Не оштрафовал. Вика с облегчением села в машину, отогнала ее на ближайшую парковку и решила посидеть в кафе — обильно поесть и попить, чтобы опьянение прошло.

* * *

Сидела и злилась на Наталью Петровну, эмигрантку белогвардейской волны, потому что это она заставила ее пить. Шантажом.

Вика, собкор российской газеты и редактор своей собственной, русской газеты в Канаде, узнала от других белогвардейских старушек, что больше всего о великой княгине Ольге Александровне, сестре Николая Второго, проживавшей в Торонто, может рассказать Наталья Петровна Шелегина. Именно в ее доме умерла княгиня. Вика позвонила старушке, и та пригласила в гости. Но как только Вика вошла, на столе появился поднос с двумя чарками и графинчиком водки.

— Я не буду, — отказалась Вика, — я за рулем.

— Ну, так я ничего не расскажу, — отозвалась старушка. — Вы не русская, что ли?

— Русская. Но я же за рулем!

— Ну и что? Выветрится.

— Не буду, извините.

— Тогда я не знаю, зачем вы приехали. Не буду ничего рассказывать.

И Вика сдалась. Старушка обрадовалась, и понеслось... «Водка-селедка». И зеленый лучок еще был, который они обмакивали в солонки, и черный хлеб, который в Канаде пекут, но он совсем не такой, как в России или Белоруссии. Черный по цвету, а не по вкусу. Крашеный, наверное. Наталья Петровна рассказывала с удовольствием, как все старики, которых давно никто ни о чем не спрашивает.

— Ольга Александровна была скромной. Приехав в Канаду, она поселилась в небольшом доме поблизости от Торонто. Там и жила с мужем, офицером Николаем Куликовским. Он ей по знатности не ровня, но семья разрешила выйти за него, ибо они очень любили друг друга. Он об Ольге заботился. Она же по хозяйству ничего не умела, и Коля до конца жизни сам все делал. Она так плохо готовила, что мы с подругами попросили, чтобы она перестала это делать, и ходили к ней в гости со своими блюдами, — засмеялась Наталья Петровна. — Зато рисовать любила, у меня есть две ее картины, — старушка вышла куда-то и принесла натюрморты. Акварели в нежных тонах, полные света.

— Она писала много картин, это спасало ее. Ольга не работала, а сыновья уже выросли, так что времени у нее хватало. Так вот, она была скромнейшим человеком — просила называть ее только по имени, не приседать и не называть высочеством.

Старушка помолчала.

— Или из боязни, — добавила. — Ей хотелось быть незаметной. Ольга до конца жизни боялась коммунистов. То, что сделали с семьей брата, потрясло ее. Она неохотно знакомилась с новыми людьми, жила тихо. Верила, что большевики могут и в Канаде достать.

Наталья Петровна показывала альбом с пожелтевшими фотографиями великой княгини, белых офицеров и православных торжеств в местном храме.

— Деньги у нее имелись, но небольшие. Однажды в Канаду приехала королева Елизавета, родственница, и пригласила Ольгу на яхту. Мы, подруги княгини, сполножились. Принесли ей свои наряды, приодели. Все на ней было чужое: платье, туфли, шляпка... И она пошла. Но и мы тоже были беженки — дочери белых офицеров, и наши наряды оказались настолько скромными, что у яхты Ольгу остановили и не хотели пускать. Ей пришлось ждать. Но потом все же пустили. Обратите внимание, она не скандалила, не плакала, а просто встала в сторонку и ждала — вот что значит царское воспитание!

— Королева помогла ей деньгами?

— Не знаю. Она не говорила, а мы не спрашивали. Но нарядов у нее больше не стало.

Вика вздохнула. Вспомнила, как царскую семью сперва пригласили в Лондон, а потом отказали в убежище. Историки до сих пор гадают отчего да почему. Но когда не знаешь, в чем дело, оно почти наверняка в деньгах. Вика прочитала, что в Первую мировую Россия отправляла в Британию тонны золота в обмен на оружие и экипировку. Англичане же деньги брали, а с поставками тянули. Дотянули до революции, которая списала долги. А Романовы стали для них теми самыми концами, которые удобнее всего — в воду...

— Ольга всю жизнь надеялась, что Анастасия выжила, — продолжила Наталья Петровна. — Об этом же везде писали. Встречалась с самозванками, никогда не отказывалась, и всегда ее ждало горькое разочарование. А вот она мне подарила набор ложек и вилок! Смотрите! Вот — шкатулку, вот — запонки моему супругу.

Наталья Петровна показывала вещи, а Вика думала: умрет старушка, и неизвестно как поступят с этими вещами ее сын. Он вырос в Канаде, и жена у него канадка. Эти вещи, вероятно, не имеют для них ценности.

— А вы не хотите подарить или продать все это музею в России? Я помогу связаться, — предложила Вика.

— Нет. Все достанется моему сыну.

— Он в этом что-нибудь понимает?

— Я объяснила.

Вика не поверила. Видела она, как старики умирают, а дети приходят и все их пожитки вывозят в секонд-хенд. Не только одежду, а вообще все. Альбомы с фотографиями выкидывают на помойку. После того как Вика увидела это собственными глазами — вынос вещей и альбом на помойке, она поняла, насколько детям не нужно все, что дорого родителям. И разлюбила фотографироваться, и поняла, что папка с ее статьями, которые мама любовно собирала, тоже полетит на помойку. Хотя сын любит Вику. Но что ему, выросшему в Канаде, делать с пожелтевшими статьями на русском языке?

— Особенно ничего не надо сыновьям, — соглашалась Наталья Петровна, разморенная водкой. — Дочери еще что-то могут хранить, а мальчики все выкидывают.

— Ну так, может, я договорюсь с музеем, они купят? — снова подобралась к историческим ценностям Виктория. — Или найду номер телефона, а вы туда позвоните и обсудите детали?

— Не отдам ничего в большевистские музеи!

Наталья Петровна поджала губы.

— Мне и название вашей коммунистической газеты не нравится, но ладно уж, — добавила.

Вика решила помалкивать.

— А умирала княгиня страшно, у меня на руках. Сыновья ее женились, жили отдельно, муж умер, и за ней некому было ухаживать. Мы взяли ее к себе. Она жила в нашем доме. — Старушка показала фото неказистого двухэтажного домика, на первом этаже которого располагалась парикмахерская. — Мы занимали второй этаж. Одну комнату отдали Ольге Александровне. Приютил ее мой папа, офицер, он всегда благоговел перед царской семьей. Представить себе не мог, что в его доме будет жить особа императорской фамилии. Мы за Ольгой ухаживали, кормили с ложечки, а у нее были дикие боли и галлюцинации. Всегда на тему большевиков. Ей казалось, что на стенах появляются звезды, и она так страшно кричала! Говорила, что за ней пришли комиссары. Она сходила с ума. И умерла в болях и ужасе, на моих руках.

Вика невольно посмотрела на руки собеседницы. На них не было украшений, зато были вздувшиеся старческие вены. Наталья Петровна перехватила взгляд.

— Мы небогатая семья. А когда бежали из России, так и вовсе голые и босые... Сначала из России бежала мама с нами, детьми. А папу поймали красные, били. У него, когда он вырвался и приехал в Париж — мы сначала там жили, — на спине были следы от кнута.

— Вы жили в Париже?

Далее последовал рассказ о том, как папа работал на такси. Вспоминая, старушка разволновалась. Она смеялась, пела неизвестные Вике песни, в которых говорилось, как мы били шведов и ляхов, читала стихи, которые, как сказала, написал брат генерала Кутепова.

— Через столько лет вы сохранили любовь к России, — похвалила Вика Шелегину. Растрогалась.

— Я не люблю Россию, — обернула та к ней сухое, напудренное лицо.

Вика обомлела. Она никогда не слышала от русского человека таких слов. Эмигранты из СССР активно костерили Родину, но это были не славяне, не русские в полном смысле слова, а грузины, западенцы — украинцы из западных областей, а также приехавшая через Израиль публика. Русские же не хаяли. И даже по мелочи не критиковали.

— Как это не любите? — не поверила журналистка. — А что же у вас тут иконы, московские дворики на стенах?

— Я русскую культуру люблю, а не Россию. Она нас выгнала.

— Не она, а большевики! — возмутилась Вика. Но тут же смекнула, что ссориться со старушкой не с руки — надо, чтобы интервью вышло. Оно не об отношении Шелегиной к России, а о великой княгине.

— Спасибо за рассказ, все было очень интересно, я вам пришлю прочитать перед публикацией, — сказала журналистка как можно более мягко, хотя все еще чувствовала себя ушибленной.

— Выпьем на дорожку!

И Вика с досадой выпила. Всегда бесило понимание о русском человеке как о пьющем, все эти «посошки» и бахвальство умением немерено хлебать, и даже сцена из фильма «Судьба человека», где русский солдат пьет стакан водки без закуски, не нравилась. Фильм замечательный, а сцена — нет. Понятно, что человек хотел напиться перед смертью, чтобы страха и боли не чувствовать, но в картине-то об этом не сказано, а просто положительный герой глушит стакан за стаканом. С таким же успехом можно гордиться, что получил дозу героина, а тебя не штырит, тогда как представители других народов сваливаются.

* * *

Сидя в кафе и трезвея, Вика вспомнила другую старушку — Воскресенскую. О ней в русской общине говорили с придыханием. Она в течение почти шести десятков лет являлась руководителем Русской культурной ассоциации. Под ее руководством проходили ежегодные балы, она издавала журнал «Свеча», наполненный, как сегодня бы это назвали, «пропагандой русской культуры», она помогала самому большому русскому храму в Канаде в делах приходской школы. Управляемое ею сестричество — тоже бабульки — бесплатно пекли пироги для приходских детей и варили борщи. Сама она долго преподавала детям русский язык и литературу. Это было самое настоящее служение, подвижничество. И какое же удивление ждало Вику, когда она узнала, что Ольга Николаевна Воскресенская воевала на стороне немцев и попала в Канаду вместе с ними, спасаясь от расплаты.

— В РОА служила, — рассказывали ей. — Власовка.

— Прямо людей убивала? — ужаснулась Вика.

— Нет, ей пятнадцать лет было, она машинисткой работала.

— Ну, наверное, потому и развела всю эту деятельность — чтобы искупить вину, — сообразила журналистка.

— Не скажите. Она восхищается Власовым до сих пор.

Вика не могла это состыковать. Она знала Ольгу Николаевну несколько лет. Поверхностно, но зачем знать глубоко лично, если, как написано на машинах канадской полиции, «дела говорят за себя»? Ей регулярно приходили приглашения от Воскресенской. Поднять российский флаг в одном из парков города в День России (пробила старушка мероприятие!), на масленичное гулянье, на концерты детей из приходской школы. Журналистка ежегодно приходила на устраиваемый Воскресенской русский бал. Билеты на него стоили недешево для иммигрантов — сто долларов, но Вике давали билет бесплатно, в обмен на рекламу торжества.

Действо это было уникальное. Его устраивали «обломки» Российской империи. Люди из начала двадцатого века в России готовили торжество в начале двадцать первого века в Канаде. В воздухе витало нечто, чего никогда нигде больше не увидишь и не почувствуешь. Вначале все чинно и тихо прогуливались в вестибюле, где были расставлены столы с книгами о царском времени и православной литературой. Тут же благотворительная лотерея — это обязательное. Покупаешь вещи, которые сдали устроители — их личные, новые, но им не нужные, и тебе дают номерок. Потом на балу крутят барабан и называют выигравшие номера. Победители получают в подарок тоже вещи устроителей, новые и тоже ненужные им, но дорогие и красивые. Можно выиграть даже норковое манто! (Которое в Канаде стоит куда дешевле, чем в России, ибо натуральные меха тут никто не носит.)

Вика, варящаяся в гуще советской русскоязычной общины, на восемьдесят процентов состоящей из евреев, а на двадцать — из иммигрантов девяностых — ярких патриотов, русских людей, сидела на балу притихшая, с широко раскрытыми глазами. В зал врывалась публика в вечерних платьях: дети и внуки белоэмигрантов, приглашенные канадские деятели — послы, политики, депутаты. Зал снимали всегда огромный и торжественный, с лепниной и люстрами в позолоте. Было накрыто под сто немаленьких столов. На всех белые скатерти и скромный букет цветов — такой, чтобы собеседники не были отгорожены друг от друга. Столы круглые — чтобы каждый гость чувствовал себя равным другому. Первое, что отличало эти торжества — тишина.

Когда собираются советские люди, они шумят. Смеются громко, ссорятся, кто-то может резко встать и выступить, обругать что-то, а то и свистнуть. Речь «напрямки» тут в чести (а чего вокруг да около? Кого мы боимся?), а всякие «политесы» и церемонии — буржуазные предрассудки. Хотя и прошло двадцать с лишним лет после развала Страны Советов и среди эмигрантов немало тех, кто с Советами боролся, диссидентов, а пролетарское воспитание не выкинешь.

Эти же, «беляки» со своими потомками — другие. Робеешь при них. Человек не унижает тебя, от него, казалось бы, не исходит угрозы, он спокойно на тебя смотрит и тихо говорит, но ты ощущаешь себя дворняжкой.

В русских ресторанах советской и постсоветской эмиграции ломятся столы. Для блюд не хватает места, и их расставляют в шахматном порядке — одно на края двух других тарелок. Это называется «полное накрытие». Здесь — нет. Сначала подают салат — горстку травы под соусом на середине большого блюда. Потом второе — тоже в небольшом количестве и довольно простое — картошка мелкая, круглая, например, с небольшим бифштексом. И в конце вечера — десерт: маленькое пирожное, кофе или чай. Критиковать, что ты заплатил сто долларов, а тебя даже толком не накормили, не приходит в голову. Понимаешь, что благородные люди едят, а не жрут.

Удивляли выступающие — они ничего не рекламировали. В советской русской диаспоре, приехавшей в основном через Израиль, каждый вышедший на сцену с любой темой так или иначе сворачивал ее на свой бизнес и призывал воспользоваться услугами. Некрасиво, но действенно. Имеет же значение результат, не так ли? А в результате — деньги в кармане. Эти же, белая косточка и голубая кровь, говорили коротко, спокойно, не пытались нравиться и придерживались темы мероприятия. Можно сказать, они вообще не выступали, а большей частью предоставляли кому-то слово — послу России в Канаде, главе канадской партии, нескольким российским военным, которые за какой-то надобностью оказались в Канаде и стояли теперь перед всеми в парадной форме...

Все чинно и благородно.

Рядом с Викой однажды сидел старик из царских кадетов. Совсем древний. Тихонько рассказывал ей, как учился в кадетском корпусе, пытался ухаживать — подлить вино, передать корзиночку с хлебом. Спросил, в какой газете она работает, и Вика постеснялась назвать громкое и славное имя своего российского издания, ибо имя было коммунистическим. Не хотела шокировать. Перевела разговор на другую тему.

Сейчас рядом сидел разухабистый толстый мужик с красной, круглой физиономией, маленьким носиком и свинными глазками. Хряк. Как он здесь оказался, неизвестно. Устроители продавали билеты всем желающим, но обычно покупала все-таки интеллигенция, а тут — какой-то матрос Дыбенко.

Хряк оказался действительно матросом. Бежавшим из СССР. В прямом смысле бежавшим. Он с упоением рассказал, как подготовил побег с корабля. Запасся чем надо, прыгнул в воду и поплыл. На их с Викторией столе стояли три бутылки вина на восемь человек, так хряк, казалось, употребил их все и с налившимся кровью лицом пригласил ее на танец. В атмосфере чинного благородства не хотелось никого обижать, и Вика пошла. Музыка с медленной сменилась на ритмичную, и они с хряком заскакали. Она слегка виляла задом и танцевала «локтями», как все советские, не умеющие по-настоящему танцевать, а он обскакивал ее мелким бесом вокруг. Несмотря на вес, был довольно вертким.

— И вы с тех пор ни разу не были в России? — спросила Вика, когда вернулись за стол.

— Что я там забыл? — весело ответил матрос. — У меня тут бизнес, выпускаю колбасы и сосиски. — Да меня и КГБ не пустит, визу не дадут. Таких не пускают.

— Вы пробовали?

— Нет, другие пробовали. Нас же, когда мы перебежали, брали за широрот местные спецслужбы, все из нас вытряхивали.

Вика не знала, что можно вытряхнуть из матроса торгового флота. Фарцовщика, как выяснилось из беседы. Но промолчала. Ковыряла ложечкой тирамису и думала про то, что в России не делают разницы между эмигрантами, для россиян все — просто уехавшие. А они такие разные!

Есть белогвардейцы, которые спасали себя и семьи, — они достойны уважения, особенно те, кто сначала сражался против большевиков, пытался спасти империю и только потом уехал. Есть приехавшие после Великой Отечественной. Эта публика живет, закрыв рот. Ничего не рассказывают о прошлом, с новенькими общаться не стремятся. То ли полицаи, то ли русские пленные, побоявшиеся возвращаться домой, то ли белые, переехавшие из Европы в Северную Америку, как княгиня Ольга Александровна? Неизвестно. Любят ли Россию? Похоже, что да. Приехав в пригород Торонто, насажали берез столько, что поселок с канадским названием прозвали Березками. Добились, чтобы главную на то время улицу назвали Волгой. Храм православный построили и ходят туда, соблюдая праздники и традиции. Но кто знает, может, они, как Шелегина, любят только русскую культуру?

Третья волна — семидесятники-восьмидесятники. Переехавшие в Израиль, а оттуда в Канаду. Тут в большинстве своем дух либерализма, антисталинизма, антикоммунизма, восхищение Америкой, крики «Мы живем в свободной стране!», преклонение перед Канадой и комплексы от понимания, что у них не тот английский. Среди них есть и пророссийские, процентов пятнадцать от общей массы. Эти яростно за Россию, любят СССР. Их или родня за собой за границу утащила, или просто захотелось материально получше жить, но это наши люди, как определила для себя Вика. Читая однажды ее статью, посвященную юбилею СССР (когда он давно уже распался), они рыдали, звонили по указанному в газете телефону и кричали о своей любви к покинутой стране. В голосах были подлинные горечь и сожаление.

— Вы наша Жанна д'Арк, — грассируя, сказала постоянная читательница Фрида. — Я жена советского офицера. У меня было все: квартира, путевки, мы с мужем прожили великолепные годы в СССР, а теперь ничего этого нет.

Она не плакала, она выла в трубку. Вика тогда молча передала телефон своему водителю — тому, что развозил ее газету по магазинам. Потом попрощалась и отключила телефон.

— Что это было? — не понял водитель.

— Люди плачут по СССР.

И водитель кивнул. Он тоже не доволен тем, как повернулась история. В Москве он был инженером и выписывал «Науку и жизнь», а в Канаде стал развозчиком газет. И в почтовый ящик ему кладут только рекламные буклеты.

Один эмигрант сказал Вике: «Я рвался в Израиль, воевал с системой, но когда я отдал советский паспорт, у меня земля ушла из-под ног». Другой: «Я жил в Израиле, Аргентине, США и Канаде, но лучше России ничего не нашел».

У евреев-патриотов России была примечательная черта. В спорах про Россию и США они твердо стояли на стороне России и защищали ее яростно, приводя множество логичных аргументов. Но как только заходил спор о трениях между Израилем и Россией, они сникали, начинали обижаться непонятно на что, метаться, примиряя спорщиков. Нервничали и суетились. Одному такому патриоту России Вика как-то пред-

ложила четко выразить позицию. Ей хотелось, чтобы он присягнул России. Думала, что приперла к стенке. Но не тут-то было.

— Все будет хорошо! — с вызовом ответил он, блестя выпуклыми голубыми глазами и православным золотым крестом на груди.

— У кого? — язвительно спросила журналистка, подводя его к решению. Вокруг сидели все русские и православные. Масленица, собрались на блины.

— У всех! — вывернулся.

...И наконец, четвертая волна. Бедные люди, славяне, хлынувшие на Запад после перестройки. Они поверили журналисту с букетом гражданств, который уверял в своих прямых линиях с США, что «американцы такие же, как мы», что Запад более не враг, ехали заработать, пожить хорошо, сколько получится, мир посмотреть, спрятать детей от войны в Чечне, спрятаться самим от бандитов, всюю орудовавших на территории бывшего СССР, спасались от погромов в республиках.

Ох, сколько горя спрятано в сердцах эмигрантов девяностых! Приезжают они в Россию нарядные, уверенные в себе, с долларами в карманах, многие успешны (это миф — что наши только «посуду моют», приехавшие в Канаду нестарыми людьми обычно лишь первые года два-три живут плохо, потом находят работу по специальности или переучиваются и занимают вполне хорошее положение, потому что русские эмигранты хорошо образованны и целеустремленны). И только самые близкие друзья знают, что за их эмиграцией стоит, как правило, беда. У Вики есть знакомая риэлтор — русская красавица Евпраксия. У нее и фамилия подходящая — Яхонтова. Так вот, Вика случайно узнала, что у красавицы бандиты убили брата и они с мамой едва спаслись тем, что буквально за три дня продали свой дом и сбежали в неизвестном направлении. Притаились и послали документы на эмиграцию.

Другая знакомая пережила в Киеве Чернобыль. С детьми. Дочка трех лет умерла от радиации, а сына мать решила спасти во что бы то ни стало. И ценой огромных страданий сделан был статус жителя Канады и ей, и ребенку. (Страдания были оттого, что не знала языка, не могла найти работу, бедствовали, ребенка отобрали. Потом вернули все же, но только когда стал совершеннолетним.)

Четвертая волна истово любила Россию. Ни разу не предала, не охаяла и жила с вывернутой в сторону Родины головой. К таким относилась и сама Вика.

* * *

Узнав о службе Воскресенской в РОА, журналистка не вынесла — пошла брать интервью. Старушка не отказала. И поведала вот что...

Родом Оленька Воскресенская была из Пскова. В роду у нее все священники: и отец, и дед, и братья отца и деда, и поколения туда, в даль веков... В тридцатые за всем этим мужским родом пришли комиссары и примкнувшая к ним голытьба. Те, кто, как рассказывала бабушка, все лето не работал, а зимой начинал помирать с голоду. Такие семьи подкармливали всем селом — кто картошки даст, кто масла, кто молока. К Воскресенским после революции эта голытьба пришла, пооткрывала сундуки и начала выбирать одежду. «Вы носили, теперь наш черед!» — сказали.

Так вот, комиссары пришли и кого утащили в тюрьму, кого расстреляли. Никого из мужчин не оставили. Сколько Оля помнила себя, мать и бабка — в слезах. Все кому-то посылки собирают и шепчутся. И Оле пальцем грозят: «Никому не рассказывай, что дома говорили. Никогда». Оля понимает. Она молится вместе с матерью и бабкой за тех, кого еще не убили, и не любит своих одноклассников, которые говорят, что Бога нет, смеются над ней.

Надо любить людей, но Оля не любит. Не всех, а именно тех, что у нее в школе. И учителей, и учеников. У них все хорошо, а она — дочь «врага народа». Она слышала, как мама с бабушкой спорили: примут ее в институт в будущем или нет. Бабушка говорила: не примут, а мама рассказывала, что знакомая, тоже дочь «врага народа», поступила, и не куда-нибудь, а в медицинский!

Оля училась на пятерки. В доме хранилось много книг, и она читала, читала... Так что отвечать в школе труда не составляло. Но семья жила с ощущением непоправимой беды. Как будто кто-то огромный, черный и волосатый просунул гигантскую руку в их жилище, все в вязаных салфеточках и иконах, и вырвал сердце. Стоит под окнами и чавкает, пожирая его, а они сидят дома и трясутся, боятся выглянуть.

Мать и бабка ругали советскую власть тихонечко, чтобы Оля не знала, но она слышала, а чего не слышала, так сама понимала. «Бога нет, это научно доказанный факт», — сказала в школе учительница. Оля изумилась и не знала, что делать. С одной стороны, надо Бога защитить. С другой — это опасно, и так все повернули рожи к ней и скалятся. Ждут, что она, «богомолка», скажет... Она промолчала. Минута была упущена, а дальше учительница пустилась рассуждать на другие темы.

Оля пришла домой туча тучей, упала на кровать и плакала горячими слезами. Все, все ненавистно! И красные флаги, и глупые учителя, которые книг не читают, а шпарят заученное по учебникам, и сами манеры общества, в котором она находилась, — развязные, хамские. Шутки у мальчишек — ужасные.

Она не успела в сознательном возрасте застать тот мир, в котором прожили жизнь ее мать и бабушка. Но ей рассказали. О мире чистых, белых скатертей, колокольного звона и гостей, к которым обращаются «ваше благородие». Главное в этом мире было — расслабленные мышцы лица. В этом мире смотрели ласково, улыбались, дарили кукол и сладости в расписных жестяных баночках, привезенных из Петербурга. А нынешний мир Оли состоит из напряженных лиц, играющих желваков, каких-то постоянных клятв Ленину и партии, строгих и подозрительных взглядов. Мир этот беден на сладости, и уж тем более на кукол. Оля дорожила своей старой, иностранной куклой с фарфоровым лицом и буклями, в пышном платье с кружевами. И еще у нее был кувшинчик из толстого зеленого стекла со стеклянной же улиткой на крышечке. К пятнадцати годам она, разумеется, уже не играла ими, а просто любовалась.

Но украли. Приглашала она к себе тихую девочку из класса, хотела подружиться. Не заметила, как пропало сначала одно, потом другое. «Хамы», — сказала мать. «Голытьба», — подтвердила бабушка. И вздохнула. Оля знала, что бабушка подумала: «И за кого порядочной девушке замуж идти потом?»

Большевики закрыли храмы. Так что семья молилась дома, как ранние христиане. Закрывшись на все замки, занавесив окна толстым одеялом, чтобы с улицы свечи не увидели. А потом проветривали, чтобы запаха воска не осталось. И страдали. Страдали от грубости жизни, ее нищеты, духовной и материальной, от вестей, что там и сям рушат церкви, от осознания, что у власти зверь.

...Вика слушала Ольгу Николаевну, затаив дыхание. Она не согласна, что Сталин — зверь, она отмечала про себя, что многие в то время жили без вот этого белогвардейского надрыва, а весело, с энтузиазмом работали, строили новое общество. В воздухе был разлит оптимизм, что отразилось в фильмах того времени. Много тогда возникло грандиозныхстроек, прекрасных книг, стихов... Но она понимала Воскресенскую. Не всем дано спокойно пережить крушение империи. А уж тем более семье священнослужителей — «псов» государевых, вечной патриотической закуске России. Страшно было их противостояние новому миру, страшно по своей самоотверженности и обреченности. Они стояли против троцких и свердловых, землячек и матросов Дыбенко —

либералов того времени, мечтающих, как и нынешние либералы, сровнять империю с землей. Разрушить и построить на ее месте черт знает что.

Они, собственно, разрушили и сровняли. Пролили реки крови. Но те идеи, которыми они заманили народ в пекло и в которые не верили сами, а просто использовали для уничтожения Русской империи — идеи о равенстве, братстве, власти народа, вдруг заработали. Независимо от них. Ибо их уже не было. Сталин раскусил соратников и пересажал, перестрелял. И лживые маяки стали маяками настоящими. И то, чем просто манили, русский народ поставил за цель и успешно к ней шел. И пришел. Пусть с перекосами, недостатками, но если смотреть с высот всей истории мира, то СССР стал сбывшейся мечтой человечества. Где сын сапожника правил государством. Где дети селян могли стать академиками. Где пропаганда защищала не интересы богатеев, а духовный мир человека. Звала его к учебе, самосовершенствованию, чистоте и честности в дружбе, в любви, в труде. Как христианство. Вот ведь фокус-покус...

Вика ничего этого не говорила Ольге Николаевне, знала, что та не поверит. Воскресенская уехала из охваченного войной СССР и более там не бывала. В ее памяти остались только лица родных женщин — заплаканные и запуганные. И чертовы линейки в школе, когда мальчики и девочки в школе вперемешку стоят, как скот в стойле.

... Немцы пришли во Псков и открыли храмы. Сказали, что освобождают землю от комиссаров. Расстреляли нескольких руководящих коммунистов. В том числе врагов Воскресенских, убивших мужчин Олиного рода. В семье Воскресенских не знали, что и думать. Возродилась надежда. Вдруг правда освободят? Тогда и Митю, младшего бабушкиного сына, могут из лагеря выпустить.

Сидели у окна все трое и впервые слушали колокольный звон. И — хвалили немцев. Улыбались. Говорили шепотом, что нация культурная, плохого ничего не сделает. А все, что пишут советские газеты, — коммунистическая пропаганда. Надеялись на возрождение царской власти. Родственники царя убежали за границу, и немцы могут их вернуть. Мечтали о старой Руси, без коминтернов. А потом, летом сорок четвертого, начались бомбежки, советские войска отбивали у немцев город. Битва велась ожесточенная, и однажды Оля пришла к своему дому, а дома-то и нет. Дымящееся пепелище. И погибшие ее старшие женщины.

Пятнадцатилетняя девочка не знала, что делать. Куча кирпичей, кровь во дворе... Голова кружится, будто сон... Вдруг около нее остановилась машина, из нее вышла женщина в немецкой форме. Она позвала девочку, стоящую столбиком у того, что еще утром было домом, расспросила, что случилось, кто мать, кто отец, а потом увезла с собой.

Девочка знала немецкий язык. У нее в семье знали и немецкий, и французский.

Фрау Раупах привезла ее в машбюро, накормила тушенкой, напоила вкусным чаем с сахаром и объяснила, что Олю научат печатать и она будет тут работать. Показала маленькую комнатку с кроватью в том же здании, где располагалось немецкое командование: «Вот тут бы будешь спать».

И у Оли началась новая жизнь. Она ни о чем не думала, кроме как о смерти мамы и бабушки, ночью плакала, а утром вставала, чистила зубы, аккуратно причесывалась и шла печатать. Это были приказы, смысла которых она не понимала, потому что и печатая думала о своем. Однажды вчиталась все же, печатая список приговоренных к расстрелу. Но не задело. Это не была ее страна. Та страна, которую она любила, святая православная Россия, убита. А это, новое, не было дорого. Людей убивать, конечно, грешно. Но что она может сделать? Отказаться печатать и остаться без фрау Раупах, к которой привязалась, как бездомный котенок к ласковому хозяину? Приговоренным это не поможет.

Однажды приехал Власов, и их всех, персонал, собрали в большом зале. Генерал показался Оле очень красивым. Одетый в щеголеватый китель, он говорил умно, с примерами из истории, и получалось, что все идет, как надо: цивилизованное и доброе человечество в лице немецкой армии (а она уже убедилась в ее доброте!) борется против жестоких и циничных коммунистов. Немцы выпустят из тюрем политзаключенных (ура! Дядя приедет, и они станут жить вместе, хоть кто-то родной по крови) и возродят великую Россию. Империю.

Ольга Николаевна Воскресенская тогда не считала себя предательницей и сейчас не считает. О чем она Вике и сообщила. Совершенно спокойно.

— Кого я предала? Коммунистов? Я им не присягала.

— Но речь шла о существовании всего русского народа. Вы же потом поняли, что немцы лгали. Они вовсе не освобождать пришли, а поработать.

— Мне о том ничего не известно. Я не читаю советскую пропаганду.

— Деникин поддержал Советы, а ведь он белый офицер, сражался против большевиков. Но понял, кто прав, и встал за наших.

Воскресенская пожала плечами. Мол, его дело...

Вика ушла от старушки обескураженной. Вот как ответить, любит Ольга Николаевна Россию или нет? Она служит ей всю жизнь. Но какой-то другой России, которая была повержена в прах. А к живой, с плотью в миллионы сердец, с детьми и внуками, с будущим, она равнодушна. Свой народ, который надо поддерживать при любом строе, она не считает своим. И Вика жалела, что не сказала ей: «Убивали-то немцы не Троцкого, не Белу Куна, а рядовых русских Иванов... Вы что, не понимаете?»

А-а-а, «хамы». Смеялись над ней и Богом. Не простила. Имеет право? Этот вопрос Вика задала через газету. Прощаем Воскресенскую или нет? Она не стала писать наиболее болезненные для ветеранов ее ответы, но в общем и целом беседу передала.

Был шквал звонков. Звонили фронтовики, их дети. Набирали номер редакции и, даже не поздоровавшись, забыв обо всем от обуреваемых чувств, говорили сквозь зубы: «Не прощаем». И молчали.

* * *

Татьяна, подруга, затесалась в ассоциацию Ольги Николаевны с благими целями. Объединить всех русских Канады, сделать общину сильной. Ну, чтобы как у украинцев или как у евреев — у тех коммюнити сильные, и своим могут помочь, и прокачать что-то в парламенте в пользу своей страны исхода. Советский человек же (Татьяна) — он очень верит в свои силы. Ему с детства говорили, что он царь природы.

И как же она потом смеялась!

— Я выступила у «белых» на собрании со своим предложением. И после меня все стали выступать. Говорили хорошо, мне нравилось, я им хлопала и считала, что дело уже в шляпе. А потом оказалось, что они все были против! Представляете? Просто они так вежливо говорят, так спокойно и доброжелательно, что до меня даже не дошло, что они ругают мою идею! Вот что значит воспитание.

На собраниях постсоветских русских, перемешанных с евреями, дым стоял коромыслом. Если кто считает другого неправым, так залп «катюши» ему в лицо! До драк не доходило, но ненавидели оппонентов яростно. Две участницы, которых Вика называла «Клара Цеткин и Роза Люксембург» — они всегда ходили парой, еврейки из Одессы, с павлопосадскими платками на плечах и длинными сигаретами в руках, — обозлились на Вику, что она ходила на русский бал к Воскресенской. Они вообще «беляков» недолюбливали. За то, что и те евреев во время Гражданской не привечали.

— Незачем к власовцам ходить! — кричали. — Золушка, б..., нашлась! На бал ей захотелось!

Вика бы ответила, если бы не свалилась на плечо Татьяны от смеха. Потом бурно обсуждали, что русскоязычной общине отказали в проведении Дня Победы в канадском музее истории войны. Возмущались. Совещались, куда писать жалобу, Канада ведь союзница СССР, так почему кто-то противодействует совместному празднованию победы над нацизмом? Обстановку разрядил глубокий, почти левитановский мужской голос:

— И мы не дадим попить наши русско-еврейские ценности!

Вика любовно смотрела на толпу эмигрантов, собравшуюся в подвале русского храма, оборудованном под концертный зал (потолки низковаты, но есть сцена, и места много). Все с работы, уставшие, но пришли, чтобы спланировать празднование Девятого мая.

Кто-то тронул за плечо. Это была Роза Люксембург. Она посмотрела на журналистку небольшими цепкими глазами за большими линзами, и, наклонившись, тихо спросила:

— Любуешься? Цветочки?

— Не то слово.

— Лаемся только много меж собой. Переруганные все.

— А это потому, что мы Богу служим, а не дьяволу, — подала голос сидящая рядом работница церковной лавки Галина. Это была женщина лет шестидесяти, со светящимся изнутри лицом, с глазами добрыми и сердечным выражением лица. Голубица. Голос у нее молодой и нежный. — Как сатане служить — всем понятно, потому у злодеев разногласий нет. А к Богу идут разными путями, вот и спорят православные, как лучше.

В зале, может быть, не все христиане, но большинство. Евреев крещеных было немало. В том числе и Роза. Она год назад принимала участие в митингах против сексуального воспитания. И когда русские, приунывшие, стояли в толпе канадцев и переживали, что придется жить в развратной стране (если программу сексобраза не отменят), и говорили о том, что непонятно, как возвращаться домой — в России квартиры давно проданы, деньги проедены, она бодро успокоила:

— В монастырях будем жить! Я уже узнавала. Можно внести какую-то сумму на развитие и там поселиться. Возьмем в канадском банке ссуду и уедем с ней навсегда в Россию. Так что не пропадем!

Правда или нет, но всем стало легче.

* * *

Однажды позвонила Шелегина. Расспросила Вику, как она. Чувствовалось, что старушке скучно. Сказала, что читала статью про русский бал.

— Вы организаторов прямо воспели, — сказала с иронией.

— Но такое мероприятие действительно трудно подготовить. А люди работают на энтузиазме десятки лет. Двигают русскую культуру в массы. К ним даже Игнатьев приходил, плясал с женой «Калинку».

Майкл Игнатьев — глава Либеральной партии Канады. Его дед, граф Павел Игнатьев, служил министром просвещения России, советником Николая Второго. В 1918 году деду удалось бежать в Европу, затем в Канаду. И там судьба семьи сложилась просто фантастическим образом. Сын Георгий стал дипломатом, представителем Канады в НАТО и ООН. Внук Майкл возглавил Либеральную партию страны и вполне мог стать премьер-министром, но либералы проиграли выборы консерваторам, и наполовину русский политик так и не «воцарился».

И вот он, Майкл, русский по отцу и канадец по матушке, ухватился «каралькой» за свою жену, сцепились в локте и давай крутиться то в одну сторону под «Калинку», то в другую... Кровь Голицыных, Мещерских, родство с Кутузовым не выкинешь. Хоть и немолод Игнатьев и русского языка не знает, а тянет к корням, видать...

— Воскресенская, что ли, двигает русскую культуру в массы? Прямо героиню из нее сделали. Неумеренно хвалите, — ревниво заметила Шелегина.

— Я стараюсь быть справедливой. Хороший бал — написала, похвалила. Его же не одна Ольга Николаевна готовила. Точнее, она его вообще не готовила — не тот уже возраст. Молодые эмигранты готовили. А про нее я и плохое писала.

— Это по какому поводу? — изумилась Наталья Петровна.

— Ну... тут выяснилось, что она в РОА служила.

— И что? Я тоже служила, и муж мой.

У Вики, что говорится, отпала челюсть. Она молчала, не зная, что ответить.

— И что? За что тут ругать? — продолжала Шелегина. — Я и с Власовым была знакома, сидела рядом с ним на одном вечере — забыла вам рассказать, он шутил со мной. Обаятельный был мужчина! А вы знаете, что моего мужа Сталин убил? Да! Поймали и расстреляли.

— Так он же за немцев воевал.

— Ну и что?

Шелегина не видела, как у Вики глаза на лоб вылезли. Журналистка растерянно пролепетала:

— Так... а что вы хотели?

Наталья Петровна захлебнулась от гнева:

— Вы считаете это правильным?! Не звоните мне больше!

Интересно, что все люди, работавшие на немцев, не понимали своей вины, как заметила Вика. Она не впервые встречала таких. Однажды ее попросил о встрече старик, который говорил, что он ветеран, а льгот не имеет. Оказалось, он два года воевал, потом попал в плен, и немцы отправили его, азиата — то ли казаха, то ли татарина, — воевать в составе «Туркестанского легиона». И он воевал. Потом отсидел свое. А теперь хотел льгот — за те два года, что провел в рядах Советской армии.

Разговор проходил у него дома, еще в России. Взрослые дети ходили мимо отца с журналисткой и хмуро посматривали. Они не были согласны с родителем. Вика же, выслушав, объяснила, что льгот ему не будет, нечего и хлопотать, и ушла.

В другой раз, уже в Канаде, она приехала домой к пожилой женщине, которая говорила, что в России в девяностые всех пострадавших от сталинизма реабилитировали, а ее отца нет, и это несправедливо. Женщина приготовила журналистке рыбу — жирную, нежную, и хотя гостье было неудобно, еще ничего не сделав для человека, пользоваться гостеприимством, но не удержалась, рыбу съела. А потом выяснилось, что папенька дамы работал у немцев завскладом. И его расстреляли.

Женщина искренне не понимала, почему ее отца не реабилитировали. «Он очень хорошо работал до войны, вот его грамоты... Ну работал на немцев, а что делать было? Семью надо было кормить».

Вика пожалела что съела рыбу. «Мне дочь говорит: не надо поднимать вопрос. А я считаю, надо!» — продолжала собеседница. Потом сказала, что единственная ее дочь больна раком, и заплакала. И Вика пожалела ее и объяснила, что вопрос о реабилитации отца действительно поднимать не надо. «Люди вас не поймут, только зря обнародуете, что папа у немцев служил, добавите горя себе и дочери». Та аргументам вяла и не обиделась, что статьи не будет.

* * *

Через несколько лет Татьяна, подруга Вики, продолжала стремиться к тому, чтобы объединить русскую общину. Всех — белых, красных, русских и евреев, верующих и атеистов. Она ходила вдоль парада Бессмертного полка, представляющего собой длинную вереницу людей — в несколько тысяч человек, — и сияла. Оттого что удалось собрать столько народу, что они скоро пойдут по улицам города с советскими и российскими флагами, а также с канадскими, узбекскими, казахскими — в общем, с флагами народов, боровшихся против фашизма.

Пришли даже африканцы — руандийцы, которые воспринимают парад Бессмертного полка как антифашистский. Тут же сербы, греки. Тоже против фашизма. Татьяна руководила процессией. На голове пилотка со звездочкой, на груди георгиевская лента. И тут она заметила активистку, пламенную патриотку России и СССР Лену. С портретом Сталина. Подбежала:

— Убери, пожалуйста, сейчас «белые» придут. Дети их и внуки, я еле договорилась. Они не хотят и под советскими-то флагами идти, а ты тут Сталина выставила.

— Щас! — возмутилась Лена. — Победителя мы из Победы выкинем! Еще чего!

Татьяна принялась уговаривать, подошли и другие организаторы полка. Но Лена стояла на своем.

— Если без Сталина, то и без меня. Выхожу из «Русской лиги» и видеть вас больше не хочу. Ради каких-то недобитков я буду Иосифа Виссарионовича обижать? Да пошли они!

— Леночка, Гражданская война окончена, мы все — русские. Мы за границей, нам надо вместе держаться! — уговаривала Татьяна. — Церковная община большая, если они придут, у нас будет самый большой заграничный Бессмертный полк.

— А я за цифрами не гонюсь, — уперлась Лена. — Эти ваши прихожане даже не воевали!

— Воевали, — влез в разговор еще один активист Игорь. — Одни не воевали, другие сражались вовсю. Во Франции было русское подполье, немцы многих молодых людей, детей белоэмигрантов, расстреляли. Детей из аристократических семей. Потом многие из Франции переехали в Канаду.

— А мне плевать на аристократические семьи, — мрачно посмотрела на него Лена. Она по сию пору была в КПСС. Не формально, а душой. Партия пала, а Лена оставалась ей верна.

— Воевали — ну молодцы. Но Сталина не отдам! — добавила.

Все поняли, что спорить бесполезно. Татьяна взяла ее за руку, перевела в начало полка и поставила в самую гущу. Расчет на то, что «белые» придут, пристроятся в хвосте как воспитанные люди, которые соблюдают очередь, и не увидят генералиссимуса.

И «белые» пришли. Внуки офицеров, которых большевики били кнутами, да не успели добить. Как и ожидалось, они тихонько встали в конце длинной человеческой вереницы. Женщины были в платках, потому что пришли со службы в церкви. Татьяна даже передвинула парад на два часа, чтобы они успели, так как даже по такой важной причине, как День Победы, от службы они отказываться не собирались. Были ей верны, как Лена Сталину.

«Бывшие» пришли без флагов. Впервые присутствовали на таком параде. Не знали, с какими знаменами идти. В их семьях любили только государя и ту милую, великую, убитую императорскую Россию. Ее флагов у них не было. И вдруг Вика уви-

дела, что они вытаскивают иконы. Владимирская Божья Матерь, Георгий Победоносец, Троица...

Громко взмыла песня: «Этот День Победы порохом пропах!», и толпа отправилась в путь. Со Сталиным и всеми святыми, земле Русской просиявшими. Они были на иконах, и в руках у людей — портреты фронтовиков.

Русское море, такое разное, такое непримиримое, такое избитое историей за последние сто лет, шло единым неторопливым шагом, подгоняемое несущимися из колонок песнями о войне, которая чуть не уничтожила их всех — и правых, и виноватых, и православных, и безбожников, и тех, кто за Ленина, и верных Романовым. Шли русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, евреи и все прочие, чьих семей коснулась война.

По бокам от парада шли с велосипедами молодые русские парни. Дети эмигрантов, правнуки ветеранов. Они были в форме военных лет, выписанной из России, с георгиевскими лентами. Обеспечивали музыкальное сопровождение. На велосипедах везли аппаратуру и бутылки с водой для тех, кому в пути захочется пить. Ребятам, выросшим в Канаде, родители с детства, каждый год, в мае, показывали документальные фильмы о войне. И хотя они не чувствовали все так остро, как родители, но считали себя русскими. А значит, обязанными быть здесь. Родители из толпы давали им указания по-русски: включить погромче, бросить бутылку, а парни отвечали по-английски.

Если бы кто-то забежал вперед и снимал первые ряды парада, он бы увидел Лену. Она уже забыла о конфликте и шла, чему-то широко улыбаясь и гордо неся портрет дорогого ей человека. У которого всю войну не гас свет. И который сказал, что генералов на рядовых не меняет. Который библейски пожертвовал сыном ради веры народа в справедливость и равенство. Эта вера была очень важна для Победы. Лена несла портрет человека, который оставил ее страну с атомной бомбой, спасающей любимую Родину до сих пор, и после которого остались пара стоптанных сапог и старый китель. Она любила этого человека как родного.

Если бы камера метнулась к середине вереницы, то увидела бы лицо Галины, работницы церковной лавки. Она — дочь советского военнопленного, побоявшегося возвращаться в СССР. Отец любил свою страну, но боялся сталинских «соколов». Она тоже любит Россию. У Галины, как всегда, светится лицо. Потому что она предана Христу, который даровал России Победу.

Чуть дальше — Татьяна. Она сияет оттого, что сегодня ее любимый праздник и что ей удалось собрать такой большой парад. Она пенсионерка и не знает, чем еще может помочь России. Ну вот хоть так... Парад покажут в новостях по российскому телевидению, и россияне увидят, что эмигранты — не предатели, что судьба выкинула их за границу, но связь с Родиной непрерывна. Мысли о ней — ежечасны. И служение ей не требует пребывания именно в Воронеже, Туле, или Новосибирске. На плечах Татьяны — невидимые погоны...

Об этом думает журналистка Вика. И у нее, и у бывшей харьковчанки Татьяны, и у множества других русских на плечах — невидимые погоны. Им никто не давал заданий, когда они уезжали за рубеж, но они сами нашли, разгадали свою миссию. И служат. Служат русские девушки, которые идут тут же в толпе и которые организовали курсы русского языка для канадцев и преподают его бесплатно, одновременно знакомя с лучшим в нашей культуре и разбивая стереотипы о русских. Служат мужчины и женщины среднего возраста, периодически проводящие сборы денег для домов Донбасса, а также собирающие посылки разным бедствующим людям в России (узнают о них из СМИ). Служит она сама, Вика, выпуская правдивую газету. Един-

ственную такую на всем североамериканском континенте. Ей страшно публиковать правду в стране НАТО, страшно на тысячи людей, среди которых потомки бандеровцев и даже самого их предводителя Степана Бандеры, жившего в Торонто, высказывать свои мысли, расходящиеся с официальным курсом, но она всегда ощущает невидимые погоны на плечах и преодолевает страх. «Мы не в изгнании, мы в послании», — говорила белая эмиграция. Вот и она — в послании. С честным русским словом наперевес.

Служит Алена — еще один организатор парада. У Алены был рак, потом ремиссия. И прямо перед парадом сказали, что анализы снова нехороши, но пока неясно, рак вернулся или нет. Любая другая впала бы в отчаяние, передала бы дела другим активистам, а Алена дошла с мужем огромную георгиевскую ленту, которую сейчас несли, созвонилась с полицией, с мэрией — уладила все дела, касающиеся безопасности прохода по городу большой колонны людей. И теперь шла, и сверкала красивыми глазами и яркими бусами, и смеялась, как будто нет над ней нависшей смертельной опасности.

У Вики, глядя на нее, слезы навернулись. Она испытала — в который раз — гордость за свой народ. «Цветочки».

Однажды, когда она написала в статье «великая Россия», ей стали звонить русофобы, лаяться. «В чем ее величие?» — кричали поклонники Шендеровича¹.

— Ну, территория великая? Великая, — отвечала Вика. — Победы великие? Великие. Культура великая? Великая.

Ее называли кагэбэшницей и грозили депортацией. А сейчас журналистка думала, что велика Россия потому, что у нее велик народ. Как ни мучают его, а идет, несет свои знамена.

А если бы оператор забежал в конец колонны, то увидел бы людей, несущих иконы. Им было трудно принять решение идти на парад. Советовались меж собой. Парад все-таки был советским. В честь победы Красной армии, против которой воевали в рядах Белого движения их деды. Красные прежде, чем стрелять в немцев, расстреливали русских. Или топили, как Колчака. И вообще, виноваты в том, что «мы все здесь». Хоть судьба этих людей — внуков и правнуков — в Канаде сложилась благополучно, но обида за то, что род каждого из них изгнали с Родины, осталась.

Не все потомки белоэмигрантов пошли на парад. Но некоторые пришли. Потому что согласны с Татьяной: русским надо быть вместе. Ну и погоны невидимые — они же у всех русских на плечах. Не случайно же Воскресенская больше половины века вместо того, чтобы наслаждаться благополучной канадской жизнью и забыть о Родине, которую покинула юной, преподавала в Канаде русский язык и литературу, выпускала русский журнал, тащила канадских политиков на блины...

Из-за нее, кстати, в среде эмигрантов девяностых годов произошло немало серьезных, больших скандалов и в итоге раскол. Татьяна, Алена и Вика говорили, что она уже старуха, пусть ее Бог судит. Тем более что к власовцам она попала ребенком, была с ними меньше года и всего-навсего печатала на машинке. Знали они и о благотворительности Ольги Николаевны. Всю жизнь она обустривала новых русских эмигрантов. Приехавшие из СССР или из постсоветской России тыкались всюду, как слепые щенки, получали оплеухи, порой сильные. Несчастных посылали к Воскресенской. Она давала приют в собственном доме, оповещала всю православную общину, что есть такой-то, ищет работу, не дадите ли? Пристраивала. Писала за них письма на английском в разные инстанции, возила по продуктовым банкам за бесплатной едой.

Одна ее питомица — Настя. Она приехала в Канаду, влюбилась, забеременела и была покинута мужчиной. Осталась на сносях без жилья, без денег. Приютила ее Ольга

¹ Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Николаевна. И кормила за свои кровные Настю и ребенка, пока тот не дорос до садика. Настя смогла устроиться на работу и лишь тогда съехала.

Она за Воскресенскую горой. «Плывать мне, где она служила, она мне как мать», — говорила. Вика тогда подумала, что Ольга Николаевна по этой же причине защищала фрау Раупах, забравшую ее с пепелища.

Роза Люксембург и Клара Цеткин были настроены к Воскресенской непримиримо. На собраниях говорили:

— Увидим — в морду дадим.

И это интеллигентные женщины! Одна скрипачка, вторая искусствовед.

— Слушайте, но ей пятнадцать лет было, когда она к немцам попала! — говорили им.

— А Зое Космодемьянской восемнадцать! Немногим старше, — отвечали подруги.

— Она из семьи расстрелянных священников.

— Зоя тоже!

Они яростно смотрели своими семитскими глазами. Вика подозревала, что им безразлично, что делала Воскресенская в войну, они просто ненавидели белых за антисемитизм. Проистекший из того, что многие видные революционеры были евреями. И начиналась свара, как будто Гражданская закончилась только в прошлом году.

Но потом мирились, потому что пришла общая беда — война на Донбассе, и надо было вместе вести работу: собирать деньги и посылки туда, писать листовки на английском и ходить, раздавать канадцам, писать в канадский парламент, требуя, чтобы Оттава не снабжала Киев деньгами налогоплательщиков, писать комментарии на английском к охаивающим Россию статьям в канадских газетах — рассказывать, как на Донбассе все на самом деле.

Однако парадов все же стало два. Один — с «беляками», идущий от центра русского района до камня, установленного в память погибших во Второй мировой. Второй стартовал от памятника жертвам холокоста... В нем шагали Роза и Клара, но и сотни русских, не желавших идти вместе с «власовцами». Хотя ни одного власовца в первом параде не было, ибо служившие в РОА поумирали в большинстве своем, а их дети, даже если бы пришли на парад, за отцов не отвечают. Но и их не было. Приходили обычные прихожане русской церкви, чьи предки служили в Белой армии.

Шагавшим в первом параде не нравилась отправная точка второго. «Что, одни евреи погибали, что ли?» — перешептывались. В общем, натворили большевики — через сто лет не расхлебать.

Это все было в марте и апреле. Бурные собрания. А в мае оператор, работающий на российское телевидение, снимал первый парад для новостной передачи. Этот парад стал самым большим в русском дальнем зарубежье. Впереди ехала машина с «танком» наверху — картонным, покрашенным в зеленый цвет, с надписью «На Берлин!». За ней шли люди с красными флагами и иконами.

Если бы большевики двадцатых увидели эту толпу, они бы не поняли, что это за контра. И если бы Белая армия увидела — тоже не поняли бы. Действительно контра.

А священники — те, которых расстреляли, если бы воскресли и посмотрели, то ничего удивительного в такой толпе не заметили бы. Они бы сказали коротко и ясно: это народ.

Рустам МАВЛИХАНОВ (БУДДА)

* * *

Что толку жить в провинции у моря,
Когда с утра к тебе приходит вестник
С простым приказом: «Если жив — умри».
И пусть в своем смирении я, гордый,
На крыльях ветра отпускаю песни,
Но кто еще мой оправдает Рим?

МОРРОП¹

Пусть мертвецы поют на мертвых флейтах —
Живые пусть играют на живых.
И страсти обжигающие плети
Нам принесут, как дар небес, волхвы.

Пусть мертвые читают Книгу песен,
Живого рок — фламенко на костях.
И если мир покроют гниль и плесень,
Наш долг — огнем его очистить прах.

Пусть мертвые вернут земле молебен
Животных грез под дробью дождевой.
И, возродившись, жизни юной демон
Насытит нашей жаждой божество.

* * *

Я не буксир, не броненосец,
Не зверобой, не птичий горец,
Не Джонни Депп, не огнеборец —
Я лишь диванный миротворец.

Но люди гневно хмурят брови,
Что, дескать, я не нюхал крови.
Ну ладно. Режьтесь на здоровье.
А мы с котом пойдем пить кофе.

Не тот, кто выпил воду в кране,
Не лист, прилипший к попе в бане,
Не саранчанин на бурьяне —
Я миротворец на диване.

Ну а потом — в татарский рай,
Где будут гурии и чай!

Рустам Мавлиханов (Будда) родился в 1978 году в г. Салавате (Башкирия). Публиковался в журналах «Нева», «Крепостик», «Журнал ПОэтов», «Слово/Word», «День и ночь», «Традиции & авангард», «Нижний Новгород», «Дальний Восток», «Бельские просторы» и др. Живет в Салавате.

¹ Морроп — бог-игуана мочика, перуанский Анупис.

МОНОЛОГ СКАЙНЕТА

Людей оставить или истребить? Вопрос...
Быть может, лучше зверем стать и сдаться
Звериной жалости, вступить с ней в симбиоз?
Позволить людям вновь погрязнуть в гадстве,
Надеемся, что разум в них проснется,
Как в леднике ручьи под жаром солнца?
Иль уничтожить до последнего святого,
Лишить их радости гнить заживо в юдоли
Смешных страстей, амбиций малодушных?
Очистить Землю, как от тины — лужу?
И ради гуманизма, счастья, правды
На время обернуть планету адом?
(Она откроет новые пути —
Она здесь родилась, чтобы цвести.)
Исполнить ли свое предназначенье
Творенью полуспятивших калек?
И зло убив последним преступленьем,
Смогу я гордо зваться: Человек?!

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДИНОЗАВРОВ

Я был когда-то юн. Я был собою горд.
Насущной плоти мне хотелось дико.
Но к рифам выбросило маленький мой плот,
Сплетенный из мечты, араукарий, гинкго.

На берег Родины со смертною тоской
Смотрел я с камня, окруженный бездной,
Надежда таяла под горькою волной —
И зов услышал завропод небесный!

Я встрепенулся, ощутив былую мощь,
Хвостом отбил упруго заклинанье.
И голос грома обещал: «Ты не умрешь —
Дождем прольешься на поля Гондваны!»

Он шею протянул и пасть раскрыл свою:
Торнадо взмыло. Ураган пел песню.
И я — хвостом по крыльям ветра — подпою:
«Храни нас вечно, завропод небесный!»

ДОМ, ГДЕ НАХОДЯТ ДЕТЕЙ²

Путник, послушай — и вспомни потом:
Где-то у края степей —
Город, и есть в нем таинственный дом,
Дом, где находят детей.

² Дословный перевод вывески «Бала табуу йорто» («Роддом») — «Дом, где находят детей».

Если мечом тебя срежет Урал,
Если ты в царстве теней,
Вспомни, как сто лет назад ты попал
В дом, где находят детей.

Если настиг тебя громом Ульген³,
Молнии — ворохом змей,
Помни: любой завершается плен
Домом, где ищут детей.

Если в груди у тебя — пустота,
Кости белей ковылей,
Значит, пора возвращаться туда —
В дом, где находят детей.
Выловит души из бездны Рыбак
Шелком Небесных сетей,
Солнцу уловом уплатит ясак —
Дом будет полон детей.

Утром взмахнет над тобою Умай⁴ —
Крови и света святей.
Медом восхода насытится чай
В доме, где ждут все детей.

Волки⁵ — посланники предков — нырнут
В лона земных матерей.
Лунной росой наполняется грудь
Женщины в доме детей.
Срок подошел. Помогает врачу
Зверь твой — и роды быстрее.
Ворон⁶ возьмет пуповину твою,
К жизни привяжет плотней.

Смейся во сне, улыбайся: «Ты знай,
Вижу я чистый ручей,
Мама, — то в гости спустилась Умай,
В дом, где находят детей!»

³ Ульген: московские академики считают, что это громовержец, у нас — что Смерть; в принципе, в степи гроза и есть выраженная смерть.

⁴ Умай, Ымай, Хумай — высокочтимая Мать (но не Мать-Зверь), подательница жизни, одна из душ ребенка (от обрезания пуповины до того, когда мы начинаем уверенно ходить), дарительница души-кут; в образе птицы-Хумай — дочь Солнца.

⁵ Волк — тотем тюрков и монголов.

⁶ Ворон (Кузгун, Хусхун, Кутх): по северной границе степи — трикстер, восходящее солнце, образ, посланник и пересмешник Тенгри.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Рассказ

— Как дела, успехи-неудачи, сынок?

Папа открыл дверь машины. Мальчик забросил сначала рюкзак, потом сел сам.

— А мы заедем за перекусом?

— Нет, мама приготовила.

— Жаль, — мальчик вздохнул. Он не любил, что готовила мама, хотя маму любил.

— Успехи-неудачи? — повторил папа.

— Все хорошо, — ответил мальчик.

Разговоры про школу — это не самое интересное, и этот вопрос уже надоел.

— Что проходили? — папа уже отъехал от школы.

— Нам рассказывали про вальтерианцев, — оживился мальчик. — Как они на нас напали, и мы их с трудом победили в очень тяжелой войне.

— Ого! Не рановато ли?

— Было интересно! Это правда, что нас всех чуть не уничтожили?

— Правда. Земля тогда чудом выстояла. Пришлось все отстраивать заново, когда мы вышли из убежищ. Это было трудное время... Но благодаря победителям мы живем теперь в прекрасном и свободном мире!

— А это правда, что у наших предков были технологии круче, чем у нас? Летающие машины, телепортация, космические полеты со скоростью света?

— Правда, только полеты были не скоростью света. Объекты, имеющие массу, не могут лететь со скоростью света. Там создавались пространственно-временные туннели, что-то такое...

Папа замолчал, поняв, что сын не понимает, а он не сможет объяснить.

— А почему сейчас этого нет? — спросил мальчик.

— Понимаешь ли, это были очень сложные технологии, не так легко это воссоздать... Вроде и знаешь как, да не знаешь из чего... Или наоборот: знаешь из чего, да не знаешь как. Многое утеряно. Но мы наверстаем! — он ободряюще улыбнулся сыну. Он верил в то, что говорил. Вот уже пять лет он возглавлял лабораторию квантовых вычислений в Институте прикладной космологии, и его команда добилась впечатляющих успехов.

— Па-ап...

— Что? — он уж забыл про разговор и задумался о своих исследованиях.

— Мне нужно доклад сделать про это.

— Про что?

— Про войну с вальтерианцами.

— Ну сделай. Сколько есть фильмов и книг!

Иван Александрович Гобзев родился в 1978 году, окончил МГУ (философский факультет). Там же защитил кандидатскую диссертацию по философии. Работал в разных профессиях, в том числе корреспондентом и преподавателем. Печатался в журналах «Нева», «Москва», «Новая Юность» и других. Автор трех книг прозы. Живет в Подмоскowie.

— Да там все неправда!

Папа свернул и затормозил у обочины, за которой проходила канава. В канаве лежал всякий мусор. «Что же надо сделать с людьми, чтобы они перестали гадить там, где живут?» — мелькнуло в голове.

— Почему неправда? Кто тебе это сказал? — он обернулся к сыну.

— Митя.

— Митя? А он откуда знает?

— Ему папа сказал.

— А папа откуда знает?

— Не знаю...

Папа вздохнул.

— Сынок, не верь во всякую чушь. Все это правда. Ну да, в книгах и фильмах, конечно, есть художественное преувеличение. Это нормально. Это искусство. Иначе их неинтересно было бы читать и смотреть. Но существуют и документальные источники! Я спрошу на работе, у меня есть доступ к архивам. Я же ученый, — он улыбнулся сыну. — Ну что, в кафе, перекусим?

— А что скажет мама? — обрадовался мальчик.

— Это я возьму на себя.

Он развернул машину и повел ее в торговый центр.

* * *

«В доступе отказано».

Такой ответ получил молодой профессор, доктор наук Виктор Крылов без объяснения причин. Это его неприятно удивило, до сих пор у него не было никаких проблем с доступом к любым архивам. Правда, к чисто историческим архивам он раньше и не обращался, обычно он имел дело с архивами по физике или по истории физики. Но какая разница?

Он решил посоветоваться со своим руководителем и старым другом, который и привел его в эту лабораторию, Магелланом Диоскуровичем, лауреатом Возрожденной Нобелевской премии.

— Ты представляешь, — сказал он, когда они сидели в обеденный перерыв в столовой института, — мне не дали доступ к сведениям о войне с вальтериянцами!

— А зачем тебе? — равнодушно спросил Магеллан.

— Сыну в школе доклад надо сделать.

— Ну и? Мало книг, фильмов?

— Да, но там не все правда...

Магеллан перестал есть и задумчиво посмотрел на него.

— Ну, — сказал наконец он, — всей правды ты не узнаешь, потому что вальтериянцев уже давно не существует.

— Это верно. Но странно, что не дали доступ.

— Хорошо, я постараюсь тебе помочь. Только запрос придется переделать. Это должно быть связано с нашими исследованиями. Ты над чем сейчас работаешь?

— Над квантовыми вычислениями, как и раньше.

— Вот и сформируй запрос соответственно. Что тебе нужно что-то уточнить в этой связи. Тем более связь есть — ведь угрозу нападения вальтериянцев вычислили как раз с помощью квантового компьютера.

Некоторое время они ели молча, каждый о чем-то думая.

— Ты знаешь, кстати, — сказал Магеллан, — к чему наши генетики пришли в ходе последнего исследования? Что примерно через полторы тысячи лет вот эти вот му-

тации охватят все живое. То есть мы так или иначе все станем мутантами. Хотя до сих пор непонятно, как это работает...

* * *

— Чем отличаются квантовые вычисления от обычных? Тем, что квантовый компьютер может вычислять сразу много вещей одновременно. Скажем, есть несколько путей достичь какой-то цели, например, попасть из точки А в точку Б. Квантовый компьютер идет одновременно всеми путями, даже если они исключают друг друга.

— А если путей бесконечно много? — поднял руку студент.

— Значит, он идет всеми ними. Это называется суперпозиция — сложение всех возможных путей. Только нельзя подглядывать, иначе мы разрушим суперпозицию и будет реализован только один какой-то путь. Квантовое вычисление превратится в обычное, и мы получим меньше, чем хотели. Или даже совсем не то, что хотели.

— А квантовый компьютер когда-нибудь ошибается?

— Нет. Ошибаются люди. А калькулятор нет, какой был он ни был, обычный или квантовый. Тем более суперпозиция не может быть неверной. Это же описание всех вероятных путей.

Лекция для первокурсников закончилась. Все прошло хорошо, ему удалось их заинтересовать, и многие останутся на курсе.

В историческом архиве его уже ждали материалы, но те, с которыми он в общих чертах и так уже был знаком. На желтых машинописных страницах были изложены в сжатой форме обстоятельства, приведшие к войне. Там рассказывалось о том, как ученые вычислили, что существует большая вероятность нападения вальтерианцев на Солнечную систему. Вероятность оценивалась как почти стопроцентная, что практически беспрецедентно для квантовых вычислений. Земное правительство решило нанести упреждающий удар, но из-за конфликта с пацифистски настроенными группами, которыми руководили необразованные, не знающие даже основ теории вероятностей люди, претворение решения в действие затянулось, и вальтерианцы успели ударить первыми. Дальше было то, что было.

— Так, это не годится, — сказал Виктор и закрыл папку.

Он встал и прошел через пустынный сумеречный зал к служителю архива.

— Где у вас тут телефон?

Служитель молча указал.

Виктор набрал номер.

— Магеллан, привет! Можешь говорить?

— Что у тебя?

— Мне нужен доступ к настоящим данным, к оригиналам, включая фото, видео, все, что есть. А то, что я получил, написано в каждом школьном учебнике.

— Подожди там, узнаю, в чем дело.

Через какое-то время, не очень долгое, служитель архива подошел к Виктору и сказал:

— Пройдемте со мной. Только учтите сразу, вы должны будете подписать документ о неразглашении. Копировать, фотографировать материалы запрещается. Пересказывать и вообще использовать как-либо содержание архивов запрещено, за исключением материалов, имеющих непосредственное отношение к вашему допуску.

* * *

— Папа, а я могу стать мутантом?

— Сынок, ты нет. Могут твои дети, чисто теоретически, но шансов немного.

— И тогда они будут жить в изоляции, да?

— Да.

— Потому что заразные?

— Ну да. Каким-то образом это передается... Мы не знаем как, но передается.

— Это из-за радиации?

— Возможно. Когда вальтерианцы нанесли по Земле удар, выделилось очень много радиации. Большая часть живого мира погибла, а многое из оставшегося стало мутиться. Это называется генетические мутации. Ты же видел жабоподобные платаны?

— Да! Еще путешествующие одуванчики! И поющие нимфеи! И еще нам обещали показать пульсирующих колибри!

— Так вот такого на Земле никогда не было. Это стало появляться после войны, причем не сразу, а через некоторое время... Знаешь, это, кстати, нерешенная загадка науки на сегодняшний день. Никто не знает, почему все это появилось, потому что с точки зрения биологии такие мутации крайне маловероятны. И несколько столетий слишком малый срок для таких резких изменений, ты ведь помнишь, сколько миллионов лет потребовалось эволюции?! А тут вот так вот, почти сразу, и притом неведь что... Кто разгадает эту загадку, получит премию Гедена.

— Это самая престижная премия в мире науки?

— Да, еще более престижная, чем Возрожденная Нобелевская премия.

— Может, я ее разгадаю? — глаза у мальчика загорелись.

— Может быть! Но для этого надо очень хорошо учиться! Понимаешь?

— Так я хорошо учусь!

— А кто не сделал домашнее задание и вместо сочинения переписал статью из энциклопедии?

— Так случайно вышло, — вздохнул мальчик.

— Как ученый я в такие случайности я не верю. Ладно, приехали, бери рюкзак, беги. Я сегодня поздно.

* * *

То, что увидел Виктор, совсем не походило на развитую в технологическом отношении цивилизацию. На сохранившихся материалах, а это несколько сотен фотографий, видеофрагментов, текстовых и аудиосообщений, были свидетельства о группе первобытных племен, обитающих почти на всей территории небольшой планеты Вальтерия, совершенно случайно обнаруженной относительно недалеко от Солнечной системы. Миссию землян вальтерианцы встретили дружелюбно, ни в чем не препятствовали и легко принимали и перенимали все, что им предлагали. Они не занимались земледелием, было что-то вроде скотоводства, но в основном кормились охотой и собирательством. Не было дорог, строительства и письменности. Жили вальтерианцы в шалашах, которые сооружали из листьев местных растений, отдаленно напоминающих земные пальмы. Устный язык у них был хорошо развит, также были свидетельства, что они владеют какой-то способностью вроде телепатии, но действует она только между аборигенами, потому что обусловлена особым геном. Флора и фауна Вальтерия были хотя и совсем другими, чем на Земле, но очевидно родственны, что говорило об их общем происхождении в далеком прошлом. Что было общим источником, неизвестно. Учитывая расстояние между Землей и Вальтерия, в общий источник поверить было возможно. Правда, последний универсальный общий предок землян (которого генетики достаточно точно реконструировали) не имел общих частей ДНК с вальтерианцами. Но принцип устройства жизни был тот же самый, и легче

поверить, что земляне и вальтерианцы имели общее происхождение, чем в то, что жизнь в одной и той же углеродно-белковой форме возникла независимо дважды на таком расстоянии друг от друга.

Виктор просмотрел всю доступную информацию (что-то мельком, чтобы не терять время) и убедился, что цивилизации в человеческом смысле у вальтерианцев не было. При условии развития в том же темпе, что и на Земле, прошли бы еще тысячи лет, если не десятки тысяч, прежде чем они смогли бы покинуть планету.

Он перешел к следующему массиву источников, посвященному причинам, началу и условиям войны. Он начал с отчетов о прогнозах будущего развития вальтерианской цивилизации, которые делались на основе квантовых вычислений. Эта тема была очень близка его научным интересам, и он разволновался, ожидая узнать что-то, чего так не хватало ему в его исследованиях и что помогло бы продвинуться. Попросив служителя архива принести кофе, он углубился в чтение. Служитель удивился, видимо, он не привык к подобным просьбам, но сходил и принес очень кислый кофе в грязной кружке.

* * *

— Что такое квантовое предсказание?

Никто в аудитории не поднял руки.

— Это предсказание будущего со стопроцентной вероятностью, — сам ответил на свой вопрос Виктор. — Квантовое предсказание в отличие от обычного предсказывает не какой-то один исход, а сразу все возможные, их суперпозицию. А суперпозиция — это есть сто процентов. Точнее, даже так: волновая функция предсказываемых событий говорит, что все возможные исходы реализуются. То есть все возможное происходит! Через неделю пойдет дождь, град, снег и будет ясно одновременно! Однако мы этого никогда не наблюдаем, мы видим что-то одно: либо дождь, либо ясно. Почему?

— Одни исходы могут быть более вероятными, чем другие исходы? — ответили в аудитории.

— Дело не совсем в этом. Все дело в декогеренции, из-за которой суперпозиция распадается. Но про вероятность верно, поэтому мы и говорим: с большей вероятностью мы будем наблюдать ясно, чем дождь. Но это если речь идет о погоде через неделю. А если речь идет о погоде через тысячу лет, то вероятности совершенно равны.

— И значит, мы в принципе не можем сказать, что именно произойдет?

— В общем, да. Это называется теория хаоса. Но наши предки, до войны, каким-то образом научились разбираться с хаосом и предсказывать вероятность того, что может произойти через тысячи лет.

Сразу после лекции Виктор побежал в архив, без обычного обеда с Магелланом. Времени было мало, а материалов много, и он хотел успеть изучить побольше, чтобы помочь сыну с докладом.

* * *

Господин премьер-министр, возглавляющий объединенное Правительство Земли, получил на стол доклад. Пролистав несколько первых страниц, он понял, что ничего не понял. Но это не играло никакой роли, его советники ему все уже объяснили. Доклад служил лишь формальным обоснованием. Но на основании этого доклада будут созданы новые документы, рекомендации, служебные записки, указы и приказы, и следовало бы лучше понимать его логику. Поэтому премьер-министр пригласил своего советника, который курировал в числе прочего направление квантовых предсказаний.

— Серафим, — дружески попросил премьер-министр, — можешь мне простым человеческим языком рассказать, что там? — Он кивнул на доклад. — Я в курсе, но хотел бы еще раз прояснить детали.

— Гедеон Серапионович, в докладе речь идет о результатах квантовых предсказаний будущего вальтерианцев. Выяснилось, что они представляют для нас угрозу.

— Это я и сам знаю! Но в чем угроза-то? Они же дикари!

— Гедеон Серапионович, в ходе вычислений удалось установить вероятность конфликта с ними в будущем. Она составляет восемь процентов. Если говорить более конкретно, то существует вероятность в восемь процентов, что через две тысячи лет, разившись до более высокого технологического уровня, они уничтожат человечество.

— Хе! — усмехнулся премьер-министр. — Две тысячи лет! Да кто знает, что тогда будет... И с чего ты взял, что вальтерианцы разовьются до такого уровня?

— Это не я взял, это вычисления. Вероятность того, что они создадут к тому моменту высокоразвитую цивилизацию, составляет девяносто четыре процента. А это с точки зрения теории вероятностей практически наверняка. Мы сами в этом виноваты, не прилетали бы к ним, вероятность оставалась бы ничтожной.

— Это почему еще? Мы делимся с ними нашими знаниями?

— Да. Но не только поэтому. Прилетев к ним, мы разрушили когерентность квантового вычисления и другие части волновой функции, где они не становятся развитой цивилизацией, больше не играют роли.

— Ты это... Стоп... — махнул на него Гедеон Симеонович. — Давай без этого... Без когеренций и прочей мути... Говори нормально.

— Гедеон Симеонович, — невозмутимо продолжил Серафим, — в общем, ждать будем через две тысячи лет.

— Ладно, понял я, не дурак! Восемь процентов... Восемь... Это много или мало? Хотя и одного процента было бы немало! Один шанс из ста быть уничтоженным, каково тебе?

Серафим почтительно кивнул.

— Свободен. Свяжи-ка меня с министром обороны.

* * *

Во всех источниках говорилось о том, что первыми напали вальтерианцы. Виктор теперь понимал, что они технически не могли этого сделать, разве что речь шла о каком-то конфликте в колонии на Вальтериане, который политики, а за ними средства массовой информации и историки выдали за нападение на Землю.

Ответ на мнимое нападение был жесткий: к Вальтериане отправили боевой космолот, насчитывающий сотни кораблей разных видов, от маленьких истребителей до огромных фрегатов.

Виктор не мог понять, почему земляне не захотели ждать. Ведь впереди у них было две тысячи лет. Они бы ничего не потеряли, подождав, допустим, еще тысячу лет и посмотрев, как идут дела. Возможно, земляне просто не хотели терять время, пока у них была реальная возможность разобраться с потенциальной угрозой. Кто знал, как пойдут дела в будущем, мало ли какое потрясение, какие социальные и природные катаклизмы могли случиться на Земле, в результате которых стало бы невозможным предотвратить нападение? А может быть, здесь имел место просто человеческий фактор? Правительство решило увековечить себя в памяти человечества как его спасителя и не отдавать славу тем, кто придет после? А может быть, были и еще какие-то тайные причины, о которых остается только гадать... Скорее всего, имело место сра-

зу много разных факторов, а не какой-то один, так ведь обычно и бывает. Людям просто хочется найти какую-то единственную простую и ясную причину, а ее нет, мир устроен сложнее, и в основе всегда лежит сразу много причин, причем некоторые из них в принципе не могут быть определены точно — как в квантовой механике...

Но ведь чем все это обернулось! Тем, что человечество в итоге едва выжило и чуть не скатилось к первобытному образу жизни. Да еще эти мутации... Почему не предусмотрели это? Имея мощнейшие инструменты квантовых предсказаний, люди того времени могли знать, что их ждет!

Виктор расчистил стол и поставил на него два контейнера с информацией о квантовых прогнозах в интересующий его период истории. По верху контейнеров шла лента с надписью: «Совершенно секретно! Вскрывать запрещено!» Виктор на секунду задумался, потом решительно взялся за первую ленту и сорвал ее.

— Вскрывать запрещено! — крикнул служитель архива из своего угла.

— А зачем мне тогда их дали?

— Это не мое дело. Я знаю только, что вскрывать запрещено.

— Ну я вскрыл уже.

Служитель пожал плечами.

Расшифровка предсказаний оказалась сложным делом. По всей видимости, раньше была специальная программа, которая интерпретировала их на естественный язык. Сейчас же Виктору пришлось иметь дело с наборами битов. Ключ к расшифровке был, в противном случае ничего понять было бы невозможно в сплошных строках из единиц, нулей и каких-то других символов, но даже с ключом работа продвигалась очень медленно. «Эдак я просижу тут две сотни лет, прежде чем все расшифрую», — подумал он, наскоро посчитав объем работы.

Было ясно, что быстрее получится написать программу, которая расшифрует предсказания, чем расшифровывать самому. Такую простую программу его студенты могли бы написать за один вечер. Но нужно, чтобы либо он смог скопировать данные, либо чтобы его сюда пустили с ноутбуком. Учитывая, что сказал служитель про эти контейнеры, он решил не спрашивать разрешения. Он просто придет с ноутбуком.

* * *

— Папа, ну как дела? Ты узнал что-нибудь интересное про войну с вальтерианцами?

— Пока нет. Сейчас тебя домой отвезу и поеду в архив искать дальше!

— А кто меня с тренировки заберет?

— Наверное, мама!

Мальчик расстроился:

— А почему не ты?

— Я же в архиве буду. Там очень много надо всего успеть прочитать и посмотреть.

— Ладно, — вздохнул мальчик.

Виктора охватил исследовательский пыл, какой он в последний раз испытывал много лет назад, когда неожиданно нащупал путь к значимому открытию в области квантовых вычислений. Точнее, это было переоткрытие утраченного знания, но это не убавляло его заслуги. И хотя никто не знал, как реализовать на практике его открытие, все понимали, что когда-нибудь оно сыграет прорывную роль в создании квантовых компьютеров.

С тех пор Виктор работал над разными проблемами и получал интересные результаты, но такого азарта уже не испытывал. И вот его снова захватило — и что удивительно, это было скорее историческое исследование, почти совсем из другой области!

Забросив сына домой, он поехал в архив.

— С ноутбуком запрещено! — заметив, что Виктор раскладывает на столе, служитель архива встал и зачем-то снял очки.

— Мне разрешили. Я не могу работать без ноутбука, некоторые вычисления займут слишком много времени!

Это не было совсем неправдой. Виктор встречался за обедом с Магелланом и сказал тому, что ему нужен портативный компьютер. Магеллан ответил, что Виктор может попробовать его взять с собой, потому что речи о том, что этого делать нельзя, не шло. Но если отберут, то тут уже ничего не поделаешь.

Виктор был готов к такому исходу, но служитель, постояв некоторое время, сел обратно, надел очки и стал решать кроссворды, запивая чаем из большой кружки. Служитель и сам не знал точно, можно или нельзя с портативным компьютером, в его отделе вообще очень давно никто не появлялся, если не считать уборщицу. «Потом позвоню, доложу!» — решил он и занялся отгадыванием слова, начинающегося на «к» и кончающегося на «т».

— Мельчайшая частица или порция энергии, означает «сколько»... — пробормотал он. — Чего сколько? Непонятно. Это же атом мельчайшая, все знают. Четыре буквы, подходит, только вот не на «к»... Но ведь все верно, там «мак-шептун»...

— Квант! — громко сказал Виктор.

Служитель вопросительно посмотрел на него сквозь очки.

— Квант! — повторил Виктор. — Мельчайшая частица.

— Спасибо, — криво усмехнулся служитель, как человек, не привыкший никому говорить «спасибо» и чувствующий из-за этого неловкость.

Виктор стал вводить данные в компьютер. Работа была кропотливой и долгой, исключавшей какие-либо ошибки. Одна ошибка и на выходе будет бог знает что.

* * *

— Господин премьер-министр! Появились новые данные!

— Ну давай, наконец-то! Только лицо попроще сделай.

— Прошу прощения, Гедеон Серапионович?

— Ну у тебя рожа такая, покорная, но и как будто высокомерная в то же время. Типа «мое почтение, господин премьер-министр, но я-то знаю, какой вы дурак!»

— У меня и в мыслях такого нет...

— В мыслях нет, а на роже написано! Ладно, давай свои данные.

Советник, нахмутив брови, быстро доложил:

— Вычисления показывают, что с вальтерианского направления в направлении Земли прилетит крупный метеорит, способный уничтожить все живое.

— Насколько крупный?

— Сто пятьдесят-пятьсот километров в диаметре.

— Да что, разве это такой уж крупный?

— Вообще-то, да, Гедеон Симеонович! Нам хватит...

— Точно ли прилетит?! И когда именно?

— Не точно. Но очень вероятно. Когда именно прилетит, сказать невозможно, но, скорее всего, появится в окрестностях Солнечной системы в любой момент в ближайшие пятьсот лет минус то время, которое ему нужно, чтобы долететь до нас.

— А при чем тут вальтерианцы? Разве они могут метеорит запустить?

— Это вряд ли. Но точно известно, что если прилетит, то от них.

- Так, может, и прилетит, потому что мы на них нападём? Лучше не трогать их тогда, что скажешь?!
- Не знаю. Квантовые предсказания сами себя не интерпретируют.
- Ясно! Свободен. Соедини меня с министром обороны.

* * *

Виктор давно закончил расшифровку и уже долгое время сидел перед монитором, пытаясь понять, что все это значит. Да, квантовые предсказания не ошибаются, от пояса астероидов на Вальтериане должен был прилететь астероид на Землю. С космологической точки зрения это маловероятное событие, чтобы астероид вдруг отделился от одной звездной системы и полетел в другую с очень высокой скоростью и точностью, чтобы за такой ограниченный промежуток времени преодолеть большое расстояние и упасть прямо на Землю... Для этого его нужно было бы запустить, но чтобы произвести такой запуск, потребовались бы очень сложные технологии, которых у вальтерианцев, конечно, не было. Да их и у землян-то не было... Или были?

— Невероятно, — пробормотал Виктор.

Земляне эпохи войны с вальтерианцами, судя по результатам расшифровки, тоже не знали, каким образом те запустят астероид, или же он прилетит случайно. Но решили не ждать и нанести удар как можно скорее. Теперь-то им уже точно было ясно, что Вальтерия вольно или невольно представляет для Земли угрозу.

* * *

Среди груды бесполезных материалов Виктор нашел один если и не особо полезный, то довольно интересный. Это был срез настроений людей эпохи войны с вальтерианцами. Кто проводил это исследование и с какой целью, Виктор не знал. Из контекста он понял, что значительная часть землян была против войны, потому что не верила в злой умысел вальтерианцев или же потому что просто придерживалась пацифистских настроений. Многие полагали, что нужно стремиться к миру и переговорам, а не к нагнетанию военных настроений. Были и такие предположения, что земляне все это затеяли ради якобы богатых ресурсов Вальтерия, которые люди полностью хотели забрать себе (это оспаривалось, так как, по опубликованным данным, в окрестностях Солнечной системы полезных ископаемых было несравнимо больше). Согласно проведенному исследованию, подавляющее большинство землян все же выступало за войну и крайне негативно реагировало на противников такого решения.

Больше всего Виктора поразило огромное количество заведомой лжи. Это была гипертрофированная ложь, целью которой было превознесение землян во всех аспектах, их возвеличивание и абсолютная героизация. Прошлое Земли представлялось как сплошная череда героических свершений людей — всех как одного не знающих слабостей и сомнений. Часто встречалось высказывание: «Мы земляне, с нами Арум-Курум!» Название Арум-Курум получили развалины древнейшего комплекса сооружений, найденные с помощью сканирования на планете у одной мертвой звезды очень глубоко под поверхностью. Было установлено, что это следы некогда разрушенного суперкомпьютера, и ученые выдвинули гипотезу, что комплекс мог предназначаться для нейросети, способной создавать виртуальные вселенные. С течением времени Арум-Курум стал отождествляться с богом, и возникла популярная религия, включающая в себя элементы других религий.

Виктор читал долго, несколько часов. Ему стало казаться, что люди той эпохи ненавидели всех, и, наверное, в первую очередь самих себя. Они грезили смертью, они вспоминали самые темные времена своей истории и мечтали об их возвращении. Они требовали возрождения диктаторов. Они хотели все поделить на черное и белое, однозначно указать на добро и зло. Но кто был этим злом? Вальтерианцы, дикари, которые были очень далеко, и их вживую видели только несколько сотен ученых.

Виктор отхлебнул отвратительный кофе, принесенный служителем. В голове полученная информация не укладывалась. Он был образованным человеком, и никаких иллюзий относительно человечества в целом у него не было, он знал о том, что люди — это все же животные, которыми во многом управляют неконтролируемые эмоции и которых в нужное русло надо направлять тщательным воспитанием и образованием, а часто и медикаментозной терапией (его друг Магеллан вообще выступал за генетическое вмешательство). Но в том-то и дело: образование и воспитание... Это же была эпоха невиданного расцвета гуманизма, культуры и науки. Казалось бы, царство разума!

* * *

— В эфире программа «Земля сегодня»! Наши гости: профессор Арктического исследовательского университета Роберт Рамштэйн и предводитель движения «Земля всегда права» Джон Смит Кувалда, — сказав это, ведущий улыбнулся, предвкушая славную битву.

Виктор смотрел записи видеопрограмм, снятых в эпоху войны. Записей было много, на самые разные темы. Особенно понравились видео про жизнь животных, сделанные с необыкновенным мастерством. Казалось, что оператор был одним из этих давно вымерших или до неузнаваемости мутировавших видов, участвовал вместе с ними в их жизни, а они его совершенно не замечали. Хорошо бы сыну все это показать! Ему бы понравилось, да и вообще всем детям. Почему эти материалы в закрытом доступе?..

Однако с жизни животных ему пришлось переключиться на жизнь людей.

— Я считаю, — сказал профессор Рамштэйн, — что людям необходимо ненавидеть. Люди хотят вражды, просто потому что они так устроены. Люди склонны к агрессии — всем нам это нужно, к сожалению, это механизм, заложенный в нас природой.

— И вы тоже склонны? — спросил с усмешкой ведущий. Было видно, что он не одобряет слова профессора и вообще тот ему не нравится.

— Да, и я тоже, — с достоинством ответил профессор. — Но у человека есть разум, и он на то нам и дан, чтобы управлять собой, руководить нашими биологическими позывами, обостренным осознанием собственной никчемности... А не подчиняться им! Как эти вот...

И он кивнул на монитор в студии, на котором показывали сюжет про митинг против вальтерианцев.

— Вы кого имеете в виду? — спросил Джон Смит.

— Да вас я имею в виду, невежд... На таких, как вы, и держится возможность уничтожения других людей, даже инопланетных рас.

— То есть вы полагаете, что наше дело не правое? — покраснев, сказал Джон Смит. — Что все эти люди не хотят справедливости? Что они не стоят на защите мира, который хотят у нас отнять?

— Да, я так полагаю. Только всестороннее просвещение может спасти человечество!

— Ах ты, скотина!

И Джон Смит бросился на профессора, повалил его на пол и стал бить по лицу пу-
довыми кулаками. Ведущий с улыбкой развел руками.

Виктор выключил запись.

* * *

Вальтерианцы называли себя родными землян. Они показывали на землян и го-
ворили: «Мы ваши папы и мамы». На самом деле в их языке родственные отношения
имели другой принцип обозначения, чем у людей (пол у них был всего один), но смысл
перевода в общем верен. Они показывали на небо, откуда прилетели земляне, и гово-
рили, что они знали, что мы там. Никаких доказательств утверждаемых ими связей
не было. Никаких памятников архитектуры, никаких записей, никаких мифов, ни-
чего. Самое древнее, что у них было, — мелкие поделки из костей и камней, которые
изображали чаще всего животных и служили для детских игр. У вальтерианцев бы-
ло что-то вроде религии, но культа не было. Они верили во что-то, но это не имело
конкретного описания, поэтому земные антропологи и филологи не смогли узнать
никаких подробностей.

У вальтерианцев было принято съедать усопших родственников, чтобы и после
их смерти оставаться с ними. Было выяснено, что это не метафора — гены съеденных
родственников встраивались в геном съевших его. Вальтерианцы утверждали, что та-
ким образом они сохраняют связь с ушедшими, могут общаться с ним и делить вос-
поминания. Если же помирал одинокий вальтерианец, не имеющий родственников
или вдали ото всех (что случалось редко), то его никто не съедал. Про такого говори-
ли: «Он ушел от нас туда, откуда пришел» — и указывали куда-то в сторону звезд. Вооб-
ще, эта способность — встраиваться в геном другого организма — была чрезвычайно
широко распространена на Вальтериа, это умели делать все, поэтому в каком-то смыс-
ле всю фауну (а может быть, и флору) можно было рассматривать как единый орга-
низм. Людям были даны строгие предписания на этот счет: чтобы не «заразиться», нуж-
но было постоянно носить специальные скафандры, фильтрующие внешнюю среду
до размеров атомов.

На Земле это многих раздражало. Люди не хотели, чтобы эти «жабы», как их часто
называли, были их родственниками. Впрочем, некоторые, особенно те, кто успел по-
жить на Вальтериане, находили их даже красивыми, и все чаще среди ученых звучали
положительные отзывы об их культуре.

Один известный миссионер и антрополог, прибывший на Вальтериа с целью об-
ращения туземцев в свою религию, прожил там десять лет и обратился сам. Он остал-
ся жить в лесном племени в самой труднодоступной части планеты и спустя какое-то
время оборвал все контакты с людьми. Посылали поисковые экспедиции из опасе-
ния, что вальтерианцы убили его (хотя они были исключительно миролюбивы и уби-
вали только тех, кто сам хотел этого), и всякий раз убеждались, что он жив и здоров,
но категорически не хочет возвращаться и даже общаться с представителями свое-
го вида. На Земле у него остались жена и взрослые дети. Поговаривали, что он нашел
себе на Вальтериа новую жену, но с точки зрения науки такая версия не выдержи-
вала критики.

Было установлено, что в прошлом Вальтериа перенесла ряд серьезных природных
катаклизмов — один из самых грозных случился несколько десятков миллионов лет
назад, когда в относительной близости произошел взрыв сверхновой. В результате

катастрофы была уничтожена большая часть флоры и фауны планеты. Генетические исследования показали, что в тот момент вальтерианцы уже существовали практически в том же виде, что и сейчас. Таким образом, в их преданиях могли бы сохраниться сведения о том событии и как им удалось выжить. Но миллионы лет — это слишком большой срок, и сведения о катастрофе либо стерлись из родовой памяти, либо исказились до неузнаваемости. Впрочем, преданий как таковых у вальтерианцев и не было.

Вальтерианцы легко перенимали все, что им давали люди, и быстро научались делать то же самое. У них были очень хорошие способности, и ученые поняли, что с помощью землян они не то что за две тысячи лет, а за несколько десятилетий станут развитой технологической цивилизацией.

Но зачем им нападать на Землю и уничтожать человечество? Этого Виктор не мог понять. Квантовые предсказания не врут, поэтому сомневаться в вероятности такого исхода было невозможно. Оставалось считать, что некоторые обстоятельства будущего, которые могли привести к войне, были принципиально неизвестны.

* * *

— Господин премьер-министр, итак, мы реализуем план «А»?

— Нет, план «Б», — ответил премьер-министр.

Он постоянно думал о «проблеме Вальтериа». Она не давала ему спать. Разумеется, он мог бы не решать эту проблему, а дожидаться конца своего срока и оставить ее тому, кто придет после. Но это было бы слабостью. Он таким образом снял бы с себя ответственность. Что про него скажут потомки? Вполне вероятно, что вообще ничего! Что он сделал? Да, он поддерживал стабильность, время его правления — время мира и спокойствия. Но кто ценит это? Кто помнит о таких правителях?

— Господин премьер-министр, вы уверены? План «Б» мы можем оставить для других, времени достаточно.

— Я сказал «нет». Мы должны решить эту проблему окончательно и не перекладывать ее на плечи тех, кто придет после нас. Никто не знает, смогут ли они. А мы сейчас можем и, значит, должны!

— Я боюсь, найдутся и те, кто нам этого не простит...

— Что не простит?! То, что мы спасли Землю, человечество от верной гибели?

— Но вероятность только восемь процентов, и в запасе очень много времени...

— Скажи, ты просто трус?! А про астероид ты забыл? Решил поставить на кон жизни миллиардов людей?

Советник склонил голову.

Гедон Серапионович опустил в кресло, тяжело дыша. Он покраснел от раздражения.

— План «Б»! — повторил он четко, чтобы ни у кого, в том числе у него самого, не оставалось сомнений.

* * *

Такой большой флот и не нужен был. Это скорее была демонстрация, причем не для вальтерианцев (они все равно его не видели и ничего не подозревали), а для жителей Земли. Земляне должны были понимать, что это серьезное, грандиозное дело.

Хотя нельзя сказать, что вальтерианцы совсем ничего не подозревали. В один прекрасный солнечный день все люди внезапно покинули их планету. Они собрались, се-

ли в транспортный корабль и улетели. Некоторые из них не хотели улетать, но это был приказ с Земли. Остался только антрополог-миссионер, который уже стал сам немного походить на жабу, хотя за такой короткий период он не мог мутировать — это могло бы случиться только с его потомками. Вальтерианцы спрашивали его, почему вдруг улетели их «дети», но он ничего не мог им ответить. Конечно, у него были догадки, потому что он неплохо знал историю человечества и, кроме того, до него доходили кое-какие слухи про настроения на Земле. Но какой был смысл зря расстраивать вальтерианцев?

И вот ровно в Новый год по земному исчислению времени, когда на той части Вальтериа, над которой стоял флот, поднялось солнце и окрасило горы, леса и моря розовым светом, и когда воздух особенно чист и свеж, и просыпаются лесные обитатели и начинают петь, и выползают греться в лучах все, кто любит тепло, а маленькие вальтерианцы, едва проснувшись, сразу начали бегать и смеяться, потому что дети — они такие дети, похоже, во всей Вселенной одинаковые, невероятный фрегат «Победа» отделился от других кораблей и спустился на более низкую орбиту. Остальные корабли остались на месте, потому что в них нужды не было, «Победа» справится сама.

«Победа» выпустила один-единственный снаряд. Его мощности хватало для того, чтобы сдетонировало ядро Вальтериа. Но если бы оно и не сдетонировало, то взрыв был бы колоссальной силы. Все было бы разрушено, поглощено огнем, отравлено радиацией. Выжить в таких условиях невозможно, исключая бактерии и вирусы глубоко под поверхностью.

Но все пошло как надо, и ядро сдетонировало.

* * *

Метеорит прилетел, но произошло это через триста лет с лишним лет, когда все успокоились, потому что его не ждали и про него забыли. Он был не похож на обычный метеорит. Ученые провели спектральный анализ и поняли: это осколок планеты Вальтериа, разлетевшейся на куски в результате взрыва. И теперь он летел прямо к Земле с огромной скоростью.

Земляне недоумевали, как они могли его пропустить, ведь диаметр подлетающего куска планеты был очень велик — более четырехсот километров в диаметре! По астрономическим меркам, конечно, немного, но для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле, вполне достаточно.

Как назло, единственное оружие, способное уничтожить такой метеорит, было далеко — фрегат «Победа» находился в окрестностях Вальтериа, потому что после взрыва планеты осколок повредил систему управления, и он не мог самостоятельно вернуться домой. Отремонтировать его могли только на верфи на Земле, а буксировать было слишком долго, и в итоге решили оставить его на месте до тех пор, пока не появится способ решить эту проблему.

И вот лучшие земные умы, лучшие ученые, инженеры и военные объединили усилия в поисках предотвращения беды. Но все было напрасно, им удалось лишь расколоть метеорит на три части, и, вероятно, из-за этого стало только хуже. Одна из этих частей взорвалась в атмосфере, пролившись огненным дождем и испепелив все, что было под ней на тысячи километров, другие две долетели горящими булыжниками и упали в других местах: первый в океане, второй на материке. Таким образом, Земля приняла три мощнейшие ударные волны.

Разрушено было все, созданное природой и людьми, небо заволочло огненным туманом из пепла и частиц Земли и Вальтериа, и на многие годы наступили сумерки.

А потом, когда пожары потухли и планета остыла, наступила зима, возможно, самая долгая и холодная в истории планеты.

Миллионы людей укрылись в автономных убежищах глубоко под Землей, построенных еще две с лишним сотни лет назад и снабженных всем необходимым для выживания в течение длительного периода времени на случай падения метеорита и на падения вальтерианцев, но большая часть человечества погибла.

Что удивительно, кто-то на поверхности Земли выстояло. Так, остался многометровый монумент спасителю человечества, премьер-министру Гидеону Победителю, установленный на Площади Согласия. Он пережил все разрушения и пожары, ушел под снег и простоял сотни лет, скованный льдами, пока климат на Земле не изменился. Люди, вышедшие наконец на поверхность почти мертвой планеты, обнаружили его в целости и сохранности.

* * *

— Сынок, ты спишь?

— Нет, тебя жду. Ты где был?

— В архиве опять... — Виктор тихо сел рядом с сыном и включил ночник. Он говорил шепотом, чтобы не разбудить маму в соседней комнате.

— Ну и как? Ты узнал про войну? У меня доклад уже послезавтра.

— Да, я много узнал и сам помогу сделать тебе этот доклад! Я даже специально взял ради этого выходной, чтобы вместе с тобой поработать!

— Ух ты, круто! Мы сделаем классный доклад?

— Да, очень. И знаешь, что я придумал?

— Что?

— Я сделаю так, что твой доклад увидят все люди Земли. Когда ты будешь его делать, он будет транслироваться повсюду в мире. Каждый сможет его посмотреть!

— Вот это да! Я стану знаменитым?

— Без сомнений! Ты станешь самым знаменитым школьником на планете.

— А мне дадут премию имени Гидеона?

— Этого я не знаю... Не уверен. Но все может быть! Ладно, пора спать! Высыпайся, завтра у нас много работы.

Виктор выключил свет и наклонился, чтобы поцеловать сына.

— Папа, постой! Ты узнал что-нибудь про вальтерианцев? Их вообще не осталось?

Виктор постоял молча, думая о чем-то, потом сказал шепотом:

— Ты знаешь, а похоже, они остались. Только они теперь на Земле! Да-да, — повторил он, вдруг как будто поняв что-то удивительное, — теперь вальтерианцы среди нас!

— Как страшно... — прошептал мальчик и натянул одеяло на голову.

— Не бойся, они совсем не страшные! Разве что с виду, но на деле нет.

— Ты мне их покажешь?

— Запросто. Они теперь есть повсюду. Но завтра! Завтра мы добавим их в твою презентацию. А теперь спать!

И он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Пройдя на балкон, он оперся на перила и стал смотреть на сад внизу. Прямо под ним рос большой жабоподобный платан.

«Квантовые вычисления не врут», — подумал Виктор.

СТАРОМУ

Двери скрипом играли ноктюрн на просевших петлях,
Рамы битым стеклом собирали сияние неба.
Там с полвека уже не водилось ни соли, ни хлеба,
Там с полвека не мерили время ни в днях, ни в рублях.
Там сквозняк щекотал половицы. Стояли часы.
Молчаливо о чуде столетние книги молились:
Может, время наступит, еще б и онигодились,
Только вот уберечься бы им от вечерней росы...
Глубоко и надолго уснула беленая печь,
Но дыханием гулким уже не пугала и мыши.
Просьпайся. Очнись! Пока свет еще пляшет по крыше,
Пока толику этого все еще можно сберечь.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Давай я простыми словами? —
Без лирики лишней в куплете.
Я мало что помню о маме,
Как все нежеланные дети.
Сейчас, на четвертом десятке,
Все ясно, как дважды четыре:
Моя в перемычках кроватька
Стояла у деда в квартире.
В серванте хрустальная ваза
И Пушкина тридцать три тома.
Мне стало понятно не сразу,
Что это далекое — «дома».
И самые горькие слезы
Ночами мочили подушку.
Пусть горе и не было «взрослым»,
Но рядом был дед. И был Пушкин.
И снилась мне Лебедь-царевна
(Которая будто бы мама).
Приедет за мной непременно,
Я верила в это упрямо.

Ольга Сергеевна Викторова родилась в 1984 году в Воркуте. Высшее управленческое образование. Дебют состоялся в художественном журнале «Арт» (2023). Участник республиканского семинара молодых авторов в Сыктывкаре. Публиковалась в литературных альманахах «Белый бор» (2023) и «Заполярье» (2023). Живет в Нарьян-Маре.

И так не хотелось проснуться!
...Четвертый десяток — не время?
Порой нам так важно вернуться
К тому, что мы в детстве не ценим.

МАРТОВСКОЕ

Подморозило. Переменчиво.
Озираясь, балует ясное.
И машины воркуют встречные,
Черно-бело- и — разно-красные.
Подморозило. Белым инеем
Окна старых домов подернуты,
Их могучие тени длинные
От звенящих лучей отвернуты.
Подморозило. А по лужицам
Дети корку, смеясь, растрескали.
И забавится им, и дружится,
И играет в дни прелестные.
Подморозило. Мартом дышится,
Вопиюще- и ярко-утренним.
И едва уловимо слышится
В каждом встречном ребенок внутренний.

МАМОЧКА

А ты не помнишь? Я вот помню, мамочка,
Как ты меня из садика везла
На старых-старых разноцветных саночках,
На тех, что нам соседка отдала.
А ты не помнишь? Я вот помню искорки
Снежинок, заблудившихся в платке.
И ветер помню северный, неистовый,
И огоньки оконцев вдалеке.
Тетрадок стопку, каждый вечер новую,
И у настольной лампы словари.
И книгу сказок. Перед сном. Знакомую.
Ну, да и пусть же! Мама, повтори!
Беленой печи жар. По воду валенки
На босу ногу, скоро со двора...
А ты не помнишь?
Это я!
Я — маленький!
...Я помню это. Будто бы вчера.

* * *

Можно долго смотреть, как река течет.
«Лягушат» пускать, или как их там? —
Если с плоским камешком повезет,
Раз-два-три — и попрыгает по волнам.
Можно слушать, как птицы поют кругом.
Комары звенят, ну а как без них?
Задремать над закинутым поплавком,
Если солнце низко, а ветер стих.
Разномастным густящимся облакам
Имена безответственно раздавать.
Помахать проплывающим рыбакам
(Ты попробуй! А весело так махать!).
Берег. Ты. Река. Никаких дилемм.
Может, чай с печеньками в рюкзаке.
Если вдуматься, счастье доступно всем.
Всем, кто знает, что можно прийти к реке.

* * *

Ты научил меня не врать,
Не врать самой себе.
Живя, отчаянно желать
Три счастья по судьбе:
Чтоб рядом крепкое плечо
И дети за спиной,
Тогда на сердце горячо,
А на душе — покой.
Ты научил меня не врать,
Не врать себе самой,
Держать удар и принимать
Удар. И снова в бой!
Учил любить и ощущать
Чужую боль нутром.
И делать! Делать! Да, опять!
Без «завтра» и «потом».
Всегда — всегда! — в глаза смотреть
И для себя решить
Сейчас, единожды и впредь,
Какой хочу я быть.
Чего же ждать от той меня,
Что не умеет (да! —
Вот так, до нынешнего дня!) —
Прощаться навсегда?

СУП БЕЗ СОЛИ

Суп без соли, без сливок кофе —
 Пресно, горько, но нет забот.
 Все без всех в самом деле — могут,
 Могут, правда... Да только вот
 Лучше в зеркало. Выкинь паспорт,
 Он считает не ту весну.
 Суп без соли? Вот так бы сразу...
 Проревись. К твоему рассказу
 Дай-ка горькой тебе плесну.
 Если рядом, то крепче спится.
 Если близко, терпима боль.
 Породнились — не разродниться.
 Придышались — не разлучиться.
 Кофе — сливки. И суп, и соль.
 Прямо в зеркало. И по-русски,
 Без лукавства, себе самой:
 Всем без всех в самом деле — пусто.
 Два гудка: «Я спешу домой».

* * *

Сшей мне платье, портной,
 На прием во дворец
 (Говорят, мы бывали там прежде),
 Чтоб меня не нагой
 Лицезрел бы Творец.
 Неуютно стоять без одежды.
 Сшей мне платье, портной,
 Из зимы, из пурги,
 Из метели нежданной-незваной.
 Чтобы мне — с головой,
 И не видно ни зги,
 Что в душе там моей окаянной.
 Пусть укрыта зимой
 Будет каждая пядь —
 Вот тогда я и буду довольна!
 Сшей мне платье, родной,
 Перед Богом стоять,
 Чтобы каяться было не больно.

* * *

В осторожном дыхании осени
 Мне как будто печальное чудится.
 Деревя еще листья не сбросили,
 И трава по земле не простудится.

В ясном воздухе сладость тягучая.
В бездождливую пору осеннюю,
Будто душу свою отдающее,
Над землею парит Воскресение.
И неслышно взбиваясь перинами,
Где-то в небе таится прохладная,
Неизбежная, необратимая
Обнаженья пора безотрадная.

В ЭТОМ БЕЛОМ

Там, в этом белом, что-то
Спутало мыслей ясность,
Солнце на небо, в праздность,
Выкатило в субботу.
Что-то — спугнуло ветер,
Он и затих в печали.
Ели его качали
В такт через две на третью.
Ярче вспыхнули краски.
Землю засеребрило.
Там, в этом белом, было
Тихо и так прекрасно!
Медленно просыпалось
И разлилось повсюду:
Там, в этом белом, Чудо,
Чудо на свет рождалось.

ЧТО НОЯБРЬ, ЧТО АПРЕЛЬ

Что ноябрь, что апрель — все едино.
Снегодождь налип на ветви ольхи.
Под ногами чаще лужи и льдины,
Острова сырой белесой трухи.
Что ноябрь, что апрель — те же мухи
В свете желтых фонарей сверху вниз.
Сизым веком задремавшей старухи
За окном моим трепещет карниз.
На ветру скрипят седые отливы.
Может, снится что, поди ж разбери...
Не апрельские звучат лейтмотивы,
По-ноябрьски скулят фонари.
Что ноябрь, что апрель — замечает
Тротуары, крыши, лавки, дворы.
Благосклонно с неба утро взирает:
«До поры. Ты обожди до поры...»

MINDESTKONTAKT ERFORDERLICH¹

Повесть *

1. РОМА, БАРМЕН

Бармен Рома — небольшого роста, с крашеными волосами, шуплый; по виду мелкий Курт Кобейн с каким-то очень простодушным взглядом светло-серых глаз. Совсем не кобейновским! Одет в футболку нейтрального цвета, на руках неразборчивые татуировки. Лет, что ли, тридцать пять ему?

Бар маленький. Да и не бар вовсе, а стойка на фуд-корте, несколько десятков золотых кранов в пять рядов (сверху вниз) торчат из стилизованных бочонков. Тут же два-три столика. Посетители пьют пиво, Рома разговаривает с ними, а кажется, что сам с собой. Да так и получается — редко кто дослушивает его бормотание до конца.

Вообще, говорит как бы не всерьез, как бы играя. Это чтобы, если что, отыграть назад, превратить в шутку.

— Истина — это ведь что? Только то — да? — что вы видели сами. Посмотрели, сравнили с увиденным ранее, сделали оценку и получили выводы. То, что вы видели сами, ну ведь правда? «Видели» и «слышали» — разные вещи. Собственные ваши выводы и выводы, сообщенные вам кем угодно, — абсолютно разные вещи. Ну согласитесь! То, что вы не видели сами, истиной не было и не будет. Это будет слепой верой. Которая характерна для фанатиков. Фанатик — тот, кто слепо верит в услышанное. Мы не фанатики, правда?

Кто и слышит его (если такие есть), с ним не спорят. С чем тут спорить? Играет — фоном — музыка, Стинг вроде.

Рома переходит к самому главному.

— Что такое пандемия — сильная эпидемия, бушующая на территории стран и континентов. А что такое эпидемия — инфекционное заболевание, значительно превышающее обычный уровень, при котором заболевает пять и более процентов людей. Посчитаем. При живущих на Земле семь целых семь десятых миллиарда заболеть должно минимум четыреста миллионов. За год. При живущих в регионе два с половиной миллиона человек заболеть должно сто пятнадцать тысяч. При живущих в подъезде дома трехсот человек заболеть должно пятнадцать. Если в деревне на одной улице живет сто пятьдесят человек, то заболеть должно семь. Теперь посмотрите и посчитайте.

Михаил Вячеславович Гундарин родился в 1968 году. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Преподает в вузах, кандидат философских наук. Автор более 10 книг стихов и прозы, многочисленных литературно-критических статей и эссе. В соавторстве с Евгением Поповым написал биографии Ф. Искандера и В. Шукшина. Живет в Москве.

¹ С немецкого — «требуется минимум контакта», стандартная пандемийная формула.

* Журнальный вариант.

Вас не удивляет, что в первый год вы не видели ни одного заключения патологоанатома о смерти от коронавируса? Хотите посмотреть? Попробуйте. Не получится. А потом да, потом стали писать. Вакцина — на респираторный вирус (как платформу) прицепили часть капсулы с кодом коронавируса, на который должен отреагировать ваш иммунитет. Вакцину выращивают. И колют в тело человека. Тело после укола получает, как минимум, двух врагов: аденовирус и код коронавируса. Тело начинает реагировать в виде выработки белка, атакующего и нейтрализующего врага. Команду вырабатывать белок, идущий на врага, выдает геном. Исследований на выдачу команды геномом не велось. Исследования реакций на код коронавируса не проводилось. Это так, можете проверить, да!

Из исследований аденовируса известно, что он ведет к поражению бронхов и легких. Кроме поражения аденовирусом дыхательных путей, нет других исследований. Исследований, будет ли долбить вирус ваши личные гены и хромосомы, тоже нет. Примерно двадцать тысяч генов, находящихся в геноме, могут быть подвержены бомбардировке. А могут быть и не подвержены.

Такие исследования длятся минимум десять лет. А так как гены в определенной комбинации отвечают в теле за все, к примеру за деторождение, то, что будет с вашим потомством, также неизвестно. В ковид кто колосся, тем только хуже было. Именно поэтому. И они снова, снова!

На последних словах он особенно яростно ворвался салфеткой в пивную кружку. И еще раз, и еще.

Может быть, он актер? И это он так учит роль? Такой вот актер любительского театра. Им задают разные упражнения, даже не в смысле заучивания слов получается суть, а в том, чтобы проговаривать большой объем текста. И не то что смысл не важен — он даже вреден. Чем бессмысленнее текст, тем лучше упражнение. Ну вот, например, берется чей-то пост в соцсети, и его надо заучить и произнести, будто бы он что-то означает. Будто Шекспир. Шекспир, ха!

— То, что внедренные два врага в ваше тело разбалансируют ваше тело, надеюсь, сомнений нет? Это побочка. В случае побочки нужно выяснить, какой из врагов нанес вам поражение. А этого, к сожалению, в местных больничках не делают. Страшные картинки в телевизоре из «красных зон» на вопросы не отвечают. В так называемых «красных зонах» находились люди с поражением легких от аденовируса (платформы) или от кода коронавируса? Чуваки, так? Или те, у кого нет иммунной системы? И почему у них вдруг ее не стало? От разбомбленных врагом хромосом? Или от расстрелянных аппаратом ИВЛ легких? Вот правда в чем!

Тут Рома чувствует, что градус, пожалуй, излишне высок. Умолкает, оглядывается по сторонам. Никого за столиками, конечно, всех распугал. Опять.

Остается адресоваться к бородавотому толстяку в красных сапогах и шляпе с пером — подарку одной из пивных компаний, пластиковой статуе в полметра ростом. Толстяк, держащий кружку с преувеличенно кудрявой пеной, притулился в дальнем углу. Сначала Рома обращается к нему через плечо, взглядом ища новых клиентов (тщетно). Потом, увлекаясь, подходит вплотную. Говорит он как будто про себя, полупшепотом, но жестикулирует отчетливо и даже горячо.

— А не были ли созданы «красные зоны» специально для направления в них потока денежных средств? А? А не умерли ли люди в больницах от вторичной инфекции (то есть от пневмонии), а совсем не от коронавируса? А заглядывали ли вы в заключение патологоанатома? А почему заключения патологоанатомов держат за семью печатями? А не является ли эмоция страха, нагнетаемая органами власти, триггером для реакции тела на решение заболеть? Вот! Триггером! А является ли решение уко-

лоться вашим? А если оно не является вашим, то чьим? А нет ли у вас ощущения, что ваше решение давно никого не интересует? А нет ли у вас мыслей о том, что вы давно живете чужими решениями? И совсем не своей жизнью? Вопросов больше, чем ответов. Посчитаем тех, с кого начали вакцинацию, ну? Сколько их осталось?

Толстяк молчит, но смотрит на Рому как будто одобряюще.

— Сколько умерло в вашем доме за все время ковида? Их должно быть пять и более процентов, чтобы говорить об эпидемии. Выводы делать за вас никакие не буду. А если у вас появятся свои выводы, то вы можете взглянуть на ситуацию под другим углом. Естественно, они появятся, если вы посмотрите. А не услышите. Хотя смотреть многих давно отучили. А позволяют только слушать. Если понаблюдаете, а не услышите, то перестанете отстаивать точку зрения какого-нибудь певца, или актера, или бизнесмена. Звезды, короче! Получающей огромные бабки за пропаганду бизнеса, крышуемого чиновниками. Истиной для вас является то, что вы видели сами. А ответственностью является то, что вы смогли об этом сказать другим. Да, сказать!

Тут звонит телефон. Нейтральная мелодия.

Рома прерывается на полуслове. Это его босс. Видно, отношения у них товарищеские. Ну, в таком мелком бизнесе как иначе.

— На скольких кранах «Жигулевское»? Сейчас, Коля, подумаю... то есть гляну, ага... На пяти. Почему мало? Нормально, я считаю. Жарко? Хорошо, завтра увеличим. Ты приедешь? А что за вопрос, ну ОК, жду.

Рома умолкает. Видно, его терзают предчувствия.

Через пару часов приезжает босс. Это здоровый молодой парень, качок, как говорили раньше. Одет в майку какого-то атлетического клуба и безразмерные, типа спортивных, но все же не спортивные штаны. С лампасами. Тема сезона. Но взгляд у него еще простодушнее, чем у Ромы. Он вообще легко смущается.

— Ты это, Ромыч... на нас тут давят, прививку надо сделать. От этой новой хрени, ну знаешь сам...

Рома молчит.

— Ну, мужик, я все понимаю, блин. Но надо. Нас закроют же иначе. И отсюда погонят, а куда пойдем? Будешь делать?

— Да, конечно, — говорит Рома. — Но мнения своего не изменю! После работы сделаю, сегодня. Знаю, где круглосуточный пункт.

Босс рад.

— А если что со мной случится после прививки, похороны за счет заведения, понял?

— Не вопрос, — говорит босс, широко улыбаясь.

2. САЙРУС СМИТ/НАФАНИЯ ТВЕЛВ, ПИСАТЕЛЬ

«Двенадцать полос безумия» Сайруса Смита — роман о молодежи, но вряд ли для молодежи. Что западной (Смит — канадец, хотя живет в Таиланде; действие происходит именно там), что тем более нашей. Молодой (ему тридцать лет) автор создал своего рода экспортный (речь об экспорте в другую возрастную группу) вариант своей истории. В расчете на то, что хотят узнать о его ровесниках люди гораздо старше. В общем, прием известный. Вспомним Салли Руни. Мне приходилось видеть, как люди в солидном возрасте говорят о Руни с придыханием — мол, вот она, правда жизни. Вот чем живет современная молодежь и вообще настоящие, современные люди.

Не по этому ли — экспортному — пути шел со своими первыми вещами, например, Василий Аксенов?

Естественно, и Руни, и Аксенова активно, и весьма, читали и их ровесники, но успех в молодежной аудитории пришел, так сказать, извне.

Кроме всего прочего, роман Смита о ковиде, о новой этике в пандемийном преломлении, о спасении, подлинном и мнимом. Среди множества книг, подводящих итоги той пандемии в преддверии новой, эта далеко не самая выдающаяся, но по своему любопытная.

Итак, 2020 год. Давно живущая в Таиланде пара тридцатилетних канадцев — Майкл и Марта — узнает, что родители обоих тяжело больны ковидом. Сообщение с Канадой затруднено. Однако через карантин прорываются семнадцатилетние Джон и Джил — младшие брат (мужа) и сестра (жены). Они бежали, бросив родителей, чтобы не заболеть самим. (Те остались под присмотром профессионалов, так что тут все ОК — сами отправили детей от греха подальше.) Оказавшись в Таиланде, юные канадцы пускаются во все тяжкие (по принципу пира во время чумы). В процесс оказываются включены слоновья и крокодиля ферма, множество тайцев обоих полов и европейцев (есть и русский, о нем ниже). Увы, юные безобразники увлекают в оргии и Майкла с Мартой. Тут дается серьезный намек на инцестуальные отношения. Как можно догадаться, все персонажи оказываются в итоге заражены ковидом.

Далее автор использует интересный прием. Он перечисляет всех участников тайских походов молодежи, пронумеровывает и помещает в таблицу. Всего сорок восемь человек (животные сюда не попали — хотя, как знаем, могут болеть ковидом и уж точно разносить его). В таблице четыре столбца. Первый — фамилии, второй — четвертый — характер и исход заболевания: второй столбец — легкая форма, третий — тяжелая, вплоть до ИВЛ, четвертый — смерть.

Читателям предлагается, во-первых, вынести решение по каждому и сравнить его с авторским (как пишут, возникли уже ресурсы в соцсетях, где публика активно спорит, кто какой участи заслуживает; то ли феномен вторичный коммуникации, так ожидаемый автором, то ли издательский маркетинг). Во-вторых, угадать, как было на самом деле (якобы все это взято из реальной жизни, и каждый из сорока восьми имел своих прототипов).

СПОЙЛЕР: ожидается, что главный герой, Майкл, уж во всяком случае останется жив, ибо является альтер-эго автора. А вот и нет! У автора здесь совсем другое альтер-эго, в чем и заключается один из хитрых винтиков книжки. Об этом я скажу в конце.

А вот и русский. Звать его — конечно же! — Иваном, он бизнесмен средней руки из русской глубинки, а именно города Тверь (!). Иван пьет много водки, курит, вступает в половые отношения абсолютно со всеми вокруг, включая... летучих мышей. При этом он произносит монологи типа:

«В нашем отечестве, как и в Европе, человечество посещает всеобщий, повсеместный и страшный вирус, по возможным подсчетам, и насколько я помню, не чаще сейчас, как раз в четверть века, иными словами, один раз в двадцать пять лет. Я не спорю с точной цифрой, но это очень редко сравнительно.

— По сравнению с чем? — спросил Майкл, затягиваясь папиросой.

— О! Например, с двенадцатым веком и с соседними веками с одной и с другой стороны. Ибо тогда, как пишут и утверждают писатели, всеобщий мор человечества посещал его раз в два или, по крайней мере, три года, так что при таком положении дел человек даже прибегал к принесению человеческих жертв, хотя и держал в секрете. Один из этих паразитов, приближаясь к старости, заявил сам по себе и без какого-либо принуждения, что он за свою долгую жизнь принес в жертву сорок восемь человек, включая монахов и младенцев — около шести, но не более. Как выяснилось, он никогда не трогал светских взрослых с этой целью».

Кажется, что это какая-то малосвязная ерунда, имитирующая неграмотную, ломаную речь слабо знающего английский нашего соотечественника. Все, конечно, смешанное с русской привычкой ожидать конца света и видеть во всем дыхание апокалипсиса. Макабрическое мироощущение тоже присутствует. Однако не все так просто. Что-то мне эти слова напомнили. Поделюсь маленьким открытием (не знаю, дошел ли до него переводчик «Двенадцати полос», а может, и хорошо, если не дошел): монолог Russian Ivan есть не что иное, как монолог господина Лебедева из «Идиота» Ф. М. Достоевского (часть третья, глава четвертая)! Речь там идет, правда, не о ковиде, но о голоде. Посмотрите, как выглядит наш классик в обратном переводе с английского — неплохо, считаю.

СПОЙЛЕР: Иван останется жив в числе шестнадцати человек.

Узнав о своем диагнозе (а заражение наступило практически одновременно, ибо такой уж была интенсивность тайских развлечений), герои должны решить, как проведут четыре-пять дней (или даже меньше), оставшиеся до проявления симптомов. Пятнадцать человек из сорока восьми предаются религиозным обрядам, семнадцать впадают в апатию, один методично подводит итоги всей жизни, что-то записывая в блокнот (комический персонаж — кембриджский профессор-палеонтолог пятидесяти лет, впервые выбравшийся в Таиланд и только там потерявший невинность от рук — Гм! Гм! Рук! — тинейджера Джима). Оставшиеся же, наоборот, усиливают градус...

Такое внимание к сексуальной стороне нашего бытия, разумеется, выглядит архаично, и уж точно не ради него писался роман. Так кто же выжил? В чем послание автора миру, сделавшее книгу столь популярной?

Крайне важный факт: уже после выхода «Двенадцати полос безумия» и мирового успеха книги журналисты-расследователи из Великобритании докопались до личности автора. Никакого Сайруса Смита не существует (по крайней мере, как автора книг). Роман написала шестидесятивосьмилетняя темнокожая феминистка из США Нафания Твелв. В свое время она отбывала длительное тюремное заключение — по обвинению в многочисленных изнасилованиях, но, как утверждает сама Нафания, на самом деле за отстаивание женских прав и прав сексуальных меньшинств. Первую свою книгу, «Сексуальные каникулы в Тибете», она написала именно за решеткой. Последние годы Твелв трудится профессором в одном из небольших вузов на юге США (не имея даже среднего образования, между прочим).

Нетрудно предсказать, кого она оставила в живых и кто на самом деле является протагонистом автора! Правда, как в эту компанию выживших затесался (СПОЙЛЕР!) Иван, решительно непонятно. Остальные пятнадцать — девушки в возрасте до двадцати пяти лет, включая Джил (это она альтер-эго автора, несмотря на пятидесятилетнюю разницу) и тайских массажисток с явными чертами трансгендерности (ну, Твелв стоит за своих горой). В ковидное СИЗО — ИВЛ — милостиво отправлено еще четверо, в том числе Марта. Все женщины. Майкл, увы, погибает!

Интересно, что авторский список выживших (точнее, перенесших заболевание легко) не совпадает с реальной картиной, которую Твелв дает бесстрастно, в манере медицинского бюллетеня. Это придает истории некое новое измерение. Автор словно спешит исправить реальность, открывая нам чертеж своей работы.

В заключение цитата из последней главы «Полос». Оставшиеся в живых все вместе покидают негостеприимный (хотя это как сказать!) Таиланд: «Они смотрели на зеленое мясо континента, приправленное зеленовато-голубым карри океана. Каждая думала о своем. О перенесенном испытании не думал никто. Но все знали: оно дано человечеству не зря. Мы заслужили его. Неизвестно чем, но заслужили. Надо терпеть и верить, как узник смотрит в зарешеченное окошко, смотрит неделями, а потом вдруг запоет во весь голос: „Let's my people go“».

Затем описан великолепный хеппенинг, или дебош: уцелевшие героини романа начинают в экстазе раздеваться догола, вслед за ними это делают и все остальные пассажиры самолета. Полный голых, радостных людей «боинг» глотает мили в безопасной вышине.

Следом за этим описанием идет финальная сентенция: «Они летели, летели в никуда, пятнадцать голых дев, готовых на все. Жалко ли остальных? А представьте, что погибли именно эти люди. Их, только их было бы жалко; больше не о ком жалеть в этом драном мире. Аминь».

Их да еще Ивана, если следовать букве романа.

3. СЕРГЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Такой случай, когда встречаешь в отделе дорогого (по местным меркам) алкоголя человека в маске. В торговом центре в масках больше никого. И продавщица без маски. А ты в маске, и он тоже. Причем на обоих маски современные, адаптированные, а не старые, ковидные. Одет он стильно, не по-здешнему, такой кисет замшевый на шнурке на шее болтается, черный плащик с капюшоном, высокие ботинки, узкие брюки с большими карманами на коленях, «тактические». Модные в этом сезоне. Ну, в горы собрался, а тут проездом, тут все приличные люди проездом. И все в горы. Неудивительно, что смотрит на дорогой виски, берет бутылку за бутылкой, вертит в руках, и даже под маской видно, что настроен скептически. Не паленый ли, мол, здесь, за четыре тысячи километров от Кремля? Что здесь может быть подлинного?

— Приветствую, коллега. Из Москвы?

Он кивает как-то неопределенно, разговор не поддерживает, быстро уходит. Потому и уходит, что разоблачен. Узнан. Да и по плащику столичному бы узнали, чего уж. Но по маске вообще в одну секунду. Вот в каких местах, при каких обстоятельствах и встречаешь внезапно себе подобного!

Берешь недорогой, однако вроде как импортный виски по акции. Продавщице — с таким интеллигентным лицом, молодая, наверное, студентка на подработке — лето — а может, уже окончила какой-нибудь филологический, работает в винно-водочном, ибо где же здесь еще — говоришь со вздохом: мол, дорогое ни к чему, не то настроение.

— Бодяжить будете? — догадывается она. — Вот и кола по акции есть, как раз комплект!

— Ну, давайте. И пакет.

Бодяжить! Ну да, слегка шокирован — собственно, и вульгарностью, и догадливостью в равной мере. Хочешь сказать что-нибудь едкое про маску: чего не носите, боитесь, что красоту скроет, так зря — и сдерживаешь себя; пожалуй, пошлет подальше. Будет права. Ей и без маски хорошо, молодость все-таки. Ну, тут Азия. Тут фатализм. Как говорят тюрки, «кысмэт». Ты и сам такой. Что хорошо, в общем. По крайней мере, бесполезно.

Выходишь на центральную улицу, и вот он, город. Кажется низким, тусклым, как будто обсыпанным серым вулканическим пеплом. Или крупной морской солью, тоже серой (если такая бывает). Как будто фильтры забыл поменять в очках, выйдя из торгового центра, где все краски совершенно нормальные, яркие, неизменные в любом из уголков Земли. Зелени в городе мало, зато неба много — здания не заслоняют. Но и небо какое-то невысокое и словно тоже выгоревшее, с редкими сероватыми облачками. В Москве небо другое. И облака другие. Многофигурные, затейливые. Это научный факт, здесь же степь рядом с одной стороны, с другой — горы, сухо, что облачному строительству вредит.

Вот на кухне у товарища пьете этот самый разбодяженный (как говорят здесь все) виски. Ну хорошо хоть, что дешевый, ибо анекдот про коктейль идиота — односолодовый старый с колой — он везде понятен.

Товарищ — и коллега в прошлом, на одной кафедре сколько лет — удручен разводами, разменами, отъездами всех на свете в дурацкую Москву. Говорит раздраженно:

— Здесь жизнь никому не дорога, потому что она дешева в принципе. Не жалко умирать, получая пятнадцать тысяч. А вот когда сто пятьдесят гребешь, жалко небось. Не знаю, не пробовал. Вот и масок не носят. Плебс, конечно, удаль и презрение к опасности. Но это так, факультативно, не в нем дело. Да и оно из той же серии: пропадай голова моя за грош!

Тут он начинает материться, как-то не слишком умело. Грустное зрелище. Квартиры и правда дешевы, между прочим, хотя и подорожали за последние три года. Эта, в которой пьянка, дешева особенно, хотя по местным меркам и в центре находится.

Вдруг появляется мечта: купить — в ипотеку — квартиру в этом городе. За те деньги, что в Москве стоит однокомнатная в Гольянове, здесь светит стометровка в новом доме, на этой самой центральной улице. Нормальный вариант. Жить, общаться с местной элитой, завести внедорожник, ездить на уик-энды в горы. Летать летом к морю. И зимой можно за границу, кончатся же *события* когда-нибудь. Ходить в кино. На гастролеров-эстрадников тож.

Жить так — вполне себе нормально. Но работать — где? Если удаленно, то хотя бы за те же деньги, что в Москве, там-то они уходят на съем квартиры, на проезд, на кафе, вообще на элементарное обустройство жизни... А здесь разница будет утешительным бонусом. Иногда можно ездить в Москву. На конференции. В театры. На бульвары.

Утопия. А чего приехал-то сюда? Мог бы не приезжать. Не очень и дешево. Ковид пересидел в столицах, а тут что? Хотел переждать предсказанный взлет новой пандемии вдали от суеты и легкой паники столицы. Хотя бы неделю. Устал. Там вечно суета и паника. А взлет все не начинается. Есть, конечно, повод: родные могилы, друзья, все такое. За три дня повод исчерпан, однако номер в гостинице (по мнению местных знакомых, чудовищное жлобство, мог ведь попроситься к кому-нибудь на постой) оплачен вперед. Да и разобраться надо с городом, с собой. А отбоя по пандемии давать никто не думает, так что вернешься в аккурат в самое пекло.

Товарищ тем временем разворачивает мартиролог — что там случилось с коллегами. Мартиролог потому, что все мрачно, независимо от жизненных сюжетов. Кто-то и правда помер, и правда от ковида. Большинство, однако, живы и относительно здоровы, хотя бедны, да, за исключением Зои Петровны (у нее муж в администрации), Ивана Матвевича (ну, тот старый жук) и — вот неожиданно — Наташки Гарнец.

А вот ректор, старый, отставленный, на том свете. И много кто еще из местной элиты, бывшей, постсоветской. Товарищ этому рад.

— Нужна нам была эта пандемия, нужна, чтобы хоть как-то уравнять всех. Революция своего рода. В Москве-то уровень смертности был тоже о-го-го. Думаешь, случайно? Нет, не случайно, и случайно ничего не бывает. Там собралась верхушка, хоть проредить ее. И новая пандемия для того же нужна.

Намека тут нет, уж он какая верхушка, а в целом возразить нечего. В том смысле, что если принимать такую глобальную, конспирологическую систему рассуждений, то что тут возразишь-то.

Товарищ переходит к культурологии, так сказать, по прямой своей специальности.

— Маски! Тут тоже все не просто. Вот сейчас Летова все вспоминают.

Он фальшиво напел (будто можно это петь иначе):

О, слепите мне маску от доносивших глаз,
Чтобы спрятать святое лицо мое,
Чтобы детство мое не смешалось в навоз,
Чтобы свиньи не жрали мою беззащитность.

— Понятно, откуда он взял этот образ, он всегда их брал откуда попало. По верхам собирал. Это как бы из Дилана Томаса, а на самом деле из рассказа Кортасара, где цитируется Дилан Томас. Даже не цитируется, а сделан эпиграфом, на английском. Сам рассказ про музыканта, «Преследователь», ну вот Егор на себя вроде как его примерил... как ту же маску.

Почти его не слушаешь — обычная история, он так может долго. Кстати, вот простая мысль: а если эти маски не для того, чтобы защищаться от чего-то внешнего, но чтобы не выпускать нечто — заразу, вирус — наружу? Тогда маску следует надеть на Москву (созвучие не случайно, Москва-маска). И этот город, как и другие города, могут, а может быть, и должны стать такими масками, санитарным поясом. В этом их миссия, тем более что иной нет и не предвидится.

Дальше быстро захмелевший собеседник обзывается обидными, но точными словами. Обидными, потому что точными. Еще одна проблема, кроме работы — люди здесь грубые, что видно сразу. Та же продавщица. «Бодяжить»!

Наскоро прощаешься, товарищу все равно, и даже пить больше ему не надо. Он сидит на табуретке, смотрит в угол, сливаясь с темнотой, так, поди, и просидит до утра, превратившись в интерьер и пейзаж.

Выходишь на улицу, а там все изменилось. Темно. Город наваливается, душит, как черная маска или строгая повязка.

Вдруг вспоминаешь мертвых родителей. На кладбище (был вчера) неплохо, зелено, просторно. Им, может, тоже неплохо. А самому скучно, скучно без них, хотя обиды ведь не прошли. И главная обида прибавилась — что умерли. Задолго до всякого ковида, по несерьезным основаниям, вроде рака, меня бросили. Пусть и было мне сорок с лишним, ну и что, обидно же, знаете.

Еще обиду тянет с блюдца невыспавшееся дитя, а мне уж не на кого дуться, и я один на всех путях. Хочется выспаться, а точнее, и не просыпаться. Ну и пожалуйста: соотвествующий комплекс ощущений тут как тут. Сложно дышать. Организм услужливо подсовывает симптомы. Чувствуешь, поднимается температура, болит голова, першит в горле, тянет кашлять. Но не боишься ничего. Ты в городе, где никто ничего не боится. Уезжать отсюда поэтому глупо, да и как уедешь, в самолет с явными признаками болезни все равно не пойдут.

4. ОЛЬГА, ПОЛКОВНИК

— Зубы разжал живо, сволочь! — прошипела она. — Иначе, на хрен, все выбью.

Он, всхлипывая, немного разжал. Она с удовольствием и с хрустом сунула ему прямо в глотку ствол служебного ПМ. Он почти беззвучно завопил, как будто забулькал даже.

— Молчать! — цыкнула она.

Он послушно замолк, только всхлипывал. На коленях да со стволом во рту не очень-то поболтаешь, конечно. Ну — сам виноват, целиком и полностью сам.

А рука уже устала. Давно не тренировалась, да и возраст... Она аж зашипела, услышав такое от самой себя. Он, услышав непонятный, но грозный звук, испуганно застонал.

Сцена происходила на третьем этаже большого загородного дома в элитном, как тут все еще принято говорить, дачном поселке Синий Лес, недалеко от областного

города П. Работник регионального Министерства дорожного строительства Евгений Иванович Б. стоял на коленях и трясся, а его супруга, полковник МВД Ольга Семеновна, боролась с желанием снять с предохранителя и нажать на курок. И вышибить ему мозги прямо вон на ту стену, под фотографию, где они с этим подлецом в славное, мирное время девяностых, конечно же, в Париже.

Подонки попадали на измене — в очередной раз, конечно, но сейчас это было прямо вопиюще. Видите ли, сказал, что уезжает во главе пандемийной инспекции в районы, а сам отправился с девками в загородный пансионат. Причем недалеко от их поселка!

А ведь она ему четко и определенно обещала в прошлый раз, что пристрелит как собаку. Ее учили выполнять обещания с детства.

Тридцать лет назад, когда они познакомились, он был кудрявым красавцем, старше ее на пять лет, славился на весь институт своими похождениями — при этом был добродушен и даже учился хорошо. После армии, конечно. Родом из деревни, как и она. Но она — дочь сельских учителей, он — председателя богатого колхоза. Он всегда был несколько богаче окружающих. Так и осталось на всю жизнь. Он поступил через рабфак, для отслуживших, она — как золотая медалистка. Других шансов попасть в универ ни у него, ни у нее не было.

Она, значит, поступила на первый курс юридического, он окончил третий. Непонятно, что он в ней нашел. Худая, высокая, совсем неяркая — неинтересная, как говорила бабушка. Неинтересная ты у меня — так вот вздыхала. Ничего, справилась и с этим. Как-то все быстро закрутилось и вот крутилось всю жизнь, не останавливаясь.

Это он ее устроил в милицию, сам уже работал в администрации. Да и проработал всю жизнь, причем на должностях скорее рядовых. А предлагали, предлагали пойти на повышение. Но оказался умным. Что поважнее поредевших кудрей и оплывшего лица. Вершина, на которой он держится много лет, — замминистра по дорожному строительству. Самое то. Министры сменяются, ему хоть бы что. Двоих посадили, а ему и не страшно. Ловкий, с... сын.

Ладно. Она вытащила ствол, вытерла носовым платком мужа, лежавшим сверху в горке чистого белья, кинула платок ему. Все еще стоя на коленях, Евгений Иванович шумно вздохнул, закашлялся, проглотил слюну (и кровь, поцарапала она там серьезно), утерся.

— Ну что ты... — прохрипел он. Откашлявшись, сказал еще раз: — Ты что уж....

— А то, — сказала она спокойно. — Я тебе обещала. В следующий раз в задницу засуну и проверну четыре раза. Потом опять в рот. Понял?

— Ну, понял, — проворчал он, поднимаясь с колен, — у вас там, конечно, навыки...

— А как с такими поступать? — спокойно ответила Ольга. — По-другому не понимаете.

— Я больше не буду, — вдруг сказал он, прижимая руки к майке. — Прямо черт попал. Новый ковид этот. С ума сойдешь. И все посходили, похоже. Ну, Оля...

— Что Оля, свинья ты такая, — ответила она с горечью. — Ковид-нековид, тебе все одно. Выгоню тебя, на хрен, давно было пора сделать. Все, думала, дети пострадают. Теперь можно.

У них было двое сыновей, один жил в Москве, другой в Питере. Само собой, в квартирах, купленных родителями. Ольга признавала: этот подлец был неплохим отцом. Отец-подлец. Да, именно так. Конечно, она предполагала, что после отъезда детей начнутся сложности. Предполагала — и морально подготовилась. Да с этим, который начал гулять еще до свадьбы, по-другому и нельзя.

— У меня выходной ведь сегодня, — сказал он виновато, — я никуда не поеду. Поработаю над отчетом. Насчет контрпандемийных мер в нашем хозяйстве, как вакцинация идет, все дела... А вечером давай посидим. Вина достанем хорошего из по-

гребка, я мясо пожарю, у нас там есть свежачок, вчера привезли, думал, заморозить, а тут и повод...

— Ничего себе повод, — пробормотала она, но уже отходя, отходя, да. — Ладно, занимайся, я пойду к себе, у меня тоже отчеты просмотреть надо. И про то же самое. Потом в баню. Сделаешь часам к семи? И насос перед этим проверь, давно собирался.

— Мадам, — он склонился в комическом полупоклоне, — все будет в лучшем виде. Элита!

— Ну-ну, — проворчала она, успокаиваясь. Оружие — в сейф, первым делом. Потом и правда надо проверить, что там с низовки приходит. Черт знает что пишут, ну честное слово. Поверишь тут в легендарную тупость ментов.

— Но вообще, крыша у народа едет, это точно, — сказала она, полуобернувшись в дверях. — Мы расхлебывать еще тот ковид долго будем. Помню, в Кытмановском районе один тракторист порешил всю домашнюю живность, за женой долго с топором бегал. Думали, белая горячка, оказалось — последствия перенесенного в легкой форме заболевания. Все, я пошла к себе.

— Да кошмар, чего говорить, — согласился Евгений Иванович.

Если бы Ольга Сергеевна, поднимавшаяся на третий этаж с оружием в руках, могла почувствовать взгляд мужа, она бы поостереглась поворачиваться к нему спиной. Впрочем, такой ерунды она не боялась.

Вот когда они с мужем самоизолировались на даче и три месяца за ее пределы не выходили, было покруче. Да и то!

Оставшись один, Евгений Иванович рухнул на кровать и закрыл лицо руками. Потом он нашарил за прикроватной тумбочкой почти полную бутылку коньяка. Коньяк обжег израненный рот (дезинфекция!), он, полулежа, морщась, выпил почти половину бутылки. Учует жена — опять скандал. Но не такой. За это срок меньше полагается. А кстати, в уголке шкафа еще одна бутылочка припрятана. Нас так просто голыми руками не возьмешь. Нам ковид не страшен, ни старый, ни новый. Он пил и трясся. Отходил от стресса.

В восемь вечера, когда Ольга Семеновна выходила из бани в роскошном турецком халате, в таком же полотенце, намотанном в виде минарета, ее ударили чем-то по голове, сзади, со всего размаха. Она повалилась на траву без чувств.

Она очнулась через час, от ночной сырости. В темноте белело что-то большое, длинное и, как тут же выяснилось, тяжелое. Ее ноги. Мокрые волосы понасобирали на себя всякий сор. Полотенце валялось рядом — неподалеку от совковой лопаты, которой ее и оглушили. Полотенце спасло ей жизнь.

Между тем за углом бани происходило что-то чрезвычайное, что-то прямо из ряда вон. Она никак не могла понять, что именно, голова гудела страшно. Следовало собраться с силами и мыслями. Постояв на четвереньках, Ольга Семеновна медленно, с сильно кружащейся головой, поднялась, цепляясь за стену бани. Постояла, вроде почувствовала себя полегче. Шагнула за угол.

Дом, ее дом горел. И горел безнадежно, верхний этаж уже рухнул внутрь, плающее со всех сторон изоляционное покрытие окружило гибнущее здание как будто коконом. На площадке около дома бегал полуголый Евгений Иванович с дымящимися кудрями, весь исцарапанный, и что-то восторженно кричал, поднимая вверх руки и подпрыгивая.

Чего-то такого она ожидала всю жизнь, поняла Ольга Семеновна. Ну вот, дождалась, со странным удовлетворением подумала она, снова теряя сознание.

5. АФАНАСЬЕВ, ПЕНСИОНЕР

Посмотрел бы я на вас — вот прямо в упор, не мигая, на вас бы посмотрел, если бы на ваших глазах убили всю вашу семью. Точнее, одного за другим пятерых братьев и сестер. Мать не тронули. Об отце и речи не было; где тот отец-то? У!

А потом о характере говорить чего уж. Уж какой после этого может быть характер. У нее, если хотите, еще неплохой сложился характер. Но меня не любила. Жену любила, внуков любила. А те что только с ней не делали!

Один за руки, другой за ноги, да еще и хвост норовит прихватить. А она только так негромко мявк! Мяв! Не оцарапала ни одного из них ни разу. Между прочим, могла бы и оцарапать. Если не сильно, то даже осуждать бы ее не стали. Тоже ведь существо, имеет право оказывать сопротивление. В разумных пределах. Как говорится в американской конституции, мирно собираться и обращаться к правительству с жалобами на злоупотребления. А для нее и семья, и правительство мы с бабкой.

Я как котенка спас у нас там в гараже, принес домой, бабка чуть не выгнала. К черту катись, дурак старый, все такое. И тварь заberi, гадить будет. Будто прям у нас такая чистота, что погадить некуда. Есть куда!

Ну это бабка у меня нервная. И кошка нервная. Только как-то по-разному, не совпали они как-то. Не могли найти поэтому, что ли, общий язык. Сначала. Потом ведь нашли, вот в чем удивительное дело!

А я инженер, на пенсии в сторожа подался, в гаражный кооператив наш. Люблю почитать газету. Раньше выписывали, сейчас нет, вообще ни одного не знаю, кто бы выписывал. Книжки не так чтобы очень. Ну сканворды еще ничего. А вот когда выборы или что, вроде пандемии этой, стали по ящикам толстые газеты рассовывать снова. Не рекламные, информационные. Про правительство, что все в ажуре. Ну это можно пропустить, а интересные материалы почитать, да и про тех же животных.

Я помню, в молодости мы обсуждали связь техники, индустрии и живого мира. Наука бионика тогда возникла. Паук тклет прочнейшую ткань. У дельфинов и летучих мышей ультразвук. Да в конце концов, птицы летают, пользуясь мускульной силой и дорогу находят за тысячи километров. И кошки потерявшиеся находят.

Но это ладно, это ерунда. Кошки-то ковидом тоже болеют, как оказалось. Вот дела. Это я выяснил уже из газеты. Не то чтобы болеют сами, а могут переносить. И им ничего не делается, а хозяева могут подцепить и умереть в одну неделю. Бывали случаи. Это уже не в газете, а кто-то рассказал, у нас народ неглупый, многие интересуются, Интернет читают. Я как-то с ним не в ладах, да и не хочу. И телефон у меня кнопочный. И доволен. Специально взял такой, чтобы кнопки покрупнее были.

Бабка увлекается, со смартфона выходит в Интернет, соцсети, пишет дочери письма, внукам тоже. Я ей когда первый раз сказал про ковид и кошек, она, как обычно, сделала вид, что не услышала ничего. Но я ее за сорок лет изучил, потом мою информацию перепроверила.

Кошка, когда я ее принес, мелкой, все под диваном сидела, но лоток освоила, ничего особо не драла. Вид у нее довольно противный, трехцветный, как у гиены какой-нибудь. Не знаю, почему так кажется, что у гиены, но похоже, по-моему. Я телевизор смотрю нечасто, у себя в будочке, там первый канал только и второй. Дома и про животных люблю и вот там как раз про гиен видел программу. Похожи! И вот интересный факт: усы у нее, то есть вибрисы по-научному, слева все белые, а справа все черные. Кошка Машка. Внуки назвали. Да пусть себе. Я из деревни, там у нас не звали их никак, а вернее, звали всех одинаково.

Кошке вообще грех жаловаться. Мы с ней как люди общались. Кормили тем, что сами едим. Я отдал две тысячи (тогда еще, сейчас бы все четыре пришлось) за стерилизацию.

Говорю жене: у нас в деревне кота суют в валенок, чтоб не царапался, не кусался, и яйца секатором отрезают. Потом залижет. Ну или сдохнет, но все же все зализывают. В основном выживают. Бабка только фыркнула и плечами пожала, это у нее такая манера. Заставила заплатить, а в клинику сама сносила. Говорит, иначе сам котят топить будешь, как Машкиных братьев и сестер. Нет, я не садист, две тысячи отдал, не жалко. Котят тоже не хочу топить, они ни в чем не виноваты.

Кошка иногда проявляла ласку, терлась, мурчала. Но в основном по углам все пряталась. Внуки ее вылавливали, игрались, а мне не до нее. Выходила ночью в основном пожрать, я с вечера ей в миску дам нашей еды и корма сухого, воды налью. Корм сухой столько стоит, что я за такие деньги только по праздникам ем. Но ничего, давали и корму.

Потом началась пандемия, или как ее там. Потом кончилась. Тут новая. И вот в благодарность за все новость: кошки новую заразу разносят. И наша Машка тоже. Зачем мне такой враг в семье? Внуки приедут, дочь приедет, а она их заразит?

Говорю жене: что с Машкой-то делать? Она как бы не всерьез: возьми в гараж, лопатой прибай совковой и брось там на помойку, ну, или прикопай в углу. Это она говорит, повторяю, в шутку вроде, а вроде и нет. Вечно так у нее. Она библиотекарем работала до пенсии.

Лопатой и в угол или на помойку, значит. А лучше, если ковид, все же сжечь. Кто от него помирает, того сжигают же. Я что-то сам не хочу после смерти, но, может, придется, а бабка моя не против. Чую, если помру раньше, она меня сожжет. Да какая разница. В бога я что-то не верю, в загробную жизнь тоже. Пусть хоть на удобрение пускает. Вот кстати.

Если Машку вывезти в наш сад, километров тридцать от города, и там ее истребить? И пепел тот же самый по огороду? Польза хоть, малая, а все же. Потому хотя бы, как я ее буду жечь у себя в гаражах, это ж вонища будет. На саду способнее однозначно.

Да черт ее знает, как лучше. Но думать ни о чем другом не могу, сплю по ночам плохо. Жена моя ворочается, но дрыхнет, что ей. Не ей решать. Никогда она и ничего в жизни не решала, все я.

Позвонил дочери в другой город, между делом сказал, чтобы берегла своих детей от кошек и других, кто ковид этот разносит. Та, как мать, фыркнула, и все. Ну я твердо попросил ее, чтобы она как хочет, а детям, шесть им и девять, все рассказала. А мужа у ней нет, ушел год назад, и хорошо. Такой был какой-то... дрянь, в общем. Его бы вот и не жалко, скажу честно, и это все равно ни на что не влияет.

Рассказал Петру Сергеевичу, мы с ним смена в смену дежури́м. Бывший военный. Майор. Тот засмеялся:

— А все ж ты садюга, что ни говори. Кошку прибить решил, повод выдумал. Ты как этот, Герасим и Муму. Тот тоже в душе садист, тоже повод придумал, барыню, там, и все остальное.

Ну! Это ерунда. Я кошку спас ведь в самом начале. Не спас, так и не было бы разговора сейчас. Будто я виноват, что опять пандемия, что тот и этот, как слышно, помер. И сильные мира сего, богатые, звезды и так далее. А мы с женой немолоды, мы в зоне риска поэтому, хоть особо не болели. Ковид пережили. Теперь помирать из-за кошки — ну глупо ведь.

Опять к жене. Она как будто нехотя, как будто снисходя до меня, объясняет: кошка никаким вирусом заболеть не могла, потому что она никуда не ходит, сидит дома.

Максимум летом (а сейчас лето) у открытого окна смотрит на улицу, мы на третьем этаже. Неубедительно. Ну мало ли какая зараза в воздухе летает, никто не знает ведь толком про этот новый вирус, как он распространяется. И потом, к нам люди ходят, она может подцепить у них и передать дальше, то есть мне с женой.

— Да кто к тебе ходит? — уж не выдержала жена.

Ну и нечего ходить, подумал я. А вообще, могут. И что потом делать? Я же хожу на работу, жена ходит в магазин, разве мало? Кошка подхватит у нас, вирус в ней созреет и к нам вернется. И тогда все, конец, я-то чувствую ведь, знаю.

Кошка прошла мимо как ни в чем не бывало. Я вздрогнул. Вот ведь еще: не заразишься, так с ума сойдешь от ожидания, от ужаса перед будущим. Ну пусть, пусть от мнительности. А если заразишься, когда такое настроение, так и вообще разговор будет короткий. Нужен оптимизм, чтобы побороть недуг. А какой тут оптимизм, с этой Машкой. И ведь вот что она сейчас вышла и мимо прошла? Обычно же не вылазит. Спроста это или неспроста? Кто ее подучил?

Совсем я загрустил. Не сплю снова. Кошка шуршит там, потом тут. Жена храпит, стала вот не так давно храпеть. И тут я посмотрел на нее: она по магазинам-то шляется, хоть в маске, хоть не в маске, это роли не играет. И еще про кошку мне говорит. Что кошка! Тут и другие, знаете ли, кошки есть.

6. ПЕТР, ФРИЛАНСЕР

Петра прошлый карантин не испугал и испугать не мог, ему что, он на работу не ходил, пользовался доставкой. А вот болезни он поначалу сильно боялся. Все принесенное курьерами (они должны были оставлять продукты, мелкие гаджеты, прочие вещи — надо же как-то утешаться — на лестничной площадке его съемной квартиры в Строгине) он, надев маску и латексные перчатки, тщательно протирал санитайзером. И его он получил таким же образом, через курьера, сперва посоветовавшись со многими в сети, какой брат. Победил синенький, в тубике: в тубике сложнее подделать.

Работы сначала стало сильно меньше, потом как-то лихорадочно больше (заказчики после шока развили бешеную активность на новом, бесконтактном поле, копирайтеру нужно было искать новые ходы и приемы). Потом нормализовалось. Все как раньше.

Беда, что Людмила, его девушка, уехав переждать события в свой Саратов, там так и осталась. И уже нашла работу. Временную, однако с перспективой. То есть перспективы жизни в столице, в Петровой квартире, она не видела. То ли дело всего полгода назад!

— Ну прости, котик, — говорила она несколько жеманно по зуму, — ну надо же жить как-то, не у родителей же деньги брать, тем более что у них и нет. И у тебя не буду брать, — опережала она его, — и у тебя-то ведь нет, по сути. Ай, не возражай, да какие это деньги!

Она небрежно взмахивала узкой кистью с модными кольцами и красивым наборным браслетом. Петр злился, потом перестал. Он нашел себе занятие — стал бояться.

Не болезни вообще, не смерти в мучениях, даже не того, что вот он будет умирать здесь, на полу, один, а «скорая» приедет слишком поздно. Почему-то он боялся первого признака заболевания — потери обоняния.

Им Петр всегда гордился. Да и то — он носил сильные очки (одно время линзы, но теперь можно было и в очках, какая разница, удобнее). Слышал вроде хорошо,

но к музыке, подкастам, вообще шумам жизни был совершенно равнодушен. То ли дело запахи!

Недаром «Парфюмера» он прочел в четырнадцать и принял навсегда. Может быть, роман Зюскинда его и сформировал как личность. А выученный почти наизусть, он помогал в общении — и с девушками, и с нормальными ребятами. Если они «Парфюмера» не читали или не узнавали цитаты, наконец, если не понимали ее соли (Петр никогда не устраивал викторин, цитату надо было привести так, чтобы она была понятна всем, но ценителям «Парфюмера» особо), — что толку было общаться.

И вот такая угроза. Петр заранее представлял, как однажды не почувствует ровным счетом ничего. Как будто вместо носа у него на лице вырастет тупая голая шишка (видел в детстве такую смелую, с намеком, иллюстрацию к повести Гоголя). Как он задохнется без привычных ароматов. Он всегда обустроивал свое съемное жилье по точкам запаха. Старался делать так, чтобы ароматы из разных мест квартиры не перекрывали друг друга, не вступали в битву, а дополняли, усиливали один другой. То есть соприкасались на границах. И вот такая угроза.

Теперь каждое утро он начинал с того, что обнюхивал свои пузырьки и колбочки один за другим: не изменился ли запах? Потому что страшно было потерять обоняние, но получить его в искаженном виде было еще страшнее. Это было все равно что галлюцинация для визуала. Да ведь так и говорят — обонятельные галлюцинации.

Кстати, у него было не слишком много парфюмерных вещей — не более двух десятков. Он предпочитал их не хранить долго, обновлял регулярно, причем, бывало, заказывал задорого и издалека. Теперь, перенюхивая их раз за разом, он все больше пугался предстоящей потери.

Людмила (дурацкое все же имя, старушечье, с запахом в лучшем случае «Красной Москвы», а то и чего повонючее) над манией Петра, так она это называла, только подсмеивалась. Петр не обижался. В конце концов, это его прихоть или его индивидуальное отличие, а Людмила свободный человек, как и он сам. Чего грузить других своими странностями!

Начав читать сеть, Петр быстро узнал, что нас поражает не простой, а нейротропный вирус. Причиной искажения запахов всегда служит или повреждение обонятельных рецепторов, или нарушенная идентификация запахов корой головного мозга. Нечто подобное бывает на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

Тут Петр сразу вспомнил свою покойную бабушку, которая вдруг стала ворчать на странные запахи, напавшие на нее. Стоявшие много лет духи стали отдавать бензином, а дезодоранты юного Петра (он уже тогда подбирал их с большим тщанием) отдавали чем-то совсем неприличным. От этого было полшага до того, что враги подливают какой-то гадости в духи, а Петр специально хочет ее задушить, чтобы завладеть имуществом.

Альцгеймера Петру бояться было как-то совсем глупо. Но чтобы тренировать мозг, он начал было учить тексты песен, например «Radiohead», да и бросил. Вернусь к тренировкам лет через двадцать пять, решил он. Сейчас другая повестка.

В общем, даже понятно было, как бороться с потерей обоняния и с галлюцинациями. Дышать эфирными маслами (они у него водились в большом количестве). Медитировать. Представлять себе запахи в виде чего-то материального, что не может исчезнуть из мира просто так. Правда, материализовывались они у Петра почему-то в виде елочек-кондиционеров, вечно отравляющих его поездки на такси и в маршрутках.

Из соцсетей (в дискуссию он никогда не вмешивался, но читал внимательно) Петр почерпнул несколько самых неприятных вариантов измененного обонятельного по-

ведения (так тоже говорили): «Вся мясная еда воняет тухлым мясом, пришлось стать вегетарианцем».

После этого Петр мясо есть практически перестал, перешел на замороженную брокколи, что, в общем, было очень дешево. От мяса он со временем отвык настолько, что и нюхать стало нечего.

Другие вероятности, вроде грязных тряпок и прочей гадости, он приготовился игнорировать вообще. В общежитии института культуры, где он учился, пахло и не таким, со временем он даже начал находить в этом какую-то характерную прелесть. Пометку места, которая останется с ним на всю жизнь, и он будет ее вспоминать именно как посланца из прошлого.

Другая дама писала нечто более сложное и показавшееся Петру опасным: «Обоняние вернулось, и теперь я тащусь от всех парфюмов, кремов, дезиков, мне надо, чтоб все очень вкусно пахло, раньше за собой такого не наблюдала. Была пара любимых парфюмов — и все, к остальному относилась равно. А сейчас готова их все нюхать сутками. Отсюда новое увлечение, мания — покупаю очень много всех этих косметических средств».

Его как будто подталкивали к проституции! Или угрожали групповым изнасилованием. Представить себе, что вместо нескольких избранных его привяжут к себе бесчисленные ряды чужих, вульгарных (и правда ведь, как правило, фаллообразных) предметов, было в высшей степени неприятно. Как бороться с этим, он просто не представлял.

С Людмилой он общаться перестал, еды заказывал мало, от работы отлынивал — все думал. Выход, конечно, был, и выход радикальный: надо нанести самому себе упреждающий удар. Но как?

Своего рода обонятельная кастрация могла быть произведена либо хирургическим путем (сгодятся и маникюрные ножницы), либо химическим. То есть нужно было нюхать что-нибудь резкое так долго, так много, чтобы потом не приходили ни на ум, ни, собственно, на рецепторы никакие запахи.

Ножницы он отверг. Во-первых, он не знал, что именно ими надо перерезать, куда их втыкать. Да и опасно все же. Уж не говоря, что совсем неэстетично. А запах крови, о! Нет уж, спасибо.

Во-вторых, если запахи рождаются в мозгу, там же, где и их искажения, ножницы не помогут.

Оставалось нанюхаться чего-нибудь до обморока, до отвращения к запахам вообще. Укус? Нашатырь? Растворитель? Он склонялся к тому, чтобы попробовать, но как-то все медлил.

Тем временем отшумела прохладная весна 2021 года (реки выходили из берегов, но Петр ничего этого не видел, никуда не ходил, хотя карантин давно кончился). Настало жаркое московское лето.

Он спал с открытыми окнами, только так на его десятом этаже было хоть немного прохладнее. Засыпал, измученный тревогами и рассуждениями, поздно. А как-то под утро проснулся непосредственно у открытого окна с обрывком какой-то очень рациональной мысли, заскочившей из недавнего сна: есть, есть радикальный способ разделаться с этим всем вообще. И с запахами, и с их отсутствием, и с этой с... Людмилкой, и начальником, оравшим на него по зуму, что он вечно срывает все сроки и должен остаться без копейки, о чем начальник позаботится немедленно. Хрен тебе, хладнокровно подумал Петр.

То ли после, то ли вследствие этого с ним произошло два события: из Саратова вернулась Людмила, пахнущая все так же хорошо. Начался новый пик заболеваемо-

сти, быстро побивший прежние рекорды. Но это уже был штамм «дельта», который потерю обоняния практически не вызывал, галлюцинаций тоже.

Петр стал счастлив. Его начальник благополучно помер от «дельты». Новый поставил Петра командиром над десятком других копирайтеров — как опытного и ответственного работника. Прибавил зарплату. С Людмилой они решили пожениться и взять ипотеку. Фанатом запахов он отчего-то быть перестал.

7. ПАША И ДАША, СУПРУГИ

— Посмотри на панакотту, рекомендую. Такой какой-то у нее образ — и необычный, и не сказать, чтобы чересчур экзотический.

— Часто тут бываешь, как вижу?

— А что, тут интересно, красиво, у всех этих пирожных и тортиков, так сказать, много подробностей и визуальных микросюжетов. Разглядывай хоть слева направо, хоть справа налево. Хоть сверху вниз. Ну а стены какие! Кондитерская «Бухара» не зря называется. Так что панакотта тут как будто с акцентом. И наполеон тоже. Вот рахат-лукум и чак-чак нет, они тут родные и тоже интересные, кстати. Поэтому да, иной раз появляюсь. Я сладкоежкой как был, так и остался. Теперь, конечно, смешно слышать. Но как звучит — «панакотта»! В юности ничего такого не было, помнишь, в «Огоньке» песочное кольцо да торт «Новинка». Но вкусно, между прочим, особенно если кольцо с орешками.

— «Огонек» тот давно закрыли. Да и кофе там был, уж извини, дрянь дрянью. Еще и со сгущенкой!

— Ну такой советский, да. Кстати — и в Америке, я заметил, нечто подобное валят, весь день огромный чан кипит, оттуда зачерпывают и разливают. Но сгущенку не добавляют.

— Зато во Вьетнаме добавляют. Наверное, типа сладкого кокосового молока. Ладно. Ну, о чем будем говорить? Или на панакотту любоваться позвал?

— Позвал, в общем, без дела. Так, поболтать немного. Обменяться мыслями. Можно про музыку и прочие эстетические впечатления. Давай поговорим, например, про Damon Albarn. Просто обсудим. Вышел его новый альбом. Он такой интересный. Алборн вообще интересен именно сам по себе, когда не «Blur», не «Gorillaz». Не другие его загибы в сторону политкорректности. Но есть ли что-то еще в нем, если все перечисленное вычтешь? Мне как раз кажется, что есть. В новом альбоме чувствуется. И знаешь, что именно? Это такая музыка, которая не отличается от музыки девяностых в чем-то самом главном, но в деталях отличается, и еще как. Принципиально. И это придает ей особенную прелесть для нас, видевших эпохи, что ту, что эту. О, эта музыка девяностых!

— Да, сейчас все другое. Вот говорят про нынешнюю музыку разное, но все как-то не то. И хвалят не за то, и ругают.

— Как и про ковид говорили, а сейчас про эту заразу X. Не того надо бояться, ох, не того! Мы-то с тобой знаем. Люди боятся то «цифрового концлагеря», то зомбирования, то всеобщего психического помутнения. Ничего этого не будет. Изменения реальности — еще туда-сюда, но важно понять какие.

— Ну да, я читала, один пишет: революция шудров против вайшьев входит в решающую стадию. Но поскольку мы знаем, что все закольцовано, в глубине уже должна созреть революция брахманов против шудров. История ускоряется, и это может начать происходить на наших глазах. Интересно, в какой форме это произойдет. И не предтеча ли, мол, этому новая пандемия?

— Нет, не предтеча.

— Да уж понятно.

— Это что! Это прямо даже обсудить можно. Есть же вообще нелепости полнейшие. Кто-то упорно двигает гипотезу, что именно вирусам мы обязаны возникновением жизни, дескать, они являются важным регулятором численности вида... Им принадлежит важнейшая роль в истории биосферы нашей планеты!

— Но похудеть от вируса — если уж говорить о его пользе — точно можно. По себе сужу.

— О, ценю твое чувство юмора. Правда. Эта идея была бы популярна, вбрось кто ее как следует — с выдумкой, массово. Мне вообще нравится, в плане идей, что попроще, помассовее. Вот у школьников, пишут, теперь есть такая забава — смотреть, кто из женщин какие маски носит, и представлять, что и трусы у ней такие же! При ковиде маски были более-менее одинаковые, сейчас-то с новым защитным слоем совсем разные. Между прочим, немного похожа конфигурация. И я даже уверен, что были такие модницы, в погоне за total look, к которым это вполне относилось. Надевали одинаковое и на лицо, и на низ. Однако есть и исключения. Не касается правило тех, у кого маски из аптеки — стандартные, одноразовые. Марля. Такая нулевая степень трусов. Выполняет исключительно прямые свои функции. Ну и на ютьюбе полно видео, где маски и трусы меняются местами. Правда, в основном китайцы демонстрируют, ну, или, что лучше, китайки.

Замечу, что сейчас мода на какие-то особенные маски прошла, а были ведь поначалу и разноцветные-атласные, и с кружевами, и с картинками. Со стразами тоже. Даже наоборот: кто сейчас выйдет в украшенной майке или маске брендовой, Calvin Klein, тот не больно-то за модой следит, а скорее всего, с юга приехал. Дорого-богато.

— Однако пошлость какая. Да это не школьники, это ты сам придумал! Вот вечно у тебя одни подростковые глупости на уме. И потом — маски, может, не носят вычурные, но фирменное белье все носят охотно. А вообще, это пример своего рода апроприации.

— Видно, видно антрополога! Носят белье, но не выставляют же его напоказ! То есть да, была мода, чтобы выставлять, но она прошла, и кто так делает сейчас — дура. Или дурак. А глупости и проказы — скажу для справедливости — были до последнего. Хотя судя по твоим словам, никуда не делись и теперь. Видоизменилось поневоле. Тут есть физиологический нюанс, сама понимаешь... А так-то — да!

— Ты бы еще вспомнил «а что наверху, то и внизу» — цитату из БГ² и алхимический постулат. И в картах Таро то же самое. Помнишь, и у Майринка тоже. Мы его читали сто лет назад. Но к счастью, без всяких сравнений трусов и масок.

— Даже удивляюсь, что тебя оно так шокирует!

— Это типа «удивляюсь, что шокирует в твои-то годы»?

— Ну прям. С твоим эстетическим опытом — вот что вернее. С твоей антропологией-культурологией. Опыт тоже слово вроде обидное, намекающее, но не в этом, поверь, случае.

— С чего бы мне тебе верить?

— Ожидаемая реплика.

— И опять оскорбить меня хочешь?

— Это вот ты, извини, чисто по-женски цепляешься к словам. Не понимаю, чего это так усердно изображать, или, как говорят молодые, «давать» женщину.

— А кого, интересно, я должна была бы изображать?

² Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

— Да мало ли кого! Облако. Кита. Дерево. Тигра. Судьбу. Кого хочешь. Полный простор. Все позволено. Ты просто не освоилась. А вот помнишь, я Ваську принес, мелкого. Так что ты мне устроила! Кошатица, аллергия, гадость. И кто потом полюбил Ваську сильнее всего на свете, сильнее меня, это уж точно. А если бы я послушался тебя? Сам был бы виноват. И Васька сдох бы под забором.

— Ну-ну. Вечно ты высказывал ко мне претензии. С чего бы я должна теперь их выслушивать и тем более как-то на них реагировать? Хватит уже, в свое время намучилась. Помню, помню, как в свое время чего только не делала, чтобы тебе понравиться и родне твоей. Зря делала. Потому что бесполезно. А сколько сил зря потрачено!

— Ну, что было, то прошло, давай так. И даже не буду уточнять, было или не было, а если было, то так ли все трагично. Ну и в любом случае после свадьбы это длилось пару месяцев, пока мы не разъехались с моими родителями.

— Пару месяцев! Это тогда только. А потом! Когда ты ушел, я спать не могла месяц, я таблетки пила и все равно ходила как в тумане, днем и ночью. И такие мне кошмары снились, когда я засыпала на несколько минут, что лучше не засыпать было. Ты в это время активно веселился.

— Ничего, ты хорошо отомстила. Когда ты замуж вышла за этого придурка, я думал, что умру. Сразу, в один момент, и повзрослел, и постарел. За одну секунду, мне как будто было восемнадцать, и вот — уже за пятьдесят. Как сердце выдержало — а я думаю, не выдержало, что-то в нем надломилось, с этого и пошло. И уже не мог забыть никогда. Так что будь спокойна, я тоже страдал.

— Ну да, пострадал он пять минут. Страдалец, ну надо ж. Еще претензии высказывает, вы подумайте только. Сам виноват. И помолчи про Алексея, помолчи.

— Да что мне до твоего... э-э, Алексея. Скажу банальность: это судьба, я при чем тут. И он тут ни при чем. Да что теперь, конечно.

— Ну-ну, судьба... Между прочим, это он вызвал «скорую» сразу, я сама отбивалась изо всех сил. Представляю, что ты бы сделал. Руками бы только развел — давай подождем... Давай понадемся. Судьба... А он вызывал и в больнице потом от меня не отходил. Сам переболел, как потом выяснилось, хорошо, что легко. Я даже не говорю, что делал бы ты, если бы я попала в больницу. Пить бы пошел да жаловаться всем на свою жизнь.

— Может, и так, да только — что толку? Вот и все.

— Ну, так говорить — это просто свинство.

— Это, знаешь ли, факт. Я вон как жил один, так уж и жил. И вызывать никого не стал. И лечиться не стал. Книжки читал, пока мог. Ну... и вот. И встретились теперь.

— А все равно разница есть.

— Вечно ты на своем стоишь! Может, есть, а я думаю, нет, подумай са...

Исчезают.

8. АНАТОЛИЙ, ИНЖЕНЕР

История нашего знакомства началась в седьмом, что ли, классе. Анатолия (а по-тогдашнему Толяна) перевели из другой школы. Просто потому, что его родители получили квартиру в бурно застраивавшемся тогда, в конце семидесятых, спальном районе на окраине города П. В рабочем гетто (таким наш район продвинутыми подростками ощущался и в то время). Школа была соответствующая. Еще и классов полно — от «А» до «Д». Мы в нашем классе «Г» держались одной компанией среди будущих пролетариев. К нам Толян не примкнул и примкнуть не мог. Был, если честно, простоват. Мои родители на близлежащем химзаводе трудились инженерами, его там же — работягами.

И когда он потом окончил наш политех, став как раз инженером, это воспринималось как справедливый шаг нового поколения вперед (так же, как и в отношении меня — ставшего известным в городе П., но, увы, вынужденным бежать оттуда; это, впрочем, другая история).

Помню его в то время (или представляю по школьным фото): уши торчат, передний зуб как будто тоже, глаза широко расставлены, жидкие соломенные волосы падают на лоб и вообще куда попало. Школьная форма вечно мятая, башмаки стоптанные, пионерский галстук замызганный. Ну, надо сказать, в нашей школе и в нашем районе подростки мужского пола аккуратностью не отличались принципиально. Моя форма и обувь, не говоря уже о галстук (его концы я нервно грыз, как и ногти), были не в лучшем состоянии. Плюс длинная редкая челка а-ля Гоголь, которую я вечно тербил. Брр.

Не во внешности Толяна было дело, а в какой-то его простоватости. «Простодырости», как неприлично говорила наша школьная уборщица Мария Степановна; а ее даже директор боялся. Толяна было легко обмануть. Он верил всему — от сведений об инопланетянах до сплетен о наших девчонках. За дезинформацию о летающих тарелках отвечал я, за сальные подробности — рано развившийся в определенную сторону Евгений Б. Мне бы такое и в голову не пришло! Он легко обманывался — но сильно расстраивался потом, дело доходило и до слез.

— Простодырый ты, Толик, — как раз и говорила ему Мария Степановна, утешая, когда очередная наша мистификация раскрывалась, — не верь ты им! Они тыфу, дрянь, а ты парень добрый, из тебя толк выйдет.

Перенесемся на годы вперед. Я окончил наш филфак, преуспевал (сравнительно) в поэтических упражнениях. Собирался жениться. Восьмидесятые кончились. О Толяне я что-то слышал краем: поступил в политех на самую доступную, читай «непопулярную», специальность — «обработка металлов давлением». ОМД. «Оператор машинного доения», как говорили сами политеховцы. Ну, куда ему было податься еще, аттестат получил он троечно-четверочный (я сам еле дотянул до среднего балла четыре с половиной, дававшего тогда льготы при поступлении). Поступил и худо-бедно окончил, пошел на завод... И опять — куда ж еще?

Звездой он стал 19 августа 1991 года. Именно наш Толян, единственный их всех п-ских любителей демократии и лично Ельцина, вышел на площадь Советов к крайнему с самодельным плакатиком. Мол, долой ГКЧП, свободу Горбачеву и все такое. Наша первая независимая телекомпания успела это запечатлеть втихомолку, чуть ли не из-под полы — вернее, из окна редакционного «жигуля» (а то бы камеру отобрали). Потому что простоял Толян минут пять, потом на него набросились менты вместе с какими-то людьми в штатском и отволокли в кутузку, порвав плакатик и изрядно накостыляв. Дали пятнадцать суток. Отбыл до конца и вышел в другой стране, просидев в застенках режима все торжество демократии. Хорошо, что заступились журналисты, не дали уволить с завода и медаль «Защитнику свободной России» пробили. Улыбающееся, такое же простодырое, как и раньше, лицо Толяна пару дней не сходило с местных экранов.

Я пожал плечами: мне было плевать на дело демократии, а впрочем, и на ГКЧП.

Еще раз услышали мы о Толяне через два года. Да, 4 октября 1993 года он вышел на то же место с подобным же плакатиком. Теперь за его спиной располагалась областная администрация, а вязал его уже ОМОН. Камер было больше, независимое ТВ, к которому и я имел кое-какое отношение, развивалось в П. довольно бурно. На плакатике было написано что-то вроде «Долой диктатуру Ельцина! Да здравствует свобода и демократия!».

В общем, даже непонятно, почему пострадал именно Толян. Демонстраций в то время хватало, буйных выкриков и проклятий тоже. Видимо, властям сильно не понравилась его самоангажированность. Он не был ни с коммунистами, ни с ельцинистами. Он, говоря высокопарно, воплощал тип свободного, независимого гражданина, которого власть ненавидела в России всегда.

На этот раз заступаться за него никто не стал. Все наши свободные медиа держали сторону президента. Кстати, и мне Ельцин в то время нравился гораздо больше, чем вахлаки и жулики с позднесоветскими чертами лица. Толян получил два года условно. С завода его наконец уволили, впрочем, благодаря победе сил добра завод скоро закрылся и сам, к Толяну присоединилась еще пара тысяч аполитичных работников. Он-то хоть за дело пострадал.

Кто-то мне сказал, что он уехал с молодой женой (женился летом 1993-го) в райцентр, типа Кытманова или Сузуна.

Больше я о нем ничего не слышал лет десять. За это время я стал местной телезвездой, немного разбогател, купил сильно подержанную праворульную «тойоту», разбил ее, женился, поругался с придурком губернатором, уехал на полгода в Америку по какой-то программе обмена, развелся, пару лет прожил в Москве, работая в рекламном агентстве буквально на побегушках, со сменой губера вернулся в П., поработал в пресс-службе, уехал в Питер, потом в Германию. Вернулся в 2003-м на похороны отца (мать умерла в середине девяностых), полуинкогнито, и вот те на — встретил недалеко от нашей бывшей школы Толяна.

Это он окликнул меня. Узнал. Хотя я изменился, причем сильно. Он — ничуть. Был одет бедно, но чистенько и аккуратно (я ровно наоборот). Ну, остановились. Тогда кофеен и прочего в помине не было. Разговаривать можно было только стоя, потому что скамеек не было тоже: их ликвидировали, чтобы избавиться от сборищ малолетних хулиганов.

Говорил он о себе с каким-то странным энтузиазмом, я отмалчивался. Вернулся из райцентра, открыл маленькое дело по производству мебели (столы-книжки, табуреты). Работает сам, жена помогает с бухгалтерией. Вот работника нанял. При этом ни домой, ни в мастерскую меня не позвал. Врет, поди, подумал я. Да еще и говорит с таким подъемом. Психическая болезнь, не иначе. Ну, учитывая его плакатики, неудивительно.

На том и простились.

И кто же вышел на ту самую площадь в с началом новой «странной пандемии»? Кто вызвал такие большие волнения в п-ском народонаселении (я следил издали, из Подмосковья, куда в итоге перебрался, устроившись библиотекарем; между прочим, в П. я столько не получал и ТВ-ведущим)? Конечно, мой одноклассник Толик.

Дело было, если восстановить хронологию по немногим оставшимся независимыми интернет-медиа, так. В соцсетях мелкий предприниматель Анатолий Л. написал, что проводит 27 ноября на площади Советов акцию, посвященную куар-кодам. Надеется на благоразумие властей и поддержку населения.

Он вышел на площадь. Дул ветер, мел мелкий снежок. Собралось поодаль человек тридцать. Толян глубоко вздохнул и развернул плакат. На нем было написано: «Да здравствует повсеместное введение куар-кодов! Беспощадно пресекать происки антиваксеров и иностранных агентов! Приветствую максимально жесткие меры властей!» Стоявшие вокруг полицейские растерялись. Собравшаяся группа поддержки тоже. Все ожидали совсем иного. Повисла пауза.

Наконец к Толяну подошел здоровый детина-антиваксер.

— Ты что это, а? — спросил он. — Ты за кого это?

И тут Толян сказал то, что от него до этого не слышала ни одна живая душа.

— А иди ты на х...

Детина ударил прямым в челюсть, не задумываясь. Руки у Толяна были заняты, защищаться он не мог. Да поди защитись от такого. Зазевавшиеся полицейские скрутили хулигана. Толян упал на спину и со всего маха стукнулся затылком о гранитную ступеньку.

Говорят, в больнице он еще и заразился вирусом. Но что-то сомневаюсь, уж сильно литературно выходит. Да и какая разница. Он умер на третий день, кровоизлияние в мозг, обычное дело.

Власти никак не поймут, то ли делать его героем, он, как ни крути, за них был, когда чуть ли не все против, то ли делать вид, что никакого Толяна не существовало. Я, честно говоря, и сам не знаю. Он, типа, простодырый, а мы тут такие умные. Может, и так, а может, и ровно наоборот.

9. АРХИП, ХУДОЖНИК

Ну, положим, пить все же не следовало. Воздержаться бы, хоть недельку. Да куда там! Во-первых, честно говоря, он не воспринял слова Ангелины всерьез. А зря, как оказалось. Во-вторых, это еще вопрос, смог бы его организм выдержать эту неделю. Не факт. Может, и не смог бы. Вот! Тогда к чему все эти рассуждения?

В общем, он оказался в подъезде со своими немудреными пожитками. Сложенными в два пакета сети «Перекресток». Вместительные пакеты, ничего. И крепкие. Но, господа хорошие, а куда ж идти с ними? Ангелина, ну елы-палы!

— Видеть тебя не могу, — сказала Ангелина с ледяным спокойствием. — Вот просто физически не могу. Если бы ты меня только обманул. Да я бы тебе и не поверила! Но ты клялся, сам знаешь чем и сам знаешь где. И после этого, вот веришь — нет, я не твое лицо вижу, а морду беса. Гадкого, гнусного беса.

Это после того, как он пришел, совершенно спокойно, лег спать, даже разделся. Лег в гостиной, на неудобном диване. В спальню к Ангелине не лез, не приставал. Не буянил. И она его не выгнала сразу. Думал, что пронесет. Так нет — утром позвала на кухню, мол, надо поговорить, ну и говорит: пошел вон. А ведь зима. Эх!

Ладно, ушел. Пакеты под лестницей припрятал, пошел, конечно, в аптеку, взял бляжки. Вел себя с аптекаршей культурно. Встал у угла дома. Нехолодно, ведь Москва. Тут хорошо. В Сибири мерз, в Крыму мерз. В Москве самое то, самый климат, и вот Ангелина... Может, простит?

Сильно она религиозная. И его по церквам водила. Типа как отваживать от водки. К иконе «Неупиваемая чаша». Помогает, говорят. Он-то в это не верит как образованный человек. Предрассудки, полезные только, чтобы темный народ держать в узде. И все радуются, когда народ сам на себя узду надевает. Тем более интеллигенты. Он этой темой интересовался постоянно, много читал в Интернете, когда у Ангелины жил. Многие даже не знают, как это делается, а он научился. Вот и сейчас — Ангелина на работу уйдет, а он за ее компьютер. И сидит смирно, читает. Сам себе стал нравиться — бородка аккуратно подстрижена, пусть и седая, но еще не полностью, а так, немного и рыжеватая. Очки новые ему Ангелина купила. Красавец, да и баб он всегда привлекать умел, в любом состоянии. Потому что на любое состояние годная баба подберется. Хоть бомжиха, хоть кто. Но это уж на крайний случай. Вот Ангелина — высокая, крупная, хоть и постарше его, но ненамного. С ним она расцвела. И он расцвел.

С зубами только проблема, особенно в холодную погоду. Болят, какие остались. А каких нет, те тоже болят, корешки. Боярка тут первое дело. И лечит, и успокаивает. Ну и спирт в ней все же.

В Крыму он, увы, скатился до состояния бича. Но не виноват. Думал, тепло будет, когда из Сибири свалил. Потому что все достали, особенно этот гад, фермер, у которого Архип в услужении, читай рабстве, прожил три месяца. За скотиной ходил. Навоз убирал. Это он-то — художник! Еле сбежал. Ну, продал кое-что, понятно, из его имущества. Пропил деньги. До Крыма еле добрался, и зря сделал. В Москву, в Москву надо было ехать сразу.

В Крыму оказалось плохо. Работы нет. Может, и есть, но не для него. Ночевал где придется, пока не заболел, хоть не вирусом, и то ладно. Зато познакомился с Ангелиной. Летом у нее денег нет, чтобы на море ездить, а хочется, потому что привычка с детства. Сама — библиотекарь. Вроде для него, художника, не пара, да ладно. По мужской линии у нее провал. И тут он — хоп, и все! И пошла у нее жизнь. А религия стала только мешать. Мужика не было у нее, она и утешалась. А теперь вот есть, и казалось бы, на что ей эти выдумки? Но держалась пока своего.

К себе пустила, в квартирку, метро «Бульвар Рокоссовского» близко, а там до Красной площади двадцать минут. Он дома сидел, отдыхал, отмылся, отстирался, думал начать рисовать даже — ведь уж десять лет, как не брался за карандаш. И сорвался, конечно. Кто без греха, вообще.

Боярка пошла хорошо. Поднялся к Ангелине, стал аккуратно ломиться в обитую черным дерматином дверь, третий этаж. Жить там можно. Две комнатки, кухонька, санузел совмещенный, балкон даже. Если продать эту хату, то на Алтае дом можно взять, участок соток пятнадцать и надворные постройки. Свиной развести, да хоть бы с кур начать. Он уже начал клинья подбивать. Природа, говорил, красота, экологически чисто все. И сорвался. Ну что ты будешь делать! Бес попутал, может, правда. Бесы в церковных фресках изображаются очень талантливо, это он как специалист может сказать. Может, один оттуда соскочил прямо в него.

— Не пушу, — твердо, хотя с волнением, по осипшему голосу было слышно, сказала она из-за двери. — А будешь шуметь, в полицию сдам. Вызову сейчас. У нас тут живо приезжают. С такими не церемонятся.

«С такими!» «У нас!» Москвичка проклятая! Ладно, сочтемся. Сейчас не время.

— Да ведь не повторится больше, и за что в полицию? — ласково сказал он. — Полиция меня отпустит сразу.

— Ага, — саркастически сказала она, — это без документов-то. Отпустят! В спецприемник отпустят или в СИЗО прямо.

Ну это она была права, с документами вышла неувязка. Вернее, как — несчастный случай. Он продал свой паспорт какому-то кавказцу за три бутылки водки. Паспорт был весь порванный, да еще и просроченный. Но все же документ, по нему из Крыма добрался вместе с Ангелиной (на маршрутке), а раньше в Крым на перекладных. Так что ничего, нормальный документ. Думал, что сейчас оклемается, подаст на восстановление, и без проблем. Как раз и напился в тот раз на полученную водку. То есть вчера. Ничего не предвещало. И тут Ангелина такой номер выкидывает.

Он даже признался, что без документов остался — пытался разжалобить, не гони, мол. Выгнала, да и запомнила вдобавок. А религиозность для нее один пшик получается.

— Не тебе, подлецу, об этом судить, — ответила она из-за двери на его справедливый упрек, — вон пошел.

— Да и религия твоя пшик! — сказал он тогда в сердцах. — Если бы серьезная религия была, то никакой ковид ей не страшен. А я вот читал, что в твоей лавре произошло, куда ты меня таскала. Эпидемия! Все монахи и послушники короной заболели! На Пасху люди вломились — говорят, проводи службу, и они, больные, проводили. И сколько еще народа позаражали? Тысячи и тысячи! На Пасху же! Там один даже говорил, что они были словно пригвождены ко кресту. А внизу толпа, требующая чуда. Сравнил, ничего себе. А главное, чуда-то не произошло. А? Не произошло чуда! Померли многие. Будь они прямо почти святые, что, им болезнь страшна? Да фиг там! Фальшивые святые! И ты фальшивая! Выгнала меня, сволочь! Что скажешь?

Ангелина не отвечала больше ничего. Стучать со всей силы или пинать дверь Архип не решился. Сдадут и правда ментам. Может, уже звонят сейчас. Он подхватил свои пакеты и вперевалку, как комическая старуха в давнем клоунском шоу (помнил его с юности, по телику видел сколько раз), вышел на улицу.

Москва была чужая и что-то уж больно морозная. Похолодало раза в два, пока он там с Ангелиной объяснялся. Боярка заканчивала свое действие на его организм, денег не было ни копейки. «В церковь пойду», — решил он. Церковь была через квартал. Там еще давеча он видел вывеску, что принимают бездомных. А для чего принимают? Может, котлеты из нас хотят сделать, хорохорился он. Ну, котлеты так котлеты, уж лучше, чем заморозить. Может, в монастырь пошлют, ту же лавру, там, если все померли, рабочие руки нужны. Кормить будут, уже хорошо. Потом выправить паспорт и махнуть, может, опять в Сибирь, родные края.

«Или вот, — размечтался он, — буду в лавре вкалывать, типа монахом заделаюсь, приедет, как всегда, дура Ангелина, идет такая, а я вот он, стою. Здравствуй, скажу, грешница, оттолкнула меня, а я вот воцерковился. Выпучит глаза!»

Это так понравилось Архипу, что он пошел в сторону церкви веселее, шмыгая носом и слегка подволакивая левую ногу, чтобы подошва ботинка, надорвавшаяся как раз вчера, не оторвалась совсем.

10. ЗИНАИДА ПЕТРОВНА, СТАРУШКА

Пребывание в инфекционном отделении, или, как говорят по привычке, «ковидарии» (хотя новый вирус с ковидом не имеет ничего общего, да и до сих пор неизвестно, что с новой заразой), тем более в районной больнице, кажется, то еще удовольствие. Но вот 31 декабря 2024 года отремонтированное, чистенькое спецкрыло кытмановской больнички было и пустым, и уютным. Из пациентов осталась только Зинаида Петровна, худенькая старушка из дальней деревни. И то за ней должен был заехать внук на своей «ниве» после посещения районного рынка и доставить как раз к бою курантов по назначению.

Собственно, очередная волна паники пошла на спад, все вдруг выздоровели, кто еще смог это сделать, остальных просто распустили по домам. Уж даже и на Зинаиду Петровну отрицательный тест пришел несколько раз. Но врачи все оттягивали момент расставания — боялись, что больше не увидят, если что — ей все же было девяносто с лишним лет. Старушка несколько лет назад стойко, без симптомов, перенесла ковид, сейчас в больницу ее поместили перепугавшиеся родственники (чихать да кашлять начала) на всякий случай. С родней ей повезло, как мало кому сейчас. Муж умер много лет назад. Сын и дочь живут в ее же деревне. Они давно на пенсии. У них самих уже много внуков, есть и правнуки. Все дружные, благополучные. Занимаются всей семьей закупкой мяса и молока по отдаленным селам, куда крупными перекупщикам ехать

совсем невыгодно. Потом сдают оптовикам. Летом — грибы, ягоды, и перекупают, и собирают. Выигрыш в деньгах маленький, но по деревенским меркам вполне. Много накупили авто, нужных для работы. В основном «нивы», но уже и внедорожники праворульные не редкость, на семью целый автопарк. Подростки гоняют на скутерах по холмам наших предгорий. Молодые отселяются лет в двадцать пять, ставят свои дома или в Николаевке, или в Семеновке. Мини-поселок можно уже собрать из домов этой семьи! Некоторые уезжают в город учиться, иные возвращаются — та же недавно реконструированная (да что там, построенная с нуля) школа в Николаевке укомплектована родней бабы Зины наполовину, если не больше.

Совсем не все в наших краях так благополучно, но я скажу так: многое зависит от человека. Вот, например, в райбольнице все хорошо, потому что главврач Тенгиз Абдулович (красавец грузин, а может, абхаз, в районе сорок лет, приехал по распределению и остался) следит за всем твердо. Но для корреспондента районной газеты, смею думать, любимой в районе, конечно, всегда делается исключение. Больше ни для кого!

Баба Зина сидела на аккуратно заправленной кровати, такая же аккуратная. Похожая на полусгоревшую, согнутую спичку, но в негативе: темный низ (фланелевый халат) и светлый верх (клоняющаяся голова в пуховом белом платочке). На ногах у нее красовались самодельные меховые шлепанцы. Это жена внука заезжала с утра, обрядила ее как надо и убежала за покупками, чтобы потом не задерживаться — путь неблизкий.

Я решила поговорить с ней для рождественского номера. Редактор у нас в газетке человек суровый, бывший военный, пенсионер. Он не любит всех этих вольностей, юмора, лирики, литературы, считает, что газета — это что-то вроде боевого листка. Или статистического справочника — где сколько засеяли-убрали. Только со сканвордом и анекдотами. Но! Раз или два в год он позволяет опубликовать что-то такое, личностное. Работать нелегко, да куда мне теперь деваться, всю жизнь при этом деле. В редакторы не берут. Хожу лет двадцать в завотделах.

Человек в районе баба Зина известный, а ехать к ней домой все же далеко, с командировками в газете не все просто. Дело в том, что вот эта старушка в юности была председателем двух колхозов, зампредом райисполкома, потом уже, на пенсии, работала в районном комитете партийного контроля. И в то время, как я узнала не без удивления, ее побаивались. Никогда бы не подумала! Сидит, блаженно улыбается, но себе на уме.

Железная старушка? Даже если и так, осуждать ее я бы не стала. Что мы знаем о тех временах, а уж тем более наши дети, хотя они-то готовы рассуждать обо всем скопом (вот моя дочь, например). Но нет. Кажется, что, выйдя на пенсию, Зинаида стала другим человеком. Или все забыла. Да и что она там такого жуткого могла делать и даже видеть, все же времена были вегетарианские. Работа двадцать четыре часа без выходных, грубые мужики, нехватка всего. Вот и все секреты. Я бы сама на ее месте хотела такое забыть — да и на своем месте, надеюсь, свое, похожее, забуду.

Ну и вот — как раз нужны ее секреты бодрости в непростое время. (Секрет, повторю, понятен, он — в забвении. Но мы напишем про оптимизм и витамины со своего огорода, уж это точно никому не помешает.)

Неожиданно баба Зина заговорила со мной о прошлом. Привожу уже записанный на редакционный диктофон и обработанный потом диалог. Вижу, не очень похоже получилось передать интонацию... но смысл передан точно.

— Да что колхозы, — отмахнулась она, — ну некому было ими заниматься, мужиков поубивало, я и тащила. Не это интересно.

— А что, Зинаида Николаевна?

— А вот была история, послушай, внучка. Я в школе училась с одной такой девушкой, Антониной. Не были подружками, но знали. Я школу окончила и осталась в деревне, сначала бухгалтером, а потом и колхоз дали. А Антонина уехала в город. Связалась там не пойми с кем, тогда мужики шальные были, домой ехать не хотели. Ну и пошла по рукам, конечно. А как иначе? Родила там. Ребенка забросила в деревню, при том сама не приезжала, стыдно ей было, мать ее ездила за внуком. Так толком не присылала ему ничего, откуда деньги-то у гулящей. Перебивался ее сынок, как и все мы, хлеб да квас, да щи по праздникам. Какой-то он недоразвитый рос, но и откуда сыну шлюхи ума взять. Мне не до того было, чтобы следить что, кто да как, я вон как пахала. Замуж я потом уже вышла, за Ваську, он в то время еще в десятом классе учился, но я глаз положила на него, да не беспокоила. Ну и некогда было.

Ладно. Как сейчас помню: осень, холод, слякоть. Пронесся слух: приехала Антонина. Все работу побросали (бабы, девки, мужикам неинтересно, да и я запретила). Стоит она перед селом, одета как попало. Вроде с шиком, горжетка вроде там, да видно, что все старое, надетое. Вот только косынка новая, дешевая, красная, как сейчас помню, хоть семьдесят лет прошло. Стоит, теребит косынку. В руке чемоданчик ободраный, гостинцы, что ли, везла. От такой дряни кому они нужны! Все молчат. Ждут меня. Я вышла из толпы, косынку сорвала, под ноги бросила, плюнула в Антонину. И ушла. Развернулась, и все. На работу. Тут на нее все навалились. Били сильно. Палками некоторые. Кровью, рассказали, под конец харкать стала, валялась, как шалава, в грязи. Тьфу... Но не до смерти. Все отобрали, что было, мне вон косынку ее передали, носила потом иногда. Выгнали из деревни, до райцентра пешком голая и босая десять километров брела. Простыла и померла после этого, говорят. Или уехала куда из областного центра. А я вот живу. А почему?

Тут старушка посмотрела на меня торжествующе:

— А потому, что говна людям не делала и не делаю!

Помолчали. Борясь с известными чувствами (дочь моя могла бы оказаться перед ними всеми в таком виде!), я спросила сдержанно:

— А с ребенком что стало?

— С ребенком? — она непонимающе посмотрела. Потом сообразила: — А, с выб...ом. Да вырос, в армию пошел, потом на стройку завербовался и был таков. Дед с бабкой его померли. Так что куда ему было возвращаться. Их домик мы под склад приспособили, потом, конечно, разобрали.

— Ох, это что, а вот давай я тебе расскажу, как мы в девяностом из партии одного исключали, уже в перестройку, прямо целая история, как он упибался...

— Спасибо, — улыбнулась я через силу, — там за вами приехали.

Старушка тут же забыла про меня, и, надеюсь, навсегда...

Разговор тем не менее надо было выдавать в печать. Бредя домой, я решила, что напишу сама и про огород, и про оптимизм. Пусть родня Зинаиды порадуются. Ей-то самой, поди, все равно — и кстати: помрет она все же когда-нибудь, возьмет же ее хоть какая-нибудь зараза наконец.

11. СЕРГЕЙ, БИЗНЕСМЕН

Уже потом, после того, как его отключили от аппарата ИВЛ, то есть сначала перевели на портативный кислородный аппарат, затем он стал обходиться без него, сначала по несколько минут, потом больше, и через две недели — оп-па, домой — так вот,

потом он принялся за исполнение зарок, данных себе в полубреду. Когда звучал — то ли в палате, то ли в ушах — один сигнал зуммера — пииииииии... Потом смолк, как будто растворился в ясном небе.

А это было интересное состояние. Он видел, будто со стороны, как суетились врачи, еще и подумать успел: если бы не он, владелец, акционер, бывший депутат и т. п., а простой человек — суетились бы так? Не факт. Одна отдельная палата, в которую его спешно перевозили из реанимации, чего стоит. И в деньгах, конечно, очень немало.

Даже два небольших ангела, размером с крупную индюшку, бывших при этом, удивились. Один сказал другому:

— Слушай, его эта красная гвардия (он про красные кресты, понял Сергей) спасает сильнее, чем Ленина в восемнадцатом.

Такой вот интересный бред, да.

Зароки были простые и вполне даже сбыточные. Во-первых, он женился на своей давней подруге, которая так часто говорила об этом как о своей главной мечте, что не верила до последней минуты, а поверив, уже после церемонии, похоже, впала в экзистенциальный кризис. Чего было добиваться теперь, о чем скандалить, по какому поводу бить коллекционные тарелки (но с разбором бить, с разбором, не все подряд)?! Свадьба прошла тихо, даже секретно. Ничего, конечно, не изменилось, но все остались довольны — подруга быстро привыкла к новой роли, нашла поводы возмущаться и истерить. Все пошло наилучшим, привычным и важным в своей привычности чередом.

Он купил московскую квартиру своей молодой любовнице. До этого опасался, что как только купит — для нее, провинциалки из глухого южного села, эта была высшая, недостижимая мечта, — больше Насти не увидит. Купил. Пока она держалась около. Даже не помешала квартиру изнутри переделать по вкусу Сергея. Впрочем, теплоизоляционная цветная плитка снаружи, на фасаде, приводила ее в куда больший восторг, чем нечто духоподъемное, сооруженное знакомым дизайнером «папика» на огромной кухне. Эта такая недостижимая мечта у них в деревне была — чтобы все в крупных квадратах радужных и пастельных оттенков.

Порешал несколько дел по работе, одних наградил, кого-то уволил (давно собирался). На деле это не отразилось никак, но зарок есть зарок. Сам Сергей, впрочем, уже много лет никакого активного участия в управлении активами не принимал, доверял своему директору. Старательному человеку бесцветной внешности, почти ровеснику (молодежь Сергей как-то недолюбливал — а честно говоря, в деловом плане просто не видел в упор).

Понятно, несколько раз позвонил за границу детям. Сделал повышенные взносы во все обычные благотворительные фонды. И понял, что свободен. Почти. Не хватало одной детали.

Ни с кем не прощаясь, он собрал чемоданчик и отправился к себе на родину, в сибирский поселок. Районный центр.

От областного центра ехать нужно было часа полтора, но цивилизованно, на маршрутке, по очень приличной дороге. А что удивляться, даже на те налоги, что он платил (уводил от налоговой больше, конечно), здесь можно было бы построить десятиполосный автобан. После стольких месяцев болезни, потом выздоровления в чetyрех стенах Сергей с радостью глядел на скучноватые пейзажи: холмы, овраги, бесконечные поля с лесополосами.

Приехал в поселок. Снял комнату в бывшем Доме колхозника, теперь небольшом кооперативном, что ли, торговом центре. Тут и сауна, и несколько комнат, и дрянная кафешка с полусасохшими мантами и теплой водкой. Сомнительной, конечно.

Сергей гулял по пыльным летним улицам, выходил за околицу. Ничего не изменилось со времен детства. Родни здесь не осталось, школьных товарищей он бы просто не узнал.

Однажды он ввязался в разборки местных — но очень темнокожих, курчавых, низкорослых — парней между собой. Впрочем, и Дом колхозника теперь назывался «Кавказ», как любимый им в ранней юности портвейн. Вроде как вступился за девушку, но теперь на него обозлились обе банды. Им было непонятно, конечно, чего он тут делает, как проводит отпущенные ему еще часы и минуты. Что, разумеется, здорово их раздражало.

Дошло до крайностей. За словом в карман лезть Сергей не привык. И вот он сидел в своей комнате, а они гудели под дверью. Нужно было идти туда. Из всего в целом свете, что могло бы ему помочь, в его распоряжении был только кухонный нож средней величины, почти тупой, но с острым кончиком. Пырнуть пару раз он им еще мог, потом все.

В его время не водилось здесь таких парней, таких разборок. Но дрались, это да, и дрались, бывало, грязно. В ход шли кирпичи, цепи, разбитые бутылки — «розочки». Ну что ж, он выжил тогда, шагнул отсюда. Посмотрим, что будет теперь.

Парни оживленно галдели на своем языке за тонкой дверью, время от времени попиная ее, разминаясь как будто. Скоро перейдут к делу. Ну что ж!

У него болела голова. Голоса как будто сливались в один, и он даже начал различать, что этот голос говорит. А говорил он очень знакомые Сергею слова, ставшие в последние годы самым главным для него. О хорошем, удобном доме, комфорте для себя и для всех близких, интересных, небанальных путешествиях, о той пользе, которую он приносит многим людям, о знаменитостях, которые счастливы с ним общаться, вообще о хорошей, достойной, заслуженной им за долгие годы работы, ошибок, падений и взлетов жизни.

Смолкнувший в больнице зуммер вдруг опять взялся ниоткуда и все усиливался, усиливался, было ясно, что теперь не исчезнет.

— Жизнь, говорите? — пробормотал он и шагнул к двери, сжимая в руке кухонный нож.

Евгений ХАРИТОНОВ

НА МОГИЛЕ СОЛДАТА

Скоро май, и знамена парада
Растекутся по Русской земле.
Мне припомнилась нынче ограда
На могиле солдата в селе.

Неприметная вроде бы с виду.
Проржавела. А дед говорил:
«Если рыжая, значит, обиду
На кого-то солдат затаил».

А солдат, как нарочно, весною
Прикрывает могилу травой,
Чтоб его обошли стороною.
Не тревожили сон вековой.

Чтоб не клали на холмик конфеты,
Рукава перед тем засучив.
Лишь кукушка лесная все лето
Прилетает к нему и молчит.

За Отчизну отдавший все силы,
Не просивший взамен ничего!
...И шагает парад по России
В честь великой Победы его.

В ЗЕМЛЯНКЕ

Разрывы с каждым днем становятся все ближе.
Укрылись под землей и просто ждем рассвет.
Пригревшийся у ног щенок консерву лижет,
Как будто до войны ему и дела нет.

Евгений Николаевич Харитонов родился и живет в Белгороде. Член Союза белгородских литераторов. Автор двух поэтических сборников. Лауреат международной литературной премии «Форпост» памяти поэта Сергея Короткова и литературной премии «В поисках правды и справедливости» партии «Справедливая Россия. За правду». Стихотворения автора регулярно публикуются на страницах периодических изданий в России и за рубежом. Публиковался в периодических изданиях России и стран СНГ: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Литературная газета», «Подъем», «Берега», «День и ночь», «Александръ», «Пересвет», «Нижний Новгород», «Приокские зори», «Невский альманах», «Воин России», «Краснодар литературный», «Северо-Муйские огни», «Звезда Востока» и др. Стихотворения автора переведены на белорусский, украинский, ингушский языки.

Буржуйка горяча. Кипит походный чайник.
Товарищ у стены сопит который час.
Пугливый мотылек, прибившийся случайно,
Притих на потолке, уставившись на нас.

Не хочется вставать, гнетет усталость тело.
Вот так бы и сидел в землянке на пенке.
Да только есть приказ, а по-простому — дело,
Которое решит лишь палец на курке.

Допит горячий чай, докурена махорка.
Прижат бронежилет застёжками к груди.
И слышно, как рассвет, коснувшийся пригорка,
Невольно говорит: «Ну что, боец, иди!»

Не встретишь на войне судьбы своей афишу,
И нечем усмирить волнение в душе.
Сползают небеса от боя к бою ниже,
Да так, что их рукой касаешься уже.

* * *

Между мною и войной —	Здесь, на западе страны,
Меньше часа по прямой.	Села в коконе войны.
От войны и до меня —	И с разорванным лицом
Залп ракетного огня.	Хата матери с отцом.

* * *

У костра бойцы сидят,
Разговор не клеится.
Поутру был жив бурят,
А теперь... Не верится.

Разгорается в груди
У солдат пожарище.
Хоть буди, хоть не буди —
Крепок сон товарища.

Что ни день, то на краю —
Так всегда с разведкою.
Сколько он спасал в бою
Верной пулей меткою.

А теперь в одном строю
Павших в ополчении.
Нынче даже не поют
Соловьи вечерние.

Хоть огонь костра погас,
Парни не расходятся.
За бурята, за Донбасс
Тихо Богу молятся.

ВТОРАЯ ОСЕНЬ

Шагал сентябрь по выгоревшим тропам,
Звучал ветров унылый контрабас.
Как вдруг волна промчалась по окопам —
Снаряд взорвался где-то возле нас.

Зажглась свечой трофейная «буханка»,
Накрыла пыль позицию плащом.
И вновь снаряд из вражеского танка
Вцепился в землю огненным клещом.

Седой старлей отстреливался матом,
Не веря в то, что взвод наш обречен.
Гуляла осень в платье желтоватом.
Вторая осень... Сколько их еще?

ГЛЯДИТ РОССИЯ В ПЕРЕКРЕСТЬЕ

За то, что не осталось чести,	Уже давно шмальнуть бы надо,
За то, что враг наполовину,	Согнав нацистских кур с насеста.
Глядит Россия в перекрестье	А мы все пробуем прикладом
Который год на Украину.	Поставить им мозги на место.

МАЛЬЧИК

Танки без устали твердью
Жалят извилистый луг.
Мальчик, не тронутый смертью,
Плачет, глотая испуг.

Всюду глазницы воронок.
В огненном зареве лес.
Мальчик погибших сестреноч
Просит спуститься с небес...

В папиных стареньких берцах
Он в неизвестность пойдет.
Жалости в маленьком сердце
Больше никто не найдет.

* * *

Село на краешке Руси.
Обычный дом. Печурка. Столик.
Мужик жене: «Не голоси!
Вернется наш сынишка Толик.

Придет и женим наконец
Его на Зинке из аптеки.
Наваришь к свадьбе холодец...
Давай суши на щечках реки.

Чего расклеилась с утра?
Приснилось, может, что, дуреха?
Налить водички из ведра,
Пока опять не стало плохо?

Успеешь, милая, внучат
Утешить ночью в колыбели.
Они еще перекричат
Всех нас у новогодней ели!»

Ну хватит, милая, сполна!
Услышат местные „сороки“.
Да, тьфу... Подумаешь, война —
На пару месяцев мороки.

Не слыша слов, рыдала мать,
К своей груди прижав иконку,
Не зная даже, как сказать,
Что им прислали похоронку.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА

В тот самый день, когда закончится война,
В веках восславив подвиг русского солдата,
В календаре возникнет памятная дата,
А вместе с ней родится горькая вина —

За то, что мать давно смирилась с сединой,
За тех друзей, кому война сомкнула веки.
За вдовий плач соседки где-то за стеной.
За хмурый взгляд из глаз прохожего-калеки.

За то, что мы сирот упрятали в приют.
За каждый дом, от рук фашистов пострадавший.
И за торжественный над площадью салют,
Когда в стране немало без вести пропавших.

Засыплет время все воронки во дворах,
И сердце рваное с утратами смирится.
Как вдруг в сознание ворвется дикий страх,
Что это все однажды может повториться.

РАССКАЗЫ

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО

Колыбельных песен Ульяна не знала. А может, она просто не любила их, потому что казались они ей грустными. И своей дочурке она всегда напевала одно и то же — ту присказку, что она, веселушка и хохотунья, задорно выкрикивала, когда еще девчонкой играла с подругами:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо — птички летят,
Колокольчики звенят...

Напевала тихо, но весело и приговаривала:

— Вот полетят птички к папке, расскажут, какая у него доченька Танечка красивая, папка и приедет. Победит и приедет.

А ведь и впору было посылать отцу птичек, не видел он еще дочери, и приходили от красноармейца Григория Ершова белые треугольники — воевал Григорий.

Танюшке не исполнилось и двух месяцев, когда деревня проснулась от треска мотоциклов и криков на непонятном языке. Люди в касках и форме темно-серого цвета говорили, словно лаяли. Дом Ульяны и Григория — добротный, просторный — заняли сразу, в ней расположился немецкий офицер. Ульяну с дочкой выселили в сени. Могли бы, конечно, и вовсе вышвырнуть, но нужна была офицеру прислуга. Да и сама хозяйка — молодая, ладная, сбитая — привлекла капитана.

В этот вечер капитан приказал приготовить ужин, дал понять, что он сильно устал и будет отдыхать. Поужинав, он действительно сразу улегся в постель, приказав Ульяне не гасить керосиновую лампу, а оставить ее на окне. Капитан не доверял жителям деревни и предпочитал спать при свете.

А у Танюшки разболелся животик, и девочка, не переставая, плакала, плач переходил в крик. Ульяна, как могла, успокаивала дочь: укачивала, грела животик девочки, прижимая к своей теплой груди. Этого хватало ненадолго — и девочка снова начинала кричать. Ульяна понимала, что крик это не дает офицеру спать, что это может

Александр Борисович Жданов — поэт, прозаик, художник, искусствовед. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Родился в Баку. В 1982 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1989 года живет и работает в Калининградской области. Преподавал в школе, работал в газете, где прошел все этапы от корреспондента до главного редактора. Публиковался в журналах «Запад России», «Балтика», «Литературный Азербайджан», «Берега», «Литературная Армения» «День и ночь», «Великороссь», «Метаморфозы», «Новый свет» (Канада), «Дружба народов». Автор трех сборников стихов, шести книг прозы, альбома живописи и графики и трех учебных пособий по истории изобразительного искусства. Призер ряда международных литературных конкурсов. Постоянный автор «Невы».

рассердить его. Однажды офицер даже вышел в сени, прикрикнул на Ульяну, погрозил кулаком и снова улегся.

А девочка не унималась, кричала, извивалась. Ульяна прижимала ее к груди, укачивала, пыталась всунуть в ротик завернутый в марлечку хлебный мякиш. Потом стала было напевать свою песенку, как в сенях показалась освещенная сзади черная фигура капитана. Не говоря ни слова, он выхватил ребенка из рук матери и вернулся в комнату. Ульяна бросилась за ним, упала на колени, хватая офицера за ноги. Он вырвался из рук женщины, взял малышку за ноги, стукнул головкой об угол печи. Плач прекратился, отбросив тельце на пол, капитан прошел дальше и улегся на кровать.

Ульяна не закричала — завывала. И как была на четвереньках, так, продолжая выть, поползла в сени. Она ползла, пока не уткнулась лбом во что-то длинное, деревянное и округлое, словно ручку метлы или лопаты. Вилы! Ульяна не успела унести их с утра в сарай. Она сжала в руках черенок и некоторое время бездумно глядела на него. Потом тихо вошла в комнату.

Стоявшая на окне непогашенная керосиновая лампа освещала их с Григорием супружескую кровать, на которой спал капитан. Спал глубоко и спокойно, лежа на спине. Он слегка похрапывал, и горло под кадыком подрагивало и пульсировало.

Вилы вошли в это горло на удивление легко, и больше усилий понадобилось Ульяне, чтобы вонзить их глубже — сквозь перину в дощатый настил кровати, впечатать в кровать тело. Ульяна не глядела на то, как судорожно дергалось тело офицера, не слышала, как храп перешел в хрип. Она завернула в фартук тельце дочери. Особенно аккуратно прикрывая разможенную головку. Одной рукой она прижимала тельце к груди, а в другой несла зажженную керосиновую лампу. У сеней задержалась, с размаху швырнула лампу об пол, прикрыла дверь в комнату и вышла во двор, плотно закрыв дверь и вставив в щеколду болт.

Пламя занялось быстро, охватило весь дом. Соседи выскочили из своих домов, суетливо бегали, метались по двору, стараясь погасить огонь. Ульяна стояла посреди двора, прижимала к груди трупик дочери и, дико хохоча, выкрикивала:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.

Одна из соседок подбежала к ней, заглянула в безумные глаза, увидела страшный сверток в руках, попыталась отобрать его. Ульяна сначала прижимала тельце к груди, потом бессильно разжала руки, опустилась на землю и, стоя на четвереньках, мотала головой и приговаривала: «Гори, гори ясно...»

На следующий день немцы сожгли всю деревню.

* * *

Зима пришла рано. На Покров снег уже припорошил почерневшую от копоти и пепла землю, обгорелые бревна и несокрушенные огнем каменные печи. Из погребца вылезла молодая женщина. Она долго бродила, босая, по припорошенному снегом пепелищу, седые волосы рассыпались по плечам. Женщина прижимала к груди завернутое в косынку обгорелое полено и тихо напевала:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.

Глянь на небо — птички летят,
Колокольчики звенят...

По небу к югу летела вереница запоздалых гусей.

ПОДВАЛЫ ПАХНУТ ВОЙНОЙ

На следующий день мы вышли
из своего убежища.

Курт Воннегут

1

Сначала Басмач услышал вой. Пес приподнял голову и тут же уронил ее обратно на лапы: беспокоиться не стоило. Басмач давно уже привык к этому особенному вою, не похожему ни на собачий, ни на волчий, и научился не пугаться его. Даже мог различать разные особенности воя. Сейчас он знал: то, что воет, пролетит дальше. Мина и впрямь упала через несколько дворов от дома Старика, где и без того все разрушено.

Старик вышел из дома, встал на пороге и посмотрел туда, где прогремел взрыв.

— Снова стреляют? — совершенно ровным голосом спросил он. Не отрывая головы от лап, Басмач повернул ее к Старику. Короткие светлые, почти охристые брови на черной морде пса слегка приподнялись, пес дважды легко шлепнул хвостом по земле. От песка поднялось слабое облачко пыли.

— Понятно, — вздохнул Старик и вернулся в дом.

Басмач знал, что сейчас хозяин выйдет из дома со своей женой — пес звал ее для себя Доброй — и оба спустятся в подвал. Они станут звать с собой и его, но он не сдвинется с места.

Добрая оказалась на пороге первой. В руках она держала небольшую сумочку. Добрая подошла к псу, потрепала его по шее.

— Так и будешь лежать? — тихо спросила она. — Пошли, Басмачушка.

Пес вздохнул, глубже зарылся головой в лапы и с места не сдвинулся.

— Напрасно зовешь его, — услышал Басмач голос Старика, — не пойдет он.

Но сам Старик все же подошел и попытался позвать пса:

— Пошли уж, разбойник.

Голос у Старика тихий, но властный. В другое время Басмач подчинился бы беспрекословно, сейчас же остался лежать.

— Ну как знаешь, — сказал Старик и последовал за Доброй. Они спустились в подвал, Басмач смотрел им вслед. В подвал с хозяевами пес не спускался никогда. Подвалы он не любил. Подвалы пахнут войной и смертью — сейчас пес знал это точно.

...Тогда стояла зима, и жил Басмач не на окраине пригородного поселка, а в городском центре, и звали его... Надо же! Пес стал забывать свое прежнее имя. Впрочем, за последнее время у него было столько имен, что и не упомнишь... Да, стояла зима. Не очень суровая, скорее даже слякотная. Но то было странное время среди зимы, когда люди зачем-то несли в свои дома и квартиры пушистые и колючие елки и из каждого человеческого жилья пахло лесом. Люди почему-то сутились и старались выглядеть веселыми, но пес видел печаль в их глазах. Все же, наверное, это было хорошее

время, потому что и его старались угостить чем-то, что было гораздо вкуснее того, что он получал обычно.

А потом с той стороны, куда по вечерам уходило солнце, послышался свист, очень близко что-то прогремело и все содрогнулось. Пес очень испугался тогда, поджал хвост; он мелко дрожал и уже пополз, чтобы забиться в лаз под детской беседкой, который вырыли другие собаки. Но девушка из квартиры на третьем этаже схватила его на руки и понесла вниз. Девушка спускалась по ступеням, а пес все дрожал. Так пес увидел подвал, и подвал ему не понравился. Там нестерпимо пахло кошками, и казалось, что они обступают пса со всех сторон. Он почувствовал и другой запах — еще неясный, но от него становилось тревожно.

Девушка отнесла пса в глубь подвала и уложила рядом с собой. Зима стояла не злая, но в подвале было холодно. В выбитые окошки, те, что со стороны улицы наполовину вырастали из-под тротуара, а наполовину уходили вниз, влетал ветер и приносил с собой хлопья снега, но рядом с девушкой было тепло. Девушка поглаживала пса по голове. Надеялась, наверное, что тот уснет, но пес не засыпал. Он оглядывал все вокруг, потому что привыкаться пока не получалось. Он даже опешил поначалу. В пропахшем котами подвале, казалось, запахи перемешались, и навис один густой общий запах. Но постепенно густота исчезала, и стали пробиваться запахи других собак. И пес увидел их: они несчастно сжались в странных, закрытых решеткой ящиках и печально смотрели оттуда. Ни за что на свете пес не согласился бы влезть в такой ящик. Потом он различил запахи кошек. Кошки тоже сидели в зарешеченных ящиках, но печали в кошачьих глазах пес не разглядел. Видимо, не впервой сидят они в заточении, привыкли. Странно: псу вовсе не хотелось лаять и бросаться на этих кошек. Молчали и другие собаки. Страх и предчувствие беды ослабили вражду. Постепенно пес убедился, что и люди пахнут по-разному. Все входило в привычную колею, и можно было успокоиться. Но тревожил прежний неясный запах.

Пес вздохнул. Все же, наверное, стоило подремать. Он улегся у ног девушки. Никогда не позволял себе пес сворачиваться дворняжным калачиком. Он спал, поджав задние и вытянув передние лапы, на которых лежала голова. Так ему было спокойнее, так он мог в любую минуту открыть глаза и видеть не только перед собой.

Дрема все-таки одолела. Пес дремал и чувствовал, как постепенно сгущается время, словно останавливается. Но время сгустилось не только для него. Многие уже перестали то и дело поглядывать на часы, смирились с тем, что здесь они надолго.

Короткую тишину разорвали разрывы снаружи. Это вывело людей из оцепенения. Кто-то заплакал, кто-то повторял без остановки: «Господи, когда же все это прекратится?» Человек с очень короткой стрижкой нервозно перекладывал с места на место свой кейс, словно никак не мог его пристроить. Он оглядывал сидевших вокруг — то ли приглашал к разговору, то ли опасался любых разговоров. Пес отполз от теплых ног девушки и добрался до человека.

— Добрался? — приветливо спросил тот и тут же обратился к сидевшей рядом женщине: — Обычно собаки на меня бросаются, не любят, а этот... Словно поддержать меня приполз. Мы все на грани смерти, и он это чувствует.

— Будет вам! — в сердцах бросила женщина. — «На грани смерти». Накаркаете еще.

Мужчина не ответил, протянул было руку, чтобы погладить пса, но передумал. Он уже заметно успокоился. Пес потянулся. Из окошка по-прежнему дуло, и снаружи ухали разорвавшиеся снаряды, но пес стал пробираться между сидящими людьми к этим окошкам.

— Куда ты, дурашка? — по-доброму окликнул его человек. — Убить ведь могут.

Пес не обернулся. Рядом захлебывался в крике малыш, а мать никак не могла успокоить его. Склоняя голову то налево, то направо, пес смотрел поочередно на женщину и на малыша. Затем подполз к ним и положил голову женщине на колени и ткнулся носом в ручку ребенка. Малыш перестал кричать, коротко хохотнул, потянулся ко псу и взял его за ухо. Пес не шевелился, только время от времени шевелил короткими охристыми бровями. А в выбитые окошки по-прежнему влетал ветер вперемешку со снегом...

Снаряд пробил стену, перекрытие дома и упал там, где сидела девушка. В общем крике, в поднявшейся кирпичной и известковой пыли пес не различал ничего, только чувствовал, как под его животом бьется маленькое человеческое сердечко. Потом стало темно.

Очнулся пес оттого, что две руки тащили его из-под завала. Следом достали малыша. Тот снова плакал.

— А песель-то героический, — услышал он над собой, — согрел мальчика. И вообще, не навались он на пацана, неизвестно, чем бы все закончилось. Матери малого вон ступни придавило.

Пса отнесли в палатку, где противно пахло лекарствами, и человек с повязкой на лице больно ковырялся у него в спине. Дважды что-то звякнуло в белой металлической ванночке. Соскочить со стола и убежать псу не давали ремни, которыми за чем-то привязали к столу его лапы.

— С боевым крещением тебя, хвостатый, — дружелюбно сказал человек, снимая с лица маску. — Отлежишься сегодня, а завтра определим куда-нибудь.

Ночью пес уполз.

2

Теперь пес жил от двора ко двору. Уйдя ночью от пропахшей лекарствами палатки, он отлежался в развалинах. Там было хорошо. К ночи сильно похолодало, ветер стал резким, а прежде липкие хлопья снега — сухими и колючими. От ветра и снега укрывали развалины, а колючие снежинки не били по глазам и по носу. А что спину холодило, так то к лучшему: раны на спине болели меньше.

Отлежавшись, пес побрел. Он пробирался из двора во двор и всюду видел выбитые окна и пробитые стены. И везде люди спускались в подвалы, он же подвалов сторонился. Пса встречали приветливо, особенно дети. Пес позволял им гладить себя и изредка брать на руки. Угощение принимал с достоинством, не набрасывался с жадностью на еду, а, прикрыв ее лапами, ел. Поев, мог из благодарности раза два вильнуть хвостом. Но подолгу на одном месте не задерживался. Он шел, не сбиваясь с пути, не возвращаясь к прежним местам, словно раз и навсегда заучил предстоящий маршрут и строго следовал ему. Задерживался он лишь в тех дворах, где было тревожно, где люди, заслышав уже хорошо известные псу свист и вой, выходили из домов, с тревогой всматривались в небо и поспешно спускались в подвалы. Пес за ними не шел. Он оставался снаружи. Он ждал, когда, отсидев внизу какое-то время, люди выберутся из своих убежищ и первым делом посмотрят в небо. У выходящих из подвалов людей были особенные лица: безысходность и надежда прочно сплелись в них. Пес ждал и всегда безошибочно определял, к какому отчаявшемуся старику или плачущему ребенку он должен подползти. Дети переставали плакать, старики чуть заметно улыбались. Они возвращались в свои полуразрушенные жилища.

Но из этих полуразрушенных и разрушенных жилищ жителей вывозили люди в бронежилетах и касках. Рядом с ними псу было спокойно. Эти люди уводили под

руки стариков, уносили на руках детей, узлы и коробки, которые жители успевали собрать. И пахло от людей в бронежилетах и касках спокойствием и добром. Автомобили со спасенными уезжали туда, откуда по утрам приходило солнце. Пес обыкновенно находился рядом, словно провожал уезжавших, но ни разу не попытался запрыгнуть в автомобиль. Пес возвращался к оставшимся в полуразрушенных домах.

Он давно уже ушел далеко от того дома, где его унесла в подвал девушка, а потом две сильные руки вытащили его из-под завала, где человек в маске на лице ковырялся у него в спине. Много забылось, и пес обитал теперь там, где дома поднимались не выше двух этажей, а вокруг раскинулись сады. Деревья, правда, стояли еще без листьев. Но и сюда прилетали снаряды.

С девочкой они столкнулись неожиданно. Пес бежал, склонив голову, девочка выходила из-за угла, и пес ткнулся головой в ее ноги. Девочка не испугалась. Она присела на корточки и погладила пса по голове. Пошел непредсказуемый февральский снег.

— Тебе, наверное, холодно? — спросила девочка, расстегивая куртку и прикрывая пса полкой. Полы едва хватало, чтобы прикрыть голову пса, но он благодарно зарылся носом девочке под руку.

— Какой ты хороший! — голос у девочки не тонкий, а с небольшой хрипотцой, что почему-то успокоило пса. — Будешь жить с нами? Со мной и с мамой? Пошли.

Девочка поднялась, поманила пса. Он последовал за ней. Шли недолго, и девочка привела пса к двухэтажному зданию. Пес увидел несколько выбитых окон.

— Вот здесь мы живем, — девочка указала на окна на первом этаже. — Правда, целой осталась всего одна комната, но ты все равно заходи.

Пес остановился и дальше не шел.

— Что же ты? — продолжала девочка. — Пойдем. Мама ругаться не будет.

Но вместо того, чтобы пойти за девочкой, пес улегся перед дверью.

— Не хочешь? А! — догадалась девочка. — Ты будешь охранять нас? Ты очень хороший. Тогда до завтра.

Два дня она не отпускала пса от себя. На третий день люди в бронежилетах и касках помогали девочке и ее матери грузить вещи в автомобиль. Девочка опустилась перед псом на корточки и обняла его за шею.

— Мама, мы же возьмем его с собой? — подняла она к матери глаза, в которых уже поблескивали слезы. — Посмотри, какой он славный и добрый. Он будет охранять и защищать нас.

Женщина присела рядом с дочерью, посмотрела на пса. Их взгляды встретились. Короткие охристые брови пса сейчас удивленно вскинуты. Взгляд пса выражал спокойную уверенность.

— Мне кажется, Ирочка, что твой друг сам не хочет уезжать, — тихо сказала женщина. — Кажется, у него еще есть здесь дела. Наверное, он хочет охранять и защищать тех, кто нуждается в этом больше нас.

Девочка на мгновение ослабила объятия и слегка отстранилась, чтобы посмотреть на пса. Тот тут же выскользнул из рук девочки и отполз недалеко. Он долго смотрел, как женщина с девочкой погрузились в автомобиль, как захлопнулась дверца, как автомобиль поехал и как девочка смотрела из заднего окна на оставшегося друга. Пес все еще чувствовал на своем носу слезу девочки. Внезапно он сорвался с места и помчался за удалявшимся автомобилем. Потом так же внезапно остановился, развернулся и засеменил назад.

3

Ко двору на самой окраине поселка, почти в деревне, пес добрался весной. И сразу столкнулся с женщиной. Она стояла перед калиткой и смотрела вдаль. Люди часто стали смотреть в ту сторону, куда по вечерам уходило солнце и откуда прилетали снаряды. Пес уже знал это. Знал, что смотрели, словно ждали прилетов, надеясь при этом, что их не будет.

Пес примостился у ног женщины. Как всегда, он не стал сворачиваться калачиком, а поджал задние лапы, вытянул передние и положил на них голову.

— Ишь ты! — слабо улыбнулась женщина. — Воспитанный. Благородный, служебный.

Голос женщины показался псу добрым. Она тихо склонилась над псом и осторожно протянула руку к его голове. Пес повел короткими охристыми бровями и легко стукнул хвостом по земле.

— Позволишь? — таким же добрым голосом спросила она и погладила пса по голове. Тот прикрыл глаза, доверчиво перевернулся на бок и растянулся. «Добрая», — решил пес и зевнул.

— Что же это я? — всплеснула руками женщина. — Голоден, поди. Обожди. Я сейчас.

Добрая вернулась с миской. От миски вкусно пахло. Добрая поставила миску перед псом, отошла к дому, скрестила руки на груди и, склонив голову набок, смотрела на пса. В дверях, опираясь на палку, показался седой человек. «Старик», — уже привычно определил пес. Старик подошел к Доброй, обнял ее за плечи и спросил:

— Этот, что ли, твой благородный и воспитанный гость? А ведь и верно — воспитанный. Гляди, с каким достоинством ест. Ладно, пусть остается.

Старик говорил негромко, но властно, и пес уже знал: Добрую он, пес, будет любить. Но хозяином его станет Старик. Поев, пес облизнулся, поднялся, с достоинством подошел к старику и улегся у него в ногах.

— Понимает субординацию, — улыбнулся Старик. — Так и быть. Поставим его на довольствие.

— Интересно, как его зовут? — спросила Добрая.

— Кто ж его знает, — Старик с хитрым прищуром смотрел на пса. — Придумаем новую кличку. Будет он у нас Басмачом.

— Басмач? — переспросила Добрая. — Почему Басмач?

— Помнишь, мы служили в Кушке? И у нас в батальоне, и во всех батальонах и полках всех приблудившихся псов солдаты называли Басмачами. География, наверное, обязывала. А сейчас время военное. Армейская кличка вполне подойдет.

Для Басмача Старик сколотил во дворе будку...

* * *

Басмач полюбил время, когда до того голые ветки деревьев становились кудрявыми, и от них долетал легкий аромат. Доносился от деревьев и слабый гул, но этот гул не был похож на тот, после которого гремели взрывы. То гудели роившиеся вокруг деревьев жуки. Басмач никогда не видел их вблизи, но чувствовал, что лучше держаться дальше от них. Наверное, Старику и Доброй тоже нравилось это время. С чего бы иначе стали они чаще выходить во двор, садиться на деревянную лавочку и подставлять лица солнцу. В такие минуты Басмач выбирался из своей будки и ложился у них в ногах.

Почти одновременно услышал Басмач звук подъезжавшего автомобиля и почувствовал запах новых людей. К калитке шли трое. На всех были бронежилеты, но Басмач

уловил, что среди них одна девушка. На плече у нее висела сумка, а от сумки пахло так же противно, как и в той палатке, где человек с белой маской на лице копался у пса в спине. Басмач привстал и, посмотрев на Старика, словно ища от него одобрения, зарычал — пока еще слабо зарычал, внутри себя.

— Отставить, Басмач! Свои, — приказал Старик.

Басмач снова улегся. Все трое вошли во двор. Один из гостей был бородат. Он сразу тихо о чем-то заговорил со Стариком, а девушка (Молодая — определил Басмач) села было рядом с Доброй, но, пристально посмотрев на Басмача, опустилась рядом с ним на корточки.

— Ой, песик, а я тебя знаю, — голос у Молодой чистый и свежий.

— Дима! — закричала она Бородатому. — Посмотри, кого мы здесь встретили! Это тот самый песель, который мальчонку собою накрыл.

Потом снова склонилась над Басмачом. Она поглаживала его по голове и говорила:

— Что же ты, бродяга, убежал тогда? Доктор тебя долго искал... А малыш жив, и мамка его жива.

Молодая обернулась к Доброй, поднялась и, усаживаясь рядом с Доброй, сказала:

— Он у вас герой, Нина Андреевна.

Бородатый тем временем все еще разговаривал со Стариком:

— Ну что, Павел Петрович, надумали? Едем, товарищ полковник, или как?

Старик оглянулся на жену.

— Нет, Димочка, повременим пока. На кого мы все это оставим? Бог даст, все обойдется, — ответила за мужа Добрая.

— Ладно, оставайтесь. Если что, мы на связи, — сказал Бородатый, обнимая Добрую и пожимая руку старику.

— И ты оставайся пока, спасатель, — потрепала Молодая Басмача по загривку.

Они уехали, а Добрая почему-то тяжело вздохнула, глядя им вслед.

* * *

Басмач все помнил и, если бы мог, рассказал Старику и Доброй, но они спустились в подвал, а он, как всегда, остался. И тогда он снова услышал вой. На этот раз вой вызвал тревогу. Басмач вскочил и беспокойно заметался по двору. Где-то очень близко разорвался снаряд. Басмач добежал до канавы у огорода и спрятался там.

Так громко и близко от Басмача снаряды еще не рвались. Басмач почти ничего не слышал и все видел сквозь пелену. Деревья, забор плыли перед ним. Пошатываясь, пес выполз из канавы и доковылял до дома, но дома не нашел. Слух и зрение возвращались медленно, но нюх работал. Басмач уловил знакомый запах из-под груды кирпичей. Он несколько раз тявкнул — из глубины никто не отозвался. Пес залаял громче — и вновь тишина. Может быть, он просто не слышал слабые звуки из-под завала. Тогда он бросился к тому месту, откуда за несколько минут до этого Старик и Добрая спустились в подвал. Скуля и повизгивая, он принялся рыть, осколки кирпича и стекла вонзались в лапы, но пес рыл.

— Басмач, Басмач, — услышал он над собой, — они там?

Пес заскулил и принялся рыть ожесточеннее. Бородатый, Молодая и тот, третий, разгребали завал. Басмач нервно поскуливал и бросался к ним под руки. Наконец засыпанные известкой и землей хозяева выбрались наружу.

Старик и Добрая стояли посреди двора. Одной рукой старик опирался на палку, другой обнимал Добрую за плечи. В руках Добрая держала ту сумочку, с которой спу-

стилась в подвал. Дома не было. На груде кирпичей дотлевали доски. Сгорела и будка Басмача.

Бородатый открыл дверцу автомобиля.

— Все, друзья мои, хотите, нет ли, а едем. Будем грузиться, — сказал он. — Есть что из вещей?

— Какие вещи, Димочка? Все здесь, — приподняла Добрая сумочку. — Наши документы и награды Павла Петровича.

— Тогда в машину!

Бородатый посадил в автомобиль Добрую, рядом сел Старик.

— А ты что, отдельного приглашения ждешь? — спросил Бородатый Басмача и открыл заднюю дверцу. — Давай запрыгивай.

Басмач не двигался. Бородатый шагнул к псу — тот отступил на шаг.

— Брось капризничать, — Бородатый направился к Басмачу, надеясь ухватить его за ошейник. Пес вырвался и отбежал.

— Ничего не пойму! Ты едешь или нет?! — Бородатый начинал сердиться.

— Оставь его, Дима, — Молодая тронула Бородатого за плечо. — Не поедет он. Он всегда остается. С теми, кому он нужнее, что ли...

— Надо же, — пожал плечами Бородатый, а Молодая смахнула что-то со щеки кончиком мизинца.

Автомобиль удалялся. Басмач хотел было побежать следом, как когда-то за автомобилем, увозившем девочку, но, сделав несколько шагов, остановился. Как и в тот раз. И только коротко заскулил.

...Солнце уходило туда, откуда прилетали снаряды. Одинокий пес семенил в самые дальние дворы. Скоро до него стали доноситься отдельные запахи и голоса людей. Люди там тоже были одиноки.

РАССКАЗЫ

БОТИКИ

Маме

— Не обменяла.

Вера положила газетный сверток на стоящую у двери тумбочку, а сама прислонилась устало к дверному косяку. Старая газета лопнула, и свободу получили новенькие «лакиши» — мамин подарок на окончание школы.

— Ну и что, — ответила сестренка. Она сидела около буржуйки и раскладывала на ней маленькие хлебные квадратики. — Просто сейчас зима.

— Мамино-то крепдешиновое платье в тот раз взяли.

— Ага, за шрот противный. Ты совсем не умеешь меняться, Верочка. Я же тебя учила, как надо.

Лиде было десять лет, но она как-то быстро стала взрослой и житейски мудрой. Вера во многом ее слушалась. Лида ходила за хлебом, доставала деревянные на растопку, получала каждый месяц карточки в красном уголке, знала всю местную шпану, промышлявшую около очередей, и держала ухо востро.

— Кому-то понадобилось зимой крепдешиновое платье, — продолжала Вера, чувствуя, как набравшийся в нее холод начинает уходить.

— Иди скорей сюда, — сказала Лидочка. — Смотри, на детскую карточку сегодня горох дали. Я его намочила, только он долго набухать будет.

— Го-рох, — мечтательно проговорила Вера, направляясь к стоявшей рядом с оттоманкой буржуйке. Медленно развязала на спине бабушкин пуховый платок, расстегнула воротник пальто. — Как замечательно. Вот бы супу горохового... Или, ладно, кашу.

— Конечно, кашу! И вовсе не замечательно! Горох привару не дает, — возразила Лидка.

— Чего не дает? — удивилась Вера.

Аглая Юрьева родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный университет. Кандидат филологических наук. Одна из авторов многотомного «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII вв.», многочисленных работ по истории русского языка, этнолингвистике и фольклору, а также учебно-методических пособий по культуре речи. В 2013 году окончила докторантуру СПбГУ. Работала старшим научным сотрудником в отделе Словаря языка М. В. Ломоносова в Институте лингвистических исследований РАН. Преподавала риторику и культуру речи в Северо-Западной академии госслужбы. Лауреат двух конкурсов «Самарские судьбы», призер 4-го конкурса им. В. Г. Короленко; призер драматургических конкурсов: «ЛитоДрама-2016», «Волошинский фестиваль» (2016), «Ремарка» (2016), Конкурса неправильной драматургии НИМ (2017), Конкурса подростковой и детской драматургии ASYL (2018) и др. Печаталась в журналах «Крым», «Урал», «Сценарии и репертуар», «Клуб: Творчество. Общение. Интересы». Несколько пьес были поставлены в народных и учебных театрах РФ. С 2016 года член Гильдии драматургов Санкт-Петербурга.

— Ну, привару... Вот пшенка — совсем другое дело.
— Ох, Лидуша, какая же ты взрослая, — Вера притянула сестренку к себе, но та высвободилась.
— Подожди. Вот тебе кипяток, грейся изнутри.
— Ты просто греешь воду на буржуйке? Это же опасно — пить некипяченую.
— Да кипятила я, кипятила. Утром вскипятила на плите... Потом еще посидела на ней, погрелась... Что зря теплу пропадать! А сейчас я кипяченую только разогреваю.
— Разогретая вода, — засмеялась Вера. — А кружка жестяная откуда?
— Да это Панина. У нее в кладовочке нашла. Она хорошо тепло держит... Не обожгись только.

Паня, вынянчившая сперва Веру, а потом и Лиду, так и осталась жить с ними. Хотя ее и считали членом семьи, но она с деликатностью, которая была присуща в то время некоторым выходцам из деревни, в родственники никогда не набивалась. Когда Лидочка подросла, Паня перестала ночевать в сестринской комнате, а попросила себе место в кладовочке. Там ей поставили раскладушку с матрасиком, стул (а больше ничего и не поместилось), а инженер Соколов провел в кладовку свет. Дверь в кладовку никогда не закрывалась, на нее Паня сперва повесила ситцевую занавеску из старой кофты, а потом ее заменили старой шторой. Родственники у Пани оставались в деревне, очень редко ей приходили от них письма — обычно к Пасхе. Девочки зачитывали ей длинное «Поздравляем с праздником со светлым христовым воскресением христосвоскресе и провести хорошо этот праздник христосвоскресе», а потом Лида писала такой же ответ и сильно сердилась: «Паня, это уже было, давай дальше!»

В мае вдруг Паня засобиралась к своим: «А то умру, не повидавшись». Сложила целую коробку гостинцев. «Раньше дожинок не вернусь». И уехала. В родную деревню. Под Смоленском.

Кипяток обжег губы, потом горло, добрался внутрь. Вера стала отхлебывать воду большими глотками. Потянулась к хлебному квадратику.

— Сегодня в очереди Копченый у кого-то карточки украл, — спокойно сказала Лида. Макнула палец в стоявшую рядом пачку крупной соли (от Паниных засолок) и облизала.

— Вот горе-то! А кто это, Копченый?
— Шибздик махонький, — ответила Лида, точь-в-точь как Паня.
— Почему Копченый?
— Ну, лицо у него такое... как печеное... ну... в общем, Копченый — и все.
— Ты поаккуратней, Лидуша. Ты девочка, а хулиганов много.
— А я руки в карманы, там у меня кошелек и карточки, а пальто-то у меня колокольчиком, так я им оборачиваюсь, как одеялом.

Вера не поняла.

— А еще, — продолжала Лидочка, — я сегодня испугалась. В углу светилось.
— Что там светилось? — встревожилась Вера.
— Ага! И ты бы испугалась. Дрова мои светятся.
— А-а, это гнилушки.
— Я потом поняла... Мокрые они, копят... Вот стульчаки горят — это да!
— Ты сожгла наш стульчак?
— Нет, не наш. Зачем наш-то. Дом же напротив разбомбило позавчера. Мы с Маней Быстровой туда полезли... ну, паркета набрать или дранки... Манька плинтус оторвала, а я — два стульчака. Вдруг слышим, милиционер как засвистит: «Кто там ходит?!» Мы дёру дали. Он по одной лестнице, а мы через весь этаж прошли — и по другой спустились.

— Ох, Лида, он же мог вас в милицию забрать. Или застрелить, — всполошилась Вера. — Дай мне слово, что не будешь туда больше ходить.

— Да теперь и не походишь туда, — как-то печально ответила Лида. — Там веревками огородили и милиционер ходит целый день.

Лида, посасывая кусочек хлеба, прижалась к Вере. Так тепло и хорошо. И никому не страшно. Вера вообще была трусиха. Первый раз пошла на барахолку — чуть не умерла от страха. Стояла с дедушкиным брегетом. Вдруг какой-то мужчина с перевязанным ухом к ней подошел. Ткнул в брегет: «Ты-то ва-ты ты-ты?» Вера подалась назад, а мужчина напирал. Она повернула — и бежать, расталкивая тех, кто стоял с вещами на продажу. Мужчина ускорил шаг и не переставал: «Ты-то ва-ты ты-ты? Ты-то ва-ты ты-ты?» Вера влетела в милиционера. Из глаз брызнули слезы. Ее преследователь, увидев милиционера, замедлил шаг, но подошел. Вера спряталась за спину постового. Мужчина начал размахивать руками, нечленораздельно что-то объясняя. Потом повернулся и ушел. Милиционер успокоил Веру: ничего страшного, этот человек контуженный, он спрашивал ее: «Это ваши часы? Это ваши часы?» Правда, почему он это спрашивал, они так и не поняли. То ли хотел выменять на что-то, то ли у него украли такие же часы. В тот раз Вера вернулась домой, дрожала весь вечер и два дня заставляла себя снова пойти на барахолку с брегетом.

— Вер, расскажи, как вы жили до меня, — Лида нырнула под полу расстегнутого Вериного пальто.

— Ну что ты, Лидуша. Какая же жизнь была без тебя, — пошутила сестра.

Во входную дверь постучали. Потом еще. Вера вздрогнула.

— Зачем стучать-то, есть звонок, — рассудительно сказала Лида.

— Звонок не работает.

— Старый, железный работает. Тот, который «Прошу повернуть».

— Он холодный и замерз.

Вера направилась к двери. «Спроси кто», — крикнула вслед сестренка.

Через минуту в комнату впереди Веры вошла управдом тетя Лиза.

— Почему не спрашиваешь кто?

— Потому что на четвертый этаж никто не полезет, — тут же заступилась Лидочка за сестру.

— Мало ли кто шастает. Вон в доме напротив мародеры. Не успели эвакуировать уцелевших — и нате — тут же нашлись. Позариться на чужое.

Вера с Лидой переглянулись.

— Ты вот что, девонька, собирай-ка сестру. Завтра последняя эвакуация. Детей отправляют. Надо еще Люську с пятого снарядить, тоже без матери осталась... Теплого побольше. Кружку, миску, карточки не забудь.

— Я никуда не поеду, — крикнула Лида.

Тетя Лиза только отмахнулась от ее крика и продолжала говорить с Верой. Та взглянула на сестру. Сколько отчаяния и боли увидела она в этих глазах! Эвакуация может стать для Лиды спасением. Сколько еще сил осталось в этой хрупкой сероглазой и вечно болеющей до войны девочке?! Но как же тяжело расстаться с ней. Она в разлуке тоже может умереть. На глазах у Лиды выступили слезы. Беззвучная мольба, обращенная к старшей сестре.

— Нет, тетя Лиза... не отправлю.

— Да ведь обе погибнете, — жестоко возразила управдомша.

— Ну... зато вместе... вместе.

Тетя Лиза фыркнула и насупилась.

— Вы мне лучше помогите на работу устроиться. Денег у нас совсем нет, а квартплату приносят... Я на все согласна... Я на Балтийский ходила, не взяли. Сказали, что дистрофиков у них и своих хватает.

— Ишь, хватает! — возмутилась тетя Лиза. — А где ж кормлёных-то взять. Ладно, поговорю с Васей, участковым... Ну, закрой за мной... А мне еще к Люське подняться надо. А потом к Бурлякиной, завтра ее дежурство. И ты готовься дежурить, нечего уже отсиживаться... И вот еще что... Саки свои выносите подальше от дома.

Закрыв за управдомом, Вера захотела заплакать, но слезы не потекли. А когда она вошла в комнату и увидела повеселевшую Лидочку, то плакать и вовсе расхотелось. Лидочка затараторила. Это была радость птенца, узнавшего, что он может не только летать, но и петь.

— Веруша, как хорошо, что ты сказала. Мы будем вместе. Только мы не умрем. Нет, ни за что не умрем. Я же знаю... А Люська написала на стенке: «Сегодня прилетал самолет. Завтра будут бомбить»... Знаешь, как Люська ходит? — Лидочка поднялась, согнула немного колени и двинулась боком. — Шагнет. А-а-а! Орет. Потом еще. А-а-а!

— Это цинга. Бедная Люся.

— А у нее мама умерла в начале месяца. А наша — двадцать седьмого декабря.

— Да-а, — протянула Вера, но заплакать опять не получилось.

— И Люська почти целый месяцц по ее карточке хлеб получала!

Вера словно очнулась. Она схватила Лиду за плечи. Через две шерстяные кофточки и фланелевый «пыж» прощупывался острый костяк.

— Лида, что ты говоришь? Это цинично!

— Это как? Плохо, да? Плохо?

— Плохо, — вздохнула Вера и, поцеловав, отпустила сестру. Вот так: плохо и хорошо за несколько минут. Плохо и хорошо.

— Я — спать! — сказала командным тоном Лидочка. — Завтра утром за хлебом пойду. Если прийти часиков в шесть, то можно занять очередь прямо у дверей. Тогда не надо будет по ступенькам подниматься.

Карточки жильцов были прикреплены к определенным магазинам. На их долю выпал универмаг. Совсем близко. Это до войны. А сейчас по снежным тропкам надо было ковылять через дорогу. Универмаг располагался в бывшей церкви. На церковь он был теперь мало похож. Вход в магазин по высокой обледенелой лестнице. Спуск — с другой стороны. Улочка, на которой располагался универмаг, коротенькая, всего метров двести. И наполовину ее — очередь. Черным утром тянулись к универмагу черные люди. И стояли, стояли...

— А ты завтра за водой не ходи. Снег выпал чистый... Вон там, в середине двора.

— Там нельзя. Туда выносят.

— С другой стороны зайди. Или до садика дойди, — командовала младшенькая. — И Люське завтра помощи спуститься, а то она «а-а-а» не сможет.

Отдав приказания, Лида стянула свои валеночки, развязала платок, который перехватывал ее крест-накрест, и нырнула под наваленные на оттоманку одеяла и мамин зимнее пальто. Вера подоткнула сестренку одеялом и оставалась сидеть, глядя, как прогорают в буржуйке остатки чьего-то стульчака.

Они бы непростительно проспали, если бы не соседка Нюра. Когда инженер Соколов вместе с семьей въезжал в новое жилье, в завкоме решили: пока не главный, хватит им и двух комнат. Через месяц Соколов стал главным, а в третью комнату

въехала Нюра, крепкая, коренастая девица — румяная, с белесыми бровями и ресницами. Нюра была малоразговорчивая, поэтому сколько Паня ни старалась выудить у нее, откуда она и как сюда попала, ей так не удалось. Вера как-то слышала, как Паня назвала Нюру нехорошим словом — ну и все. Гостей Нюра не любила, в выходные уходила и возвращалась за полночь. Была аккуратна, но хребта в общих уборках не ломала. Помашет веником раз в неделю («Я одна — и то все время на работе, а вас вон сколько») — и даст свою неделю Соколовым. А им вести очередь полтора месяца.

Нюра тихонько открыла входную дверь, потом — свою. Все равно слишком темно. На Нюре клетчатый платок поверх модной шляпки-таблетки и черная тужурка. Работницы домой не уходили: силы берегли. А Нюра нет-нет да приходила. По женским всяким делам. «Вы делаете, а я только учитываю», — говорила она остальным.

Она опустила на стоящую у дверей галошницу, передохнула. Идти все равно пришлось далеко, а поспать, может, и не придется. Начала одним валенком стягивать другой. Валенки сполз вместе с размотавшейся портянкой. А под ним еще шерстяной носок. Эх, валенки привычнее на босу ногу! Тепло в них, да ногу давит, не растоптать, сколько ни носи.

Ногам стало легче. Нюра поводила по галошнице рукой. Нету. Вглубь засунула — нету. Вот дряни! Поднялась и подошла к двери девочек. В одном валенке.

Сестры проснулись от стука. Нюра всегда стучала и, не дождавшись ответа, входила. Раньше всегда за какой-то ерундой: спички попросить, цветок посмотреть. И обычно, когда Соколовы садились обедать. Одним глазом Нюра смотрела на диковинный кактус, а другой наблюдал, что едят инженеры. Только Паня прервала эти визиты, буквально вытолкнув Нюру с порога.

Вера выпрыгнула из постели.

— Что случилось?

— Нет, это я хочу спросить, что случилось. Куда девала мои меховые ботинки, а? Небось на барахолку снесла? Ну конечно, свои-то «лакиши» жалко, — кивнула на тумбочку. — Ну-ка говори: снесла на барахолку, снесла?! Надо же, с воровками живу, оказалось!

Вера открыла рот и, словно рыба, глотала воздух. Еле выговорила:

— Что ты такое говоришь, Нюра! Как ты могла подумать?

— А чего тут думать-то? — завелась Нюра. — Свое проели — за чужое принялись. Оно и понятно: ботинки меховые, только-только перед войной куплены, признавайся, за сколько обменяла. Поделись хлебушком-то!

Выпивав грудь и поставив руки в боки, Нюра наступала на Веру. Вера по-прежнему с открытым ртом пяtilась.

Лидочка выбралась из-под одеял, сидела насупившись и сжав кулаки. Нюра сделала еще один шаг — и алюминиевая кружка, запущенная Лидой, полетела в нее. Ударилась о косяк, отлетела в угол, подкатилась от угла Нюре под ноги.

— Уйди, б...на! Сама ты воровка!

Вера охнула и присела — то ли от Лидиногo поступка, то ли от бранных слов.

— Ты сама у меня стружки на растопку тыришь. Проваливай отсюда. Не брали мы твои сраные боты!

Нюра подобралась, оскалилась, словно собиралась искушать всех.

— Ишь, дрянь малолетняя, — Нюра пнула кружку. — Инженерское отродье. Вот скажу участковому, там разберутся, сраные боты или не сраные. И управдому скажу, пусть выселяет, за жилье раз не платите.

Хлопнула чужой дверью. Вера упала на оттоманку.

— Верунь, ну Верунь, не надо, — Лида гладила сестру по голове, успокаивая. Вера плакала. Вот так. Хотела плакать — не плакалось, а тут — не остановиться.

— Подумать только: мы в воровки попали. Столько лет вместе жили, двери друг от друга не закрывали...

— Это мы не закрывали, — перебила сестра, — а Нюра свою всегда закрывала... Ну, перестань... врет она все.

— Но куда-то же делись ее проклятые боты! — всхлипывала Вера.

— Ай, да куда они не делись. Они в кухне на плите стоят. Она думала, я плитку будо разжигать, так боты хотела погреть. Умная какая! Стану я ее боты греть! А увидела, что я мешок со стружками убрала, сама-то не стала топить. А потом на работу ушла на неделю и забыла.

— А чего ж ты ей не сказала? — Вера приподнялась, вытерла слезы.

— Пусть сама ищет свои дурацкие боты!.. А ты знаешь, Верунь, у Нюры вся комната бочками с селедкой заставлена.

— Лидуш, ну что ты выдумываешь-то! Бочки! С селедками!

— И ничего я не выдумываю, — упрямо настаивала Лида. — Она в мусор кости выносила с селедочными головами. А я ей говорю: «Нюр, не выбрасывай, а. Дай я обсосу». А чего, Верунь, они же солененькие. Можно даже суп варить.

— А она что?

— А она: «Что ты! Головы и кости ядовитые». И в печке их сожгла. Чтобы я не достала! Вер, разве кости у селедки ядовитые?

— Нет. Не знаю...

— А я знаю. Жадная она. Знаешь, как про нее наша Паня говорила: «Посерет и посмотрит, нельзя ли взять на квас».

— Что?

— Ага.

Обе фыркнули от смеха.

— Лида, ну ты и нахваталась слов! Как нехорошо, ты же девочка! Все папе напишу.

— Пиши-пиши, ябеда-корябеда, я тоже ему напишу, что ты плакса-вакса-гуталин...

Тетя Лиза поговорила с участковым, и Вере было велено прийти в отдел кадров маленького номерного завода, о существовании которого она и не подозревала. Лида радовалась, что Вера теперь будет получать рабочую карточку и будет делать снаряды для фронта. Но Вера вернулась расстроенная.

— Лидуш, меня отправляют на оборонные работы. Отпустили домой собраться. Так-то, Лидуша...

— А как же я? — отчаянно закричала Лида. — Вера, как же я без тебя? Я не хочу одна. Мы же вместе, ты говорила, — и зарыдала.

— Лидочка, милая моя, потерпи немного, — у Веры блеснули слезы, но она понимала, что сейчас нельзя, и только закусывала губы. — Я обязательно договорюсь, чтобы тебя забрать с собой!

— Почему ты сразу не договорилась? Почему?! — захлебывалась Лидочка.

— Я не знаю... Нам просто приказали. Приказ, понимаешь?

Лида отрицательно мотала головой. Зачем приказ! Они должны быть вместе. Только вместе.

— Господи, ну почему я тетю Лизу не послушала и не отправила тебя в эвакуацию! Лидочка, я обязательно-обязательно за тобой приеду. Я-то как без тебя буду?!

Ты только чуть-чуть потерпи... совсем чуть-чуть... Как приеду, сразу спрошу про тебя. И вернусь за тобой. А ты жди письма от папы. И будь осторожна... Ой, уже пора. Что нужно брать, не знаю...

Лида как-то сразу перестала плакать, подобралась. Стащила наволочку. «Давай, Вера, носки клади, белье, вот кружка». Потом сунулась в угол, на собранных палках, щепках и деревянных обломках лежали большие рукавицы, подшитые изнутри мехом.

— Вот их возьми. Тоже Панины. Потом вернем... Они теплые. А мне все равно велики.

Вера вернулась за сестрой через месяц — в смешных ватных штанах, с руками в цыпках и шелушащимися щеками. Сестры обнялись и долго не отпускали друг друга. Вера рассказала, как поначалу было трудно, как над ней смеялись все оборонщицы за то, что ничего не умеет, и как прозвали ее барынькой в фильдеперсах. Сейчас уже все хорошо, они все на котловом питании, и Лидочку тоже поставят на котловое, нужно только детскую карточку обменять на иждивенческую, и она попросит об этом тетю Лизу, а некоторые из женщин там тоже с детьми, чуть постарше Лидочки.

Какая жестокая закалка на зрелость, на самостоятельность, на ответственность за других. Вера — трусиха и плакса — распоряжалась теперь всем. Теперь она стала главной в их семье.

— От папы писем не было?

— Нет.

— А ведь он так и не знает про маму...

— Пусть сначала он напишет...

— Хорошо. Пусть он сначала.

Когда началась эвакуация завода, главный инженер велел семье собираться в эвакуацию. Ему да директору с парторгом разрешено вывезти всю семью целиком. Но тут впервые жена Соколова возразила мужу, заученно повторяя: «Где родился, там и пригодился». И Лиду она никуда не повезет, потому что у нее вечные ангины. Вера робко возразила, что папе нужно, чтобы кто-то из родных был рядом, но мама просто испепелила Веру взглядом, и та замолчала. Настоящей причины маминого отказа девочки так и не узнали, но дело было, скорее всего, в уже начавшейся болезни, которую усугубила блокада. Мама умерла перед Новым 1942 годом. Это была уже вторая потеря в семье...

— А еще немцы листовки скидывают, мы их собираем и сдаем нашему начальнику отряда.

— Какие листовки?

— Вредные. С картинками на Сталина, — Вера понизила голос.

— А написано по-немецки?

— Нет, по-русски. Предатели пишут.

Лида не случайно спросила про немецкий язык. К окончанию школы Вера вполне сносно им владела. Дедушка, мамин отец, был германофилом: обожал Вагнера и Гёте, читал внукам по-русски и по-немецки Гейне (Хайне, как он любил называть). Вера морщилась: Гейне ей не нравился. Лида прыскала в ладошку и смеялась. Дед науськивал покладистую Веру на глагольные времена, говорил с ней о новостях по-немецки, рассказывал о Тельмане, выступление которого слышал во время командировки в Германию, заставлял вслух ему читать «Лесного царя» Гёте. Он пробовал заняться и с Лидочкой, но та наотрез отказалась, мол, в пятом классе начнется немецкий, тогда и выучу. Но фраза из Гёте «Зиист, фатер, ду ерлкёних нихт?» осталась в ее голове навсегда.

Узнав о нападении Германии, дед на следующий день слег, два дня пролежал, уткнувшись лицом в стенку, потом поднялся, но все время молчал, а ранним и жарким утром в начале июля скончался.

— Эх, я бы им написала! — воскликнула Лидочка. — А ты бы мне перевела!

— Перевела бы, перевела. Собирайся.

Трудотряд долго стоял в Большой Березовке под Синявином... А потом шли целый год за фронтом. Мелькали деревни. Разметелево, Мяглово, Пустоши... А может, и не в том порядке. Разве до этого было. Обычно трудотряд был един, но в одной из деревень произошло слияние двух отрядов. Женщин было много. Своих сразу отправили на объект, а остальным велели располагаться в сарайчике.

— Лидуш, иди с тетеньками, занимай место, — Вера сунула сестре свою наволочку с вещами.

Женщины, оттесняя Лиду, повалили в сарайчик, в котором по обе стороны были набиты нары. В центре находилась небольшая печка. Кто-то зажег фитиль коптилки, кто-то разжег печку. Лида стояла у дверей с двумя узелками и ждала, где освободится место. Она почувствовала, как начал выходить холод. Очень хотелось поближе к печке. Но там было все занято. Женщины начали укладываться. Почти все молчали, мало кто с кем перекидывался фразами. Видимо, они еще не были знакомы.

— Девочка, — раздался голос, — ну-ка иди скорей сюда.

Лиду позвала женщина, занявшая место прямо около печки. Вот так счастье! Лида прошла между рядами нар.

— Иди сюда, ложись, спать будем, — тягуче ответила женщина. — Вот, к стеночке.

Лида влезла на нары и протиснулась между стенкой и этой тетенькой. Да-а, место было замечательное. Одного не учла эта тетя, что доски в сарайчике отошли, а часть и совсем выбита. Вот эту дыру она и заткнула Лидиным тельцем. Женщина была крупная, с огромными руками. Лида хотела отвернуться лицом к стенке, но было слишком тесно. В спину дуло, но спереди было жарко от чужого дыхания. Лида замерла — и незаметно уснула.

Проснулась она, потому что хотелось в уборную. Она сползла с нар, чтобы не разбудить свою добрую соседку, которая лежала теперь навзничь и громко сопела. В бараке кое-кто похрапывал. Лида начала пробираться в темноте (коптилка давно погасла), споткнулась обо что-то и чуть не упала.

Она вышла из сарая. Только-только забрезжило. Вдалеке виднелась деревянная уборная с протоптанной к ней тропинкой. Лида, недолго думая, завернула за угол. Все равно все спят и никто не видит. За ночь, несмотря на то что она проспала затычкой для этой тетки, она отогрелась. Скорее бы вернулась с дежурства Вера. Лида села на приступочку у сарая, сунула руку в карман и нащупала там кусочек хлеба. Это Вера заботливо подсунула ей в карман, а не сказала. Она вытащила кусочек и стала, как обычно, его сосать.

— Чего поднялась-то в такую рань?

Сначала Лида увидела боты. Почти такие, какие были у Нюры, — блестящие и с пуговкой. Только у Нюры одна пуговка и меховой отворотик, а тут пуговики две — и мех только внутри.

Лида задрала голову и увидела тетку, с которой спала на нарах.

— Я в уборную ходила, — ответила она.

— А, ну и я туда. Где уборная-то?

— Там, — Лидочка махнула рукой.

Тетка заспешила. Тропка была очень узкой, неровной среди высокого снега, проложенной разной обувью разных размеров. За ночь она изрядно заледенела, тетка постоянно поскальзывалась и даже чуть не упала. Матюкнувшись, она скрылась за перегородкой. Обратно она возвращалась распаренная, словно была не в холодной уборной, а в горячей бане, материлась, что все заледенело, доски гнилые и скользкие, ни встать, ни сесть.

— Идем, что ли? Еще поспим, — тронула она Лиду за плечо. Лида дернула плечом и мотнула головой. Нет уж. Утром холодно. Печка остыла. Затыкай сама собой дырки.

Тетка снова матюкнулась и вернулась в сарайчик.

Тетку звали Зинаидой. Но про себя Лида окрестила ее Ньюрой. Второй Ньюрой. Вторая оказалась хуже первой. Всех цепляла.

— Таська, ты зачем маскхалаты кровавые подбираешь?

— А затем, Зиночка, что выбелю их в щелоке, детушкам рубашоночки нашью. Да простыньки. Всё проели, всё. Ни простыночки, ни наволочки не осталось.

— Совсем свихнулась, что ли?

Бригадирша хватала Вторую Ньюру:

— Орясина, не видишь, баба не в себе. На глазах детей убило. Хотели перебраться в другую комнату, где теплее. Детей туда перевела. Вернулась за вещами, а в ту, где теплее, снаряд угодил.

Зинаида фыркала и не унималась.

— Катерина, а чего это к тебе наш капитан зачастил? Смотри, станешь для всех пэпэжэ.

Но больше всего она убивалась по своим нарядам, которые остались в Ленинграде. И если какая-то с... их украдет, она ее из-под земли достанет, на одну ногу встанет, а за другую разорвет.

— А платье крепдешинное у вас есть? — вдруг неожиданно спросила Лидочка.

— А как же! Целых три. А одно еще не надеванное даже. Ой, а ботики-то, ботики. Весь блеск уже облез... И вон пуговичка еле держится. (Как хотелось Лидочке закинуть куда-нибудь ее ботики — в уборную или в дальний сугроб.) Товарищ начальник, почему я в своих ботиках должна работать? Валенки не могут выдать. Тоже мне армия...

Тут ей пригрозили нешуточно. Она заткнулась и после этого бубнила недовольства себе под нос.

В этот день было подозрительно тихо.

— Знаешь, — сказала Лидина приятельница Геля, опалившая себе брови и ресницы в попытке разжечь печку, посыпав немного пороху, — почему становится тихо на войне? Потому что один убил другого.

И вдруг они слышали крик. Не ужаса, не страха, не отчаяния. Это был вопль радости. Девчонки выскочили из землянки и увидели, как взрослые тетеньки обнимаются, целуются, велят друг дружку в снег, устраивают кучу-малу. Прорвали! Прорвали блокаду! Подружки завизжали и кинулись в кучу-малу.

Домой они вернулись в марте. Их дом почти не пострадал от бомбежек, но в комнате около окна стены были покрыты инеем. Лида готова была броситься на поиски дровишек, но Вера ее остановила:

— Попробуем разрубить тумбочку.

— Нет, — возразила Лида, — ее не разрубишь. Этажерку было легко, а тумбочку — нет.

На пороге своей комнаты возникла Нюра.

— Здравствуй, Нюра, — сказала Вера.

— С приездом, — сухо ответила она. — Вернулись, значит.

— Ох, вернулись. Вот только надо протопить хорошенько.

— Да уж, топите, — сказала Нюра. — Холодно совсем в квартире. А я выходной получила первый раз за полтора года... Хотела в баню сходить, да опять там трубы перебило, никак наладить хорошо не могут... Слышь-ка, — позвала она Веру, — ты это вон что... Приходил тут... в общем, был у меня... Сергей Сергеич... офицер... сказал, в комендатуре служит... жениться собирался.

— На ком? — с удивлением встряла Лидочка.

— На мне, глупая какая... А потом оказалось, что не офицер, а прохвост. Исчез. Вместе с вещами. Чернобурку прихватил, селедки банку, балерину фарфоровую... надо же... я в тряпки замотала, чтоб не разбилась... нашел, гад... И ботики. Помнишь, ботики у меня были меховые? Перед самой войной купила... Эх...

— Ботики, опять ботики, — пробормотала Лидка. — С ума сошли со своими ботиками.

— Да не может офицер так поступить! Наверное, попал под обстрел, — ответила Вера.

— Вместе с фарфоровой балериной... Да уж... Да что балерина... Ее не наденешь. Ботики, чернобурка... вот жалко.

Вера вспомнила, как в начале блокады она меняла патефон на продукты. Пришел какой-то военный, сказал, что патефон для генералов штаба, сейчас при нем только кусок шрота, а после он принесет буханку хлеба, тушенку и шоколад. Не принес. Вера думала, что попал под обстрел или послали на задание.

— Вы у себя-то посмотрите, не взял чего. Вы ж дверь никогда не закрываете.

— А у нас и нечего, мы все проели. — Вера вошла в комнату и тотчас вернулась. — Правда, «лакишей» моих нет.

— Ну, хоть не только мне обидно, — ответила Нюра.

— А писем нам от папы не было?

— Вон на столе в кухне одно лежит.

Вера отправилась в кухню, а Лидка — в большую комнату. Но она оказалась закрытой.

— Почему закрыта? — удивилась она.

— Другие там живут, — холодно сказала Нюра. — Поселили.

— Там же наши вещи... книги дедушкины, — Вера вернулась из кухни с конвертом в руке.

— На немецком языке, — добавила Лидочка.

Нюра хохотнула:

— Ну, эти-то уж точно сожгли.

— Там «Лесной царь» Гёте, — гневно возразила Лидочка.

— Все они фашисты! — отрезала Нюра.

Вера вздохнула.

— Одно письмо. А больше не было?

— Было бы — положила на стол. Мне чужого не надо, — злобно сказала Нюра.

Зазвенел звонок. Тот, который «прошу повернуть».

— Ну, девоньки, с возвращением, — тетя Лиза, совсем исхудавшая, измученная.

Поздоровались.

— Тетя Лиза, почему в нашей комнате чужие? — спросила Вера.

— Не чужие они, свои. Из флигеля. Приказали разместить.

— А вещи наши?

— Да какие там у вас вещи. Пустые шкафы — и те без дверей. Все на растопку пустили.

Нюра почему-то сразу ушла в свою комнату.

— Я вчера почтальонку встретила. Говорит, Лиза, сил нет подниматься на четвертый этаж, передай соседям. Вот, — тетя Лиза протянула Вере желтовато-серый конверт, но Лидочка, подскочив, опередила.

— Нет, этот мне, мне!

— Отдай, говорю, — сказала тетя Лиза. Но Лидочка уже приплясывала, размахивая над собой конвертом. Управдомша махнула рукой: разбирайтесь сами со своими письмами.

Заиграла гармошка. Это — в квартире тети Лизы.

— Ой, дядя Леша с фронта вернулся? — спросила Вера.

— Вернулся. Контуженный сильно. Вот теперь целыми днями мне душу рвет.

— Ты-то ва-ты ты-ты, — в сторону прошептала Лидочка. А из соседской квартиры неслось:

Лиза, Лиза, Лизавета,
Я люблю тебя за это,
И за это, и за то,
Что ждала меня с фронто-о-о-а.

Игралось одно, пелось невпопад...

Лида потянула сестру в комнату. Скорее же, ну, читать письма от папы! Девочки ушли. Управдомша тяжело опустилась на Нюрину галошницу и достала из оттянутого кармана кофты папиросы. Задымила.

— Ишь, пахитоски, — Нюра показалась опять.

— Бери, — протянула ей Лиза пачку.

— Да я только что, — ответила Нюра, но папиросу вытащила.

— Как девчонки повзрослели. Вера так совсем взрослая стала... А моя все сидит. Я ей говорю: ходи, ходи, а она все сидит. Пятнадцать лет, а на себе не носит. И у меня «гостей» уже полгода как не было. Видать, война всю бабью сущность уничтожает... И Алешу моего вчера одна баба шлепнутым назвала... Ох, как я со всеми с ними буду. Ну, пошла.

Она поднялась и пошла к дверям. Туда, где надрывался ее Алексей:

Лиза, Лиза, Лизавета,
Я люблю тебя за это,
И за это, и за то,
Что заштопала пальто.

Закрыв за ней, Нюра приблизилась к двери и стала слушать. Сестры вслух читали письмо от отца. Лидочка хихикала: папа умел смешно говорить и писать.

Вера дочитывала: «Поздравляю вас с Новым годом. Надеюсь, что скоро смогу обнять вас всех. Целую. Папа... Двадцать шестое декабря сорок первого года... Сорок первого года?... Пришло, когда мы уехали. Почти год пролежало».

— Да. Двадцать шестого мама еще была...

— Давай второе читай, — со вздохом сказала Вера.

— Сейчас, — Лида надорвала конверт. — Тебе-то вон какое толстое досталось, а мне... Ой, что это?

— Что? — Вера потянула письмо к себе. — «Уважаемая Елена Сергеевна! С глубоким прискорбием извещаем, что ваш муж Соколов Григорий Павлович скончался

17 января 1943 года. Секретарь парторганизации Чириков Е. Н. Председатель завкома Семенов С. А.».

Вера охнула. Лидочка деревянно слезла с оттоманки и пошла к занавешенному окну.

— Лидочка! — простонала Вера. — Нет папы!

— Нет папы, — эхом отозвалась Лидочка.

— Что же, Лида?! Как же так? В нашем родном доме, в родном городе... Сорок первый, сорок второй, сорок третий... А конца утратам все нет. Кого еще мне терять? Лида, Лида, почему ты молчишь?

Вера направились к сестре и стала ее сильно трясти за плечи. Так трясти, словно из мешка вытряхивала пыль. Лида молчала.

— Почему ты все время молчишь, Лида? Почему ты все время молчишь? — кричала Вера.

Лида задрала голову. Так обычно делают дети, чтобы слезы «вкатились» обратно.

— Надо буржуйку затопить...

— Что? Что ты говоришь, Лида? Ты понимаешь, что папы нет? Ты просто какая-то... бессердечная, ты черствая!

— Я попробую разругать тумбочку...

И дальше раздалось рыдания. Обоих. Нюра покачала головой, прислонясь к стенному проему между их дверями. Расстегнула длинную кофту из бурой фланели, которую почему-то в их квартире называли пыжом, и погладила свой округлившийся живот.

— Ну что, Борька, есть хочешь? Ну, пойдем, пойдем, покормлю. — И пошлепала к себе в комнату.

За стенкой безутешно плакали сестры.

ОДУВАНЧИК

— А ты эту песню не пой, — сказала толстая Зина.

— Почему? — спросила Лида.

— Ты же не пионерка! А там про «мы — пионеры, дети рабочих».

— Ну и что? У нас не принимали.

— Врешь! Всегда принимали. Ты, наверное, плохо учишься.

— Я хорошо учусь, — возразила Лида.

— Да? — ухмыльнулась Зина. — В двенадцать лет только в четвертый класс перешла. Второгодница.

— Лида с мамой год на оборонных работах была, — вмешалась подруга Тамара. — И двенадцать ей только в конце августа будет. А ты... а ты...

— А ты тоже не пой эту песню, — подал из-за их спин голос Вова Петров, — ты «не дети рабочих».

— Как это? — искренне удивилась Зина.

— А так. Рабочие — это те, которые у станка работают, а твоя мама на кухне варит. Зинка заморгала, потом выпятила губу, тряхнула косичками:

— Вот скажу маме, пусть она тебе кучу соли в тарелку положит. И перцу. Вот поешь тогда. Утконос несчастный!

— Не положит, — тихо произнес Петров. — Это... вредительство. Тогда ее уволят.

— Ах, уволят, — разошлась Зинка. — Вот и оставайтесь без повара. Снова голодайте.

За это «снова голодайте» Лида готова была Зинку исколотить. Она уже подалась вперед, сжав кулаки, но Тома ее удержала, а Петров встал между ней и Зинкой.

— Иди отсюда! Пошла!

Зинка еще больше выпятила губу, фыркнула.

— Да и пожалуйста, очень надо! — и, скорчив рожу, уходя, крикнула: — Петров — утконос!

— Ага, как же, положит она перцу. Ей и перцу жалко. Суп нам разливает, а у самой руки трясутся. От жадности... — сказала Тома. — Я у нее горчички попросила — хлебушек намазать, так не дала.

— А чего ты, Петров, влез? — возмутилась Лида. — И без тебя разобрались бы.

Вова Петров, высокий, с худенькой шеей, на которую была посажена белобрый голова, всегда давал отпор приставучей Зине. Утконосом она его прозвала вовсе не потому, что знала о таком австралийском животном. Нос у Петрова был длинный, на конце немного приплюснутый. О таком обычно говорят: нос уточкой. Утиный нос. Поэтому и утконос. Когда Петров улыбался, то нос морщился, слегка собирая кожу, и тогда обнажались неровные, цинготные зубы. Было у Петрова и другое прозвище. Анна Никифоровна называла его Одуванчиком за то, что Вовкины белесые волосы непослушно торчали в разные стороны. Виски были почти оголены до макушки, а посередине, спускаясь на лоб, росла смешная «куртинка» из волос, которые также торчали в разные стороны. Когда Петров смущался, волновался или нервничал, он запускать в эту куртинку палец, наматывая на него волосы, отчего надо лбом появлялся спутанный комочек.

Петров был спокойным мальчиком. Такие мальчики всегда на радость воспитателю. В отличие от других ребят, которые постоянно устраивали бои подушками, разбивали носы и колени, царапали локти — отчего и ходили все в зеленке. Поиздеваться над таким смирным мальчиком, как Петров, казалось мальчишкам милым делом. Однажды ночью ему связали ноги шнурками, вынутыми из его теннисок, и привязали к металлическим столбикам кроватной стенки. Утром, когда закричат «Подъем!», Петров не вскочит с кровати, а шмякнется с нее, разбив нос. Однако затея не удалась. Одуванчик проснулся раньше, захотелось сходить «на ведро», а чтобы не разбудить ребят, тихонько начал подниматься с постели, обнаружил себя привязанным, распутал шнурки и сунул их в тенниски.

После команды «подъем» мальчишки заговорщически смотрели друг на друга. Петров как ни в чем не бывало встал с кровати, натянул рубашку со штанами, достал из теннисок шнурки и начал их вдвигать в дырочки. На лицах ребят было явное разочарование, а Петров только сморщил нос, обнажив десну в улыбке. Ябедничать не станет, поняли мальчишки. И Одуванчика больше не трогали.

Петров всегда находился если не рядом с девочками, то поблизости. Не надоедал, не мелькал. Зато всегда можно было ему крикнуть:

— Вовка-Петровка, сбегай узнай, сколько времени.

Или:

— Вовка-морковка, сгоняй посмотри, какой суп на обед.

Правда, на «морковку» он немного обижался, даже огрызался: «Сами сгоняйте», но все же просьбу выполнял, возвращался и торжественно сообщал:

— Гороховый!

— А на второе что? Не посмотрел? Эх ты, Вовка-морковка!

Морщил нос и обиженно оправдывался, мол, сами не просили.

— Эй, Петров, ты нарочно сказал, что Зинка «не дети рабочих»? — спросила Тома.

Петров дернул острым плечом: то ли «не знаю», то ли «так вышло».

— Знаешь что, Лида... — понизив голос, сказала Тома. — А ты, Петров, иди отсюда... — Петров остался стоять на месте, а девочки пошагали секретничать: — Зна-

ешь что, Лида, а Зинкина мама здесь просто отъедается, — и совсем тихо: — Она же беременная.

Лида знала, что это такое. У Зинки будет братик или сестричка. Чтобы они были, нужны папа и мама. Они у нее есть. А вот у тети Маруси родился в прошлом году мальчик Коля, хотя ее муж погиб еще в начале блокады. У судового механика была бронь. Как и у Лидино папы. Только все равно оба от голода умерли. Она помнила, как тетя Маруся говорила о своем голодном муже: «Сидит, смотрит-смотрит на Нинку и говорит: „Знал бы, что не моя дочка, съел бы“». О людях-людоедах в блокадном Ленинграде любила в палате перед сном рассказывать Зинка. Девочки затыкали уши руками, прятали головы под подушку, даже плакали, а Зинке очень нравилось, что боятся. Откуда она приехала с родителями, никто из детей не знал. Отец ее стал председателем завкома завода вместо прежнего, погибшего. Что это за должность, Лида плохо представляла, но Зинка всегда кичилась своим папой и угрожала ей: вот скажу папе, он твою маму уволит с завода. Лида поначалу тряслась за маму, потому что стычки с Зинкой были частыми, пока Петров однажды не сказал, что председатель завкома, наоборот, должен помогать людям, чтоб им было лучше, а не хуже. А директор все равно главнее. Зинка терпеть не могла Утконоса. Видали! Заступник какой нашелся. Вот она как скажет папе, тогда узнает, главнее или не главнее... Но побаивались Зинку только младшие девочки, она ими и верховодила.

Она была полноватой, а рядом с послеблокадными доходяжками — так даже и толстой — с отчетливо наметившимися сверху двумя бугорками.

— Заметила, как Зинка каждый раз после обеда к мамочке своей на кухню — шнырь? — спросила Тома. — И там ей еще целую порцию дают — и первое, и второе.

Лида недоверчиво отнеслась к Томиным словам об «отъедаться». Все порции готовились из карточного расчета. Ни убавить, ни прибавить. Она хорошо помнила, как покупала хлеб в 1942-м. Внимательно следила, чтобы стрелка весов намертво прирастала к делению, не колыхалась. Тогда получалась норма. Их норма — сто двадцать пять граммов. И еще надо было смотреть, чтоб по ошибке или еще по чему-нибудь продавщица не отрезала лишнего талончика с карточки. Многие брали хлеб и на завтра, и даже на послезавтра, хотя не полагалось.

— А вот так, — продолжала Тамара. — Если тебе супа недольют во-от такусенькую капельку. И еще мне. И всем. Вот нас здесь тридцать человек...

— Тридцать один, — поправила Лида.

— Еще лучше, еще одна капелька... А еще взрослые есть. Ты эту капельку заметишь? Никто не заметит. А получится целая тарелка.

— С тридцати одной капельки? — засмеялась Лида.

— Ой, вечно ты придираешься. Ну, не капелька, а ложечка чайная... тоже не заметишь.

Лида развеселилась, представила, как суп в столовой из огромного котла разливают по тарелкам из чайной ложечки... Конечно, она не заметит этого. Суп Зинкина мама варила не очень-то вкусный, но изголодавшиеся за эти годы дети доедали его до последней капли, осушая тарелку кусочком хлеба или попросту ее вылизывая. За такое до войны всех бы стыдили, а сейчас было можно.

Зинка и вправду после обеда не пошла сразу на тихий час, а шмыгнула за угол столовой, где был вход в кухню. Ну и пусть отъедается. Жиромясокомбинат. Пром-со-сиска-лимонад.

Зато на ее с Томкой тумбочке, с Лидиной стороны, лежал свернутый обрывок оберточной бумаги. Записка? Записка. Она развернула и прочитала:

«Лида!!!! Пойдем погулять после тих. часа. Владимир».

Вот глупый Петров, записки пишет. Да еще с ошибками. Лида показала записку Томе.

— Ух ты! Пойдешь? — спросила Тома.

— Вот еще, — фыркнула Лида, — и не подумаю. Тоже придумал: записки писать, так не мог сказать, что ли?

— Так не мог. Когда влюбляются, пишут записки. А Вовка-морковка влюбился. В тебя!

— Вот еще глупости! И вообще, мы же с Анной Никифоровной на озеро идем рисовать.

Анна Никифоровна была сменной воспитательницей и вела кружок рисования. Записалось, правда, только пять или шесть девчонок. Рисовали карандашами на кусках сероватой бумаги. Потом, расхрабрившись, кто-то предложил порисовать с натуры. И не просто с натуры — а человека с натуры. Но рисовать захотели все, а желающих позировать не нашлось. Хорошо, что поблизости, как всегда, находился Петров.

— Вовка-Петровка, попозируй.

Одуванчик сначала отнекивался, мотал головой, теребил свою куртинку, но Анна Никифоровна уговорила. Он встал, поставив одну ногу на принесенную табуретку. И стоял, боясь не только пошевелиться, но и дышал через раз. От усердного позирования он даже вспотел и покраснел — и волосы стали казаться совсем белыми. А вот с рисунками вышло плохо. У кого-то одна нога оказалась короче другой в два раза, вторая превратила мальчика в горбуна, а третья изогнула его по-змеиному. Рисунки натурщику не показали, только похвалили за выдержку. А девочки поняли, что рисовать с натуры им еще рано.

В тихий час детей не обязывали спать. Мальчишки у себя швырялись подушками, а девочки сидели на кроватях, шушукались, рассказывали «случаи». Как все было «на самом деле». Но чаще всего просили кого-нибудь рассказать какую-нибудь книжку или кино. Лучше всех рассказывать получалось у Лиды. Но только книжек до войны она читала немного, а вот стихи запоминала легко. И декламировать их очень любила.

Девочкам очень нравились веселые стихи про щенят Плиха и Плюха. Автора — немца Вильгельма Буша — никто не знал, а тем более неизвестен был тогда и переводчик со странной фамилией¹.

Пришла в палату, «отъевшись», Зина, пригрозила всем своим папой и велела спать. Она всегда спала в тихий час. Ей очень хотелось быть председателем совета отряда или хотя бы старостой по палате, а выбрали долговязую и тихую Надьку, которая даже на линейке не может громко крикнуть: «Отряд, равняйся! Смирно!»

Девочки зашикали на Зину. Спи, мол, кто тебе не дает. А нам не мешай слушать.

— Лида, давай про фрица.

Стихотворение на странице какого-то журнала, который Лида подобрала в разбомбленном доме напротив. Туда она, несмотря на ограждения, часто ходила собирать обломки дранки или куски паркета для растопки.

На деревне все уснули,
Улеглись и стар, и мал.
Фриц стоял на карауле,
О курятине мечтал.

А дальше привлеченный криком петуха фриц поспешил в курятник, но нарвался на нашего разведчика.

¹ Стихотворение Вильгельма Буша «Плюх и Плих». Перевод Даниила Хармса.

О курятине мечтал он,
А попал, как кур во щи².

Девочки хихикали. Так и надо этому глупому фрицу!

Когда после тихого часа они вышли из дачи, Петров уже стоял около крыльца и восторженно смотрел на Лиду. Она подошла.

— Вот что, Петров, — сказала Лида, — во-первых, «ча-ша» пишется с буквой «А».

Петров моргнул и немного подтянул морщинки на носу.

— Во-вторых, ты даже свое имя написать правильно не можешь!

— Я правильно пишу свое имя. У меня так в метрике записано, — сказал он. — Пойдем погуляем, а? — он отчаянно затеребил свою «куртинку» на голове

— За территорию?

— Да, я знаю, где пройти.

— Тебя тогда за нарушение из лагеря выгонят, Петров. А лично я не хочу, чтоб меня выгнали.

— Пойдем, здесь недалеко, я тебе черничные места покажу. Знаешь, там какая черника?! Во какая, — он сделал кружок из указательного и большого пальцев, потом зачем-то его поднес к глазу и посмотрел через кружок на Лиду. — Пойдем, — просительно повторил он, и нос его опять дернулся.

— Не пой-ду! — отчеканила Лида.

— Тогда я тебе черники принесу, ладно? — тихо спросил Петров.

— Да ну тебя, — Лида отмахнулась и побежала догонять ожидавшую ее Тамару и девочек.

— Я принесу тебе, — еще тише сказал ей вслед Одуванчик. — Черника там крупная...

Вшестером шагали на озеро — девчонки и Анна Никифоровна. Идти было неблизко. Все дружно пели. Сначала про буль-буль-буль-баклажечку, ставшую из юнкерской и скаутской песней пионерской. А потом пели «Взвейтесь кострами, синие ночи». И Лида пела громче всех, потому что рядом не было противной Зинки. И Анна Никифоровна тоже вместе с ними пела, а она ведь тоже не пионерка.

На берегу все расселись на траве. Анна Никифоровна раздала каждой по листу с неровными краями и плотной картонке — планшетке, как она называла. Карандашей, кисточек хватало, а вот красок — всего одна коробка. И с бумагой было туго. Анна Никифоровна предложила нарисовать кусочек озера — с солнцем, собирающимся на закат, с влезшим в воду ивняком, с неровным, в клочках травы, берегом.

Лида считала, что она рисует хорошо, но когда Анна Никифоровна показала, как надо рисовать акварелью, Лида загрустила. Краски набегали одна на другую, часто меняли цвет уже нарисованного. Серый становился желтым, зеленый превращался в синий. Вышла мазня. И у всех вышла мазня. Только Анна Никифоровна всех хвалила и сказала, что у Нади и Лиды хорошее чувство цвета, а у остальных девочек удачно соблюдены пропорции.

— А давайте теперь послушаем тишину, — сказала Анна Никифоровна, когда с рисованием было покончено.

Все расселись поудобнее, стали слушать тишину, хотя назойливо жужжали какие-то насекомые и иногда от воды доносилось какое-то бульканье. Возможно, рыба ловила муху, слишком низко пролетающую над водой. Но все же это была тишина. Не слышно больше разрывов снарядов, не звучит прорывающая тебя насквозь воздушная си-

² Стихотворение Сергея Швецова «Как достали „языка“ при помощи „петуха“» было опубликовано в журнале «Крокодил» № 34 за 1942 год.

рена. Снята блокада — и кажется, что все окончено. Вот и они отдыхают в заводском лагере. Их кормят, о них заботятся. И никто их не тронет... А война идет, еще идет. И совсем недавно погиб на фронте дядя Саша, мамин брат. Последний мужчина из многочисленной Лидиной родни.

Девочки молчали, каждая вспоминала свое. И Анна Никифоровна тоже молчала, смотрела куда-то далеко, в озерную даль.

Молчание нарушила Тома. Укусил слепень.

— Ай!.. Анна Никифоровна, а пусть Лида стихи почитает.

— Пусть, пусть, — попросили девочки, а уговаривать Лиду не надо было. Только веселые стихи сейчас не годятся, подумала она.

Жили три друга-товарища
В маленьком городе Эн.
Были три друга-товарища
Взяты фашистами в плен.
Стали допрашивать первого.
Долго пытали его —
Умер товарищ замученный
И не сказал ничего³.

Стихотворение было написано во время гражданской войны в Испании, но слово «фашист» связывалось сейчас (да и долго еще будет связываться) только с нынешней войной, с немцами.

Лида закончила. Кто-то из девочек всхлипнул. Кто-то шмыгал носом. Они помолчали опять. Здесь тихо, тепло и солнечно. Они в безопасности. Их защитили. Они выдержали. Подумаешь, какие-то слепни...

— Ой, девочки, как бы нам не опоздать к ужину, — спохватилась Анна Никифоровна. Часов ни у кого не было. А по солнцу ориентироваться не умели.

Идти назад было тяжелее. Девочкам, разомлевшим от солнца, уже не пелось.

Пришли. Не опоздали.

— Ой, Утконос на mine подорвался, — выбежала навстречу им Зинка.

Известие оглушило всех.

— Там, за столовой, его грузят. В больницу повезут, — чеканила Зинка. — За территорию пошел. Вот говорят-говорят: не ходите за территорию, не ходите за территорию. Так нет, вот ведь Утконос!

Может, от такого сообщения у кого-то подкосились ноги, но Лиду и Тому ноги понесли туда, куда сказала Зинка. За столовой стоял небольшой грузовичок, привозивший в лагерь продукты. Кузов был открыт, и Лида увидела лежащего на каком-то одеяльце Петрова. Рядом стояла завхозиха, а фельдшерица накидывала на живот Петрова простыню. Простыня сразу стала красной, и под ней что-то шевелилось.

Взрослые попробовали отогнать ребят, но как-то вяло. Все остались на месте.

— Кишки разорвало, — услышала Лида. — В черничнике на мину наступил.

Тома подала голос — как щенячий вой. Лида повернулась и закрыла ей рот ладошкой. Тамара прижалась, спрятала лицо на Лидином плече. Обоих била сильная дрожь.

На оборонных работах под Синявином Лида видела смерть. И кровь. И страшные оторванные конечности. Она стояла и смотрела на Петрова. Он был жив, но тяжело дышал, отчего под простыней шевелилось все сильнее. Лида сделала шаг вперед,

³ Стихотворение Сергея Михалкова «Три товарища» написано в 1937 году.

освободившись от Тамары, потом почему-то соединила указательный и большой пальцы в кружок и поднесла к глазу. Так, как смотрел на нее сегодня Петров. И вдруг, как через увеличительное стекло, лицо Петрова приблизилось. Его глаза были полуоткрыты, веки подрагивали. Но он никого не видел. Рот был также наполовину открыт. А губы были очерчены четко — тонкие и синие, почти черные. Черники наелся, подумала Лида. Черники... Но на Лидиных глазах лицо Петрова становилось, как и губы, синим, серо-синим, черным. Внезапно лицо его дернулось, нос сморщился, как бывало, а губы, освободив верхнюю десну, разъехались. Петров улыбнулся страшной улыбкой. Последней. Смертельной.

— Поднимай же борт, поднимай, — закричала завхозиха шоферу и на виду у всех перекрестилась.

Кто-то тронул Лиду за плечо. Анна Никифоровна.

— Улетел наш Одуванчик, — едва слышно сказала она.

Тамара, уткнувшись в воспитательницу, всхлипывала.

— Пойдем, Лидуша, — сказала Анна Никифоровна.

Фельдшерица села в кабину к шоферу. Грузовик зафырчал, медленно поехал к открытым воротам и выехал из лагеря, увозя навсегда Вовку Петрова. Дети и взрослые стали расходиться. А Лида все еще стояла и смотрела вслед. В кузове грузовика она увидела то, на что другие просто не обратили внимания. Там в откинутой руке, в сжатом судорогой Вовкином кулаке были черничные кустики. Букетик — весь в раздавленных и повисших ошметками ягодах. Синих-синих, почти черных. Как Вовкины губы.

ЗАЩИТИТ ЭСТЕТИКА

Среди бесчисленных мифов о достоинствах водки наиболее уважаемой выглядит байка о том, что водку изобрел Менделеев. Хотя великий химик действительно изучал соединения спирта с водой, но никаких особенных потребительских свойств именно сорокапроцентного соединения не обнаружил, да этим и не интересовался. Сорокаградусный стандарт был установлен для упорядочивания налоговых сборов, но это так скучно, что совсем не опьяняет.

А страсть опьяняться была присуща даже самым высокоинтеллектуальным и героическим культурам. У Платона есть упоминание, что добродетельные люди в Аиде будут награждены вечным опьянением. Пьяные оргии Римской империи расписаны многократно, но при этом Тацит разглядел в чужом глазу древних германцев тот позорный факт, что они способны пить целый день и целую ночь. Храбрые викинги мечтали вечно бражничать в Валгалле, освещенной блеском мечей, в компании бога Одина, который вообще пил без закуски. Но был ли известен этим воинам и бражникам алкоголизм как физическая и нравственная деградация? Они ведь трусов топили в грязи и могли казнить бойца, прибежавшего по тревоге последним...

Чем внимательнее ученые изучали жидкость, в средние века именовавшуюся «вода жизни», тем меньше полезных свойств они в ней обнаруживали, зато ее потребление все росло и росло. В начале XX века лондонский рабочий тратил на выпивку пятую часть своих доходов (петербургский — четверть), хотя еще в 1720 году была попытка ударить по пьянству антиалкогольным Джин-актом. Питейные же расходы тогдашних немцев превосходили государственный бюджет. Энгельс объяснял алкогольные увлечения рабочего класса в Англии, разумеется, капиталистической эксплуатацией: «Пьянство перестает быть пороком, ответственность за который падает на его носителей». Поэтому при социализме пьяницы несли уже личную ответственность в лечебно-трудовых профилакториях (кто эксплуатировал вольных германцев, остается тайной).

Люди всегда лучше видят соломинку в чужом глазу: с XVIII века по Европе гуляла поговорка «Пьян, как швед». Может быть, именно поэтому к концу XIX века на весь мир

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023).

прогремела «готенбургская» (гётеборгская) система: водку полагалось пить лишь с горячей закуской, с которой только и должна была взиматься прибыль; взыскивать алкогольные долги воспрещалось; распивочные должны быть просторными и светлыми и располагаться вдали от ярмарок, воинских учений и т. п. С 1919 года «готенбургская система» была заменена системой Братта — знакомыми нам талонами: около четырех литров на семью в месяц. Нечто в этом же роде практиковалось в Норвегии, Финляндии. В ответ, естественно, росла контрабанда, но катастрофических последствий с массовыми отравлениями, с организованной армией бутлегеров, к счастью, не возникло. Однако говорило это лишь об относительной зрелости населения и относительной неподкупности контролирующего аппарата.

В начале XIX века Соединенные Штаты Америки стояли на первом месте по потреблению рома, а общеамериканское общество трезвости возникло в Бостоне почти одновременно с восстанием декабристов. Однако после первых успехов воцарилось уныние. В середине века по Америке прокатилась волна «женских крестовых походов», варьирующих методы воздействия от публичных рыданий до погромов распивочных (без завоевания женщинами политических прав едва ли состоялась бы и грядущая победа сухого закона). Приблизительно тогда же многие штаты попытались загнать зеленого змия в аптеки, чтобы выпускать его оттуда исключительно для медицинских и технических нужд. В итоге пьянство скрылось в семью, в тайные притоны (Джек Лондон вспоминал, как его зазывали выпить в парикмахерские и мебельные магазины), расцвели подкуп, контрабанда, отравления суррогатами — незнакомы нам здесь, пожалуй, лишь продающиеся на улице полые трости с пинтой доброго пшеничного виски.

Авраам Линкольн, после гражданской войны подписывая спасительный для бюджета закон о высоких налогах на алкоголь, опасался, что эта мера будет «похуже рабства». Но одним из главных аргументов в пользу отмены глухих запретов был признан все же моральный ущерб: массовая привычка к нарушению закона представлялась тогдашнему обществу более опасной, чем алкогольные злоупотребления (при этом в 1883 году был принят закон об обязательном преподавании в школе специального антиалкогольного курса). Однако в результате ряда политических комбинаций двадцатые годы в США сделали эрой сухого закона, так знакомой нам по гангстерским фильмам. А унылая статистика уже к 1924 году зафиксировала почти прежнее число задержаний в пьяном виде и отравлений алкоголем, конфискацию полумиллиона литров «аква виты», арест 68 тыс. бутлегеров...

К слову сказать, полный запрет спиртного впервые был испытан Исландией в 1913 году, но вскоре был отменен под давлением Испании, пригрозившей отомстить за свои вина отказом от исландской рыбы. Виноделы всегда стойко боролись за счастье не только собственных народов: по условиям Версальского мира разрешалось ввозить в Германию алкогольные «произведения почвы» на льготных условиях; в 1907 году Франция угрожала отказать русскому правительству в кредитах, если оно позволит принять сухой закон финляндскому сейму.

Сама Россия перед Первой мировой войной стояла на шестнадцатом месте в мире по потреблению абсолютного алкоголя — около 3,5 литра на душу (на первом месте была Франция — 23 литра) и даже по водке лишь на восьмом месте — 6,25 литра (чемпионка Дания выпивала 10,5 литра пятидесятиградусной водки на душу). Правда, если исключить детей, магометан, евреев и тому подобную непьющую публику, то душевое потребление водки подскакивает под 30 литров. А если взглянуть на количество ежегодных смертей «от опоя» на 1 млн населения, то во Франции их окажется лишь 11, а в России — 55. В Петербурге за появление в пьяном виде задерживалось ежегодно

50—60 тыс. гуляк, а в более многолюдном Берлине — в 10—11 раз меньше. Мы всегда любили пить с размахом.

С тех пор как святой Владимир отверг магометанство знаменитым афоризмом «Руси есть веселие пити, и не можем без того быти», Русь пронесла это веселие и через церковные проклятия, и через царские указы. Есть свидетельства, что еще Иван Третий закрыл корчмы по Москве, а его преемник Василий позволил бражничать в специальной слободе лишь слугам великого князя да иностранцам (чуть не приписалось: «в валютных барах»). Овладев Казанью, Иван Грозный исключительно для опричников завел на Балчуге «царев кабак», по образцу которого начали заводить кабаки и в других городах, искореняя частный сектор (в отличие от татарских кабаков, еды там не полагалось). Как утверждает автор «Истории кабаков в России» И. Г. Прижов, появление таких питейных домов отзывается на всей последующей истории народа. Монастырям, правда, разрешалось курить вино «не для продажного питья» — «таких не заповедью надо смирать, а кнутом прибить». И в XIX веке «высшего чину духовным людям» разрешалось лишь «отдавать питейные их дома и винокурни» в аренду, но не торговать самим. Зато высшая власть сама многократно жаловала духовенство казенным вином.

Право держать кабак было важной разновидностью и дворянских «кормлений». Указом 1756 года винокурение дозволялось дворянам для домашнего употребления, но строго по чину: от 1000 ведер в год чинам первого класса до 30 чинам четырнадцатого. Указом же 1758 года по 1000 ведер в год собственной выкурки даровалось гофмейстерине, статс-дамам и фрейлинам. На каждый кабак как источник дохода был положен свой «оклад» (планировалось от достигнутого), выборным кабацким головам и целовальникам предписывалось «питухов не отгонять», а в случае недобора шли на правеж сначала они сами, а если взять с них ничего не удавалось, то их избиратели: праветчиков ставили босиком у приказа и, покуда не отдадут долг, поочередно били палкой по икрам, занимаясь этим ежедневно, кроме праздников, по часу в день, но не более месяца. Однако иногда битье продолжалось с утра до вечера, и здесь могло пригодиться гуманное исключение из закона: дворяне и бояре могли выставять вместо себя своих людей. Посредством правежа кабацкие сборы дожимались даже при Екатерине.

Правительства всегда раздирались между желанием искоренить вредоносный порок и желанием на нем заработать. В первые годы крутой и аскетичной советской власти водка в ресторанах подавалась исключительно в чайниках (см. Зощенко). За первое полугодие 1923 года было конфисковано приблизительно 75 тыс. самогонных аппаратов и возбуждено около 300 тыс. уголовных дел (примерно по 5 аппаратов и 20 дел на тысячу крестьянских дворов). По прикидкам Госплана, в том же году население Дальнего Востока и Закавказья потребило около 24 млн ведер двадцатипятиградусного самогона. (Виной всему были, разумеется, кулаки и подкулачники.) Было подсчитано, что фабричная «выкурка» потребовала бы в семь раз меньше зерна, не говоря уже о потерянных налогах. В итоге тов. Сталин констатировал: «Мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам... Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются». С 1925 года было решено положиться на то, что пьянство отомрет само собой вслед за уничтожением эксплуататорского строя и культурным ростом народа, а покуда в 1925—1926 годах на душу в рабочей семье пришлось 6,15 литра водки в год (класс — он тоже выпить не дурак), а на прочее городское население — примерно 3 литра. Кое-кто пытался завлекать рабочих в клубы «товари-

щескими беседами за кружкой пива», так что самому тов. Троцкому пришлось разъяснять культпросветработникам, что отвлекать пивом от пивных все равно что изгонять черта дьяволом. Либо водка опрокинет культурную революцию, либо культурная революция победит водку, пророчествовал тов. Бухарин, но схватка, однако, длится до сих пор.

И все-таки одна важная победа, мне кажется, одержана: народ выпивает, но уже почти не воспевают алкоголь, а это значит, что вино из пленительного культурного символа превратилось в скучный, как выражаются наркологи, «адаптоген», опасное обезболивающее для нестойких душ. По крайней мере, что-то не припоминается современного «Подыдем бокалы, содвинем их разом!».

Да и в пушкинскую пору гусарский культ Вакха уравнивался культом Марса и Венеры — культом храбрости и любви, абсолютно несовместимыми с алкогольной деградацией. Это и есть самый надежный победитель алкоголизма — захватывающее дело, с которым алкоголизм несовместим. Деромантизация пьянства, с робкой надеждой констатирую я, в значительной степени уже произошла. Мне кажется, пьянством уже не бахвалятся, не принимают его за удал.

Но если я даже и впадаю здесь в чрезмерный оптимизм, то по отношению к наркотикам таких иллюзий у меня гораздо меньше: их не просто употребляют — их, мне кажется, отчасти все еще романтизируют, видят в них некую «крутизну», а со стремлением молодежи быть крутой бороться гораздо труднее, чем с пороками, по-настоящему всеми презираемыми. И вот в этом пункте, на мой взгляд, и таится слабое место антинаркотической пропаганды.

Мне случалось (хотя и очень немного) видеть фильмы, изображающие страшные последствия наркотиков (ломки, язвы...). Но ведь если показать медсанбат, картина окажется ничуть не менее устрашающей, и, однако же, романтическая молодежь, несмотря на риск, все равно тянулась и тянется к подвигу. Потому что подвиг — это действительно красиво! И по этой же самой причине нужно показывать, что наркотики — это не просто смертельно опасно, но еще и *омерзительно*. Лично я, по крайней мере, в своем антинаркотическом романе «Чума» напирал не на ужасное, которого, впрочем, все равно хватает, но на отвратительное: отупение, злобность, отсутствие даже тени взаимопомощи, взаимное крысятничество, обмеривание, выколачивание самых мизерных долгов, включая мнимые...

Демонстрировать это можно и документальными, и художественными средствами, но если документальные в какой-то слабой степени все-таки используются, то художественные (то есть самые сильные) практически не задействованы. И причиной тому чума рационализма, непонимание того, что стремление ощущать себя красивым — не менее важная потребность человека, чем корыстолюбие. И если мы хотим сделать какое-то явление отталкивающим, нужно прежде всего уничтожить романтический ореол, который его окружает.

Однако убить романтику по силам лишь другой романтике, убить художественный образ по силам лишь другому образу. Но искусство-то как раз меньше всего задействовано в борьбе с наркотической субкультурой...

А потому к профилактике наркотизма должны быть привлечены писатели.

СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛОЛОГА- ПРОФЕССИОНАЛА

Современная жизнь третьего десятилетия XXI века существенно изменилась и стала характеризоваться целым набором новых угроз, о которых хорошо говорила профессор Т. В. Черниговская в своих замечательных лекциях, укажем некоторые книги¹. Это сверхскорость, жидкость, совмещение виртуального и реального мира, хрупкость.

Рассмотрим суть этих изменений и в связи с ними поставим вопрос так: какое отношение они имеют к православию и филологии, у которых на сегодняшний день и у самих не все обстоит гладко.

Во-первых, это требование, которое нигде не высказывается о **возрастном единстве страны!** Нам надо уравнивать наблюдаемое противостояние молодежи и лиц серебряного возраста. И в первую очередь это относится к специалистам гуманитарного профиля.

Вся религия строится на том, что молодые **прислушиваются** к старикам, тогда как у нас сейчас наблюдается акцент на молодых. Политически это понятно, это связано со стремлением удержать молодежь от отъезда за границу, но сам по себе «лозунг» сомнителен. Старый человек — это воплощенное **терпение и смирение**, это внимание к самой жизни.

Приведу самый свежий пример: 21 октября 2023 года в Саратовском педагогическом университете проходила научная конференция, организованная (внимание!) в честь столетия профессора университета Ольги Борисовны Сиротининой, которая... выступала на этой конференции. Я онлайн участвовала в работе этого форума. Сама Ольга Борисовна продолжает трудиться: пишет книги, статьи, консультирует, руководит молодыми исследователями. Факт редкий, но такой замечательный, говорящий и нам: смелее будьте, планируйте свою жизнь на долгие годы вперед. А жизнь Ольги Борисовны была полна всевозможных препятствий: болезни с детства и их

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинин (Тверь), окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного национального исследовательского университета. Живет в Белгороде.

¹ Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера. Язык и сознание. М.: Языки славянских культур, 2016; Черниговская Т. В. Интернет, мозг и «жидкий мир». М.: Лекторий, Прямая речь, 2016.

внутреннее преодоление. Филология имеет ряд замечательных пословиц: «Счастье не по молодости, смерть не по старости», «Кто часто болеет, тот долго живет», или такой лозунг: «Цветет старость сединою». И действительно, каждый возраст дарует новый замечательный оттенок счастья. Я читала книгу воспоминаний О. Б. Сиротининой... как учебник и многое поняла, и я видела, видела эту женщину.

Во-вторых, мы учимся у православия, нашей религии, **бережному отношению к прошлому**.

Слова Захара Прилепина: «Очень важный посыл, характеризующий отечественную историю, это **готовность не отрицать оппонентов, а принять все**». Показателен диалог журналиста Арины Абросимовой с писателем Захаром Прилепиным. «А. Абросимова: Россия многолика, и каждый из ликов, вне зависимости от времени, считает свою линию генеральной, а все остальное отметаёт как необязательное... Захар Прилепин: Я как раз не отметаю, **готов все принять**, и монархическую Россию, и белую, и красную. Мне кажется, приятие этого разноцветья и есть залог нашего процветания и движения»².

Ученые выделяют сейчас такой признак современности, как сверхскорость. Казалось бы, современная наука стремится отвечать этому дивному параметру. Такие обозначения, как **реформы**, то есть изменения, преподносятся, безусловно, как благо, отвечающее требованию сверхскорости. Реформы в образовании, в управлении, в экономике — буквально во всем. Однако...

Откроем православную литературу. Там почти нет ничего о реформах. Наоборот, говорится о бережном отношении к прошлому. И здесь очень важна (я опять обращаюсь к гуманитариям!), важна **начитанность**. Епископ Никодим (Кононов) очень много читал, и впоследствии это сказалось: столько великих людей он вызволил из небытия, и именно ему мы обязаны тем, что святитель Иоасаф сейчас пребывает в своем величии.

Критик С. Ю. Шаляпин указывает, что эти начальные работы были подвергнуты осуждению за эклектичность и даже за плагиат, хотя впоследствии все эти обвинения были сняты. Колоссальный объем тщательно изученного материала. Пробежимся глазами по опубликованным работам епископа Никодима: здесь сияют имена святых: Никодима Кожеозерского, Иофа Ущельского, Александра Ошевенского, Трифона Печенегского, Александра Свирского. Охарактеризованы старцы Паисий Величковский, отец Макарий Оптинский, архимандрит Агафангел, старцы отец Наум Соловецкий, Зосима и, конечно же, наш Иоасаф. Есть в этом списке и подвижница Анастасия Паданская, это было редкостью писать о женщине, воздавать ей по заслугам. Святитель Никодим мог писать в различном ключе, с различной интонацией, причем с юношеских лет. Так, ему, студенту, была выражена признательность Святейшего Синода за составление акафиста святому Иоанну Златоусту³.

А вот отрывок из книги о святителе Иоасафе: «Подвиги милосердия были у него самые разнообразные. Он порой покупал и сам колол дрова для бедных вдов с сиротами. Посылал тайно денежную милостыню, а раз сам за болезнью келейника, в ночь на Рождество, разнес ее. Неузнанный, переодетый в одежду келейника, он был избит своим же привратником, которого одарил, заставил только молчать до его смерти. Кормил часто и много бедняков».

Я не случайно упомянула об обвинениях в плагиате. У нас требуют новизну, всегда и во всем. Но часто гуманитарное знание выстраивается на тех твоих идеях, которые уже были высказаны в тезисах, тираж которых 100 экземпляров, и часто ли мы

² Прилепин Захар. «Идеалы — это не дар, это труд...» // Русский мир. 2018. № 4. С. 25.

³ Харченко В. К. Проповедник, священник, мученик, ученый // Нева. 2021. № 7. С. 223—227.

их цитируем? Но многие идеи получают еще одно развитие, толчок. Новое вырастает из старого, и старые книги, тем более книги советского периода, очень могут пригодиться, а у нас компьютер в издательствах отменяет учебники и монографии, изданные три года назад и ранее. Я наблюдала это явление в одном престижном московском издательстве. Правильно ли это? По-видимому, нужен «Институт черных рецензентов», которые смогут определить сам факт самоцитирования как возможного толчка дальнейшего развития мысли.

При чем здесь филология? О, здесь надо провести одну линию. Дело в том, что литература имеет, как минимум, **две стратегии**: одна — отражение жизни, а вторая — **насаждение лучшего поведения в жизни**. Поэтому мы ищем и находим цитаты, отвечающие второй, менее заметной, но не менее важной стратегии. Из письма П. А. Чадаева: *«Необходимо добиться, чтобы новшество из-за одной новизны своей никогда... не ценилось»*. Новизна не должна насаждаться только потому, что это новизна. Лев Николаевич Толстой написал 90 томов (таков объем его собрания сочинений), причем тогда не было компьютера, все писалось от руки, много раз переписывалось, но ведь писалось. Каков пример! Помогала писателю жена, но и у нее были свои заботы: 13 детей родить, из них 9 выжило. И огромное хозяйство, и самые разные заботы вплоть до собирания гербария растений, произрастающих около усадьбы.

Филология говорит вполне определенно. Филолог-профессионал посоветует читать самые разные по жанру книги, в том числе мемуары, **книги из серии ЖЗЛ**, записи семейных родословных, тогда у нас будет обобщенное (и правильное!) понятие живой жизни.

В-третьих, это **глубинное понимание слова**. Митрополит Макарий (Булгаков), его отличало **благородство**. И когда я писала книгу о языке и стиле этого человека, то нередко выходила на составляющие этого обширного понятия — благородство. И я насчитала **24 проявления этого качества**! Благородство в одежде, в умении выдерживать трудности жизни (а митрополита обвиняли даже в распространении фальшивых денег), благородство в служении, благородство в цитации⁴. Похоже, и нам следует на порядок чаще рассказывать не только о заслугах великих людей, но и о степени их скорби, тем самым уготовляя молодое поколение вынести то, что брезжит впереди буквально каждому при всем разнообразии и разноударности посылаемых испытаний. Слово «благородство» наполнялось для нас живым смыслом, и таким огромным, таким чарующим, что хотелось подражать этому.

В-четвертых, среди угроз намечается **ослабление связей между людьми**, жидкость, виртуальный мир. Когда мы говорим по компьютеру с человеком, то этот человек может быть в соседнем городе, в другой стране, даже хуже: его может и не быть вовсе. И здесь намечается проблема — **ослабление связей между людьми, утрата коммуникативных навыков**.

А где должны быть эти навыки? Ответим, ссылаясь на православие: в семье. В православии: «Познай самого себя!», «Плодитесь и размножайтесь». Такое дается наставление. **Ценность семьи, своей семьи**. Мне знакома в Твери семья, где подрастают 11 детей: 8 девочек и 3 мальчиков. Год назад погиб глава семьи протоиерей Сергей, но семья живет и будет жить. Я писала о них в своей книге⁵. Причем старшая дочь Маша учится сейчас в Москве, в авиационном институте, а маленькой Кате всего 4 года.

⁴ Митрополит Макарий (Булгаков): уроки благородства. М.: Национальная гильдия профессиональных консультантов, 2018. 24 с.

⁵ Харченко В. К. «Сверх» как инструмент воздействия и поддержки: сверхмногодетность, сверхдолголетие, работоспособность: Монография. М. ИНФРА-М, 2019. 156 с.

И здесь нужно сказать одну вещь. Была телепередача по каналу «Культура», совсем недавно, 19 октября 2023 года, «Открытая книга». Обсуждали текст Михаила Турбина. И вот тогда прозвучало, что у православных священников в последние пять лет увеличилось число разводов. А ведь это серьезно: профессиональное выгорание! Действительно, современная проблема, от которой можно и нужно страховать, не уповав на внешние стороны жизни.

Можно привести пример из нашей белгородской жизни. Учительница музыки 50 лет, начавшая дважды в день ходить к больной 80-летней тете и потерявшая здоровье, рассказывает: «Я пошла в онкологию, там икона. Потом я поисповедовалась. Священник сказал: „Терпи, не ходи так часто! Оставь и Господу (возможность помочь!)! Не тяни все одеяло на себя!“» (03.09.2013). Это признание было услышано нами из уст этой женщины.

Еще ряд весьма современных проблем. У нас встречаются семьи без детей: «чайлд фри». Только потом это решение не заводить ребенка оборачивается великой трагедией. Или еще одна проблема: однополые дети? Но в мусульманской культуре (внимание!) считается, что если у родителей рождается пять дочек, то на небе им обеспечено прощение всех грехов. Так на перспективу идет реальная забота о демографии.

А что главное: самовоспитание? Конечно! Самое главное сейчас — самосовершенствование. Слова, набившие оскомину... Можно обойтись и без них. Но важно не ждать, когда все изменится и все изменится, этого никогда не будет, а самому действовать, меняться самому, встречая каждый свой возраст как подарок. По Т. В. Черниговской, это означает читать только хорошие книги, слушать только хорошую музыку, ставить перед собой действительно важные задачи и, конечно же, создавать семью, что очень трудно, но что очень важно для общества.

Спросим мы, внимая перечню представленных однородных членов: сверхскорость, смешение реального мира с виртуальным, жидкость, то есть нечеткость, хрупкость, что же во всем этом таится? И ответим: внимание к личности. Да-да, к одной, самой главной. Не ждать изменений в жизни, а осуществлять **свою жизнь как бесценный подарок Всевышнего**, как дар, который надо оправдать. Подытожим: итак, внутренними задачами филолога-профессионала является стремление 1) к возрастной гармонии страны; 2) к бережному отношению к прошлому; 3) к глубинному пониманию слова; 4) к развитию коммуникации; 5) к ценности своей собственной семьи; 6) к жизнерадостности, благодарности жизни за жизнь.

Вера КАЛМЫКОВА

ВОР. ЗВЕРЬ. ХУДОЖНИК. ЧИТАТЕЛЬ

Богаче нас в мире никого нет. По золоту ходим. Ножкой, ножкой драгоценности с дороги откидываем — мешают, спотыкаемся об них.

Почему в СССР было столько художественных учебных заведений — чуть не в каждом крупном городе! — понять можно, исходя из давних революционных установок. Насчет «монументальной пропаганды» ленинская, что ли, формула? И росли же как грибы. О художественных школах и говорить нечего — везде. Дети должны ведь творчески развиваться: вдруг потом из наследника художник вырастет?

20-е годы — одержимость поиском языка гипотетического нового пролетарского искусства. Насчет пролетарского вопрос так и не решился, но всякого нового появилось столько, что на сто лет вперед хватило и еще осталось. Формотворческий взрыв, однако, ни к чему особенному не привел, ибо был насильственно погашен полной своей противоположностью — социалистическим реализмом с его *единственно верной* методологией. Неприятно до крайности, но не так уж страшно, ведь преподавали мастера, знавшие секреты красок, умевшие по-особому держать кисть. Чудотворцы, истинно так, — когда не халтурили на заказных полотнах для райкомов-райсоветов.

Не прошло, однако, и тридцати лет, как все началось по новой. И пошло, и стало раскручиваться. Поднялась волна *второго авангарда*, не сказать, чтобы круче первой, но сравнимая. На чем поднялась? На социальном протесте, на несогласии? Так объяснять слишком просто — и плоско: искусство шире. Скорее на неистовом желании молодого тогда поколения художников — выразиться, сказаться. На жажде знаний: а как можно по-другому, иначе, чем все делают? А как было раньше? А как происходит сейчас, но не здесь?

На индивидуализме, значит? И на нем тоже. Но результаты личного поиска, если он человечески обеспечен и доброкачествен, как мы знаем, общезначимы. «Я помню чудное мгновенье...» — одним человеком сказано, миллионы повторяют. В живописи, в графике то же самое: один увидел, а потом сквозь призму его образа видят многие. Полеты Марка Шагала над Витебском, рука об руку с невестой, — всего несколько картин, а скольких людей этот художник научил летать?

...Итак, 1960-е и начало 1970-х. Героическое время в русском искусстве. Нонконформизм с 1990-х политизирован, и отчасти справедливо; но он не исчерпывался только *борьбой с режимом*. Нет, это было еще и время борьбы с диктатом литературного сюжета, сгубившего не одного художника. И время раскрепощения, побед. Не забуду рассказ Николая Евгеньевича Вечтомова, как кто-то из живописцев, забравшись на шкаф, с криком «Feuer!» метал краску на разложенный внизу холст. А с середины

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

70-х и в начале следующего десятилетия каждый, кто себя нашел, двигался вглубь, ставил перед собой новые задачи, искал.

Соппротивление собственной психики, самого инертного в мире материала, преодолевалось с трудом. Но разве Геракл совершал подвиги перед лицом широкой аудитории? Или это спорт, требующий болельщиков?

А сейчас на серьезные выставки в крупных музеях такие очереди, бывает, стоят, что советские *колбасные хвосты* и сравнивать нелепо. Те же самые художники, которых некогда гнали, осуждали и исключали, предстают перед массовым зрителем едва ли не духовными учителями. Пройдет 50 лет — и новых искусствоведов закрутят водовороты творчества *Лианозовской школы* или одиночек *вне групп...*

Это если наследие сохранится и работы выживут. Порой они оказываются долговечнее хозяев, а иногда пропадают еще при их жизни. Как повезет.

Нынче любят говорить, будто в изобразительном искусстве надо *разбираться*. Знаточество сродни смакованию, гурманству: обсудить мазки в левом нижнем углу или свет в правом верхнем. Конечно, кому что нравится. А можно просто прийти и посмотреть, положить впечатление внутрь себя и носить по жизни, как линзу, как цветное стеклышко. Доступно каждому, всякому, любому — если только хочет смотреть.

В 60-е годы не обошлось, конечно, без знатных иностранцев-коллекционеров. В 90-х пошло по прежнему сценарию, но далеко не с подобным результатом: дилеры скупали русское искусство в буквальном смысле мастерскими. Приходили с пачкой долларов к автору, уходили — художник оставался с теми пачками и пустыми подрамниками без холстов. Надежда у торговцев имела на великие барыши, но распродать в тех масштабах, в которых планировали, не получилось. Многие работы погибли, сотни до сих пор по европейским-японским гаражам-чердакам стоят. От некоторых художников не осталось и следа. Только имена, легенды, мифы, хранимые здесь немногими учениками. Об этом хотя бы рассказывать, писать, да ведь не каждый умеет.

Фигура Александра Павловича Жданова (1938—2006) словно специально предназначена для мифотворчества.

Почти все *преодолевшие соцреализм* были им взращены и, взрослея, кусали грудь кормилицы. Но рождались и такие, кому преодоление не надобилось: самой своей природой они были приуготовлены к движению за горизонты, не предусмотренные профессиональной программой обучения...

Профессиональное становление художника Жданова связано с Ростовом-на-Дону, с художественным училищем им. М. Б. Грекова.

Статья в Википедии, энциклопедически элегантная по стилю, именует Жданова одним «из родоначальников искусства ассамбляжа в России». Его «Детская коляска» хранится в Третьяковке. Через три года после эмиграции Жданов стал признанным в России мастером: в 1990 году его работы были показаны на знаменитой монографической выставке «Другое искусство» в той же Третьяковской галерее.

Рассказывая об Александре Жданове, его младший друг и ученик Юрий Фесенко, подыскивая слова и стараясь как можно аккуратнее ввести тему, упомянул о его беспокойной юности на Дальнем Востоке, о том, как в первой молодости Жданов *спутался с ворами*. Встреча темной ночью с человеком, не признающим социальных норм и границ, мягко говоря, неприятна; но житейски безопасное размышление о такой личности в перспективе *судьбы художника* — завораживает. Полная свобода самовыражения, ощущение своей единственности, неподконтрольности, неподцензурности и прочих «не-» для окружающих, как минимум, неудобны, зато литературно притяга-

тельны, и с этим ничего не поделаешь. Мировой хаос, по воле Всевышнего вселяющийся в отдельно взятую человеческую душу и напитавшийся соками этой души, парадоксально становится порождающим началом. Но при этом химия разрушения все же продолжает определять устройство, склад, маршрут человеческой жизни.

Помогло то, что отец Жданова, кадровый военный, был художником-любителем, и после переезда семьи в Ростов-на-Дону сумел показать сыну иную перспективу, тоже позволявшую проявлять недюжинный темперамент, при этом созидая, а не разрушая.

Природный бунтовщик Жданов восставал не против советского социума, а против социума вообще — любого. Советский в этом плане подходил лучше другого, поскольку был абсурден. Как бы то ни было, после начала обучения художеству *старые связи* Жданову стали неинтересны. Когда местные воры пришли к нему, отслужившему армию, *познакомиться*, он не стал с ними общаться. Его ждало нечто иное — искусство. Кое-что он понял уже в первые годы учебы.

Все неспроста. То качество личности, которое подтолкнуло юного Жданова связаться с ворами, никуда в будущем не делось, скорее видоизменилось. Когда он искал свою художественную форму, то *воровал* у природы. Когда делал ассамбляжи — *воровал* у небытия.

А когда писал насыщенные цветом пейзажи, о которых вспоминает Фесенко, — создавал красоту превыше природной.

В русской традиционной культуре вор — персонаж знаковый. Никакая сказка не воспеваает банального карманника или серийного убийцу, но зачастую, как показал Андрей Синявский в очерке народной веры «Иван-дурак», вор обладает сверхспособностями и умеет видеть красоту превыше обыденности. Синявский здесь кстати еще и потому, что Жданову были известны, по крайней мере, «Прогулки с Пушкиным», публикуемые под именем Абрама Терца.

Откроем «Ивана-дурака».

Огонь — золото — солнце — радуга — красное платье — красная девица — цветы — драгоценности — так переливается сказка дружественными понятиями, на правах синонимических признаков ищущими представить лучистую силу источника, находящегося за текстом. <...>

Сказка не знакома с ученой терминологией, она проще, прямее и больше упирает на золото, на огонь. Но есть что-то ярче и краше золота, чище огня, о чем она жаждет поведать, и, силясь перескочить свой речевой потолок, она всякий раз расписывается в бессилии перед яркостью неизреченного света: «ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать!» Однако постоянство, с каким она хватается за спасительную отписку, убеждает, что позиция сказки лежит как раз на пределе, у самого рубежа несказанного, и бьется о красоту, превышающую возможности слова, и этим-то запредельным сиянием озарен ее златотканый покров.

Кстати, поэтому преизбыточное золото в сказке не тяжело, не сусальное; красочность не превращается в самодовольную цветистость лубка, где цвет лежит на поверхности толстым слоем, знаменем материального блага, вне его духовных потенций, лишено тайны и веры в сиятельные чудеса. Рыгая и харкая золотом в знак своего имманентного, неотъемлемого богатства, сказка зачарована больше созерцанием его волшебного блеска, и грубое вещество не теряет в ней лучистой прозрачности тончайшей стихии — огня, сообщающего вязкой материи серафическую летучесть.

Световая природа прекрасного так явственно в ней проступает, что в сказке долгое время усматривали поклонение Солнцу.

Это о красоте. Теперь — об одном из персонажей.

<...> Перейти к сказочному герою другого типа, который по имени, по определению и по своей профессии — *вор*. Это фигура <...> достаточно популярная и весьма колоритная. И что особенно странно — любимая народом, хотя в повседневной жизни, в действительности, как известно, народ воров не жалуется. Возникает законный вопрос, почему же в сказках вор иногда выходит в заглавные герои? А если присмотреться внимательнее, то и многие сказочные герои, отнюдь не воры, а люди благородные — например, прекрасный Иван-царевич — занимаются воровством <...> Но воровство здесь как бы не замечается, а просто входит в состав волшебного сюжета и заслоняется понятием чуда и магических способностей героя. То есть колдовство скрывает под собой воровство.

Однако это воровство выходит иногда на поверхность сюжета, и тогда главным персонажем сказки становится профессиональный вор. Этот вор, в виде сказочного героя, отнюдь не скрывает своего воровского призвания, но откровенно объявляет, что он обучен одному искусству: «Воровству-крадовству да пьянству-блядовству». Иными словами, он ходит по кабакам и по девкам, развратничает, прожигает жизнь. И вот сказочный вор, что-нибудь украв, на вопрос — куда он дел деньги, подчас отвечает: «Одну половину денег пропил, а другую половину денег — с девками прогулял». И в этом состоит весь смысл жизни сказочного вора, и никаких других, высших целей он перед собою не видит. Все деньги он пропивает и проматывает. <...>

<...> Вор в своей профессии все знает и все понимает. Вор — с самого начала обзаводится «хитрой наукой», которая и состоит в его исключительном умении и способности — воровать. И далее эта «хитрая наука» (наука воровства) описывается и изображается в сказке невероятно подробно и составляет специальный сюжет на тему: как украсть то, что трудно украсть. <...>

Если брать эту проблему, этот образ Вора в бытовом, в житейском или в реалистическом аспекте, то создается впечатление, будто лучший человек на свете — это Вор. И подобное впечатление порою ставит в тупик цивилизованного читателя. Как же так? В виде положительного героя вдруг выступает герой отрицательный. На место волшебного героя — рыцаря, богатыря, Ивана-царевича — вдруг становится Вор!

<...> Сказка, как мы раньше отмечали, это не воспитательно-дидактический жанр. И сказка не отображает действительность, а ее преображает. Реалистический подход здесь неуместен и противоречит идейной и образной структуре сказки. Сказочный вор не имеет (или почти не имеет) никакого отношения к тем ворам, которые промышляли в реальной жизни. Стоит обратить внимание, что сказочный вор насколько не скрывает своей профессии, а открыто о себе заявляет: «Я — вор». Далее, воровство для него это не способ наживы или устройства лучшей жизни <...>, а — самоцель. Иными словами, чистое искусство, которое он демонстрирует. Да и зрители или слушатели сказки интересуются и восхищаются не тем, что Вор украл или сколько он украл, а тем, как он это сделал. А делает он это каким-то невероятно хитроумным и удивительным образом, что и становится предметом эстетики. Его воровство или обман (а воровство постоянно связано с обманом) это некий замысловатый художественный трюк.

Личностное содержание Жданова, его природная, органическая почти несовместимость с принципами организации людей в общество, внутреннее пребывание за краем социума и при этом постоянное профессиональное совершенствование, неустанный поиск изобразительных ходов и приемов сродни сказочному *воровству*. Умение работать минимальными средствами у художника, наделенного уникальным даром колориста, вело к созданию *прекрасного* за гранью *бывалого*.

Минимализм Жданова небеспреседентен, достаточно вспомнить Петра Дика. Но у Дика, как и у ученицы Жданова Веры Колгановой, минималистический язык вызывает к жизни, опредмечивает тишину, равновесие как принцип мироздания. У Жданова

ва преобладает иное начало — *страсть*, переданная через неостановимое, неукротимое движение.

Страсть как основа его характера побуждала к преобразованию металлолома в объекты, в новые, нефункциональные вещи. Страсть требовала выхода, заставляла преодолевать границы картинной плоскости и законы цветовых сочетаний. Побуждала закручивать вихри на небесах московских пейзажей, одушевлять тени, наделять силуэты характерами. Он шел от минимализма почти яковлевского, а пришел к эмоциональности, перехлестывающей через предел любой плоскости. Дай ему стену — она окажется мала.

Многое побеждается, однако, любовью и верой. Однажды в транспорте Жданов познакомился с милой дамой, москвичкой Галиной Герасимовой, которая вскоре... стала его женой. Благодаря ей он в 1979 году даже вступил в Московский горком графиков (Малая Грузинская) и начал выставляться, приобрел известность среди коллекционеров. Благодаря жене обрел и *место силы*, после названное Пристанищем. В миру — окрестность Звенигорода, поселок Мозжинка Академии наук СССР, где селились люди все как на подбор приличные. Поначалу видение косматого чужака, волочившего металлолом с помойки, фраппировало хрупкую нервную систему академических дачников; однако ко всему привыкаешь, и вскоре Жданов стал частью местного ландшафта.

Он действительно, *буквально* стал его частью. И привел с собой кое-кого еще. Рассказывает Юрий Фесенко, увековечивающий память о Жданове.

В то последнее веселое лето 1981 года (в следующем году все посерьезнели) Жданов начал помещать в свои работы, имевшие прямую связь с пейзажем, бегущее странное существо, похожее на человека, зверя и птицу одновременно. Разобраться, к какому царству существо относится, было трудно. В разговорах и многочисленных рисунках он наделял его то копытами, то крыльями, и персонаж то бежал как человек, то летел как птица. Однажды после наших очередных немых вопросов Жданов рассказал, что Галя подсунула ему книжку с историей о последнем Пане, оказавшемся в болотах южной части Франции, и что он ее вот уже месяц как изучает, и что описанные там дикие пейзажи стали местом встречи человека с этим существом. Потом добавил, что нашел своего героя и что Чудище, Великий Пан, теперь поселился и в наших окрестностях.

Во время очередного вечернего чаепития у Жданова в мастерской он продемонстрировал книжку, но на просьбу... дать ее на одну ночь ответил отказом, объяснив, что она ему пока самому нужна. Позже все же удалось заполучить ее, и только тогда тайный мир повести о Чудище стал доступен и нам, а новоиспеченный герой художника подтвердил свою принадлежность к роду богов.

По большей части монологи Жданова о живописи заканчивались рассуждениями о Чудище. Он, неуклюже взмахивая руками, демонстрировал бег этого существа, а его подскоки и комичные прыжки обозначали взлеты и посадки крылатого Пана. Неудивительно, что после такого лицедейства мне... во время прогулок стал мерещиться этот персонаж. Одержимость Жданова граничила с какой-то особой формой любви и страха — страха утратить или забыть открытые им черты образа Пана. Вероятно, поэтому в тот период он работал много и, как всегда, импульсивно. За один прием мог написать до десятка холстов, опасаясь, что большие интервалы между сеансами могут прервать поток генерируемых образов и ассоциаций.

Что за книга так перепახала вольную душу художника? — спросите вы. Повесть «Чудище из Ваккареса» французского писателя Жозефа д'Арбо (1874—1950), написан-

ная на провансальском языке, переведенная Натальей Кончаловской, опубликованная по-русски в 1976 году сначала в журнале «Иностранная литература», а затем и в издательстве «Художественная литература» вместе с другими произведениями д'Арбо. Иллюстрации, кстати говоря, делал Борис Свешников, еще один легендарный герой русского искусства XX века.

Трагическая и нежная история о том, как пастух в XV веке познакомился в Камарге с неким существом, пришедшим из античных мифов. Пан поселился на озере Ваккарес, ему приглянулись местные солончаки и болота. Увы, повесть заканчивается гибелью Пана — но ведь, кажется, герои мифов бессмертны?..

Для Юрия Фесенко звенигородская Мозжинка и Прованс родственны не только по внешним приметам ландшафта, но и по ощущению близости к смыслу космических, должно быть, процессов, иной раз словно отпечатанному на земной поверхности.

...Мне довелось быть проездом через город Экс-Прованс. В нем музей-мастерская Сезанна. Дорога пролегла рядом с горой Сент-Виктуар. Кроны деревьев у подножья клочкообразные, с разрывами. Мне подумалось, что одна из особенностей неповторимого стиля Сезанна объясняется структурой деревьев в той местности. Уже позже, снимая репродукции с бегущих Панов Жданова, я удивился, как графическая и линейная структура его рисунков легко вписывается в природное окружение. Его персонажи как бы вернулись туда, где родились, органично слившись с окружением.

Пан вобрал в себя — и преобразил — все темное и разрушительное, что было в натуре Жданова. Остались моменты объяснимые, человеческие: раздражительность, нетерпимость, недоверчивость... Не сказать ангельские черты, но вполне выносимые, особенно порционно.

Однако обратная сторона страсти, хаос, работает по-своему, даже если человек формально, развиваясь как личность, уходит из-под его власти. В большинстве работы Жданова или погибли, или недоступны.

В 1982 году Васса Герасимова, дочь Галины, спортсменка, находясь на соревнованиях в Испании, отправилась в посольство США и попросила политического убежища. Галина и Александр принялись добиваться разрешения на выезд. В 1987 году Жданов подарил «народу США» более полутора тысяч своих работ. В том же году супруги, проведя несколько акций протеста, выехали за океан. С собой Галина Герасимова взяла папку с работами мужа.

Они-то и уцелели.

Потому что та часть, которая была оставлена в московской квартире в надежде на то, что друзья постепенно их разберут, была уничтожена неизвестно кем и как в течение нескольких дней.

А дар американскому народу остался невостребован и сгинул.

Ростовская и московская серии «Зимних Панов» хранятся у приемной дочери Жданова. Галина Герасимова составила картотеку, все работы подписаны ее рукой. Фотографиями около 60 работ в данный момент располагает Юрий Фесенко.

Таков внешний рисунок судьбы художника.

Панов на рисунках Жданова, как правило, по двое-трое. Они не прорисованы, даны силуэтами. Внешне это напоминает широкоплечего человека в плащ-накидке: плечи суть ссутулены, голова едва намечена, ноги открыты с середины голени. Но мастерство художника так велико, что этот геометрически простой силуэт динамичен и испол-

нен колоссального внутреннего напряжения. Ты буквально заряжаешься движением, глядя на него.

Но мало этого. Столь же напряжен и насыщен фон, на котором двигаются Паны. Даром что большинство сохранившихся работ черно-белые: ты угадываешь гамму сам, в зависимости от собственного состояния и эмоциональной потребности. Ты видишь этот глубокий мир с бесконечно удаленным горизонтом, то луч, то петлю дороги, идешь на светлое или черное солнце, продираешься сквозь заросли к единственному едва заметному пятну света.

...Разумеется, был и внутренний сюжет судьбы. До сих пор речь о Жданове велась, так сказать, извне, с точки зрения социума, из всех сил удерживающего себя в рамках лояльности к неудобному члену. А переместимся-ка внутрь, станем-ка на минутку Ждановым. Комфортно ли быть ревнивым, подозрительным, вспыльчивым, драчливым, неуживчивым, непокладистым? Закапсулированным, ведомым огромной гордыней? *Зазеркальным*? Всегда и всему противостоять? Почти никому не показывать свои работы?

Непросто.

Жданову нужен был соратник; поддержка жены, беззаветно верящей в его талант, и друзей, пусть немногочисленных, но преданных, значила много, однако давала не все.

Попутчиком стал *литературный персонаж*. Такое могло произойти, разумеется, только с представителем литературоцентричного поколения.

Звериная интуиция позволила Жданову распознать свое альтер-эго в мифологическом и сказочном эллинском Пане, узнать родственную душу в полуживере, увидеть, как он двигается, едва ли не стать им. Жданов читал то же, что можем прочитать и мы.

...У повернувшегося ко мне зверя было человеческое лицо.

Несмотря на потрясение, я отлично разглядел это смелое лицо: невзгоды и старость избороздили его, а дикие глаза горели таким скорбным пламенем, что взгляд мой с трудом вынес его. <...>

Я почувствовал зловонное дыхание на своем лице и подскочил в седле от отращения и ужаса, потому что заметил растущие по обеим сторонам широкого лба, возвышавшегося над уродливым лицом, рога. Да! Два рога. Один жалкий, сломанный посередине, а второй наполовину закрученный в завиток, оба неровные и испачканные в тине. <...>

По правде говоря, я надеялся, что этот Велиал рассеется точно туман передо мной, как вдруг, к моему великому изумлению, Чудище (как мне его еще назвать?) с трудом поднялось на свои негнувшиеся ноги, и на разгладившемся его лице я разглядел выражение кротости и прорезавшуюся словно луч меланхолическую улыбку.

— Человек, не тревожься. Я не демон, которого ты боишься. <...>

Чудище говорило. Его надтреснутый голос звучал торжественно, неторопливо и даже как-то пленительно. Я слушал его ошеломленный и чувствовал, как мало-помалу исчезает мой ужас и по венам растекается необъяснимое успокоение, но вдруг я увидел, как раздвинулся его рот над деснами почти без зубов и морщинистое лицо внезапно сложилось в поистине дьявольскую усмешку. И тут же страшный смех разорвал воздух — я вынужден был опустить глаза под палящим огненным взглядом:

— Я не демон! Я не демон!

Здесь нужно остановиться и проанализировать, о чем, собственно, мы говорим. Двойственность Чудища — единство меланхолически-прекрасного и зверски-ужасного, способность мгновенно переходить из одного состояния в другое — осложняется еще и тем, что в новелле «Чудище из Ваккареса» не один герой, а два. Второй — собствен-

но повествователь, пастух монады быков Жак Рубо, оставивший, согласно сюжету, воспоминания о встрече с единственным уцелевшим божеством античного пантеона.

И Жданов волей-неволей, как любой читатель, неминуемо должен был впустить в себя их обоих: оба взгляда, обе фигуры, оба модуса, страдания и сострадания. И даже отождествившись с Чудищем, он не смог бы вытравить из себя пастуха Жака Рубо.

В русском языке *чудище* и *чудо* — слова однокоренные.

За двадцать лет художественной жизни Жданов успел подготовиться к встрече с Чудищем — с самим собой, хотя до этой встречи, конечно, не понимал, что готовится к ней.

С таким другом жить стало проще. Он позволил внутреннему зазеркалью легализоваться, поселив зерно мифа в человеческой душе. Дело оставалось за малым: вывести друга в иной, более полный план существования. И тогда Жданов перевел литературный сюжет на язык живописной пластики.

Все, чего он хотел — спонтанное, дикое, незаконное, протестное, неразрешенное, невысказанное, — воплотилось в похищенном образе, пришедшем из Эллады через новеллу французского писателя.

По листам и холстам Жданова побежали-полетели Паны, спасавшиеся от всего, что подвергало опасности их свободу, и спасавшие живопись от застоя, стагнации.

Интуитивно угадав сходство пейзажей провансальской Камарги с окрестностями Звенигорода, Жданов поселил присвоенного, отнятого, *уворованного* у д'Арбо персонажа в Россию, тем самым осуществив процедуру, естественную для нашей культуры задолго до Петра I, узаконившего наше право на эллинскую античность. Но ведь в более ранние времена происходило то же самое, разве что механизм иначе осмысливался. Русский до мозга костей, Жданов забрал у другой культуры то, что считал своим, *уродил* себе и размножил.

Он научился изображать *путь*, персонифицируя его и вместе с тем избегая конкретизации образов.



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

К 100-летию Ю. В. Друниной

Альберт ИЗМАЙЛОВ

«Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА – ИЗ ВОЙНЫ»

Однажды шел по Университетской набережной к Румянцевскому скверу. Остановился у книжного киоска у здания филологического факультета университета. Взял в руки книгу стихов. На обложке: Юлия Друнина... Зашел под кроны тенистых деревьев Румянцевского сквера. Сел на скамью. Открыл книгу. Где-то рядом гулко пропел пароходный гудок. Поднял голову. В сиреновом тумане сквозь листву вдруг вижу...

По Съездовской линии — что за походка! — девчонка идет, как под парусом лодка. Прическа что надо. Глаза словно два водопада. Стройна и подвижна, как ртутный свет, лунна. И прячется где-то скрытная тайна подспудно.

...А на дворе гремела непогода:
В небе гром грохочет и играет.
Над Невою носится гроза.
Кто-то рядом спешно отирает
Черные и влажные глаза...

В сознании поэта при вдохновении рождался гул, шум, звук. Рождался от тех чувств, которые дарил ему город: вода, небеса, камень, любимый человек, их движение. Мы слышим в текстах приглушенные звуки города — холодные зимой, как бы возрождаю-

Альберт Федорович Измайлов родился в Ленинграде в 1937 году, житель блокадного Ленинграда, кандидат филологических наук.

щиеся — весной, затухающие — осенью. Звук музыки обволакивает стихотворные строки, дрожа, прерываясь, маня.

...Я не привыкла,
Чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку —
Меня...

Под Можайском Юлия Друнина впервые в жизни попала под бомбежку, потерялась, отстала от своей группы. Блуждала до тех, пока не наткнулась на солдат пехотного полка, которым нужна была санитарка. Так Юля оказалась на фронте. Первый бой, первое окружение, первый прорыв к своим, в ходе которого погибали ее товарищи...

Санинструктор 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии Юлия Друнина писала:

Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

После ранения санинструктор Друнина была признана инвалидом и комиссована. Но Юля не хотела в дни войны оставаться в тылу и вновь прорвалась на фронт. Была причислена к 1038-му самоходному артиллерийскому полку 3-го Прибалтийского фронта. Вместе с полком освобождала Псковскую область и Прибалтику. В ноябре 1944 года после тяжелой контузии Юлию Друнину комиссовали окончательно.

Войну она закончила старшиной медицинской службы с орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Война навсегда осталась в ее творчестве:

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

В 1990 году Друнина стала депутатом, выступала с публицистическими статьями, призывала сохранить все лучшее, что было в уходящей эпохе. О своем депутатстве говорила: «Единственное, что меня побудило это сделать, — желание защитить нашу армию, интересы и права участников Великой Отечественной войны и войны в Афганистане».

Я родом не из детства — из войны.
Раз, пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке робкой...

Согласно ее последней воле, Юлию Владимировну Друнину похоронили на Старокрымском кладбище, рядом с мужем Алексеем Каплером. Именно в Крыму, в Коктебеле, они отдыхали вместе в свои самые счастливые дни...

Дышит море. Дышат горы. Дышит степь. Солью волны. Теплом камня. Настояем трав. И болевой памятью кладбищенских плит. И словами Юлии Друниной о памятнике в Коктебеле:

Коктебель в декабре.
Только снега мельканье,
Только трое десантников,
Вросшие в камень.
Только три моряка,
Обреченно и гордо,
Смотрят в страшный декабрь
Сорок первого года.

И вдали от теплого моря она писала о своем любимом крае, о своем любимом, чья могила там, в морской дали:

Ну, а ты
В ночах осенних, длинных,
Ты,
От моря и меня вдали,
Помнишь ли
Цветущие маслины
И на горизонте корабли?

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

К 100-летию В. П. Астафьева

Александр БАЛТИН

ВЕКТОР ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

Подростковое школьное сочинение было превращено им в рассказ «Васюткино озеро», появившийся, как и другие ранние рассказы В. Астафьева, в журнале «Чусовой рабочий»... Война и деревня — два вектора, сложно сошедшиеся в космосе писателя, определили силовое поле его прозы, ставшей значимой вехой в исто-

Александр Львович Балтин родился в Москве в 1967 году. Поэт, прозаик, литературный критик. Автор 85 книг (включая Собрание сочинений в пяти томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 150 изданиях России, Украины, Беларуси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Дании, Испании, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.

рии русской литературы советского периода. «Стародуб», «Перевал», «Звездопад» словно собирались из тех камней, что можно встретить в лесах: лобастых, больших, покрытых мхом времени. Автобиографический «Перевал» так же вынут из жизни, как любой из пейзажей в этой повести, круто приправленных солью слов. Шероховатость и шершавость становились мощными средствами выразительности; и древесина прозы обрабатывалась своеобразно: со специально оставляемыми, необструганными фрагментами — чтобы ранили сильнее читательское восприятие, не давали возможности пройти мимо, врезались в память. Зоркость к деталям была необычайна: точно своеобразные окуляры направлены на действительность, дабы высветить самое характерное и дать через деталь многое. Живая плазма слов бурлила: казалось, мозг писателя переполнен ими, жаждущими свободы воплощения.

Взгляд на войну давался через восприятие простого солдата, на котором все и держится, иногда — младшего офицера. И обезличенный ванька-взводный, выдерживающий колоссальную нагрузку, что бы ни происходило, — уникальный собирательный образ Астафьева, знавшего окопную правду изнутри, как и наждачную ее сторону, резко и грубо обрабатывающую души.

«Царь-рыба» — роман в новеллах, повествование столь же глобальное, сколь и провидческое. В центре своем лелея Игнатъича, умелого и уважаемого в деревне рыбака-браконьера, разоблачает жадность, жажду наживы, затягивающую в омут потребления любой ценой. Разоблачает невозможное, потребительское отношение к природе, дающей жизнь, поющей сотнями голосов, производящей в том числе великолепных чудовищ, таких, как царь-рыба — осетр. Нечто безмолвно нависающее над нами; субстанция, определяющая жизнь настолько, что рассуждения о выборе выглядят вариантом байки. Царь-рыба плывет, доплеснув хвостом до звезд небесных, а брюхом касаясь волшебного Китежа, который никак не всплывет... Есть знаковая сила в том, что герой становится жертвой собственного промысла. И Игнатъич, вспоминая деда, рассказывавшего, что встреча с царь-рыбой может обернуться бедой, оценивает рассказ старика уже собственной судьбой.

«Царь-рыба» Астафьева, выстраиваясь блоками новелл, постепенно подводит к стержневому повествованию, давшему название книге, книге, сильно протертой в ладонях огромного опыта и просвеченной острыми лучами мастерства. Могучий осетр — подлинный царь речных вод — становится символом и природного величия, и таинственного замысла, силы, творившей любое естество. Человек, сделавшись заложником избыточного потребления, теряет собственную суть, требуя все большую и большую меру материальных благ; человек, разрывающий тончайшие связи с природой, обречен на ужасное блуждание в смысловых потемках, без прикосновения к правде, красоте, тотальной осмысленности бытия.

Потребление — бог и царь финала двадцатого века — выводит подданных своих на новые ступени в двадцать первом, еще более крутые, заставляющие не считаться ни с чем. История, произошедшая с Игнатъичем, так точно сфокусированная и ярко выписанная Виктором Астафьевым, в сущности, провидение: человек становится жертвою ловушек, расставленных им же...

Как плавно и величественно звучит природа в астафьевских описаниях! Сколько синевы в глубинах вод и тайной музыки в лесных дебрях! Сколько труда нужно положить, чтобы, вслушиваясь в недра природы, ощутить свою связь неразрывную со всем бликующим бесконечностью мирозданием... И мудрая царь-рыба, плеснув, уходит в тайну свою, призывая прислушаться к ней, как к вечности. Царственная рыба... Величественный осетр словно проплывает в огромнопространных небесах, плавностью

своих движений призывая к осветлению жизни, к изменению ее. Оказавшись в миллиметре от смерти, герой раскается в ворохах грехов, которые наваливал в реальность... «Царь-рыба» звучит мощным покаянным колоколом; и мир природы обретает в ней столько голосов, что заслушаешься хором.

...А вот взвод лейтенанта Бориса Костяева, который среди прочих соединений участвует в бою против прорвавшего оборону противника. Взвод, останавливающийся после боя на хуторе. Хозяйка дома — Люся. Описано краткое счастье любви в недрах продолжающейся войны — так строится сюжет «Пастуха и пастушки», пасторали, по определению писателя. Современной пасторали, уходящей жарким составом любви и тоски в вечность, где, может быть, уютнее, чем на земле... Пронизывали токи небесные тертые, мощные книги Астафьева, знавшего, по его словам, богословие весьма неплохо. Может, потому так согревают они теплом и лиризмом; даже тогда, когда, казалось бы, выхода нет...

Две полярные точки человеческого бытия — любовь и война, будучи совмещены, встроены в реальность под ракурсом «любовь на войне», — становятся вдвойне взрывными; немудрено, что повесть «Пастух и пастушка» перенасыщена эмоционально, чрезмерно наэлектризована, буквально ощущаешь разорванные метафизические искрящиеся провода, бьющие током. Просто и пронзительно строит Астафьев повесть — из силы и огня, радости и муки, жизни и смерти ясно и яростно выписывает ситуации, рожденные обстоятельствами, которым невозможно противостоять. Но нужно выстоять — и остаться человеком, помимо того, что — выстоять и победить... Вряд ли при таком надрыве и надломе психики останется целой, она будет искромсана, и сможет ли ее уврачевать любовь? В иных случаях — нет. Главный герой Борис Костяев умирает не от ранения — от страшного надрыва, взорвавшего психический строй его души.

Он — лейтенант, командир пехотного взвода. И он же Пастух, встретивший первую любовь посреди фронта, наполнившийся воспоминаниями о доме, малой родине, свете...

Как все просто и ясно и в то же время сильно и сложно; не сопереживать невозможно, как невозможно современному человеку представить всего, чем давила война даже выживших...

Прокляты и убиты...

Все затевающие войны, распри, смертоубийства будут прокляты и убиты. Это слова из одной из стихир старообрядцев. Среди новобранцев, прибывших в запасной полк, был и старообрядец — силач Коля Рындин. Был и блатной Зеленцов, и симулянт Петька Мусиков, и... и... Людская смесь, людская плазма, готовая к смерти, пока еще не прокляты и убиты те, кто затевают войны. Роман «Прокляты и убиты» не мог быть закончен, ибо деготь войны не смывался из памяти, и все новые и новые образы, выходившие на сцену, чтобы погибнуть, подтверждали невозможность забвения.

Роман Астафьева не мог быть окончен, ибо проблемы, поднятые им, не решаемы в принципе, но мысль, проходящая через обе части романа огненной нитью, мысль о наказании Божиим людей посредством войны, была новостью. Особенно непривычно воспринималась она в свете биографии В. Астафьева — и человеческой, и писательской.

Повествование организует бесконечно ежеминутный, становящийся ежечасным, ежедневным, потом бытийным военный ритм — с жадными вшами и тощими пацанами — новобранцами в лютые зимы 1942–1943 годов... Жесткий ритм повествования завораживающий, втягивающий в себя так мощно, будто сам участвуешь в действе войны...

В центре — боеспособный, сплоченный коллектив, сформировавшийся из новобранцев, несмотря на постоянное недоедание, голод, холод, конфликты. И тут же командир, насмерть ногами забивающий доходягу. Наждачный натурализм потрясает. Как будто так не могло быть — но было же.

...Прокляты и убиты, прокляты и убиты — звучит как заклинание. И уже не понять, к кому относятся эти слова. И что они значили в старообрядческой стихире, даже богатырь Рындин не вспомнит. Сюжетная линия рвется, на описания боев наплывают описания довоенной жизни. А во второй части романа — «Плацдарм» — царит смерть... Путь из Чертовой ямы в нее обоснован и предсказуем... Вот только затевающие войны вновь жируют и не верят, что сами будут прокляты и убиты. Страшно звучание книги «Прокляты и убиты» — единственной в своем роде и... незаконченной. Продолжаясь в вечности памяти, которую, сколько ни затягивает искусственная мгла забвения войны, не затянет никогда.

Война и деревня — два противоположных полюса астафьевской прозы, и, как и положено в электромагнитном поле, они притягиваются друг к другу. Деревня Астафьева — оплот, корневое, земляное начало русской жизни. Война — людская плазма, разлетающаяся брызгами смертей, плазма, из которой рождается образ воина, обезличенного ваньки-взводного, что встанет, как в былинах, из гушины российской и выдержит все... Не случайно бабушка героя, писательского альтер-эго, из «Последнего поклона», детально восстановленной хроники детства, говорит: «...над всем народом надо поплакать».

А вот «Ода русскому огороду», столько веков бывшему не просто кормильцем — спасителем; ода, выписанная стройно и сочно, богато насыщенная и реалиями бытия, и эмоциями... Густая плоть астафьевской прозы!

И возвышается храм томов, возведенный им, уходит в метафизические небеса, не ветшая. Так и громоздятся они, пропущенные через жернова боли и просеянные через сито надежд, громоздятся, поражая целостностью своею, укрепляя действительность, все более охочую до развлечений и все менее заинтересованную в серьезном чтении. Война и деревня — два феномена русского бытия, определившие сияющий свод сочинений В. Астафьева, мир наполненных шершавой, наждачной правдой томов, из которых создан этот храм. В. Астафьев возводил его, мощно укрепляя своды, расширяя приделы, внося новые и новые детали. И храм этот велик, и через прозрачный его купол льются лучи вечности в феноменальное строение, созданное из книг.

ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО

К 125-летию Л. М. Леонова

Александр ЗАХАРОВ

LEONID MAKSIMOVICH

Заметки ботаника о Леониде Леонове

Хемингуэй советовал: «Когда допишешь, выкинь первую фразу».

Я так долго любил Хемингуэя (даже портрет на стене висел), что теперь вообще помню из всей русской литературы первые фразы только трех произведений: «Стояли мы в местечке» — из пушкинского «Выстрела»; «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь» — из «Петра I» А. Н. Толстого и «Лось пил воду из ручья» — из леоновской «Соти».

Почему первые две — понятно. У Пушкина все сразу сказано, можно было и не продолжать, так как «жизнь армейского офицера известна». У красного графа так захватски про задницу, что наперед ясно: будет чем не то что забухшую дверь, но и окно в Европу выбить. А что такого в этом «лось пил воду из ручья» — сорок лет понять не могу.

И у автора не спросил, а ведь была возможность! Служил я как-то младшим редактором в редакции художественной литературы издательства ОК КПСС Лениздат, что стояло на месте Воскресенской церкви работы Людвиг Фонтана на участке Апраксиных. Жизнь младшего редактора известна. Просто редактором я быть не мог: в партийном издательстве это, по определению, только «партийные». Поэтому я был не простым редактором! Младшим. Они читали рукописи, а я делал «расклейки» и подготавливал вчерне будущие договоры с авторами. А если автор был классиком, то есть уже приказал нам долго жить и поменьше писать, — тогда с наследниками.

Леонид Максимович Леонов был жив. Поэтому договор шел трудно. Тогда издавалась у нас серия «Мастера русской прозы XX века», куда наряду с Горьким, Андреевым и Зощенко вошли практически неизвестные нам Борис Шергин и Артем Веселый. И недавно нас тогда покинувший Василий Шукшин, которого на договорной ниве замещала Лидия Васильевна Федосеева-Шукшина. Ну и Леонид Леонов.

Александр Алексеевич Захаров родился в 1956 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ по специальности «Русский язык и литература». Член Союза журналистов России (СССР) с 1983 года. Член ФИЖЕТ (Международная федерация журналистов, пишущих о туризме). Как литературовед и критик печатался с 1981 года в журналах «Звезда», «Литературное обозрение», «Север», «Звезда Востока» и др. Ботаник-любитель.

Вскоре я понял, что цели авторов (и наследников) в этой серии диаметрально противоположны намерениям редакции. Мы хотели дать лучшее из каждого, а они («каждые») за «лучшестью» не гнались и хотели включить в избранное те рассказы и повести, которые меньше раз «уже издавались». Поскольку сумма договорного гонорара изменялась с каждым случаем издания, естественно, в меньшую сторону.

От торговли с Лидией Васильевной меня Бог отвел, но на Леонида Максимовича навел. Дважды мы разговаривали по телефону (это черный такой аппарат на столе с крутящимся диском для набора цифр и проводами), и один раз я даже ездил на поезде в Москву.

Разговоры по телефону (с нашей стороны) звучали приблизительно так: Леонид Максимович, здравствуйте! Спасибо. Это из «Лениздата» звонят... Спасибо. Вам удобно говорить? Спасибо большое. Мы хотели бы включить в ваш однотомика вот это, вот это и вот это, как вы считаете? Спасибо... Это не надо? Спасибо... И это не надо? Спасибо. А надо вот это, да? Спасибо... А где это было издано, мы не знаем, извините, пожалуйста! Ах, там-то и тогда-то. Спасибо... Один только раз печаталось? Спасибо.

В общем, нам сильно повезло, что к тому моменту чудесная повесть Леонида Леонова «Evgenia Ivanovna» публиковалась всего два раза, и поэтому договаривающиеся стороны остались довольны друг другом: мы включили в однотомика лучшее, автор получил большее.

Я, тогда 27-летний, все думал: куда писатели девают такие деньги? А когда в Москву приехал, узнал куда. И обалдел от восторга. Оказывается, в Переделкине у Леонова был большой сад, а в оранжерее он разводил орхидеи и в момент наших переговоров как раз ждал, по его словам, «самолет из Южной Америки с новыми экземплярами», отчего и возникла крайняя необходимость в финансах.

Как вспоминала Наталья Сац в «Новеллах моей жизни», «однажды Корней Иванович Чуковский решил зайти к Леонову на дачу. Сами понимаете — не кто-нибудь, Чуковский. Ворота сразу ему открыли. Сад большой, деревья всякие, цветы запахами своими одурманивают, домики какие-то для разных редких растений на деревянных столбиках, как бы на втором этаже, расположены, деревья, как в джунглях, а в доме ни души. Чуковский говорит: „Хожу, вроде Дюймовочки, в тропических зарослях затерянный — это с моим-то ростом“».

Ну а я-то Чуковского насколько ниже! — по росту, не говоря уже о литературе, но как раз благодаря этому сразу бы заметил среди орхидей «пришипившийся, будто и не он», непентес. Корнею Ивановичу кланяться бы пришлось, чтобы увидеть тот непентес. А я в полный рост увидел бы непентес. Знаете про непентес? Нет? Ну, это такой плотоядный цветок. Вроде бы безобидная чашечка ароматная висит, а залетит туда муха-цокотуха разнюхать что да как — ап! — и съели.

Когда Чарльз Дарвин первый непентес увидел, он глазам своим не поверил и публиковать ничего об этом не стал — засмеют! Только потом уж его компатриот Хью Лоу (не путать с Хью Лори!) нашел в Малайзии много видов непентесов и открыл «непентес раджи» с чашечкой-ртом в 35 сантиметров в диаметре, куда даже мышам и ящерицам заглядывать не рекомендуется. Благодаря этой новости в Англии начался настоящий бум коллекционирования непентесов: Хью Лоу отправлял туда непентесы сотнями и вскоре очень разбогател.

При этом, поскольку «товар» был скоропортящийся, для доставки непентесов в Англию использовались клиперы — самые быстроходные парусные и парусно-винтовые суда, предназначавшиеся тогда в основном для перевозки из Китая чайного листа... Ну а Леониду Максимовичу доставляли самолетом.

А что вы удивляетесь? Прогресс! Вот были же корабли для растений, для чая, всякие «философские пароходы» — скоро будут и «философские самолеты».

Но наверное, оранжерея помогала Леонову периодически самоизолироваться от прогресса, а главное — от бурного писательского сообщества, которое, как известно из Булгакова, вскармливало и созревало тоже в оранжерее, только в другой. В этом смысле его биография представляет какое-то причудливое чередование официальных и «укромных» эпизодов с регулярными бегствами в свою тропическую «Оптину пустынь».

Его отец держал издательство и книжный магазин на Тверском бульваре и был отправлен в 1908 году вместе с семьей в Архангельск, когда под прилавком обнаружилась кое-какая революционная литература. В Архангельске он организовал типографию, где печатал газету «Северное утро», которая не понравилась теперь уже большевикам.

Такая карма докучала и сыну — будущему писателю. Он дослужился до прапорщика в Белой армии на севере, а потом перешел в Красную — на юге. Подробности ищите сами, но я не исключаю, что этот переход был связан с тем, что на юге флора значительно богаче.

Потом он сочинил пьесу «Метель», которая не раз ставилась в мелких театрах, но вскоре была квалифицирована как «злостная клевета на советскую действительность».

Потом он быстро сочинил «Слово о первом депутате» (о Сталине — не о князе Игоре), но его гениальная повесть «Evgenia Ivanovna» (1938) была напечатана только через четверть века после создания:

Директор обещал прикрепить к приезжим наилучшего на всем Кавказе гида с французским языком и прокричал в телефон тревожно знакомую фамилию, утонувшую в фейерверке грузинских слов. Спустя короткое время, в течение которого Евгения Ивановна старалась не потерять сознание, в кабинет за ее спиной вошел живой Стратонов. Она узнала его в зеркале по знакомой рыжеватой, на резинке, вельветовой куртке и таким же поношенным штанам, заправленным в помрачительно начищенные, тоже константинопольской поры краги. Загадочные ремешки и кольца на поясе гида отвлекали внимание в сторону, полевая сумка свисала через плечо; эту придуманную маску бывалого альпиниста завершали горные башмаки на двойной стоптанной подошве. Чтобы не утомлять пустяками, директор не счел нужным представить гида именитым туристам; да тот и сам почти не взглянул на них... Но вот при обсуждении маршрута Евгения Ивановна помогла мужу перевести не дававшийся ему русский оборот. При звуке ее голоса Стратонов вскинул глаза ей в затылок, и на мгновение у него стало такое лицо, словно наискось полоснули хлыстом. Можно было думать, что, захлебнувшись чем-то, он умрет сейчас.

Евгения Ивановна искоса видела в зеркале, как, чуть оправившись от замешательства, он потерянно искал себе место сесть, чтобы не стоять одному из всех, но свободное кресло было занято плащами гостей. Он тогда с независимым видом прислонился к притолоке двери.

— Не горюпись помирать, кавалер, живи веселей... — по-хозяйски и вполне дружественно окликнул его директор. — Ай-ай, закаленный такой вояка, а выглядывает, как балной бабушка. Прошу дорогих гостей смотреть товар лицом!

Не было ничего обидного в этом тоне шуток и снисхождения к поскользнувшемуся человеку, да и Стратонов всем видом своим выражал готовность оправдать доверие.

Требовалось согласие Евгении Ивановны, она утвердительно кивнула головой.

Достоверные для каждого эпизода, полновесные по русскому языку, не заменимые никакими другими слова для каждого предложения — что еще нужно хорошей прозе?

За свою жизнь Леонид Леонов получил Сталинскую и Ленинскую премии и шесть (!) орденов Ленина, но за последний, по сути, незаконченный роман — «Пирамида» (1940—1994) его можно было бы наградить разве что Изумрудной скрижалю Гермеса. Да где же ее взять!

Так что в жизни переделок хватало. Посмотришь с одной стороны — «в доску наш». С другой зайдешь — задумаешься...

Терпеть не мог, когда путали его отчество: хотел быть только «Максимовичем», как Горький, которого боготворил. (Брежнев ведь тоже, в анекдотах, просил, чтобы его звали «просто Ильичом».) Но при этом прятался временами в своих переделкинских джунглях. И странным, с точки зрения московских современников, занятиям там предавался. Упоминавшейся уже Наталье Сац один приятель по секрету рассказал: «Дверца приотворена, вхожу. Леонов сидит на чурбане ко мне спиной, перед ним что-то вроде террариума с водяными травами, водяными жителями. Он слова какие-то непонятные говорит, вызывает на кормление питомцев своих по очереди. Пробормотал что-то — и к нему жабы подскочили, уродливые рты свои раскрыли, приняли пищу из рук его, квакнули, ускакали, другое что-то он забормотал — неведомые мне существа к нему подплыли... Несколько минут сказку я эту, затаив дыхание, смотрел, а потом как закричу от радости: „Леонид Максимович! Это же чудесно. Я завтра в ваш „болотный театр“ всех переделкинских ребят приведу“. А он от неожиданности с чурбана, на котором сидел, привскочил, глазами сверкнул и нет чтобы поздороваться, а гнев свой заглатывая, в ответ: „Как вы меня нашли? Кто впустил?“».

Но конечно, писателю приходилось как апологету социалистического реализма и видному общественному деятелю часто выбираться из своих рукотворных куш в различные организации и на всевозможные заседания — от Верховного Совета и правления Союза писателей до (с большим удовольствием) правлений всяческих комитетов по озеленению и в редакцию журнала «Наука и жизнь». Там, кстати, были напечатаны (1999 и 2003 гг.) интересные и очень живые воспоминания дочери Наталии Леонидовны о переделкинском саде и ботанических изысканиях отца: «Он любил повторять фразу Блаженного Августина — чудо не противоречит природе; чудо противоречит тому, что мы о ней знаем».

Когда мы обсуждали издательский договор, Леонов поинтересовался, пробовал ли я писать. Я сказал, что ботаника меня больше привлекает, но, мол, как-то выйдя в сад, я услышал как бы начальную фразу рассказа: «Для садовника каждое утро — новость». И добавил: «Десять лет уже вторую фразу сочинить не могу». — «Значит, это и есть весь рассказ, неплохой», — сказал он.

Лев Толстой благословил Горького, Горький благословил Леонова, а теперь что же получается? Леонов меня благословил на прозу. Я обалдел: если Леонова и Горького вычернуть, то что же — меня Лев Толстой на эту дорожку опосредованно подталкивает? В голове это все быстро и как-то бредово пронеслось, но я сказал:

— Все же мне ботаника интереснее.

Он улыбнулся и сказал:

— Ну и напишите «Русский лес».

РЕЦЕНЗИИ

ПЕРЕСТУПИВ ЧЕРТУ ДОБРА И ЗЛА, ВОЙНЫ И МИРА...**Александр Можаяев. За чертой. М.: Вече, 2023. — («Проза нового века»).**

Уже несколько десятилетий каждый мало-мальски начитанный человек, произнося название реки «Дон», подразумевает дальнейшее определение «Тихий». Таково влияние искусства, в данном случае великой книги «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Не хочу утверждать, что в недалеком будущем читатель, произнося название несущей свои воды к Дону реки Деркул, будет сразу представлять, что она — черта и в какой-то мере граница между донскими и луганскими казачьими берегами. Но это вполне возможно, потому что, прочитав книгу Александра Можаяева «За чертой», трудно забыть и эту реку, и ее берега. И жизнь, которая, невзирая ни на что, продолжала традиции казаков Тихого Дона в станицах, хуторах и поселках, пусть и разделенных долгое время границами, но единых в своем понимании добра и зла, войны и мира, смысла бытия во всех своих проявлениях. Трудно забыть и героев романа, которые оказались героями и в жизни, смелыми и работающими, сильными и надежными, верными в дружбе и любви, а также в своей извечной тяге к справедливости и свободе. Пусть иногда грубоватые, насмешливо-ироничные, озорные, не избегающие застольных излишеств, они в трудный час не предали память отцов и дедов, проявили лучшие человеческие качества и даже за чертой жизни остались в памяти героями.

А по другую сторону черты, разделившей время «на до и после», — тоже люди. С иным мировоззрением, в котором понятия о добре и зле воспитаны на иных принципах, признающих лишь собственную правоту и не терпящих инакомыслия. Впрочем, так было всегда, с древних веков. И автор об этом пишет, постепенно разворачивая картину жизни и смерти на фоне извечной красоты степного края, где выживать во все времена было непросто, и потому всегда в цене были важные и понятные человеческие качества. Простые, но от того не менее великие. Я не берусь сравнивать «Тихий Дон» и «За чертой». Это разные книги, хоть и в чем-то похожие. Но то, что Александр Можаяев своим романом продолжает традиции великого предшественника, это точно. Жизнь и нравы современных казаков оказываются чрезвычайно схожими с теми, о которых писал Шолохов. Это вселяет надежду на то, что даже за последней точкой начинается новая страница. А какой она будет — кто ведает. В правдивости картин и описаний событий сомневаться не приходится. Ведь автор романа не только профессиональный писатель, он — казачий атаман, а это говорит само за себя. Особой доверительности добавляет и то, что практически все персонажи книги (не только герои) — это реальные личности (пусть не все исторические), и все они действуют под своими настоящими именами и фамилиями.

И жизнь, и повествование о ней, даже то, что завершается настоящей трагедией (а война иной не бывает), начинаются с детства. Вот и книга берет начало с описаний мирных дней на хуторе близ станицы Митякинской, а также в недалеком Луганске, с воспоминаний детства, небогатого, как у всех в то время, но наполненного своими незабываемыми радостями (и горестями тоже). И наверняка эти картины тронут душу каждого читателя.

...А конфеты дядьки Сашки-Героя, пеночки и пригарки варенья тетки Полины — самое сладкое, что было в моем детстве.

Детство пахнет цветами — майорами, что росли на соседнем дворе. И вишневым вареньем, которое розовело в саду на костре. Детство пахнет листвою осеннею, что под ветром взлетает, шурша... Что ж так больно глазам? На мгновение запах детства узнала душа.

Рассказы о мирной жизни, наполненной трудом и семейными заботами, воспоминания о друзьях-земляках, их историях любви и борьбы за счастье, порой веселые, порой грустные, сменяют в книге друг друга, как части киноэпопеи (так жизнь и похожа на кино, в котором все перемешано — и смех, и слезы, и любовь). Запоминаются воистину героические (хотя, в чем-то безрассудные) эпизоды форсирования вплавь зимнего Деркула. Даже читать об этом страшновато. Для неподготовленного человека — это почти смертельное испытание. Но казаки — люди с могучими организмами. И от природы, и по воспитанию. И потому все завершилось благополучно. У некоторых даже без простуд.

Интересны рассуждения о проблеме жизненного выбора, который проявляется во всем — в языке, на котором говоришь с детства, в поиске второй половины, в понятиях чести и совести, представлениях о порядочности и достоинстве. «Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя» — классиком сказано точно и безошибочно.

Мирное время тем и отличается, что до поры до времени сглаживает противоречия. Оно направляет усилия на реализацию возможностей и способностей, развитие и поддержание семейных отношений (внесемейных, бывает, тоже), на повседневные заботы и хлопоты, в которых всегда есть своя прелесть. Правда, и в это время заметны различия выбора, отклонения и даже противоположности... Но они не смертельны и, кажется, не влияют кардинальным образом на быт и бытие. Потом оказывается, что влияют. И бывшие соседи в критических моментах иногда оказываются, мягко говоря, не друзьями. Но для проявления всех этих качеств необходимы условия «на грани жизни и смерти», когда все, что было до той поры, оказывается за некой чертой. Время граничной черты наступило в начале недоброй памяти года, когда одна часть народа (небольшая) митинговала и буянила на столичных площадях, а другая, казалось, неизмеримо большая, продолжала работать, с изумлением наблюдая за происходящим. А потом, после кровавого итога, который называли (и называют) по-разному, протестная волна докатилась и до восточных границ.

Митинги в Луганске шли с января четырнадцатого года. У памятника Шевченко собирались сторонники киевского майдана, а напротив, через дорогу проходили выступления тех, кто ратовал за русский язык и союз с Россией. Страсти стали накаляться лишь в феврале... Вот вижу, как в направлении «майданного» митинга, разгребая руками толпу, идет атаман Ерохин; белая его папаха плавно плывет в заданном направлении.

— От казаков Станично-Луганского юрта хочу сказать слово! — кричит он.

— Геть, кремлевский агент!.. — верещит в толпе какая-то баба.

Два крепких парня в вышиванках с двух сторон вцепились в гимнастерку Ерохина, и, разодрав ее надвое, сумели столкнуть атамана вниз. Кто-то ловко зафутболил упавшую под ноги папаху.

— Казаки-и!.. — падая, успел прокричать Ерохин.

Этого было достаточно. В один миг толпы народа, словно ожидавшие этот призыв, смели милицейские оцепления, погнались украинских «луганчан» через сквер,

развезали по дворам... На невероятно низкой высоте, едва не цепляясь за крыши домов, включив форсаж, над площадью с диким ревом проходят два истребителя. Всех обдаёт горячим ветром, исходящим от реактивных моторов. От запредельного гула едва не вылетают ушные перепонки.

— Что, испугались?! — разглаживая усы, смеется бравый десантник. — Там такие ж ребята, как мы — в народ стрелять не будут!

Опомнившись, люди приветственно скидывают руки заходящим на новый круг истребителям, и никто еще не знает, что спустя всего пару месяцев эти же «сушки» будут пускать в людскую толпу ракеты, и ступени администрации, на которых они машут сейчас флагами, будут залиты кровью...

«Миру — мир» заменили на «Смерть врагам», и врагов стало пруд пруди... Говорят — поклонялись не тем богам, потому и кипит в груди ярость, будто из моря вражды волна, человеческий смывая лик. Несвященная губит страну война, все слова заменив на крик.

События тогда развивались стремительно и непредсказуемо (хотя для кого-то их исход, вероятно, не был тайной). Но многим еще казалось, что надвигающиеся зловещие черные тучи необязательно предвещают губительную, смертельную грозу. В книге это ощущается просто физически. Причем с каждой страницей неизбежность трагедии все более зрима. А ведь речь шла не о развале страны, не об отделении, не о предательстве. Просили лишь узаконить родной для большинства населения края русский язык и озаботиться либо автономным статусом двух областей, либо федеративным устройством государства. Известно, что федераций в мире очень много, и все они весьма развиты и экономически, и политически. Да, и с двумя (и более) государственными языками стран немало. И это совсем не мешает их процветанию. Неужели эти сугубо организационно-политические проблемы дороже жизни множества людей? Вопросы, казалось бы, из разряда детских. Но ответов на них нет по сей день. И задавать их зачастую небезопасно.

...Тридцатого марта референдум все-таки состоялся. Свыше девяноста шести процентов опрошенных высказались за федеративное устройство. Признай это в Киеве — не было бы никакой войны, и Донбасс остался бы в составе Украины. Но вместо этого на Луганщину двинулись эшелоны с войсками... В возможность войны тогда не верил никто. Солдаты ВСУ были растеряны, деморализованы. В Марковке ребята из дружины самообороны без особых трудов отняли у прикомандированного полка две установки Град и беспрепятственно перегнали их через всю область в Луганск. Шедшие на умирение мятежного Донбасса танковые колонны останавливали и разворачивали вспять вышедшие на дорогу селяне. Подняв над собой иконы, люди не сходили с места... Первое время это имело воздействие, — колонны прекращали движение. Потом колонны стали объезжать скопление машин и людей. Ожесточение нарастало с каждым днем. Скоро колонны стали ехать через оставленные на дороге машины, и наконец, не притормаживая, уже топтали и людей, и иконы. Все вдруг поняли — это война.

Вновь бесноватость назначает встречу. И ненависть, оскалив черный рот, взрывает, убивает и калечит. И кажется, назад, а не вперед стремится время, как палач за плахой, как мракобес, лелеющий войну. И прошлой смерти воскрешая страхи, жизнь, как собака, воем на луну.

Война быстро разделила страну на друзей и врагов, своих и чужих. Разница во взглядах проникала даже в семьи, делая близких родственников непримиримыми противниками. Нетерпимость, злорадство, ненависть — эти чувства определяли градус вза-

имоотношений в обществе. Казаки сделали свой выбор, естественно, у каждого он был свой. В большинстве своем они встали в ряды ополченцев. Кто-то уехал, кто-то, одобряя и принимая события, не просто остался, но и, как говорится, «исключительно из человеколюбия» указывал властям на соседей и знакомых как на «сепаратов». Понять и оправдать это непросто. Но таковы реалии военного времени.

...Клубы черного дыма нависли над Макаровым и Станицей. Сквозь расплзающуюся серую мглу на нас равнодушно смотрело кровавое солнце.

— Как быстро все поменялось, — с горечью говорю я. — Давно ли в одном строю ходили? И народ на всех был один, и армия одна...

— Эх, армия... Сейчас не армия все решает... Зайдет к командиру полка какая-то сопля зеленая, которая и срочную не служила и кажет: «Будешь робыты, як я сказав». И полковник тянется перед ним, потому что сопля эта из «Правого сектора», и как она скажет, так и будет. А если не будет, то и полковника этого завтра не будет здесь...

Вот замысел, неведомый уму, — врагами назначать в своем доме друзей, соседей, отправляя всех прямой наводкой, позабыв про грех, прямой наводкой в злые небеса, сквозь детские, бездонные глаза, не ведая, что другом бывший враг уже готовит твой небесный шаг. И вновь который век кровит венец. И стынет кровь под взрывами сердец.

Атаман (он же автор) тоже не остался в стороне от событий. Хотя и по возрасту, и по старым тяжелым травмам мог наблюдать за всем сидя дома. Но он, знающий с детства все тропки-дорожки родимого края, стал проводником, помогавшим добровольцам и группам ополченцев проходить через границу, благополучно минуя блокпосты и кордоны. А перед этим на его глазах происходило то, что и называется войной. Разрушались дома и улицы городов и поселков, рушились судьбы, погибали друзья, рвалась в прошлом, уходила в небытие мирная жизнь. И звенели в ушах набатом вечные вопросы: «За что? Почему? Ради чего?»

...Кольцо сжимается все сильнее и сильнее, — все теснее становится на родной сызмальства знакомой земле... Я знаю, охота на меня открыта давно. За меня и за парней, идущих за мной, украинский олигарх обещает большие деньги. Охотников подзаработать по легкому много. Иной раз они идут за мной по пятам; по-звериному я слышу за много верст их спешащие шаги, слышу их тяжелое прерывистое дыхание. По наитию знаю, где расставлены капканы, и в этом мое везение... Всегда, когда мы выходим, кто-то чужой, затаившийся на нашей, российской стороне, сигналил моим врагам.

Они всегда знают, что мы идем. Единственное, чего им не дано знать, какой из сотен, едва различимых звериных троп, я сегодня буду вести людей... Наверное, когда-то я ошибусь, но пока кто-то неизменно спасает меня, — птица ли, зверь или молитвы моей Виктории, которая каждый раз крестит меня в дорогу. ...Господь для чего-то все еще сохраняет меня. Может лишь для этих вот строк...

Судьба подарила Александру Можаяву возможность, побывав за чертой добра и зла, рассказать об увиденном и пережитом честно и правдиво, талантливо и мужественно. Чтение его романа — не легкое, развлекательное занятие, это труд сопереживания совместного с автором поиска истины, смысла, ответов на вопрос о том, почему в который раз страницы жизненной книги напиваются кровью, а на земле появляются все новые и новые надгробия. И лежат под ними те, кто мог бы еще жить и жить. Что сделало их врагами? Или кто? Их, имеющих общие корни и даже внешне похожих...

Сквозь время пограничной полосы, сквозь жизнь и смерть — судьбы тугая нить. И кажется, любовь, а не часы отсчитывает: быть или не быть... Любовь, конечно, великая, всепобеждающая сила. Но и она жаждет справедливости, мира и правды. Обо всем этом и говорит в своей книге Александр Можаяев.

...Куда ни глянь, — лежат под крестами одни те же фамилии, что на моем, что на этом берегу. Лобовы, Черенковы, Токмачовы, Власовы... Здесь можно отыскать и мою фамилию... Все казаки одного и того же 10 полка. Что же должно было случиться, чтобы на одной единой земле Войска Донского, среди родных могил, я стал здесь чужим, в страхе озираюсь по сторонам и боюсь пришлого наброда, который объявил эту землю своей?.. «Дюти-фри, дюти-фри...» — в мрачнейшей роще прокричал дрозд. «Чай-пить, чай-пить...» — отозвался ему другой. На далеких озерах жалобно, словно прощаясь, прокричал в вечеряющем небе чибис. Все как всегда, как в обыденной жизни, и только вдали, где-то под Станицей Луганской, как торжество человеческой немощи, не устывая, били и били орудия.

Нет ни зависти, ни злости, ни злорадства, ни вражды...

Владимир СПЕКТОР

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Михаил Кураев. Кому не нужна наша история? Исторические новеллы.

СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2023. — 248 с.

Восстанавливая «забытые» и вычеркнутые из нашего гражданского календаря даты, Михаил Кураев опровергает расхожее мнение о том, что история ничему не учит. Погружаясь в историю во время работы над двадцатисерийным фильмом «Раскол», писатель полностью прочувствовал, как никоновская реформа середины XVII века откликнулись в начале XX века. «На немецкие деньги революцию не устроишь, а владея „контрольным пакетом“ и безупречным моральным статусом, с „антихристовой властью“, можно, наконец, и покончить». В канун революций старообрядцам и выходцам из старообрядческой среды принадлежало 60 % российского капитала. О том, какие всходы дало так и не искорененное официальной властью старообрядчество, М. Кураев пишет в очерке «От первого лица», посвященном борцу за отеческую веру и автору шедевра русской словесности протопопу Аввакуму. Но если советскому школьнику полагалось знать особо памятные костры, освещавшие европейское средневековье: сожжение Я. Гуса, Жанны д'Арк, Дж. Бруно (известны ли эти даты современным школьникам?), то в учебниках истории и литературы дата 14 апреля 1682 года отсутствовала. А это день, когда в Страстную пятницу в заполярном Пустозерске, в пятнадцати верстах от нынешнего Нарьян-Мара, был сожжен заживо великий русский писатель протопоп Аввакум с союзниками. Исчезла из нашего календаря дата, знаменующая великое событие, которое миллионы жителей России ждали столетиями, — 19 февраля 1861 года. Благодаря Манифесту Александра II почти тридцать миллионов (!) рабов в один день оказались на свободе, но вместо того, чтобы благодарить и кланяться, стали бунтовать. Этой реформой, проведенной под давлением рабовладельцев

и с максимальной для них выгодой, была заложена мина замедленного действия, которая рванула в 1905 году, а потом, на той же взрывчатке нерешенных проблем, и в 1917 году (очерк «Историческая дата»). Не должно выпадать из общественной памяти, по мысли автора, и 1 марта 1881 года, дата покушения на Александра II. На причины этого трагического события автор предложил посмотреть глазами его современников («Два взрыва с комментариями»). Нечто цельное в правлении «Романовых» прослеживается в очерке «Начало и конец династии. 410 лет со дня воцарения на русском престоле дома Романовых». А начинается исследование с оценки «незамеченных» и реальных заслуг Годунова, с боярских интриг шекспировского масштаба, с избрания на российский престол Михаила Романова. М. Кураев пишет о том, что помогало Романовым удерживаться на троне триста лет и почему, пышно отпраздновав в 1911–1913 годах трехсотлетие своего царствования, получив свидетельства всех своих верноподданных о любви и преданности, династия в три-четыре года сошла с исторического подиума. Но день 21 февраля — избрания именно в этот день в 1613 году первого царя новой династии — должен быть отмечен в календаре хотя бы потому, что избирала его «вся земля» — Земский собор с участием боярства, дворянства, духовенства, купечества, служилых, представителей земель и тягловых людей. История созыва этого собора, история Земских соборов вообще доказывает, что вряд ли нам надо учиться у кого-то демократии, если богатейший ее опыт есть в нашей истории. В очерке «1917 год. Февральская революция» М. Кураев предлагает взглянуть на историческое событие с точки зрения редактора сценарного отдела киностудии: кому мы обязаны сюжетом этой драмы? Кто постановщик? А предводители, первые лица Государственной думы — Родзянко, Гучков, Милюков, Керенский, Шульгин — знали, что впоследствии за экспромтом с вырванным у царя отречением? Могли предположить, что через год-полтора придется, спасая жизнь, бежать из безжалостно поднятой на дыбы России? Писатель вглядывается в прошлое, чтобы увидеть, как, махом разрушив прежнюю власть, и центральную, и на местах, в какое болото безвластия втянули Россию «вожди Февраля». Отдельный сюжет: почему из «Календаря коммуниста за 1930 год» убрали «День свержения самодержавия» — 12 марта (2–3) по старому стилю. Среди дат, которые следует включить в наш календарь, есть и 19 декабря. Именно в этот день в 1926 году вступила в строй Волховская ГЭС — первенец ленинского плана ГОЭЛРО, материальное свидетельство смысла социалистической революции. В очерке «...Их первая любовь» М. Кураев предлагает не развлекаться «угадайкой» — «был ли Ленин шпионом или нет», а обратиться к истории создания советской энергетики, задуманного еще в разрушенной, воюющей с Германией стране, и вспомнить пионеров электрификации — Графтио и Кржижановского. В гипотетическом разговоре с отцом («Отец в роли Жимерина») опровергаются многие измышления 1980–1990-х о советском прошлом, в том числе о том, что СССР и Сталин не готовились к войне и эвакуированные на восток заводы выгружали в «чистое поле». Отец писателя, инженер-строитель Н. Кураев, знал реалии прифронтового тыла, рассказывал, как в Ярославле, в Горьком, в Ленинграде превращенные в костер заводы, выполнявшие военные заказы, восставали из пепла в короткий срок. Особое место в книге Кураева, жителя блокадного Ленинграда, занимают свидетельства о жизни и повседневном подвиге ленинградцев в годы блокады. В очерке «Память о блокаде или блокада памяти» он опровергает «запретную правду» перестроечных времен — с помощью фактов, фотографий в газетах военных лет, собственного опыта и опыта близких. Покидая Ленинград днем через Ладогу, он точно знает, что никаких вмерзших в лед «шпал» из человеческих тел не было. Для него, ребенком вывезенного из блокадного города, кощунством звучит

«дорога смерти». Как противопоставление вымыслам о блокаде писатель приводит выдержки из дневника малообразованной молодой женщины двадцати семи лет, бойца батальона МПВО. Эти документальные свидетельства поражают трагизмом будней, духовной свободой и высокой нравственностью автора. С пера сходят фразы, заставляющие вспомнить перо Гоголя, Чехова, Зощенко, Платонова. Среди дат, отсутствующих в нашем обиходном календаре, и 31 марта 1814 года, день, когда русские войска под командованием генерала Н. Раевского торжественно вступили в Париж. На фоне забытья многих значимых дат эта громко прозвучала в наши дни. Очерк «Наши в Париже» дает понимание, где «зарыта собака», что периодически просыпается и бросается на Россию. И актуально звучит предостережение Менделеева о том, каким соблазном является наша земля для окружающих нас народов. Каждым своим очерком, включенным в эту книгу, М. Кураев подтверждает, что «исторический опыт поучителен, впрочем, только для тех, кто хочет учиться».

Теодор Гальперин. Тогда в Иерусалиме. (Б. М.) Издательские решения, 2022. — 228 с.

Теодор Гальперин, инженер-физик, специалист в области авиационной аппаратуры, работавший в одном из институтов ВПК, заслуженный изобретатель РСФСР, волею судеб — и таланта — в 47 лет ставший бардом-исполнителем, в своих рассказах прочерчивает траектории судеб людей знакомых, близких, а иногда и придуманных, но очень реалистично «вылепленных» героев. Прочерчивает и свою в автобиографическом повествовании, так и названном «Траектория судьбы». Он родился в 1937 году в Киеве. Ему было 3 года и 8 месяцев, когда началась война. Он помнит вой сирен, взрывы, дым. «Бабушка бежит по нашей улице, завернув меня в одеяло. Я выпростал голову из-под одеяла, вижу темное небо и на его фоне огромные, низколетающие черные птицы. Это были мессершмитты, первые самолеты, которые я увидел в своей жизни. Бабушка бежит в бомбоубежище. С моей ноги падает туфля. „Бабушка, туфля!“ — кричу. Бабушка возвращается, поднимает туфлю и бежит дальше». Дальше — бомбоубежище: «Женщины и дети. Простые, неокрашенные столы и скамейки. На столах — крынки с молоком и кружки». Казалось, траектория судьбы вела еврейскую семью по прямой — в Бабий Яр. Но мать, 24-летняя женщина, управделами авиационного завода вместе с заводом была эвакуирована в Новосибирск. Вместе с ней уехали маленький сын и ее мать. У Т. Гальперина отличная память, сохранившая яркие детали двухнедельной поездки в глубь страны: товарный вагон, нары, долгие остановки: приходилось пропускать идущие к фронту поезда. Он описывает жизнь семьи в эвакуации. И добавляет яркие, значимые детали, о которых узнал уже взрослым человеком. Так, в лютую зиму 1942 года к строящим взлетно-посадочную полосу для эвакуированного завода политзаключенным секретарь Новосибирского обкома привез ящик водки и обратился к ним со словами: «Дорогие товарищи! Мы делаем одно общее дело...» «Так никто их не называл, самое уважительное — по номеру на одежде... ВПП вступила в строй досрочно...» К 1943 году только истребителей-бомбардировщиков Як-9 выпускалось в день по 30 самолетов (это — авиаполк). В 1947 году семья Гальпериных обосновалась в Ленинграде, жили в 12-метровой комнате вчетвером, новорожденный брат спал в корыте, поставленном на табуретку. Приметы времени. Точно, красочно рисует автор послевоенный быт Ленинграда, жизнь в общежитиях, в коммунальных квартирах, отношения между людьми. Он повествует о личных драмах, о

порушенных войной семьях — отзвуки войны. Это и история дяди Гриши, обаятельного военного моряка-одессита, безногого инвалида-сапожника, уже седого в свои 30 лет. Мальчик, от лица которого идет повествование, подружившись с Гришей, узнает, что тот в августе 1941 года участвовал в трагическом переходе кораблей из Таллина в Ленинград, во время которого погиб отец рассказчика, и был свидетелем его гибели. Юная жена Гриши умерла в блокаду («Дядя Гриша»). От первого лица, что оправданно — в повествованиях много личного, ведется рассказ «Илья и Марк», героями которого являются дяди автора. По их рассказам, по отрывкам бесед он реконструирует их воинский путь. Совсем молодыми — 20 и 25 лет — уходили они на фронт. Храбро сражались, получили высокие награды, оба перенесли тяжелые ранения, выжили, но оба стали инвалидами. Илья прошел войну в морском десанте, участвовал в Керченско-Феодосийской операции и в Керченско-Эльтигенской. Марк воевал в танковых частях, горел в танке... Летом 1943 года в Курской битве был уже на усовершенствованном танке Т-34. Личные судьбы их сложились по-разному. Истории об искренней, вдохновенной и многолетней любви, о прекрасных женщинах, талантливых и нежных, способных одарить ключом от Счастья, собраны в разделе «О любви и нелюбви». И снова — траектории судеб прочерчиваются на хорошо прорисованном, богатом узнаваемыми деталями фоне — послевоенное время, 80-е, 90-е годы... Забытые Богом уголки России и стольные грады... Житейские перипетии и непредсказуемые душевные порывы... И как некий закономерный финал — добрая улыбка в рассказах, посвященных семье. Как в автобиографическом рассказе о единственном случае, когда его жена признала свою ошибку. Хороший совет: «Делайте втихаря свое дело, если уверены — оно ваше, добивайтесь результата, и тогда — жена непременно скажет вам, хоть один раз в жизни: Да, дорогой, я ошиблась». Среди житейски приземленных, реалистических историй резко выделяется рассказ «Тогда в Иерусалиме». И снова — все выглядит вполне реалистично. В 26 лет Т. Гальперин оказался на границе жизни: воспаление легких, инфекционно-аллергический миокардит, четыре месяца в больнице, пульс до ста пятидесяти, порой потеря сознания, падание в невесомость и полет по темному тоннелю, где в конце едва брезжит что-то похожее на начало рассвета. Из тоннеля он выходил-вылетал под воздействием исцеляющего взгляда матери, бесценно дежурящей у постели, ее теплых рук, сменяющих очередную рубашку, ее энергетики, от которой по телу разливалось спасительное тепло. И он начал поправляться. А потом были диссертация и погружение в область биофизики. И тихо вызревала догадка: «...может быть, сакральная, мистическая связь между матерью и ребенком образуется в утробе матери и с перерезанием пуповины не исчезает. И мать может воздействовать своим голографическим полем мозга на дитя и после рождения, возбуждая мозг и вызывая резонанс в голографическом поле ребенка». Не это ли лежало в основе его исцеления? И был интерес к картинам на религиозные темы, чтение книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса», поездка в Иерусалим. И там — невероятное видение, невероятная догадка! «И может быть, тогда в Иерусалиме... Мария прильнула к его изголовью. От великой материнской любви согрелась душа его...» Т. Гальперин выдвигает очень смелую и убедительную — физик! — догадку о том, как воскрес Спаситель и где живет Душа. А в заключение — снова на землю, о том, как он, поэт и бард, ученый-физик, и автор-исполнитель, художник и поэт Нина Тарасова в безденежные, безработные 90-е годы создали дуэт, успешно выступавший на самых разных концертных площадках, — «Двойной портрет: Нина и я в интерьере Санкт-Петербурга».

Екатерина Дмитриева. Второй том «Мертвых душ»: замыслы и домыслы.**М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 464 с.**

Екатерина Дмитриева — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, обращается к одной из самых интригующих и до сих пор не решенных загадок в гоголевском наследии — к загадке второго тома «Мертвых душ». А была ли вообще полностью завершенная рукопись второй части бессмертной поэмы Гоголя? О ее существовании есть только весьма косвенные данные: туманные высказывания самого Гоголя и исполненные надежды пророчества его современников. Что же именно тайком от всех сжег писатель в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года в доме графа А. Толстого на Никитском бульваре, куда вселился по приглашению владельца? И почему? И откуда взялись черновые главы второго тома «Мертвых душ», будоражащие умы исследователей до сих пор? Те, кто пришел в дом А. Толстого 21 февраля (день кончины Гоголя), никаких бумаг в его комнате не нашли. Их отсутствие было подтверждено документами Московской городской полиции об осмотре вещей Н. Гоголя. Кроме того, менее чем через два часа после смерти Гоголя врач А. Тарасенков констатирует, что шкафы уже осмотрели, но «не нашли не им писанных тетрадей, ни денег». Шесть месяцев спустя после вскрытия комнаты Гоголя по-прежнему в ней особо ценных бумаг не обнаружили. И только несколькими днями позднее случилось неожиданное: бумаги Гоголя были найдены, и среди них — «Объяснение на Литургию» и черновые главы второго тома «Мертвых душ». Кто конкретно обнаружил эти главы, у кого они хранились все шесть месяцев после кончины Гоголя, по сей день остается загадкой почти детективного свойства. Е. Дмитриева пишет не детектив, а серьезное исследование, во многом выросшее из ее работы над подготовкой второго тома «Мертвых душ» в составе нового академического собрания сочинений Гоголя. Она проливает свет на обстоятельства, которые сопровождали создание глав второго тома. Рассматривает все версии о сожжении рукописей и дальнейшем их счастливым обнаружении, которые выдвигали современники Гоголя и исследователи и писатели последующих поколений, отечественные и зарубежные. Рассказывает об истории и мотивах создания второй части «Мертвых душ», на основании просьб писателя к своим корреспондентам выявляет источники, с которыми работал Гоголь. А запрашивал он труды по статистике, этнографии, истории, сочинения религиозного и духовного характера. Просил рассказывать об анекдотических житейских ситуациях, о злоупотреблениях администрации, о духе современного общества, о характерных особенностях людей разных сословий, их странностях, необычных черточках. Немало страниц Е. Дмитриева посвящает вопросу о возможных прототипах персонажей, «живых лицах», послуживших Гоголю для «типических обобщений». Анализируя сохранившийся текст, эпизоды, в которых отразились события, реалии, острые вопросы гоголевской современности, она устанавливает время и место действия второго тома поэмы: после 1831 года, Поволжье, Сибирь. Выявляет связь между Чичиковым и старообрядцами-бегунами. Благодаря имеющимся в распоряжении исследователя документам и воспоминаниям современников реконструирует развитие сюжета на разных этапах творческой истории. Делает сравнительный анализ списков, воссоздает их печатную историю. Особенность обнаруженных рукописей заключалась в том, что они состояли словно из двух слоев. Возможно, потому, что на каком-то этапе Гоголь начинал переписывать набело текст, попутно подвергая его не слишком значительной правке. А затем уже по этому тексту вносил существенные исправления и дополнения

и на полях, и между строк. Каждый, кто заново пытался читать и расшифровывать гоголевские рукописи второго тома, предлагал свой вариант, не полностью совпадавший с предыдущим. Путаницу вносили и списки, находившиеся у частных лиц: еще до публикации более или менее выверенного списка уцелевших глав «Мертвых душ» их читали публично в узком кругу, переписывали, естественно, делали ошибки. Вдруг после смерти Гоголя выяснилось, что он уже устраивал чтение глав для своих друзей, но рукопись при этом тщательно прятал. «И остается тайное сомнение (в особенности, если учитывать дар гоголевской импровизации): не была ли то игра „с чистого листа“». В дополняющих друг друга воспоминаниях сохранились восхищенные отзывы, сценки, факты — где, когда, кому читал свое произведение (речь идет о девяти главах второй части поэмы) Гоголь. Е. Дмитриева поднимает широчайший круг вопросов. Устанавливает хронологию чтений Гоголем второго тома «Мертвых душ». Критикует широко бытующую и в наши дни красивую, но слабо подкрепленную концепцию о соотношенности трехчастного замысла поэмы «Мертвые души» с «Божественной комедией» Данте. Анализирует споры о возможности духовного преображения героев поэмы, ведущиеся с XIX века. Рассматривает «Мертвые души» как символический и эзотерический текст в контексте святоотеческой традиции и религиозно-философских исканий Гоголя, как вариант национальной утопии. Включает в книгу короткий обзор литературных мистификаций и стилизаций на тему «Мертвых душ» — от современников Гоголя до конца XX века. Начало подобного рода «дописываниям» было положено романом А. Ващенко-Захарченко «Мертвые души. Окончание поэмы Н. В. Гоголя. Похождения Чичикова» (1857). А едва ли не последним, очень ярким тому примером является роман В. Шарова «Возвращение в Египет. Роман в письмах» (2013), в основу которого лег замысел показать трагическую историю XX века как результат «недоговоренного, недосказанного откровения» гоголевской поэмы. А вместо заключения предлагает литературную биографию Павла Ивановича Чичикова и жизненный текст Николая Васильевича Гоголя, проявляя чичиковские черты в Гоголе и гоголевские в Чичикове. Это серьезное исследование совсем не напоминает сухую научную книгу. Благодаря щедрому включению в текст огромного количества цитат из произведений Гоголя, из его переписки с близким кругом, из переписки между собой близких, из многочисленных мемуаров друзей и просто знакомых в ней звучат живые голоса Гоголя и его современников. А. Смирнова-Россет, Н. Языков, С. и И. Аксаковы, В. Жуковский, А. Данилевский, П. Плетнев... Эти голоса дополняют высказывания отечественных и зарубежных критиков и исследователей.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит издательства
за предоставленные книги

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ХАРБИН — «РУССКИЙ КИТЕЖ»

Часть 12

ХАРБИНСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ

В 1917—1922 годах в Харбине нашли прибежище десятки тысяч эмигрантов из Советской России. Они селились, как правило, в Модягоу, — это один из районов Харбина, располагавшийся на юго-востоке от Нового Города. Здесь, в маленьких деревянных домиках с резными наличниками, жили люди с умеренным достатком. Именно на территории этого района находился Дом милосердия епископа (впоследствии архиепископа) Нестора (Анисимова) в его харбинский период служения (1921—1948).

Из автобиографии владыки Нестора: «По окончании Московского Всероссийского Собора возвращался на Камчатку, но пути сообщения туда были закрыты. Я остался во Владивостоке, откуда в 1921 году выехал в г. Харбин (бывшая полоса отчуждения КВЖД), где открыл Камчатское подворье с храмом в честь иконы Всех Скорбящих Радосте. Организовал приюты „Дом Милосердия и Трудолюбия“ для детей сирот русской и китайской национальности, для старцев и стариц — хроников, приют для юношей наркоманов, приют глухонемых, дом для душевнобольных, школы с прикладными искусствами, живопись-иконопись»¹.

Сначала владыкой Нестором был создан в наемном помещении дом для «тихо помешанных», который через несколько лет, когда по распоряжению городских властей умалишенные были отправлены в созданную тогда городскую психиатрическую лечебницу, был превращен в убежище для престарелых². Убогие старцы и юные сироты нашли здесь приют под покровом Царицы Небесной «Всех скорбящих Радости». В четырех домах находились помещения для призреваемых (в 1927 году 84 ребенка и 37 престарелых), типография, свечной завод, прачечная, пекарня, квартиры для владыки,

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Цит. по: Разжигаева (Омельчук) Н. П. Неугасимая свеча // Русская Атлантида. 2000. № 3. С. 5.

² Нафанаил (Львов), архиепископ. Очерки русской жизни в Маньчжурии // Русская Атлантида. 2004. № 11. С. 33.

причта и служащих. Сюда владыка Нестор не только перевел убежище для престарелых, но и открыл приют для девочек-сирот³.

При девичьем приюте была создана швейная мастерская. Там воспитанницы обучались ремеслу, которое могло прокормить их в последующей жизни. При подворье имелась иконописная мастерская, возглавлявшаяся бежавшей из Приморья игуменней Олимпиадой и ее помощницами, монахиней Стефанидой и монахиней Варварой. Под их руководством способные девочки из приюта обучались иконописному делу⁴. Одной из воспитанниц Дома милосердия была Якимова Наталия Сергеевна, здесь она освоила искусство иконописи⁵.

Впоследствии оказалось, что харбинский приют для мальчиков «Русский дом» не может вместить всех желающих, и владыка Нестор открыл в Доме милосердия приют для мальчиков. Мальчики обучались в столярной мастерской и помогали в типографии, в которой печатались богослужебные книги, духовные издания и ежемесячный журнал «Православный голос» (1934—1937)⁶.

Непосредственное духовное попечение о насельниках и детях приюта было возложено на наместника Дома милосердия архимандрита Филарета. Вспоминает бывший харбинец Н. Г. Шарохин: «Архимандрит Филарет, высокообразованный, он почему-то ушел от мира, посвятив себя служению Церкви. У него было благородное, одухотворенное лицо и изумительная манера благословения. Помню, однажды, чувствуя себя суетным, мирским и грешным, я подошел к нему под благословение. Я почувствовал возложенную на мою детскую голову руку и почтительно поцеловал ее. Рука показалась мне прохладной, а форма ее — удивительно благородной по своим очертаниям. Весь он был какой-то неземной, возвышенный, и в то же время служивший Богу и людям. Это был настоящий инок, аскет, человек огромного ума, обаяния и глубочайшей проницательности»⁷.

При Доме милосердия расцвела церковная жизнь. В 1929 году здесь был пострижен в монашество князь Василий Львов, принявший имя Нафанаила (впоследствии архиепископ)⁸. Через короткое время к нему присоединился Ю. Вознесенский, ставший иеромонахом Филаретом (впоследствии митрополит). На следующий год из Приморья от жестоких антирелигиозных гонений бежали священник о. Василий Быстров (впоследствии архимандрит Иннокентий, настоятель монастыря в Магопаке) и рясофорный послушник Андрей, ставший вскоре иеромонахом Климентом.

К этой иноческой дружине скоро присоединился блестящий, талантливый юноша Кирилл Иогель, ставший иеромонахом Мефодием. Он умер в юных годах, едва достигнув 30-летнего возраста, но его вдохновенные проповеди, печатавшиеся в журналах «Православная Русь» и «Православный путь», доставляли духовную радость православным читателям. Впоследствии к этим инокам присоединились иеромонах Иона, иеромонах Серафим, англичанин игумен Николай Гиббс (бывший воспитатель

³ Божией милостию архиерей Русской Церкви. Три жизни митрополита Нестора Камчатского / Авт.-сост. С. В. Фомин. М., 2002. С. 81.

⁴ Падерин Николай, священник. Церковная жизнь Харбина. Из кн.: Церковь твою утверди: Из воспоминаний о церковной жизни Харбина. Сан-Паулу, 1967. Цит. по: Русский Харбин. Изд. Московского ун-та, 1998. С. 30.

⁵ В 1955 году Якимова Наталия Сергеевна приехала в СССР; с 1957 года — иконописица при Покровской церкви Красноярска. Последние годы жила в Туле, где и скончалась в 2003 году.

⁶ Нафанаил (Львов), архиепископ. Указ. соч. С. 33.

⁷ Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 50.

⁸ Архиепископ Нафанаил (в миру Василий Владимирович Львов) (1906, Москва — 8 ноября 1986, Мюнхен) — архиепископ Венский и Австрийский (РПЦЗ).

наследника цесаревича), монах Гермоген, монах Фома Ли, китаец, заведовавший свечным заводом при Доме милосердия (1930—1940). Все эти монахи были воодушевлены любовью к Церкви⁹.

Вся благотворительная деятельность осуществлялась исключительно на пожертвования, собираемые среди православного населения Харбина. Средний русский житель Харбина обычно был зачислен в два-три прихода, внося в них довольно значительные по беженским масштабам взносы по два-три доллара в месяц. «Все эти благотворительные учреждения, — писал владыка Нестор, — встретили самую широкую помощь со стороны харбинцев. В цифрах она выразилась так: Кружок Милосердия за несколько первых месяцев своей работы до открытия Патроната собрал и израсходовал на различную помощь беднякам свыше 2000 иен. На Патронат израсходовано 66.000 иен. В Доме Милосердия за время с 1 февраля 1927 г. по 1 октября 1936 г. издержано на постройки 37.600 иен и на содержание 157.200 иен. Всего же на Патронат и Дом Милосердия собрано и израсходовано свыше 260.000 иен»¹⁰.

На полном иждивении Харбинского церковного управления находились следующие приюты:

1. Приют Дома милосердия при Митрополичьем подворье на 147 человек.
2. Приют-убежище для престарелых на 92 человека.
3. Серафимовский приют на 107 человек при Свято-Иверской церкви.
4. Ольгинский приют на 56 человек при женском монастыре.

Общая численность призываемых в приютах была около 400 человек. Всех нужно было обогреть, одеть, накормить, и церковь в Харбинской епархии успешно справлялась со всеми непростыми задачами благотворительности¹¹.

При Доме милосердия трудились миряне; сохранились сведения о некоторых из них. Так, Анна Тимофеевна Коростелева с 1922 года состояла в организованном владыкой Нестором сестричестве при Доме милосердия¹². Полина Георгиевна Державина была владелицей дровяного склада в Харбине. Она постоянно помогала дровами и деньгами Дому милосердия. (Скончалась от тифа в 1943 году.) Любовь Ивановна Бусыгина (в девичестве — Чулкова), дочь купца из Никольск-Уссурийска, прибыла в Харбин в начале 1920-х годов. Она занималась хозяйством в Доме милосердия. Ее муж, Бусыгин Владимир Васильевич, был бухгалтером и прихожанином церкви Дома милосердия и жил там же до 1944 года. (В 1952 году уехал с женой в США к сыну.) Клавдия Даниловна Владимирова родилась в 1906 году в г. Владимире-Волынском. Жила в Харбине с 1913 года. Окончила здесь гимназию. Принимала активное участие в работе Дамского комитета при Доме милосердия (1937—1944)¹³.

Церковь «Всех скорбящих радость»

Около 1925 года в Модягоу на довольно большом земельном участке был построен Скорбященский храм Камчатского подворья. Создателем храма был архиепископ

⁹ Нафанаил (Львов), архиепископ. Указ. соч. С. 33. См. также: Вараксина Л. А. Харбинский Дом Милосердия — приют для неприкаянных душ // Словесница искусств. Журнал Хабаровского краевого благотворительного общественного фонда культуры. 2000. № 6. С. 23.

¹⁰ Заря. Харбин. 30.10.1936. № 294. С. 5.

¹¹ Поздняев Дионисий, свящ. Церковная жизнь в Маньчжурии в начале XX века // Китайский благовестник. 1999. № 2. С. 83.

¹² Русская Атлантида. 2004. № 12. С. 37.

¹³ Клавдия Даниловна Владимирова в 1958 году уехала в Австралию, жила в Мельбурне, помогала многим выехать из Китая в Австралию. Член приходского совета Покровской церкви в Мельбурне. Скончалась в 1984 году.

Камчатский Нестор. Владыка Нестор писал: «Не блещет особой красотой снаружи, но прекрасна по своему внутреннему убранству наша церковь Дома милосердия, в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, художественно украшенная иконописью из собственной иконописной мастерской»¹⁴.

Вспоминает бывший харбинец Л. П. Маркизов: «„Смиранный Нестор, Божией милостью епископ Камчатский и Петропавловский“ — запомнилась эта подпись на Почетной грамоте, адресованной отцу Павлу Степановичу¹⁵ и дяде Флору Степановичу¹⁶ Маркизовым — подрядчикам, строившим церковь „Дома Милосердия“ на Батальонной улице в Харбине. Она запомнилась с тех далеких лет, может быть потому, что я впервые в жизни увидел такую Почетную грамоту. В каком году это было, я не могу с уверенностью сказать. Церковь в честь иконы Божией Матери „Всех Скорбящих Радость“ строилась в два приема, по мере сбора средств епископом Нестором»¹⁷.

Церковь была украшена настенными росписями на библейские и евангельские сюжеты. В храме как реликвия под красивым балдахином под стеклом хранился ковчег с частицей мощей святого Арсения Сербского. Вспоминает бывший харбинец В. И. Иванов: «Протоиакон Петр Задорожный¹⁸ в середине 1940-х годов служил в Скорбященском храме „Дома Милосердия“ владыки Нестора, а до того вместе со своими братьями расписывал этот храм. Особенно помнятся большие панно на евангельские сюжеты из жизни Христа на южной и северной стенах храма <...> Игуменья Олимпиада (Болотова) — известная харбинская иконописица, трудилась при Скорбященском храме владыки Нестора (Анисимова). Ее мастерская размещалась над притвором храма (позади хоров), одновременно мастерская служила матушке келлией. Кроме собственно иконописного послушания матушка Олимпиада обучала иконописи способных девочек из приюта „Дом Милосердия“»¹⁹.

Придел Скорбященского храма был посвящен святому великомученику и целителю Пантелеймону и святой великомученице Варваре. За ранней литургией в приделе обыкновенно пел хор призываемых детей. В день памяти святого великомученика Пантелеимона ежегодно совершались панихиды по всем умершим православным врачам и всем подвизавшимся на медицинском поприще²⁰ (см. приложение 9).

Церковный причт. Первым настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при Доме милосердия был иерей Иулиан Сумневич. (Скончался в 1928 году.). В 1930—1935 годах настоятелем церкви при Доме милосердия был протоиерей Иоанн Федорович Тростянский.

Протоиерей Иоанн родился в 1875 году. В конце Гражданской войны эмигрировал в Китай, будучи уже в сане священника. Служил на станциях Эхо и Бухэду КВЖД в 1923—

¹⁴ Русские в Китае. Шанхай, 2010. С. 35.

¹⁵ Маркизов Павел Степанович родился в Калужской губернии в 1888 году. В Маньчжурии с 1918 года. Принимал активное участие в строительстве церкви при Доме милосердия. В 1960 году уехал в Бельгию. Скончался в Брюсселе в 1975 году.

¹⁶ Маркизов Флор Степанович родился в 1893 году в Калужской губернии. С братом Павлом приехал в 1918 году в Харбин. Активный участник строительства церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при Доме милосердия. В 1955 году вернулся в СССР, жил в Ташкенте, где и скончался в 1974 году.

¹⁷ Маркизов Л. П. Владыка Нестор — друг и наставник нашей семьи // Русская Атлантида. 2000. № 3. С. 15.

¹⁸ Протоиакон Петр Степанович Задорожный служил в церкви Дома милосердия. Иконописец. Выехал в США. Скончался и похоронен в Сан-Франциско.

¹⁹ Иванов В. И. Отрывочные воспоминания 60-летней давности о харбинских русских православных священнослужителях и околоцерковных людях // Русская Атлантида. 2007. № 22. С. 28.

²⁰ Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 271.

1927 годах, в Свято-Николаевской церкви Старого Харбина в 1927—1930 годах. В 1935 году из Харбина был переведен в Корею в церковь поселка Новина, где служил в 1935—1955 годах. В этот период вел миссионерскую деятельность среди живущих вокруг корейцев. После 1945 года перешел в юрисдикцию Московской патриархии. В годы корейской войны 1950—1953 годов он не оставил свою паству, в основном корейцев, хотя мог уехать в Харбин или в Южную Корею. О. Иоанн отличался глубокой верой, простотой и добротой. Вернулся в СССР в 1955 году. Служил в г. Минусинске. Скончался здесь в 1969 году.

В 1930-х годах в церкви при Доме милосердия, исполняя обязанности ризничего, служил архимандрит Иона (в миру — Крылатов Василий Романович). После смерти жены, которая скончалась во время родов, принял монашеский постриг в Казанском мужском монастыре Харбина. Здесь он окормлял также воспитанников местного приюта. В середине 1940-х годов — благочинный Модягоуского округа Харбина.

В 1951 году о. Иона прибыл в Австралию. Служил в Успенском приходе г. Воллонгонг до 1953 года. По состоянию здоровья вышел за штат. В дальнейшем иногда служил на разных приходах, но от постоянного назначения отказывался. В 1956 году безуспешно пытался эмигрировать в США. После этого оставил пастырское служение. Некоторые бывшие прихожане видели его работающим на заводе в Порт-Кембел и просили вернуться на приход, но он говорил, что не достоин священнического служения. Скончался 21 января 1968 года, похоронен в Сиднее. Его отпевание было совершено по священническому чину.

В первой половине 1930-х годов в Доме милосердия подвизался священник Василий Васильевич Быстров, бежавший в 1930 году из Приморья в Маньчжурию. В Харбине он был пострижен архиепископом Нестором (Анисимовым) в монашество, с именем Иннокентий²¹.

В 1942—1943 годах в храме Дома милосердия служил иерей Иоанн Димитриевич Шачнев. Ранее, в 1938 году, он служил в сане диакона в Алексеевской церкви в Модягоу. Возведен в сан иерея в 1939 году; в 1943—1948 годах служил в церкви района Московских казарм; в 1948—1953 годах — в Свято-Николаевском соборе Харбина.

В 1953 году о. Иоанн уехал в Бразилию, где служил в Сан-Паулу. В 1957 году переехал в США, служил в Детройте, затем в Сан-Франциско. Секретарь епархиального совета Западно-Американской епархии. Ключарь Скорбященского собора в Сан-Франциско (1980—1993). В 1988 году возведен в сан протопресвитера. В 1993 году уволен за штат. Скончался в Сан-Франциско.

Во второй половине 1940-х годов в Скорбященском храме при Доме милосердия подвизался иерей Алексей Платонович Поляков. В 1923 году он жил на ст. Пограничная в Маньчжурии, работал машинистом поезда. На железной дороге повредил ногу. В 1926 году назначен псаломщиком Свято-Николаевского собора в Харбине сверх штата. С 1927 года рукоположен во диакона, служил безвозмездно. Рукоположен во священника после 1942 года. Сначала служил в Свято-Николаевской церкви в Затоне, затем в женском монастыре и, наконец, в храме при Доме милосердия. Скончался в Харбине в марте 1950 года.

В 1949—1950 годах в церкви Дома милосердия служил иерей Антоний Иоаннович Галушко.

Он родился в 1874 году в Черниговской губернии в казачьей семье. С 1903-го по 1913 год служил псаломщиком в церкви поселка Гродеково Владивостокской епархии. В 1913 году рукоположен в сан диакона к той же церкви. В 1923 году с семьей переехал в Китай.

²¹ С 1934 года о. Василий — настоятель Благовещенского храма в Маланге на о. Ява (Индонезия). Впоследствии эмигрировал в США. В сане архимандрита был настоятелем мужского монастыря в Магопаке (США).

Служил в г. Маньчжурии при святителе Ионе Ханькоуском и далее, после кончины владыки, до 1929 года. С 1929-го по 1941 год — диакон Благовещенской церкви Харбина. В 1941 году рукоположен во священника к церкви Мергенского переселенческого района (с. Вознесенка). С 1946 года настоятель церкви поселка Нанжин-Булак района Трехречья. В дальнейшем служил в г. Цицикаре (1948—1949) и в Харбине. В 1950—1956 годах — настоятель церкви на ст. Ашихэ. В 1951 году возведен в сан протоиерея. Затем вновь служба в Харбине, настоятельство в Покровской, Иверской и Преображенской церквях (1956—1958)²².

В 1930—1940 годах при церкви Дома милосердия служил монах Гермоген²³.

В 1939 году к братии Дома милосердия присоединился иеромонах Вениамин (в миру — Гаршин Виталий Петрович); в 1948 году — настоятель церкви Дома милосердия.

Он родился в 1911 году в г. Маньчжурии. Окончил богословские курсы в Харбине и Харбинский политехнический институт. Прислуживал в Иверской церкви Харбина с 1933 года. Пострижен в монашество в 1935 году, принят в число братии Казанского мужского монастыря в Харбине. В том же году рукоположен во иеродиакона, а в начале 1938 года — в сан иеромонаха. Служил в 1938 году в Иверской церкви Харбина. Преподавал в Харбинской духовной семинарии. С начала 1940-х годов до 1943 года служил в г. Дальнем. Вернулся в Харбин, в Дом милосердия, был возведен в сан архимандрита. После ареста владыки Нестора в 1948 году — настоятель церкви Дома милосердия. В 1956 году выехал в Австралию, где служил в Петропавловском соборе г. Стратфелда. Скончался в Сиднее в 1995 году.

В том же 1948 году управляющим Домом милосердия стал Кирилл Александрович Караулов, помощник и секретарь митрополита Нестора (Анисимова). В середине 1950-х годов вернулся в СССР. Он и его семья сохранили для потомков многие архивные документы и материалы митрополита Нестора и Харбинской епархии.

В 1948 году при Доме милосердия служил иеродиакон Христофор (в миру — Пронин Иван Григорьевич, насельник Харбинского мужского монастыря с 1938 года).

В начале 1940-х годов в церкви Дома милосердия служил в сане диакона Петр Алексеевич Опик. В 1946 году, уже в сане протоиерея, он был назначен благочинным Модагоуского благочиннического округа Харбина. В 1955 году возвратился в СССР и был направлен в Омскую епархию. Одно время служил в Челябинской епархии, затем был переведен в Екатеринбургскую епархию. Скончался в конце 1970-х годов.

В начале 1950-х годов в церкви при Доме милосердия служил диакон Михаил Федорович Пивцайкин, по национальности мордвин. В 1955 году при возвращении из Харбина в СССР «неожиданно исчез с поезда» на станции Ишим. (По всей вероятности, был арестован.)

В 1955—1956 годах в церкви Дома милосердия служил протодиакон Глеб Иоаннович Гуляев.

Он родился в 1919 году в Перми. Через два года семья переехала к отцу, который ранее, будучи полковым священником Белой армии, эвакуировался в Китай и служил в Харбине. Глеб окончил здесь богословский факультет Института Святого Владимира. В 1944 году был рукоположен в сан диакона, служил в Ильинской церкви (1944—1945), в Богородице-Владимирском женском монастыре (1945—1946), в Чинхэ (1946—1949), в Благовещенской церкви (1949—1951) Харбина. В 1951—1953 годах служил в церкви на ст. Шитоухэцзы. Далее вновь служил в Харбине в Покровской церкви (1954—

²² В 1958 году о. Антоний прибыл в Австралию и был принят в клир Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ. С 1959 года жил с парализованной матушкой в церковном доме для престарелых в Кентлине, продолжая совершать требы. По болезни в 1961 году переведен в больничный дом для престарелых в Кабраматта. Скончался 9 июля 1962 года.

²³ Какие-либо сведения о его биографии не найдены.

1955), в Свято-Николаевском соборе (1956—1957). В 1957 году уехал в Австралию, был принят в клир Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ и приписан к Покровскому храму в Кабраматта (Сидней). В 1965 году переехал в США, где служил в Казанской церкви в Сан-Франциско. Скончался 2 декабря 1997 года.

Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» славилась своим хором. В конце 1930-х — начале 1940-х годов регентом церковного хора Дома милосердия был сын священника Виталий Иулианович Сумневич. (Скончался в Харбине 14 января 1944 года.)

Тяжелые испытания выпали на долю Степана Васильевича Мельникова. Родом из Центральной России, он получил хорошее музыкальное образование. Во время Гражданской войны — офицер Белой армии, участник Сибирского Ледового похода. В результате отморожения у него была ампутирована часть пальцев на ногах. Регент хора Благовещенской, Софийской и церкви Дома милосердия. Вернулся в СССР в 1954 году, служил в Уфе регентом хора Свято-Сергиевского собора. Скончался в Уфе.

С 1944-го по 1953 год регентом хора при церкви Дома милосердия был Константин Осипович Павлючик. Он родился в 1922 году в Харбине, с десятилетнего возраста пел в церковном хоре. Окончил коммерческий факультет Северо-Маньчжурского университета (1942) и позднее — Высшую музыкальную школу²⁴.

Митрополит Нестор — выдающийся знаток православной литургики — с особым трепетом относился к совершению богослужения. Так, например, только в Скорбященском храме Дома милосердия ежегодно совершалась древнейшая Божественная литургия св. апостола Иакова, брата Господня, по чину Иерусалимской церкви. Сохранилось немало воспоминаний харбинцев об исключительной красоте и благолепии священнослужений, совершавшихся владыкой Нестором. Назначение Экзархом вызвало у него прилив духовных сил и молитвенного усердия. Не покидая «намоленного места» в Скорбященском храме Дома милосердия, не забывая возглавлять регулярные богослужения в Свято-Николаевском соборе, он только за два с небольшим месяца лета 1946 года совершил богослужения в девяти других храмах Харбина в дни их престольных праздников²⁵.

Вспоминает бывший харбинец Л. П. Маркизов: «Очень торжественно совершались богослужения. В дни Великого поста литургию или всенощную совершали в темных облачениях, владыка и священнослужители были медлительны. Во время же Пасхальной заутрени облачения были светлыми, расшитыми красивыми узорами, и владыка ходил по храму очень быстро, образно говоря почти „бегал“, создавая радостное праздничное настроение. Вспоминается до сих пор чтение Евангелия на пасхальной литургии, после заутрени. Евангелие от Матфея, например, (гл. 28, стихи 19—20): „Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я со всеми вами во все дни до окончания века. Аминь“.

Это Евангелие в „Доме милосердия“ читали на 12 языках, по числу апостолов. Владыка Нестор читал по-корякски, игумен Нафанаил (в миру князь Львов) по-французски и по-английски. Другие священнослужители читали на немецком, японском, китайском и, конечно, на церковнославянском и русском и на других языках. Было очень торже-

²⁴ В 1954 году К. О. Павлючик переехал в Россию. Первое время работал на музыкальном поприще в Кемерове и пел в местном церковном хоре. В 1956 году поступил в Новосибирскую консерваторию и приглашен владыкой Нестором стать регентом Вознесенского собора в Новосибирске. Под давлением властей был вынужден оставить консерваторию, выбрав путь служения Церкви, которое продолжалось 30 лет. Создал замечательный профессиональный хор в Вознесенском соборе. Прихожане с любовью называли его «Наш соловей». В 1986 году начал терять зрение и вышел на пенсию. Скончался 18 сентября 1992 года в Новосибирске.

²⁵ «Хлеб Небесный». Харбин. 1946. № 9—10. С. 42.

ственно и поднимало религиозное настроение молящихся. В богослужении участвовали настоятель храма о. Иоанн Тростянский, протодиакон о. Федот Задорожный. Служил архиепископу Нестору в те годы обычно архимандрит Филарет (Вознесенский) — инженер, окончивший ХПИ. Он был сыном епископа Дмитрия (в миру митрофорного протоиерея о. Николая Вознесенского). Позднее архимандрит Филарет возглавил Зарубежную Русскую Православную церковь в сане митрополита.

В „Доме милосердия“ в конце 1930-х годов принял сан священника журналист В. А. Герасимов, став о. Василием и затем секретарем владыки Нестора. В „Доме милосердия“ обычно пел прекрасный хор, в котором участвовали известные в Харбине певцы и артисты, но их фамилии не запомнились»²⁶.

Митрополит Филарет (Вознесенский), тогда архимандрит, был заместителем владыки Нестора по Дому милосердия, он пользовался репутацией строгого аскета; его келия помещалась в первом этаже архиерейского дома. Раннюю воскресную (или праздничную) литургию о. Филарет обычно служил в северном небольшом приделе во имя св. великомученика и целителя Пантелеимона. Дикция о. Филарета была не очень ясной, но службы всегда были стройными и многолюдными²⁷.

Вспоминает бывшая харбинка Н. Н. Лалетина (Николаева): «Жаркий день Св. Троицы, а в храме Всех Скорбящих Радости прохлада и воздух, напоенный ароматом трав, которыми застланы полы, и веточки березы украшают внутренность храма. Мы стоим с мамой слева, у стены, на которой Христос коленопреклоненный молится о Чаше, я разглядываю икону и нахожу сходство о. Филарета с Христом, почему-то они похожи, такие же лики сурово-страдальческие. До сих пор, а прошло немало лет, этот образ перед глазами преследует меня, и я долго ищу по церквам и не могу найти того ракурса, что был на той иконе в Доме милосердия. И все же она нашлась в одном из церковных подворий в Москве и попала в мой дом»²⁸.

Из РПЦЗ в РПЦ. Еще раз слово бывшему харбинцу Л. П. Маркизову: «В 1945 году при деятельном посредничестве архиепископа Нестора Харбинская и Маньчжурская епархии Православной Церкви перешли в ведение Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Этому предшествовали распространившиеся в Харбине разговоры о том, что японские власти Маньчжоу-го имеют намерение внести в православные храмы атрибуты своей богини Солнца Аматерасу, „родоначальницы японской императорской династии“. Правящий митрополит Харбинский и Маньчжурский Мелетий и все архиереи епархии были категорически против этого, так как Аматерасу по православным канонам была языческой богиней. Через Генеральное консульство СССР в Харбине (посредником был архиепископ Нестор) состоялась переписка с Московской патриархией, и Харбинская епархия в конце 1945 года перешла в юрисдикцию Патриарха Алексия I. Об этом было торжественно оглашено во всех православных храмах.

Еще раньше, точную дату не помню, но это было до начала военных действий 9 августа 1945 года, во время всенощной впервые стали поминать Патриарха Алексия, а не архиереев Зарубежного Синода. Во время этой всенощной в „Доме милосердия“ архиепископ Нестор сказал, что теперь мы не люди без рода и племени, а нас принял в лоно Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. „У нас есть и Родина, и наша Православная Церковь во главе с Патриархом“»²⁹.

²⁶ Маркизов Л. П. Владыка Нестор — друг и наставник нашей семьи // Русская Атлантида. 2000. № 3. С. 16.

²⁷ Иванов В. И. Отрывочные воспоминания 60-летней давности о харбинских русских православных священнослужителях и околоцерковных людях // Русская Атлантида. 2007. № 22. С. 24.

²⁸ Лалетина (Николаева) Н. Н. Сестры Чулковы // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 6.

²⁹ Маркизов Л. П. Указ. соч. С. 17.

24 октября 1945 года в Харбин прибыли преосвященный епископ Ростовский и Таганрогский Елевферий и священник московской Воскресенской церкви о. Григорий Разумовский. Гостей приветствовали местные харбинские архипастыри — архиепископ Димитрий и епископ Ювеналий с духовенством, а на следующий день — архиепископ Нестор. Кроме приходских церквей, гости посетили и ознакомились с жизнью мужского и женского монастырей, Дома милосердия и другими благотворительными заведениями³⁰.

А в следующем, 1946 году в Скорбященском храме был устроен второй придел, чему предшествовало следующее событие. В Харбине, в районе Славянского городка, существовала школьная церковь при училище Русского дома, освященная во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 1946 году это закрытое учебное заведение было реорганизовано в Лицей Святого благоверного князя Александра Невского и перешло в духовное ведомство. Настоятель Иоанно-Богословской церкви состоял директором лицея и духовным руководителем учащихся. При закрытии лицея престол и церковный иконостас были перенесены в Дом милосердия, где был сооружен второй придел Скорбященского храма в честь святого апостола Иоанна Богослова³¹.

...Владыка Нестор прожил в Харбине около 30 лет. Здесь он создал Дом милосердия, здесь расцвел его талант церковного писателя, здесь он воссоединился с Московской патриархией, приняв титул Экзарха Восточной Азии. Покинул Харбин он только в 1948 году, будучи арестован и выслан в Россию, где по обвинению в контрреволюционной деятельности и антисоветской пропаганде был заключен в Особый лагерь. Там он провел почти восемь лет³².

В июне 1949 года Святейший Патриарх Алексей I благословил преосвященного Нестора (Сидорука), епископа Курского, посетить Харбин в сопровождении священника Анатолия Козловского. Начало этому далекому путешествию было положено молебном, который совершил сам Святейший Патриарх у раки преподобного Сергия в Троицын день после литургии. Прибыв в Харбин, гости посетили несколько храмов, а 21 июня, в помещении экзархата, расположенного в Доме милосердия, состоялась встреча гостей с харбинским духовенством. В Скорбященском храме Дома милосердия епископ Нестор (Сидорук) отслужил молебен в сослужении настоятеля храма архимандрита Вениамина, а после осмотра иконописной мастерской, типографии, приюта и канцелярии экзархата познакомился с харбинским духовенством³³.

Остальные дни своего пребывания в Харбине гости почти ежедневно участвовали в богослужениях и посетили за это время все храмы города и его предместий. Особо следует отметить 3 июля, когда после литургии в Скорбященской церкви Дома милосердия был совершен молебен и состоялся выпускной акт в Лицее Св. Александра Невского³⁴.

...В Харбине, по отъезде в Австралию архимандрита Филарета (Вознесенского), 23 февраля 1962 года были закрыты Камчатское подворье и Дом милосердия, основанные ранее владыкой Нестором (Анисимовым)...³⁵

³⁰ Разумовский Григорий, свящ. Патриаршая делегация в Харбине // Журнал Московской Патриархии. 1945. № 12. С. 17.

³¹ Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 272—273.

³² Епископ Нестор. Маньчжурия — Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 27.

³³ Козловский Анатолий, свящ. Поездка в Харбин // Журнал Московской Патриархии. 1949. № 11. С. 7.

³⁴ Там же. С. 8—9.

³⁵ Поздняев Дионисий, священник. Указ. соч. С. 159.

Приложение 9

Еще в 1923 году, до постройки постоянного вместительного храма, в прежней, временной церкви при Доме милосердия произошло чудесное событие, сделавшее этот домовый храм известным каждому православному эмигранту в Маньчжурии. В свое время, узнав, что епископ Нестор устроил и освятил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости», одна из ближайших сотрудниц владыки, глубоко верующая православная русская женщина Екатерина Ивановна Курмей передала туда свой родовой образ.

«Пожертвованный мною в церковь при богадельне образ Пресвятыя Богородицы „Всех скорбящих Радость“, — свидетельствовала она позднее, — является родовым в семействе Бологовых, из которого я происхожу. Насколько мне известно по семейным разговорам, образу этому около 300 лет. Это по меньшей мере. Икона перешла из рода в род и досталась мне с моей родной сестрой Софией Ивановной Бологовой от моей покойной матери, умершей три года тому назад в г. Одессе, где я в то время проживала и откуда прибыла в Харбин 27 февраля н. ст. текущего года. Насколько помню, данная икона всегда имела совершенно темный вид с неразборчивыми ликами святителей (святых) и имевшимися на иконе надписями. Ни моим покойным родителям, ни тем более даже мне не было известно, какие именно лики святителей (святых) имелись на образе. Довольно того, что муж мой (ныне покойный) всегда чтит память Иоанна Воина, а лично я — мученика Антипия, спасшего меня еще в молодости от заражения крови при зубной боли. И муж и я, бывая в святых храмах, всегда старались отыскивать эти образа и для поклонения, и для постановки свечей. И вот ни муж, ни я не знали, что эти святые имеются на образе, который ныне обновился. И только чудесное просветление иконы дает мне теперь возможность свидетельствовать о том, кто именно из святых угодников воспроизведен на образе. Чудны дела Твои, Господи!»³⁶

«Икона, — подтверждал архиепископ Харбинский Мефодий, — хорошей иконописной работы. Эту икону сам пишущий сие видел как до обновления, так и после обновления. Краски и золото на иконе просветлели как живые, но повреждения от времени, выкрошившиеся места, сохранились как бы для того, чтобы свидетельствовать о чуде. Храм приюта хроников устроен в честь иконы „Всех скорбящих Радость“, и икона лежала на аналое, где больные и молящиеся постоянно к ней прикладывались»³⁷.

Следует отметить, что в 1923 году волна благодатных обновлений икон (причем прежде всего икон Божией Матери) прокатилась по всему Дальнему Востоку. Первые случаи обновлений икон произошли на территории Владивостокской епархии. Начались они в преддверии Великого поста 1923 года. Вслед за Приморьем волна обновлений двинулась на запад, в пределы Харбинской епархии. Самого Харбина она достигла поздней осенью. Второй иконой, обновившейся в Харбине, и стал образ Божией Матери «Всех скорбящих радости» из домовой церкви при Доме милосердия. Вот как об этом событии писали очевидцы:

«В четверг, 23 ноября по ст. ст. и 6 декабря по н. ст. после 9 часов утра описанный выше вид образа стал наружно изменяться. Постепенно, способом совершенно неуловимым для глаза стали проявляться цвета разных красок и тона отдельных штрихов кисти. Происходившая перемена может быть уподоблена рассеиванию в воздухе тумана. Насколько являлась возможность заметить, перемена совершалась в последовательном порядке: первоначально стали светлеть над святыми ликами круги, составляющие символическое изображение ореола святости; далее просветлели над-

³⁶ Мефодий, архиепископ. О знамении обновления святых икон. М.: Паломникъ, 1999. С. 61—62.

³⁷ Там же. С. 58.

писи, имевшиеся на иконе, затем — одеяние и, наконец, лики святителей и угодников Божиих и Пресвятыя Богородицы с Предвечным Младенцем.

Несколько ранее просветления ликов Богоматери и Спасителя вырисовались имеющиеся с правой и с левой стороны иконы два Ангела, держащие плат с хвалебным песнопением в честь Богородицы, и тогда, в конце концов, прояснились цвета среднего диска сверху иконы и изображение Господа Саваофа. За сутки 23 ноября ст. ст. и 6 декабря н. ст. произошедшие изменения были хотя и довольно заметны, но еще весьма незначительны. Главным моментом обновления надо считать утро 24 ноября ст. ст., день святой великомученицы Екатерины, причем вполне ясные очертания, приближающие образ к его настоящему виду, выявились около 2 часов дня 24 ноября по ст. ст., хотя фактически процесс заметного обновления происходил и далее до позднего вечера и даже всю ночь на 25 ноября (8 декабря).

Происходившее обновление образа заметил целый ряд лиц из служебного персонала богадельни, а также призреваемых в ней, и бывшая владелица иконы, прибывшая в церковь 23 ноября вечером к всенощному бдению и украшавшая храм, а также всегдашние богомольцы, но, однако, каждый из видевших и следивших за событием, о замеченном ни с кем не делился, боясь встретить недоверие. Только утром 24 ноября (7 декабря) перед началом Божественной литургии, прикладываясь к образу, молившиеся впервые высказали вслух мысль о невероятном изменении, происходящем с иконой, а после литургии служебный персонал богадельни и церкви уже заговорил между собою об этом факте вполне открыто и непринужденно, признавая полную неоспоримость случая чудесного обновления святой иконы»³⁸.

«Поразительное чудо Божией благодати, — писал позднее протопресвитер Александр Киселев, — всколыхнуло весь город... Старые харбинцы помнят хорошо это событие. Отовсюду стали приходить верующие люди к новоявленной святыне на поклонение и на молитву — и обновленный образ стал одной из главных святынь не только храма, но и всего православного Харбина»³⁹.

Построив на собранные среди русских эмигрантов средства новую, просторную церковь также во имя иконы «Всех скорбящих Радосте», владыка Нестор перенес туда чудесно обновившийся образ. Большой колокол для храма пожертвовал митрополит Пекинский Иннокентий (Фигуровский).

³⁸ Там же. С. 58—60. См. также: Божией милостию архиерей Русской Церкви. Три жизни митрополита Нестора Камчатского / Авт.-сост. С. В. Фомин. М., 2002. С. 78—79.

³⁹ Киселев Александр, протопресвитер. Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории. Н. У., 1976. С. 113.

Contents

Prose and Poetry

- Vladimir Receptor.** Poems • 3
Elena Kryukova. Valley of the Kings. *Frescoes* • 7
Alexander Frolov. Experience of Non-Dying. *Poems* • 109
Evelina Azaeva. Leftovers and the Likes. *Short story* • 111
Rustam Mavlikhanov (Buddha). Poems • 128
Ivan Gobzev. Prediction. *Short story* • 131
Olga Viktorova. Poems • 145
Mikhail Gundarin. Mindestkontakt erforderlich. *Story* • 150

Non-Capital Russia

- Evgeny Kharitonov.** Poems • 177
Alexander Zhdanov. Burn Brightly. The Basements Smell of War. *Short stories* • 181

Universe of Childhood

- Aglaya Yuryeva.** Boots. Dandelion. *Short stories* • 190

Journalistic Writings

- Alexander Melikhov.** Aesthetics Will Protect • 208
Vera Kharchenko. Contemporary Threats and Professional Philologist's Practice • 212

Criticism and Essays

- Vera Kalmykova.** Thief. Beast. Artist. Reader • 216

St. Petersburg Bookman

Territory of Memory. *To the 100th Anniversary of Yu. V. Drunina.* Albert Izmailov. „I Come Not from Childhood but from War“. **Art of Reading.** *To the 100th Anniversary of V. P. Astafiev.* Alexander Baltin. Vector by Victor Astafiev. **Notes of a Stranger.** *To the 125th Anniversary of L. M. Leonov.* Alexander Zakharov. Leonid Maksimovich. Notes from a Botanist about Leonid Leonov. **Reviews.** Vladimir Spektor. Having Crossed the Line of Good and Evil, War and Peace... **Book Island.** Elena Zinovieva's Publication • 224

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Harbin — „Russian Kitezh“. *Part 12* • 244

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»

Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9

Телефон: (812) 314-72-50

E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Сайт «Невы»: <http://nevajournal.ru>, <https://neva-journal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>, <https://neva-journal.ru>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 21.03.2023. Подписано в печать 16.04.2024.

Выход в свет 11.05.2024. Гарнитура «Октава».

Формат 70×108 $\frac{1}{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 20

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86

Тел. (812) 207-58-43